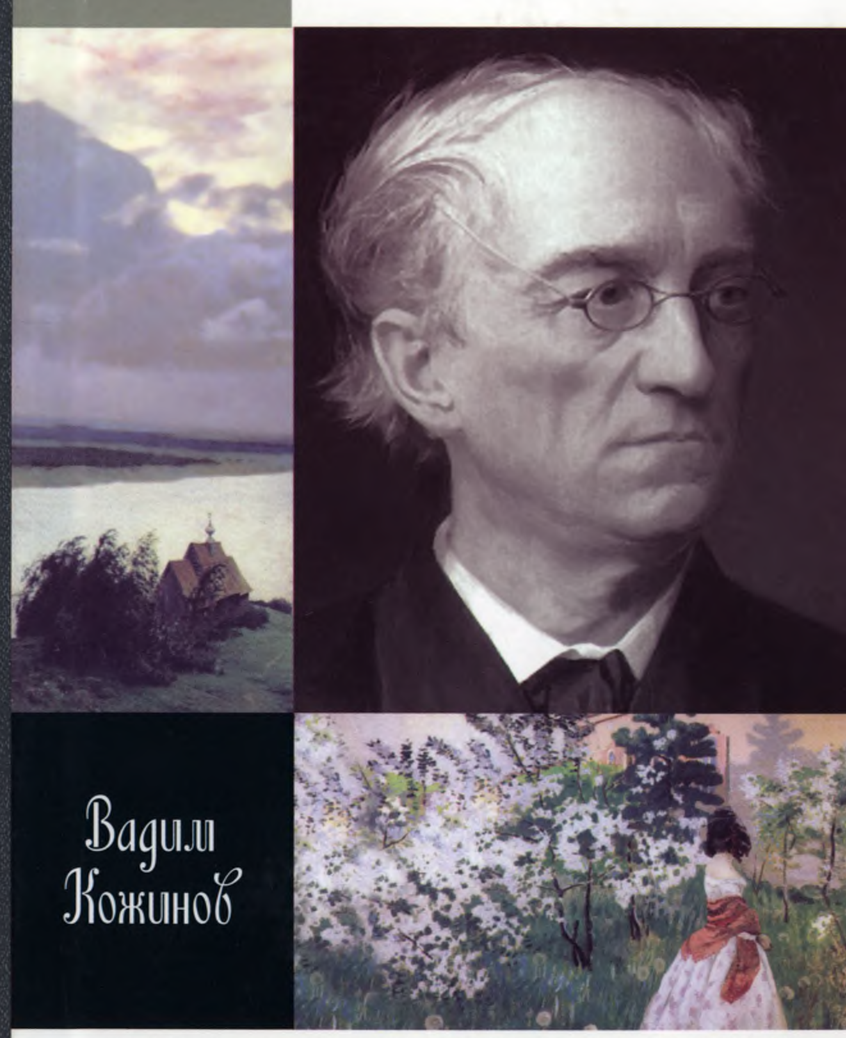
ТЮТЧЕВ



Вадим Кожинов

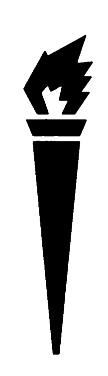
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1393

(1193)

Вадим Кожинов

ТЮТЧЕВ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2009

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8
К 58

ISBN 978-5-235-03208-8

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ныне все знают, что Тютчев — один из прекраснейших наших поэтов. Но и при жизни Федора Ивановича Тютчева, и долгое время после его кончины это знание или, вернее, понимание было уделом очень немногих людей — прежде всего тех, кто сами являли собой цвет русской литературы; как будет показано в этой книге, истинные ценители тютчевского творчества в XIX веке — Пушкин, Некрасов, Фет, Достоевский, Толстой...

Судьба тютчевского творчества, в сущности, удивительна и таинственна. Казалось бы, человек такого уровня и масштаба должен был более всего поражать восприятие своих современников, которые имели возможность разглядеть его лучше и полнее, чем мы, далекие потомки.

Однако небольшой круг людей, понимающих, кто такой Тютчев, начал понемногу расширяться лишь в самом конце XIX века. Понимание постоянно — хотя и не без отступлений назад в периоды тяжких испытаний XX столетия — нарастало. Становилось все яснее, что Тютчев — не только гениальный поэт, но и истинно великий мыслитель, один из творцов русской историософии (то есть философии истории), притом его творчество в сферах поэзии и мысли тесно взаимосвязано. Наконец пришло осознание и его неоценимой роли в политической — точнее, внешнеполитической — истории России.

Словом, по мере хода времени, — которое, все больше отдаляя от нас эпоху Тютчева, вроде бы должно было отдалять

и тем самым неизбежно умалять и его самого, — тютчевский образ, напротив, непрерывно вырастал в глазах потомков и в нем открывались почти или даже совсем неведомые ранее стороны и грани.

Во второй половине XX века творения Тютчева были изданы тиражом, в несколько десятков раз превышающим тираж его изданий за предшествующие полтора столетия! И посвященных ему книг и статей появилось за указанное время также в десятки раз больше, чем до этих пор.

Первое жизнеописание поэта создал хорошо знавший его человек, ставший мужем его дочери Анны, Иван Сергеевич Аксаков. В течение трех десятилетий он встречался с поэтом и все же в начале своей книги был вынужден констатировать «невозможность составить его полную, подробную биографию...». И в самом деле: нужны были долгие и разнообразные *разыскания*, чтобы выявить и осмыслить действительный жизненный и творческий путь Тютчева.

Еще сравнительно недавно общедоступные сведения о Тютчеве были столь скудны, что писавшим о нем нередко приходилось многое попросту выдумывать или хотя бы додумывать. Правда, вполне уместно сочинить роман о Тютчеве, то есть в большей или меньшей степени вымышленное повествование. Но опыт убеждает, что достойное художественное произведение о великом человеке может создать только писатель, способный мыслить и чувствовать на его уровне — то есть, по сути дела, также великий писатель...

Что же касается жизнеописания Тютчева, ныне есть определенные возможности строить его на всецело документальной основе. Иногда высказывается мнение, что без известной доли вымысла история жизни будет сухой и плоской. Но едва ли это справедливо. И нет серьезных оснований сомневаться в том, что достоверно известные события жизни поэта и его эпохи, подлинные слова его и близких ему людей, разнообразные реалии общественной жизни и быта (вплоть до, скажем, размера жалованья, или, по-нынешнему, зарплаты) способны, в их взаимосвязи и взаимоосвещении, создать общеинтересное повествование о Федоре Ивановиче Тютчеве.

В этой книге нет никаких вымыслов; в ней есть отдельные элементы домысливания тех или иных документальных сведений, но каждый раз отмечается, что речь идет именно о предположении, а не о заведомо достоверном факте, и читатель имеет возможность решить, насколько предположение убедительно.

...Историческая судьба Тютчева действительно уникальна. При жизни его величие увидели, в сущности, лишь несколько человек, которые сами были великими людьми. Возможно, поэта и поразило бы его нынешнее всеобщее признание...

И все же не забудем, что он сказал:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

В этих строках можно ведь услышать все же и предугадывание грядущего всенародного отзыва. И еще загадочное стихотворение:

Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, —

Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

Тютчев долго был такой — светлейшей, но незримой — дневной звездой. Палящие лучи грандиозного пожарища, охватившего Россию, сокрывали эту звезду... Но теперь мы все видим ее проникновенный и неиссякаемый свет.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1803—1822

Глава первая
ОВСТУГ

Где мыслил я и чувствовал впервые...
Овстуг, 1849

Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября (по новому стилю — 5 декабря) 1803 года в селе Овстуг, расположенном у реки Десны, сорока верстами выше города Брянска, входившего тогда в Орловскую губернию. Здесь прошли его детство, отрочество и первые годы юности. Правда, почти каждый год Тютчевы проводили несколько месяцев (обычно зимних) в Москве, которая также сыграла неоценимую роль в становлении поэта. Но все-таки настоящей родиной Тютчева был Овстуг и его окрестности. Здесь, сказал позднее поэт, «мыслил я и чувствовал впервые...».

Старший современник Тютчева, исключительно высоко им ценимый Иоганн Вольфганг Гёте, оставил нам знаменитый афоризм: «Тот, кто хочет понять поэта, должен идти в страну поэта». Слово «страна» (немецкое «Land») означает в высказывании Гёте ту «землю», «край», «почву», которая имеет решающее значение в человеческом и творческом становлении поэта. И прежде всего нам надо попытаться более или менее ясно представить себе «страну» Тютчева.

Овстуг расположен в той части, или, вернее, частице России, которая обычно зовется среднерусской полосой. Возьмем карту Европейской России и изберем на ней какую-либо точку в трехстах пятидесяти километрах к югу от Москвы. Ну, скажем, селение Богодухово на реке Неручь — притоке Зуши, впадающей, в свою очередь, в Оку. Если взять это селение в качестве центра некоего круга радиусом 150—200 километров, окажется, что заключенная в таком круге совсем

малая часть России (всего каких-нибудь три процента площади ее европейской территории!) породила поистине великую плеяду художников слова, имена которых — Тютчев, Кольцов, А. К. Толстой, Тургенев, Полонский, Фет, Никитин, Лев Толстой, Лесков, Бунин, Пришвин, Есенин...

Всех их часто называют «певцами русской природы». Но это только одна сторона их творчества. Можно утверждать, что каждый из перечисленных художников слова — сознательно или бессознательно — стремился прямо и непосредственно воплотить эстетически положительные качества русского бытия и в конечном счете ставил перед собой цель сотворить национальный образ прекрасного. Красота русской природы для этих художников — только необходимое начало, исток, основа национальной красоты в ее целостном содержании, и природное прекрасное предстает в их искусстве в органическом единстве с человеческой красотой и, далее, покоряющей красотой самого их художественного слова.

Необходимо оговорить, что «красота» и «прекрасное» в эстетике имеют мало общего с чисто бытовым употреблением этих слов, подразумевающим радующие глаз своей гармоничной формой явления, лица, предметы. Прекрасное в эстетике — и особенно в русской эстетике — немыслимо без напряженного духовного порыва, драматизма или даже трагедийности, что с такой яркостью выразилось в поэзии Тютчева; можно сказать, что его красота — это главным образом трагическая красота.

Но вернемся к тютчевской «стране». Двенадцать названных выше имен слишком весомы, чтобы их происхождение из одной и той же столь малой части Русской земли, части, которую и на лошадях-то можно было пересечь за день-два, являло собой лишь случайное совпадение.

Эта в буквальном смысле срединная часть Русской земли (Богодухово лежит примерно в тысяче верст и от Белого, и от Черного моря) срединна и в чисто природном отношении. Это лесостепь, которая дает почуять степную ширь и в то же время еще сохраняет — местами даже и до сего дня — могучие боры, дубравы и рощи. И кроме того, в этом крае особенно рельефно выражена Среднерусская возвышенность. С крутых холмов (князь Игорь, между прочим, двигался в половецкую степь именно через этот край, через эти холмы-шеломы, последний из которых горестно упомянут в «Слове»: «О Руская земле! Уже за шеломянем еси!») открываются захватывающие дух просторы.

Впрочем, нет смысла говорить об этом крае «вообще». Перенесемся прямо в Овстуг, помня, что всего в пятидесяти верстах к югу в родственной местности лежит Красный Рог А. К. Толстого, в ста верстах к юго-востоку — лесковское Панино, еще в ста верстах за ним — пришвинское Хрущово, а если на рассвете отправиться из Овстуга на добрых лошадях к северо-востоку, к концу дня доберешься в фетовские Новоселки или тургеневское Спасское-Лутовиново, а к следующему утру — и в Ясную Поляну.

В нескольких километрах к западу от Овстуга над Десной вздымаются высокие холмы, один из которых, согласно географической мерке, должен даже зваться горой: его высота над уровнем моря — 228 метров. К северу, за широкой поймой Десны, несколькими ярусами поднимается вековой лес, а на юге развертывается беспредельное пространство полей, уже за горизонтом которого — дубравы Красного Рога. Десна петляет в своем вольном русле, и ее извивы видны на много верст вдаль.

В этих местах словно сошлись лицом к лицу Русский Север и Русский Юг; здесь обитают и глухарь, и орел-беркут. Сейчас можно недоумевать над написанным в Овстуге стихотворением Тютчева «Смотри, как роща зеленеет...», которое кончается строками:

И лишь порою крик орлиный
До нас доходит с вышины...

А в тютчевские времена «крик орлиный» могли слышать все бывавшие в Овстуге. Алексей Толстой писал тогда в полусотне верст к югу от Овстуга:

Край ты мой, родимый край!
    Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
    Волчий голос в поле!
Гой ты, родина моя!
    Гой ты, бор дремучий!
Свист полночный соловья,
    Ветер, степь да тучи!

Бор и степь, орел и соловей — это не просто романтический набор (хотя знатоки поправляют автора, утверждая, что орлы не собираются в стаи), но точная зооботаническая характеристика родимого края Тютчева.

Этот край не только сердцевина всей русской природы, но и сердцевина русского народа. Нелегко разглядеть национальное единство архангельских поморов и кубанских казаков, отделенных друг от друга двухтысячеверстным прост-

ранством. Но русские люди, живущие вокруг Богодухова, как бы соединяют в себе черты тех и других — и в образе жизни, и в душевном складе, и в слове. И чтобы убедиться в этом, нет необходимости изучать бытие всего населения срединной Руси. Вполне достаточно вглядеться в творчество художников, выросших из этой почвы и выразивших ее сокровенную суть. В лирике Тютчева, в песнях Кольцова, в балладах Алексея Толстого, в очерках и романах Тургенева, в эпосе Льва Толстого, в сказах Лескова, в новеллах Бунина воплощен образ общенародной, общенациональной красоты.

И самый тот факт, что все эти художники слова произошли из одной и той же небольшой части Русской земли, чрезвычайно многозначителен. Именно здесь, где (если попытаться наметить контуры многообразнейшего целого) как бы сведены лицом к лицу и угрюмый бор с его глухарями, и раздольная степь с ее орлами, именно здесь, где в человеческих обликах и душах могут объединиться и примириться суровость помора, плывущего в Ледовитый океан, и лихость казака, скачущего к Кавказскому хребту, — именно здесь могло и должно было зародиться в будущих великих художниках то зерно, то ядро, из которого развился затем общенациональный образ красоты.

Мы знаем, что на семнадцатом году жизни Тютчев на долгие годы — на четверть века! — расстался со своими родными местами. Но мы знаем также об удивительно ранней духовной зрелости поэта. Его первый биограф Иван Аксаков дивился «его преждевременному развитию, — что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи» (Аксаков тут же небезосновательно объясняет это стремительное созревание поколения могучим воздействием эпопеи 1812 года). Домашний учитель Тютчева, Семен Егорович Раич, вспоминал, что уже лет с тринадцати Федор был «не учеником, а товарищем моим».

Неколебимое осознание верховного смысла и ценности родины и народа сложилось у Тютчева уже в ранней юности. Об этом со всей ясностью свидетельствует, например, одно из его писем 1845 года дочери Анне. Дочь родилась и выросла в Германии, где с 1822 года служил Тютчев. Теперь, в 1845 году, шестнадцатилетняя Анна должна была впервые увидеть Россию, куда незадолго до того возвратился наконец сам Тютчев. И вот отец пишет ей о России, с которой сам был разлучен (не считая четырех кратких отпусков) двадцать с лишним лет:

«Ты найдешь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте. До сих пор ты знала страну, к которой принадлежишь, лишь по отзывам иностранцев. Впоследствии ты поймешь, почему их отзывы, особливо в наши дни, заслуживают малого доверия. И когда потом ты сама будешь в состоянии постичь все величие этой страны и все доброе в ее народе, ты будешь горда и счастлива, что родилась русской».

Обо всем этом важно, даже необходимо сказать в самом начале книги о поэте, ибо слишком широко распространены совершенно беспочвенные и попросту нелепые представления о Тютчеве — даже среди его ревностных почитателей — как об «иностранце», далеком от коренной русской жизни.

А теперь вглядимся в тютчевский Овстуг. Даже по очень скудным дошедшим до нас сведениям можно представить себе нарастающее с годами богатство впечатлений, формировавших здесь, в Овстуге, душу и разум поэта.

Вначале, в первые годы, это малый, скромный, но все же по-своему неисчерпаемый мир самой усадьбы. «Старинный садик, — вспоминал позднее Тютчев, — четыре больших липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея шагов в сто длиною и казавшаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, — все это помещается на участке в несколько квадратных сажен...»

Постепенно этот мир расширялся за ограду усадьбы. Через много лет Тютчев провел дочь Дарью как бы по второму кругу (уже за усадебной оградой) своего детского мира, и она рассказала об этом в письме сестре: «Мы отправились вместе, папа и я, сперва на могилу дедушки, затем в рощи, с которыми связано... столько детских воспоминаний; он рассказал мне, что однажды, когда он со своим наставником гулял в роще рядом с кладбищем, они нашли мертвую горлицу в траве и похоронили ее, а папа написал эпитафию в стихах... Папа приходил после заката солнца собирать душистый чудоцвет в тишине и темноте ночи, и это вызывало в нем неопределенное ощущение таинственности и благоговения... Эти перелески, этот сад, эти аллеи были целым миром... — и миром полным; тут пробудился ум, и детское воображение в этой реальности видело свой идеал».

Тютчевы владели только частью большого села Овстуг. Рядом с домом — скромная церковь и колокольня. Со всех сторон дом окружал сад с вековыми липами и густой сиренью, которую не раз радостно поминал Тютчев, не забывая

и овстугских соловьев. Перед домом — цветочные клумбы и ряд тоже памятных, выросших при нем тополей.

Тютчев особенно дорожил видом с овстугского балкона, видом, как он позднее писал, «на эту воронку из зелени... на деревья, церковь, крыши, наконец, весь горизонт». Дом стоял на возвышенном месте, и горизонт был довольно широк, хотя Тютчев и сожалел о его «ограниченности».

Но с балкона все же открывались усадебные окрестности — одно из полных неповторимого обаяния воплощений среднерусского ландшафта. Само село Овстуг широко раскинулось на восьми холмах, местами покрытых березовыми рощами. Между холмами течет впадающая в Десну небольшая, но поразительно быстрая речка Овстуженка; скорость ее течения столь велика, что она замерзает лишь при температуре двадцать градусов ниже нуля. Дом Тютчевых стоял всего в нескольких десятках метров от речки. У ее берега и сейчас возвышается поистине уникальный, могучий тополь, знакомый поэту; ствол этого исполина могут обхватить только шесть человек. Рядом с тополем — старинный колодезь, из которого брали воду Тютчевы.

Селение как бы несколькими ступенями спускается к северу, к живописной долине Десны. А на запад, юг и восток от Овстуга — просторы полей, в которые вкраплены кое-где густые рощи и овражки. Вокруг Овстуга — многочисленные села, деревни, хутора. В трех километрах к востоку — Речица, также принадлежавшая Тютчевым; здесь жил дед поэта, выделивший сыну усадьбу в Овстуге. Селения Дорогинь, Молотино, Песочное, Суздальцево, Дятьковичи, Гостиловка, Летошники, Умысличи, Вщиж — это ближайшие окрестности Овстуга; их названия подчас стоят под стихотворениями в автографах поэта, упоминаются в его письмах.

В Овстуге перед поэтом предстала, конечно, не только родная земля, но и живущий на ней и ею народ. Тютчевы принадлежали к тем дворянским семьям, которые постоянно стремились сохранять и укреплять патриархальные связи с крестьянами. Так, до нас дошли многочисленные документы, свидетельствующие о том, что все члены семьи Тютчевых крестили многих детей своих крестьян — то есть становились их крестными отцами и матерями, исполнявшими, так или иначе, родственные обязанности. Немало таких крестных детей было и у самого поэта. Архивист Г. В. Чагин разыскал церковную запись о том, что Федя Тютчев вместе с дворовой девицей Катюшей Кругликовой (выступавшей в качестве крестной матери) крестил сына одного из крепостных.

Дочь поэта Дарья рассказывала в письме сестре Анне о народном праздновании заветного Яблочного Спаса в Овстуге. Рассказ этот относится к 1850-м годам, но не может быть никаких сомнений, что в таких же или, вернее, еще более патриархальных сценах народных праздников Тютчев участвовал с самого раннего детства.

«Расскажу тебе этот великий день, — писала родившаяся и выросшая в Германии Дарья, впервые тогда увидевшая народный праздник в Овстуге. — Крестьянки были счастливы как дети. Вечером они все пришли танцевать и петь... Они импровизировали песни, сопровождавшие пляски и славившие папу и маму, да еще и в стихах! Вот образец, который я, быть может, плохо передаю, но именно так его запомнила:

На дубе сидят два голубка,
Целуются, милуются.
Один — Федор Иванович,
Другой — Эрнестина Федоровна».

Через несколько лет Тютчев снова участвует в праздновании Яблочного Спаса в Овстуге, и Дарья вновь повествует об этом в письме Анне: «Крестьяне, все более или менее пьяные, кидались на шею папы и рассказывали ему о своих жалобах».

Такие подробности — пусть сами по себе не очень значительные — важны потому, что опровергают достаточно широко распространенные ложные представления, согласно которым Тютчев, сказавший высочайшие слова о русском народе, в реальной жизни будто бы чуть ли не чурался «мужиков». Та же Дарья сообщала, что во время Крымской войны Тютчев пригласил в свой кабинет крепостного ратника, собиравшегося в Севастополь, и сердечно беседовал с ним — братом овстугского повара.

Ясно, что такие отношения складывались с детских и отроческих лет поэта, когда — это легко предположить — отец Тютчева в присутствии сына беседовал с крестьянами, участвовавшими в Отечественной войне 1812 года...

Представление о Тютчеве как о человеке, далеком от народа, возникло давно, при его жизни. Многим казалось, что поэт, который прожил долгие годы за границей, а в Петербурге бывал главным образом в великосветских салонах, не знает и, уж конечно, не ценит простонародную, крестьянскую жизнь. Но вот поистине замечательный рассказ Льва Толстого о первой встрече с поэтом: «Меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, говорив-

ший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих севастопольских рассказов, особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно».

Подобное изумление испытал при встрече с Тютчевым не один Толстой. Поэт Аполлон Майков писал о нем: «Поди ведь, кажется, европеец был, всю юность скитался за границей в секретарях посольства, а как чуял русский дух и владел до тонкости русским языком!..»

Естественное и глубокое владение языком народа со всей силой воплотилось в самом поэтическом творчестве Тютчева; за последние годы появилось несколько исследований, так или иначе доказывающих это. Однако и до сих пор многие читатели — даже и из тех, кто старается пристально и серьезно вглядываться в облик Тютчева, — видят его все же именно таким, каким при первой встрече, подчиняясь расхожему мнению, представлял его себе Лев Толстой. Следует оговорить, что это касается именно и только первой встречи; Толстой, по собственному его свидетельству, встречался с Тютчевым многократно и, кроме того, постоянно и очень напряженно вживался в творения поэта. И о последней своей встрече с Тютчевым в 1871 году Толстой рассказывал так: «Что ни час вспоминаю этого величественного и простого и такого глубокого настояще-умного старика». Здесь уже нет и намека на придворность и французское красноречие Тютчева. Речь идет о поздних годах жизни поэта. Но едва ли можно спорить с тем, что основы личности закладываются на ранних этапах ее становления и не возникают позднее заново на пустом месте, а как бы воскресают в каждом возрасте человека.

Толстой в другом письме сказал об этой же последней встрече с поэтом: «Мы четыре часа проговорили. Я больше слушал... Это гениальный, величавый и дитя старик». Ясно, что детские черты в облике старика способны вызвать восхищение лишь в том случае, если в них воскресает подлинно человеческое детство. Между прочим, можно с полным правом сказать, что поэзия Тютчева на самых разных стадиях развития словно совмещала в себе непосредственность детского воображения и исполненную последней, высшей мудрости зрелость, — совмещала гармонически и плодотворно. Но это, конечно, должно было быть присуще и самой личности поэта.

И то, что восхищало Толстого и других в зрелом и старческом облике Тютчева, не могло не закладываться в детские

и отроческие годы. Да, поэт провел большую часть своей взрослой жизни в придворных салонах и на дипломатических раутах. Но при всей скудности документальных сведений, которыми мы располагаем, невозможно сомневаться в том, что у Тютчева была и другая достаточно богатая жизнь. Когда он написал по пути в Овстуг, в городке Рославль «Эти бедные селенья...», в его словах выражался не мимолетный взгляд путешественника, торопящегося из одной столицы в другую (а именно таким многие представляют себе Тютчева), но глубокий выстраданный опыт целой жизни — жизни, начавшейся в Овстуге, в постоянном общении с крестьянами.

С одним из этих крестьян, отпущенным владельцем на волю и поступившим на службу к Тютчевым в качестве традиционного «дядьки», Федор буквально не расставался с четырех до двадцати двух лет. Его звали Николай Афанасьевич Хлопов. Уже в самом конце жизни, через сорок с лишним лет после смерти Н. А. Хлопова, Тютчев засвидетельствовал в письме своему брату Николаю, что по-прежнему живет в душе «память о моих страстных отношениях во время оно к давно минувшему Николаю Афанасьевичу».

Незадолго до кончины Н. А. Хлопов (1770—1826) завещал своему воспитаннику икону, которую Тютчев хранил до последних дней жизни. На иконе есть надпись: «В память моей искренней любви и усердия к моему другу Федору Ивановичу Тютчеву. Сей образ по смерти моей принадлежит ему. Подписано 1826 марта 5-го. Николай Хлопов».

Иван Аксаков сказал, что эта надпись «характеризует и самого Тютчева, которого слуга, бывший крепостной, его дядька и повар, называет своим другом, и ту эпоху, когда типы, подобные Хлопову, были нередки. Благодаря им, этим высоким нравственным личностям, возникавшим среди и вопреки безнравственности исторического социального строя, — даже в чудовищную область крепостных отношений проступали... лучи всеоблагораживающей, всевозвышающей любви (вспомним еще раз слова из письма Тютчева дочери Анне: «Ты найдешь в России больше любви, нежели где бы то ни было в другом месте». — *В. К.*)... Николай Афанасьевич вполне напоминает знаменитую няню Пушкина, воспетую и самим поэтом, и Дельвигом, и Языковым. Этим няням и дядькам должно быть отведено почетное место в истории русской словесности. В их нравственном воздействии на своих питомцев следует, по крайней мере отчасти, искать объяснение: каким образом в конце прошлого и в первой половине нынешнего (то есть XIX. — *В. К.*) сто-

летия в наше оторванное от народа общество... пробирались иногда, неслышно и незаметно, струи чистейшего народного духа...»

Нельзя не задуматься и над тем, что поистине теплые чувства Тютчева к Николаю Афанасьевичу не могли не влиять на его отношение и к народу вообще, и к любому его представителю. Трудно, скажем, переоценить тот факт, что первым другом своей юности Тютчев избрал студента Московского университета Михаила Погодина, который всего за десяток с небольшим лет до того был крепостным (отец Погодина в 1806 году выкупил себя и сына на волю). Эта дружба потомка древнего боярского рода не с кем-нибудь, а с недавним крепостным (продолжавшим к тому же занимать зависимое положение домашнего учителя у князей Трубецких) говорит о многом.

В 1855 году Тютчев создал в окрестностях Овстуга свое знаменитое стихотворение о «крае русского народа»:

...Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной...

Нет сомнения, что Тютчев заметил и понял это «тайное свечение» еще в самые юные годы и именно в Овстуге.

Здесь же, в Овстуге, перед юным Тютчевым — вместе с родной природой и народом — глубоко раскрылась и реальность родной истории, которая значила для поэта необычайно, исключительно много.

Всего в четырех верстах к западу от Овстуга, на высоком холме над Десной, сохранились следы древнерусского города Вщижа. Город этот, существовавший уже в девятом столетии, с середины XI века стал столицей самостоятельного Вщижского княжества. В летописях сохранились сведения о долгих междоусобных битвах за этот город во второй половине XII века, о пирах и свадьбах в его детинце, окруженном внушительными крепостными валами. Весной 1238 года Вщиж был до основания разрушен и сожжен полчищами Батыя, охваченными яростью после только что закончившейся страшной для них осады Козельска (расположенного в 150 верстах к северо-востоку от Вщижа). Город уже больше не восстановился, но небольшое селение Вщиж существует и поныне.

Тютчевы состояли в добрых отношениях с владельцем Вщижа М. Н. Зиновьевым, а позднее — с его дочерью В. М. Фоминой. Поэт бывал во Вщиже с детства, а в последний его

приезд на родину в 1871 году посещение Вщижа отозвалось одним из самых сильных стихотворений (в первой публикации оно названо «По дороге во Вщиж»):

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Словом, Вщиж как бы прошел сквозь всю жизнь поэта. И Тютчев не мог не знать по-своему замечательного историографического эпизода, связанного со Вщижем. В 1816 году вышли в свет первые тома вызвавшей всеобщий страстный интерес «Истории государства Российского» Карамзина, где рассказывалось и о Вщиже, рассказывалось по летописным источникам, как об одном из древнейших русских городов, чье местонахождение ныне неизвестно. М. Н. Зиновьев отправил Карамзину письмо, в котором сообщал: «В здешней стороне есть предание, что село Вщиж было городом особенного удельного княжения. Еще доныне в окрестности видны следы земляных укреплений и находятся большие гранитные кресты (на курганах), весьма не худо выделанные... На полях много курганов; один из них в самом селе и наполнен старинными кирпичами: сказывают, что тут была церковь. Выкапывают также немало медных крестов, икон, железной конской сбруи и прочее».

Вскоре появилось новое издание «Истории» Карамзина, и в примечаниях было приведено цитируемое письмо Зиновьева, давшее историку возможность установить местонахождение Вщижа и самого Вщижского княжества. Нельзя сомневаться в том, что юный Тютчев знал все подробности этого, быть может, небольшого, но очень многозначительного — особенно для жителей вщижской округи — историографического события. Такие события позволяют с особенной остротой и жизненностью воспринять Историю. По-иному виделись теперь сами следы давних времен близ родного Овстуга.

Через много лет Тютчев скажет: «Нет ничего более человечного в человеке, чем потребность связывать прошлое с настоящим». Эта мысль очередной раз вспыхнет в нем во время краткого пребывания около Новгорода, в Старой Руссе. «Весь этот край, омываемый Волховом, — пишет он отсюда дочери Анне, — это начало России... Среди этих беспредельных, бескрайних величавых просторов, среди обилия широко разливающихся вод, охватывающих и соединяющих весь этот необъятный край, ощущаешь, что именно здесь — колыбель Исполина». Такого рода «ощущения» созревают в

человеке с юных лет, и Тютчев, несомненно, приобщался к ним еще в Овстуге.

Присущее Тютчеву глубокое и острое чувство Истории пробудилось в ранние годы еще и потому, что чувство это находило мощную живую опору в родовом, семейном предании. Прямым предком поэта был один из самых выдающихся героев Куликовской битвы, Захарий Тютчев.

В знаменитом «Сказании о Мамаевом побоище» (XV век) читаем:

«...Князь же великий Дмитрий Иванович избранного своего юношу, доволна сущи разумом и смыслом, имянем Захарию Тютьшова... посылает... к нечестивому царю Мамаю». Захарий Тютчев сыграл роль, как бы сказали теперь, тонкого дипломата и смелого разведчика. Он узнал и сообщил Дмитрию Ивановичу о готовящемся союзе Мамая с Рязанью и Литвой. Поведение Тютчева в ходе исполнения его посольской миссии призвано было внушить Мамаю, что русские убеждены в своей победе, и тем самым подорвать уверенность врага. Значение тютчевского посольства было оценено современниками и ближайшими потомками столь высоко, что подробное повествование об этом посольстве не только вошло в письменное «Сказание о Мамаевом побоище», но и стало основой устного, фольклорного предания «Про Мамая безбожного» (оно было записано в середине XIX века в Архангельской губернии).

Рассказ о подвиге Захария Тютчева передавался из поколения в поколение в самом роду Тютчевых. Но, конечно, особенно сильное впечатление должны были произвести на юного Федора страницы, посвященные его предку в «Истории государства Российского» Карамзина (когда вышли в свет первые тома «Истории», Федору было тринадцать лет). Не могла не волновать его и сама Куликовская битва, свершившаяся в таких же среднерусских местах восточнее Овстуга.

Развалины древнего Вщижа и память о предке, герое Куликовской битвы, сразу делали осязаемой глубь истории. Жизнь Вщижского княжества была оборвана монгольским нашествием, а началась она, эта жизнь, примерно за полтысячелетия до Куликовской битвы, еще во времена борьбы с хазарами, о которых повествовал в первом томе своей «Истории» Карамзин. А время, протекшее после Куликовской битвы, также близилось уже к полутысячелетию (которое торжественно отмечалось вскоре после кончины Тютчева). И это чувство тысячелетней глубины родной Истории, чувство, безмерно обогащенное в зрелые годы поэта проникновенным историческим самосознанием, включавшим в себя

осмысление пути развития всего человечества, — чувство это пробудилось в Тютчеве, несомненно, еще в его овстугские годы.

Обращение к родословной Тютчева необходимо — даже если бы среди предков поэта и не числилось столь выдающегося человека, как Захарий Тютчев. Родовые и семейные связи и предания имели в тютчевские времена громадное значение; сейчас нам даже нелегко представить себе всю их роль в тогдашней судьбе людей. Именно через эти связи и предания человек вплетался в историческую жизнь своей родины: сами понятия «род» и «родина» еще всецело сохраняли свое единство.

Память о герое Куликовской битвы Захарии свято хранили в роду Тютчевых; само его имя, не столь уж распространенное в дворянской среде, повторялось в поколениях рода. Так, Захарием Тютчевым звали двоюродного деда поэта.

Потомки Захария не стяжали столь же громкой славы. Известно, правда, что внук его Борис Матвеевич был воеводой при Иване III и играл важную роль в нескольких походах. Отмечен на страницах истории и прапрадед поэта Даниил Васильевич, отличившийся в Крымском походе 1687 года (именно он, насколько нам известно, стал владельцем имения в Овстуге). Но гораздо более значительны родственники поэта по материнской линии, о которых еще пойдет речь.

Что же касается представителей отцовской линии, их судьбы могут многое сказать нам о поражающем воображение, почти фантастическом развитии русских людей в конце XVIII — начале XIX века. Прадед поэта, Андрей Данилович, родившийся в 1668 году, был петровским офицером и вышел в отставку сразу после смерти Петра I, в 1726 году, в чине капитана; о нем нам известно немногое. Больше сведений сохранилось о его сыне, деде поэта Николае Андреевиче (точная дата его рождения неизвестна; по-видимому, он родился в конце 1720-х годов). Это был поистине неукротимый, «неистовый» человек. Таких людей в послепетровской России было множество, и они типичны для середины XVIII века. Их черты ярко запечатлены в фонвизинских «Недоросле» и «Бригадире», а позднее нашли наиболее полное воплощение в образах «Семейной хроники» Сергея Аксакова — особенно в образе Михайлы Куролесова; сама эта фамилия, в соответствии с литературной традицией XVIII столетия, призвана высказать главное в характере.

И, как ни кажется странным, дед утонченнейшего поэта и мыслителя Федора Ивановича Тютчева, скончавшийся всего лишь за шесть лет до рождения внука, был настоящим

куролесовым. Само широкое распространение подобных характеров в русском дворянстве середины XVIII века объяснялось прежде всего тем, что складывавшийся веками древнерусский образ жизни, традиционные каноны поведения и сознания были за время петровских реформ во многом разрушены, а новая культура человеческих отношений и понятий только еще формировалась.

Иван Аксаков писал, что «в половине XVIII века... помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, доходившим до неистовства». Начать с того, что Николай Андреевич Тютчев в молодости был в любовной связи с Дарьей Салтыковой — чудовищной изуверкой, вошедшей в предание под именем Салтычихи. Они были дальними родственниками (мать Салтычихи — урожденная Тютчева), и их подмосковные имения соседствовали.

Очевидно, Салтычиха казалась злодейкой даже неистовому Николаю Андреевичу. Он порвал отношения с ней и в 1762 году женился на брянской дворянке Пелагее Денисьевне Панютиной. Известно, что Салтычиха и после женитьбы Тютчева продолжала жестоко мстить ему за «измену», так что он вынужден был бежать из Подмосковья в Овстуг. Но в конце концов известия о неслыханных истязаниях, которым Салтычиха подвергала своих крепостных — главным образом женщин и девушек, — дошли до правительства и она была предана суду, приговорившему ее к смертной казни. Либеральная Екатерина II, гордившаяся тем, что в России в ее царствование нет казней (исключение, впрочем, было все-таки позднее сделано для Пугачева и пяти его соратников), повелела подвергнуть Салтычиху пожизненному заключению в монастырской тюрьме, где она и провела в подземной камере Ивановского монастыря (кстати сказать, в двух шагах от московского дома Тютчевых) тридцать три года. Ее конфискованное имение Троицкое по Калужской дороге (ныне — в километре за Московской кольцевой дорогой) в конце концов было куплено Николаем Тютчевым.

Конечно, не следует хоть в какой-то мере сближать Николая Андреевича Тютчева с садисткой Салтычихой. Но самая связь его с этой фурией едва ли случайна... Среди овстугских крестьян сохранилось предание о том, что дед Тютчева, уже будучи женат, позволял себе дикие выходки. Он рядился в атамана разбойников и с ватагой своих так же ряженых дворовых грабил купцов на проходившей близ Овстуга большой торговой дороге, которая соединяла Смоленск с Орлом...

Своего рода «оправданием» тютчевских неистовств может

быть лишь то, что, как уже говорилось, подобный «разгул» был типичен для того времени. Пушкин, например, рассказывает о своем деде Льве Александровиче Пушкине: «Дед мой был человек пылкий и жестокий. Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, которого он весьма феодально повесил на черном дворе...» Исследователи оспаривают достоверность некоторых сообщаемых Пушкиным фактов, но здесь важна, так сказать, сама атмосфера.

Стоит отметить, что неистовый дед Тютчева Николай Андреевич не только был исправным офицером, но и, выйдя в отставку в чине полковника, избирался предводителем брянского дворянства...

У Николая Андреевича была большая семья; нам известны четыре его сына и три дочери. Облик его старшей дочери Анастасии сохранил для нас портрет работы выдающегося живописца Рокотова. Младшая дочь, Надежда, на склоне лет была ближайшим другом Гоголя. А старший сын Иван, родившийся в 1768 году, стал отцом одного из величайших творцов мировой поэзии. Поразительный контраст в судьбах деда и внука побуждает задуматься о почти невероятных, таинственных путях развития русских людей на рубеже XVIII—XIX веков. Может быть, дедовское «неистовство» жило и во внуке, но чудесно преобразилось в творческую волю (не только в поэзии, но и в самой жизни)...

Отец поэта, Иван Николаевич, уже очень мало походил на деда (как, кстати, и отец Пушкина на своего отца). По желанию Николая Андреевича он поступил в новое, только что основанное Екатериной II в Петербурге военное учебное заведение — Греческий корпус. Это был совершенно особенный, можно сказать, политический корпус. Его питомцы должны были способствовать осуществлению идеи возрождения грекоправославного мира, — идеи, возникшей на почве победоносных войн с Турцией, но, разумеется, утопической. Речь шла об освобождении захваченного триста с лишним лет назад турками Константинополя и воссоздании (в единстве с Россией) православной греческой государственности. Вспомним, что одного из внуков Екатерины по ее настоянию назвали Константином; он был как бы призван воскресить древнюю столицу Византии.

Через много лет Федор Тютчев писал о Константинополе:

...То, что орел Екатерины
Уж прикрывал своим крылом...

«Константинопольскую утопию» Федор, несомненно, воспринял еще в отроческие годы от отца, воспитанника Греческого корпуса.

Иван Николаевич Тютчев от своего «неистового» отца «отличался, — как свидетельствуют семейные предания, — необыкновенным благодушием, мягкостью, редкою чистотою нравов и пользовался всеобщим уважением». Хотя все его ближайшие предки были военными, Иван Николаевич, дослужившись в гвардейском полку всего лишь до чина поручика (примерно соответствует нынешнему старшему лейтенанту), сразу после смерти Николая Андреевича перешел на гражданскую службу. Здесь его «карьера» была успешнее; он вскоре получил чин надворного советника (соответствует подполковнику). В последние годы своей службы он стал смотрителем «Экспедиции Кремлевского строения», что, надо думать, подразумевало достаточно широкую образованность.

Сохранилось немало свидетельств глубокого уважения и любви поэта к отцу. Самое раннее из них — стихотворение, написанное десятилетним Федором ко дню рождения Ивана Николаевича:

...Вот что сердце мне сказало:
В объятиях счастливой семьи,
Нежнейший муж, отец-благотворитель,
Друг истинный добра и бедных покровитель,
Да в мире протекут драгие дни твои!

Мальчик явно сумел обрисовать здесь истинный характер своего отца — мирного, доброго, «тихого» человека. Ровно через тридцать лет Тютчев в письме жене восхищенно отзовется об отце — «лучше которого, право, нет человека на свете...».

Существует мнение, что решающее значение в становлении поэта имел не отец, а мать, которую Иван Аксаков описал как «женщину замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с наклонностью к ипохондрии, с фантазией, развитою до болезненности». Но едва ли следует недооценивать сложную внутреннюю закономерность человеческого развития, проступающую в фигуре отца поэта, как своего рода звена между дедом и внуком. Неистовству деда, в жизни которого разрушенные формы старорусского бытия еще не возместил новый строй поведения и сознания, как бы противопоставилось уравновешенное, мирное существование отца (та же закономерность — в истории семей Пушкина и Аксакова), чтобы внук мог плодотворно воплотить свой жизненный порыв, страсть и волю.

В сравнении с дедом отец Тютчева не только ушел вперед, к новым, связанным с европеизацией России формам быта, культуры и сознания, но и в известном смысле вернулся назад, как бы восстановив — разумеется, лишь в той или иной мере — традиционный, патриархальный порядок в отношениях с супругой, домочадцами и крестьянами. Это явствует из многих свидетельств. М. П. Погодин, хорошо знавший семью поэта, записал в дневнике в 1820 году: «Смотря на Тютчевых, думал о семейственном счастии. Если бы все жили так просто, как они».

Семейные предания свидетельствуют, что в доме Тютчевых «господство французской речи не исключало... приверженности к русским обычаям и удивительным образом уживалось рядом с церковнославянским чтением псалтырей, часословов, молитвенников... и вообще со всеми особенностями русского православного быта...».

Выше говорилось об очень раннем и органическом приобщении поэта к родной природе, народу, истории; нет сомнения, что семья сыграла свою необходимую и первостепенную роль в этом приобщении. Семья Тютчевых принадлежала к тем многим тысячам русских семей, в среде которых на рубеже XVIII—XIX веков формировался особенный социальный слой «среднего дворянства». Еще Белинский обрисовал характерные черты этого слоя. «Екатерина II, — писал он в 1844 году, — жалованною грамотою определила в 1785 году права и обязанности дворянства... Вследствие нравственного движения, сообщенного грамотою 1785 года, за вельможеством начал возникать класс среднего дворянства... В царствование Александра Благословенного значение этого, во всех отношениях лучшего, сословия все увеличивалось и увеличивалось, потому что образование все более и более проникало во все углы огромной провинции, усеянной помещичьими владениями. Таким образом формировалось общество, для которого благородные наслаждения бытия становились уже потребностью, как признак возникающей духовной жизни».

Так рождались те очаги культурного бытия, которые впоследствии, по тургеневскому слову, назывались «дворянскими гнездами». Одним из ранних таких гнезд был тютчевский Овстуг.

Иван Аксаков утверждал, что «дом Тютчевых — открытый, гостеприимный, охотно посещаемый многочисленной родней... — был совершенно чужд интересам литературным, и в особенности русской литературы». Последнее суждение едва ли верно. У нас есть, например, документальное сви-

детельство того же Погодина: «25 августа 1820 года. Разговаривал с Тютчевым и его родителями о литературе, о Карамзине, о Гёте, о Жуковском (с которым, как нам известно, отец Тютчева был в близких отношениях. — *В. К.*), об университете».

Однако суть дела даже и не в этом. «Литературные интересы», в конце концов, — дело наживное. Более важное значение имел целостный нравственно-духовный строй самой жизни семьи Тютчевых. Из всего, что мы знаем об этой семье, вырисовываются лучшие черты русского среднего дворянства начала XIX века, столь хорошо знакомые всем по «Войне и миру». Жизнь в овстугской усадьбе естественно, сама собой раскрывала перед мальчиком и юношей Тютчевым заветные глубины русской природы, народа, истории, создавая тем самым незыблемую основу личности поэта.

Несомненно, очень большую роль в становлении Тютчева сыграла страстная и утонченная натура его матери, Екатерины Львовны, урожденной Толстой.

Ее отец, Лев Васильевич, принадлежал к «боковой» линии знаменитого рода графов Толстых. Прямой предок Льва Васильевича, Иван Толстой, был воеводой при Иване Грозном; сын его, Василий, стал выдающимся государственным деятелем при царях Федоре Ивановиче и Михаиле Федоровиче. Прославился как полководец и следующий представитель рода — Андрей Васильевич (умер в 1690 году). Его сын, Петр Андреевич Толстой (1645—1729), стал ближайшим сподвижником Петра Великого и был им возведен в графское достоинство. Петр Андреевич — прапрапрадед Льва Николаевича Толстого. А родной брат Петра Андреевича, Иван, не занявший столь высокого положения, — прапрапрадед Тютчева. Таким образом, Тютчев был шестиюродным братом Льва Толстого.

Подобные факты родства выдающихся людей нередко вызывают ныне удивление или даже своего рода недовольство — не слишком ли тесен круг, из которого вышли все великие? Но это объясняется попросту незнанием проблем генеалогии. По некоторым подсчетам, все вообще французы начала XX века находились между собой не далее чем в седьмой степени родства (то есть являлись, по крайней мере, семиюродными братьями и сестрами). Для России, занимающей гораздо более обширное пространство и имеющей более сложную историю, чем Франция, эта степень, без сомнения, намного выше. Но внутри относительно замкнутой среды русского дворянства предельная степень родства была,

по-видимому, не так уж велика. Например, Лев Толстой, будучи шестиюродным братом Тютчева, в то же время был четвероюродным племянником Пушкина...

Обо всем этом важно говорить потому, что самая тема родства значила в начале XIX века неизмеримо больше, чем ныне. Тютчев конечно же с детства знал, что по материнской линии он состоит в родстве с Петром Андреевичем Толстым, одной из главных фигур внешней политики Петровской эпохи, и это порождало совершенно особенное, сугубо личное отношение к самой той эпохе. Одно из писем жене Тютчев начал словами: «Сегодня годовщина Полтавской битвы», — и как бы спохватившись, что он просто выговорил звучащие в этот день в глубине души слова, продолжал так: «...но не в том дело... Мое здоровье лучше, — ноги начинают опять ходить». Столь личное переживание истории, надо думать, могло сложиться только в том случае, если оно прививалось с детских лет.

По материнской линии Тютчев был теснейшим образом связан и с другим выдающимся дипломатом Петровской эпохи — графом Андреем Ивановичем Остерманом (1686—1747). Родной брат деда Екатерины Львовны Матвей Андреевич Толстой женился на дочери А. И. Остермана Анне Андреевне. А впоследствии, еще теснее скрепляя родственную связь, сестра отца Екатерины Львовны Анна Васильевна вышла замуж за сына того же Остермана, Федора Андреевича. Брак этот был бездетным, а мать Екатерины Львовны скончалась безвременно, оставив сиротами одиннадцать детей. И в результате Екатерина Львовна жила и воспитывалась в доме своей бездетной тетки, Анны Васильевны Остерман. В этом же доме постоянно гостил и двоюродный племянник хозяйки, то есть троюродный брат Екатерины Львовны, Александр Иванович Остерман-Толстой* — впоследствии один из славнейших полководцев Отечественной войны 1812 года, герой Бородина и Кульма. Он сыграл большую роль в судьбе Тютчева, о чем еще пойдет речь позже.

Родственные связи с выдающимися деятелями отечественной истории органически вплетались в жизнь «дворянских гнезд» и как бы открывали настежь двери в эту историю, делали ее неотъемлемой частью, звеном, стороной семейного бытия.

---

* *А. И. Остерман-Толстой* — внук Матвея Андреевича Толстого и Анны Андреевны Остерман; так как род Остерманов по мужской линии прервался, Александру Ивановичу было разрешено зваться двойным именем (дабы сохранить прославленную фамилию).

Федор Тютчев был вторым ребенком в семье. Брат его Николай родился двумя годами раньше, а в 1806 году родилась сестра поэта Дарья. У Тютчевых было еще трое сыновей — Сергей, Дмитрий и Василий, но они умерли в самом раннем возрасте. Высокая детская смертность была в то время обычным, неизбежным явлением. В одном из тютчевских стихотворений помянут «брат меньшой, умерший в пеленах». Речь идет, по-видимому, о Васе, родившемся в 1811 году и умершем, как сказали бы теперь, в трудных условиях эвакуации в Ярославле 1812 года.

Но в течение определенного времени в семье Тютчевых было шестеро детей, так что Федор вырастал в обычном для того времени семейном многолюдье. Кроме того, у Тютчевых жили родственные или дружественные семьи со своими многочисленными детьми. Словом, будущий поэт начинал жизненный путь в условиях семейной детской общины, и это создавало особенную атмосферу детства и отрочества, определявшую цельность восприятия жизни.

Неверно было бы думать, что окрестности Овстуга во времена детства и юности Тютчева являли собой некое темное захолустье. Становление того «среднего дворянства», о котором с таким уважением писал Белинский, быстро происходило и в этих местах. Уже говорилось о владельце Вщижа М. Н. Зиновьеве, вступившем в переписку с Карамзиным, и его дочери В. М. Фоминой, с детства знакомых Тютчеву. Другой овстугский сосед Тютчевых, владелец села Суздальцева С. Ф. Яковлев, написал трактат о проблемах политической экономии, изданный в Москве в 1853 году. Наконец, живший в тридцати верстах от Овстуга, в селе Дятькове, С. И. Мальцов был одним из самых выдающихся русских людей своего времени.

В Большой советской энциклопедии можно прочитать краткую информацию: «Сергей Иванович Мальцов (1810—1893) превратил брянский заводской округ в центр машиностроения. Здесь были изготовлены первые в России рельсы, паровозы, пароходы, винтовые движители и пр.».

Представитель одной из виднейших купеческих (позднее возведенных в дворянство) семей, подобной семье Строгановых или Демидовых, С. И. Мальцов начал свой жизненный путь блестящим гвардейским офицером. Но затем он круто изменил жизнь и, поселившись в своем брянском имении, занялся созданием высокоразвитой отечественной промышленности.

Исследователь брянского края Г. В. Метельский говорит о Мальцове: «Это был странный, одержимый человек... Его

называли маньяком, деспотом, самодуром, социалистом. О нем писали, что он, как простой мужик, забился в деревню, живет с рабочими и кормится с ними из одного котла, что он сам клал шпалы, рельсы, рубил и свозил лес для своей, Мальцовской железной дороги, тянувшейся через вотчину... двести четыре версты... У Мальцова была своя телефонно-телеграфная сеть, свои шлюзы, сделавшие судоходной обмелевшую Болву на расстоянии ста с лишним верст, свои бумажные деньги, свои пароходы, бегавшие не только по Болве, но и по всем водным путям России... свои школы, богадельни и церкви...

Ни один из его заводов не зависел от заграницы. Тут все было свое, русское... Инженеру, приехавшему из Англии посмотреть на “мальцовское чудо”, дали английский напильник и мальцовскую сталь; напильник стерся, а сталь осталась целой».

Да, в «мальцовской вотчине», на двадцати двух ее заводах осуществлялся весь промышленный цикл — от добычи сырья до создания точных приборов. Здесь же был произведен первый русский цемент. Квалифицированных мастеров готовили пятилетние мальцовские училища.

Для трудных работ был установлен — впервые в истории мировой промышленности — восьмичасовой рабочий день. Рабочие жили в каменных домиках городского типа с усадебной землей для сада и огорода. Впрочем, о Сергее Ивановиче Мальцове можно и нужно писать отдельную книгу.

Тютчев был знаком с Мальцовыми еще с детских лет. В университетские годы он сблизился с двоюродным братом Сергея Ивановича, И. С. Мальцовым, одним из «любомудров», впоследствии, как и Тютчев, ставшим дипломатом. Не раз Тютчев бывал у С. И. Мальцова в Дятькове, встречался с ним в Петербурге и за границей, обменивался письмами. И конечно, Мальцов был для него одним из замечательнейших земляков.

О той высокой ценности, которой обладал Овстуг в глазах Тютчева, ярко свидетельствует одно его размышление зрелых лет. Поэт был в тесных дружеских отношениях с выдающимся географом, историком, писателем, общественным деятелем Егором Петровичем Ковалевским и его братом Евграфом Петровичем — горным инженером, в 1820-х годах положившим начало освоению Донбасса, а позднее, в конце 1850-х — начале 1860-х годов, в качестве министра проводившим реформу народного просвещения. И вот как рассказывал Тютчев в письме жене о своей встрече с Ковалевскими в 1858 году:

«Прошлое воскресенье я мог себе вообразить, что нахожусь в близком соседстве Овстуга, у нашего приятеля Яковлева или у Веры Михайловны Фоминой, а я был всего в двадцати верстах от Петербурга у министра Ковалевского — в имении, доме и семье точно таких, какие встречаются в глухой русской провинции. Славные люди! Ты бы это оценила...»

Трудно представить себе более лестную характеристику — пусть косвенную — той жизни и тех людей, которые с детства окружали Федора Тютчева в Овстуге. Ведь из слов поэта следует, что овстугское бытие является для него своего рода мерилом человеческих ценностей.

Все отмеченные выше стороны овстугского бытия обусловили огромное, поистине неоценимое значение «малой родины» в духовной и душевной жизни Тютчева. Как уже говорилось, судьба поэта сложилась таким образом, что в юности он расстался с Овстугом на четверть века и, вернувшись в родную усадьбу лишь в 1846 году совершенно зрелым человеком, поначалу воспринял родные места даже с какой-то отчужденностью. Поселился Тютчев в Петербурге, и самые разные житейские и служебные обстоятельства постоянно препятствовали его поездкам в родное гнездо. Нельзя не сказать и о трудности пути; до прокладки железных дорог путешествие из Петербурга в Овстуг и обратно занимало полмесяца.

Тем не менее Тютчев хотя бы ненадолго — подчас всего лишь на десяток дней — выбирался в Овстуг через каждые полтора-два года. Он вынужден был прекратить эти регулярные поездки в Овстуг лишь с 1858 года, когда занял ответственный пост председателя Комитета цензуры иностранной.

В Овстуге и его окрестностях Тютчев создал более двух десятков прекраснейших своих творений (здесь следует напомнить о том, что поэтическое наследие Тютчева — особенно если не считать так называемых «стихотворений на случай» — количественно очень невелико). В 1854 году поэт писал жене:

«...Когда ты говоришь об Овстуге, прелестном, благоуханном, цветущем, безмятежном и лучезарном, — ах, какие приступы тоски по родине овладевают мною, до какой степени я чувствую себя виновным по отношению к самому себе, по отношению к своему собственному счастью... Но, увы, у меня в данную минуту в кармане нет ни копейки...»

Можно привести немало таких тютчевских высказываний. Через десяток лет, в 1863 году, Тютчев пишет о том же: «Когда ты говоришь об Овстуге, о благе, которое мне принесли

бы покой и свежесть, ожидающие меня там, — я совершенно разделяю твое мнение... Но, увы, как добраться до этого рая... Овстуг — непризнанный и столь мною пренебрегаемый. Ах, какое жалкое существо человек, — подобный мне человек!..

...Видел Полонского... Он в восторге от Овстуга и от своего пребывания у вас и жалеет только, что оно не продлилось недели и месяцы. Слушая его рассказы, я испытывал некоторую, даже большую зависть. В самом деле, я чувствую каждый день как бы тоску по родине, думая об этих местах, которыми я так долго пренебрегал...»

Только в конце жизни Тютчев обрел возможность постоянно навещать Овстуг, и с 1868 года он, вплоть до начала своей предсмертной болезни, приезжал на родину каждое лето.

Быть может, с наибольшей ясностью все значение Овстуга для Тютчева выразилось в том факте, что Овстуг как бы умер вместе с поэтом. Наследники Тютчева вывезли из усадьбы все, что представляло в их глазах ценность (вплоть до паркета, сделанного из ценных пород дерева; он настелен в усадьбе Мураново), и бросили свое родовое гнездо на произвол судьбы. Дом поэта пришел в запустение и к началу Первой мировой войны был разобран...

Глава вторая
МОСКВА

Весенний первый день лазурно-золотой
Так и пылал над праздничной Москвой...

Петербург, 1873

С самых ранних лет — не позднее чем с 1807 года — Федя Тютчев гостил и жил в Москве. Как уже говорилось, его мать выросла в доме бездетной сестры своего отца Анны Васильевны, жены графа Ф. А. Остермана. В этом доме, расположенном у Покровских ворот, в Малом Трехсвятительском переулке (дом 8, во дворе), и останавливались Тютчевы, приезжая из Овстуга в Москву. В 1809 году А. В. Остерман скончалась и завещала свой дом племяннице. Но дом был, по-видимому, тесен для разросшейся семьи, Тютчевы его продали и в конце 1810 года купили другой дом поблизости, в Армянском переулке, между Маросейкой и Мясницкой (сейчас — № 11). Подрастая, Федор Тютчев все чаще проводил зимние месяцы в Москве.

Следует обратить особое внимание на местоположение дома, в котором поселились Тютчевы. Эта часть города (составлявшая всего лишь одну сотую его тогдашней площади) была подлинным культурным центром Москвы, да и в значительной мере России в целом (позднее, в 1820—1840-х годах, вторым таким центром стал район Арбата).

В этом уголке Москвы, в своего рода ромбе, сторонами которого являются Маросейка и Покровка, Мясницкая, Старая и Новая Басманные, начиная с 1780-х годов селились крупнейшие деятели русской культуры конца XVIII — начала XIX века: Карамзин, Николай Новиков, Иван Дмитриев, поэт и директор Московского университета Херасков, его преемник на этом посту Иван Петрович Тургенев со своими впоследствии знаменитыми сыновьями Александром и Николаем, дипломат и писатель Иван Муравьев-Апостол, отец трех выдающихся декабристов, и многие другие. У этих людей постоянно бывали или даже жили не имевшие собственных домов в Москве молодые Жуковский, Батюшков и Мерзляков.

Сеть переулков вокруг расположенных в этой местности Чистых прудов, около Красных Ворот и в Басманной слободе была как бы вся пронизана культурными токами. Именно здесь находились и дома, вернее, дворцы виднейших собирателей ценностей культуры; здесь жили сподвижник Ломоносова граф Иван Шувалов, князь Николай Юсупов, создавший знаменитую усадьбу Архангельское, граф Алексей Мусин-Пушкин, который открыл рукописи Лаврентьевской летописи и «Слова о полку Игореве», граф Дмитрий Бутурлин, собравший библиотеку мирового значения (которая, к несчастью, как и собрание Мусина-Пушкина, сгорела в 1812 году), граф Николай Румянцев, чьи сокровища стали позднее основой библиотеки, носящей ныне имя В. И. Ленина, и Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, и т. д.

Поистине закономерно, что не где-нибудь, а именно в этом московском районе прошли детство и первые отроческие годы Пушкина. В одно время с Тютчевыми вокруг Чистых прудов и Красных Ворот жили Веневитиновы и Киреевские (их дом, «привольная республика у Красных ворот», в течение ряда лет был едва ли не главным средоточием московской культурной жизни), Владимир Одоевский и Николай Языков, Грибоедов и Чаадаев, Федор Глинка и Иван Козлов. В 1814 году у Красных Ворот родился Лермонтов.

Да и хозяин дома, который купили Тютчевы, князь Иван Гагарин, был высокообразованным человеком, постоянно

общавшимся с Карамзиным, Дмитриевым, И. П. Тургеневым. Сын Ивана Гагарина, Григорий, учившийся вместе с Жуковским, стал почетным членом знаменитого литературного общества «Арзамас» (наряду с Карамзиным и Дмитриевым), а впоследствии — видным дипломатом. В 1833 году он был назначен русским посланником в Баварии, где служил тогда Тютчев. Поэт высоко ценил этого — к сожалению, недолгого (Г. И. Гагарин скончался в 1837 году) — своего начальника.

Внук Ивана Гагарина, названный также — в честь деда — Иваном, станет в 1830-х годах близким другом Тютчева и передаст его стихи для публикации в пушкинский журнал «Современник». Общался Тютчев и с двумя другими внуками Гагарина — Григорием, известным художником, иллюстрировавшим, в частности, сочинения Пушкина и Лермонтова, в 1860-х годах — вице-президентом Академии художеств, и Сергеем, впоследствии директором московских театров.

Но все это в будущем; сейчас нам важно увидеть только, как в самом доме Тютчевых завязываются важные узлы грядущей судьбы поэта.

Дом Гагарина, построенный в 1780-х годах по проекту молодого Казакова, достался Тютчевым потому, что в 1810 году старый князь Иван скончался; сыновья его жили в Петербурге, а для оставшихся в Москве дочерей дом был, вероятно, слишком обширен. В семье же Тютчевых к тому времени родилось пятеро детей и уже ожидали шестого. Позднее Тютчевы поселили в своем большом доме родственные семьи и даже сдавали внаем часть помещений.

Гагаринский дом, которым Тютчевы владели двадцать с лишним лет, к счастью, сохранился. Как обитель отрочества и юности Тютчева и как звено в той культурной цепи, которая проходила в 1780—1820-х годах через городское пространство между Маросейкой и Мясницкой, дом этот является ценнейшим московским памятником.

В доме Тютчевых бывали Жуковский, Мерзляков, братья Тургеневы. Семья Тютчевых, подобно семье Пушкиных, была тесно вплетена в ту цепь московских семей, благодаря которой в очень значительной степени сложилась великая культура двадцатых-тридцатых годов XIX века. И Тютчев еще мальчиком, а потом и юношей постоянно соприкасался в этом уголке Москвы с людьми, зданиями, книгами, произведениями искусства, так или иначе воплощавшими в себе творчество новой русской культуры.

Но Москва была ценна и необходима для будущего поэта не только как средоточие современного культурного творчества. Мы еще со всей ясностью увидим, сколь громадное

значение имела в духовной судьбе Тютчева история России, которую он позднее, в зрелые годы, понял как одно из главных, основных русел всемирной истории. И нет сомнения, что изначальная — и потому незыблемая — основа глубочайшего и безгранично широкого исторического сознания, присущего поэту, закладывалась и на знакомых еще с детских лет московских улицах и переулках, насыщенных исторической памятью.

Прямо напротив тютчевского дома, на углу Армянского и Малого Златоустинского переулков, находилась усыпальница боярина Артамона Матвеева, одного из крупнейших деятелей XVII века, начальника Посольского приказа. За ней, в глубине переулка — Златоустинский монастырь, основанный Иваном III в честь своего святого — Иоанна Златоуста. Дальше проходила стена Китай-города. И если пойти влево вдоль стены, выйдешь к церкви Всех Святых на Кулишках, воздвигнутой на том месте, где войско Дмитрия Донского, в рядах которого был и Захарий Тютчев, прощалось с Москвой, уходя на Куликово поле. Если же идти вдоль стены вправо — окажешься на углу Лубянки и Кузнецкого Моста, у Введенской церкви, на паперти которой в 1611 году был ранен в бою с полчищами Лжедмитрия II князь Пожарский.

Но прогулки совершались и в другую сторону от дома — к Чистым прудам. Здесь стоит Меншикова башня, построенная знаменитым сподвижником Петра. Подале, за прудами — легендарный охотничий дворец Ивана Грозного, а еще дальше, за Садовой, — церковь Никиты Мученика, при которой обитал опасный собеседник грозного царя — Василий Блаженный.

И это только несколько из овеянных еще живыми тогда преданиями исторических памятников, окружавших дом Тютчевых, — памятников, которые поэт не мог не узнать еще в раннем отрочестве. Нельзя не упомянуть и о том, что самый дом Тютчевых в Армянском переулке состоит — как выяснилось в ходе его реставрации — из архитектурных напластований трех столетий! Казаков в 1780-х годах воздвигал классицистическое здание по сути дела как надстройку на белокаменных палатах XVI века и кирпичных галереях XVII века. Так что и внутри тютчевского дома все дышало историей. И трудно сомневаться в том, что мощное и предельно обостренное чувство Истории, определяющее и сознание, и всю деятельность зрелого Тютчева, в немалой степени зависело от прочитанных в отроческие годы страниц каменной книги Москвы.

Как уже говорилось, отец Тютчева в годы отрочества и юности поэта служил смотрителем «Экспедиции Кремлевского строения»; он часто брал сына с собой в Кремль и конечно же рассказывал ему о великих памятниках отечественной истории, находящихся здесь.

Из многих писем Тютчева известно, что и в зрелые годы, и даже в старости, приезжая в Москву, он каждый раз заново с удивительной силой и остротой воспринимал ее проникнутый историей лик. В 1843 году он писал жене из Москвы: «Больше всего мне хотелось бы показать тебе самый город в его огромном разнообразии... Как бы ты почуяла наитием то, что древние называли духом места; он реет над этим величественным нагромождением, таким разнообразным, таким живописным. Нечто мощное и невозмутимое разлито над этим городом».

Сквозь предметы, лица и события современной ему Москвы Тютчев всегда прозревал прошлое. В 1856 году он присутствовал на торжествах по случаю коронации Александра II, когда, по его словам, собралось «в залах Кремлевского дворца не то пятнадцать, не то двадцать тысяч душ», и так рассказывал о своих впечатлениях: «Должен признаться, что все это движение, весь этот блеск, все это величественное зрелище и символическая пышность, все это представляется мне сном... Вот, например, старуха Разумовская и старуха Тизенгаузен (я называю их, потому что они — последние, с кем я говорил)... а в двухстах шагах от этих залитых светом зал, переполненных столь современной толпой, там, под сводами, — гробницы Ивана III и Ивана IV. Если можно было бы предположить, что шум и отблеск того, что происходит в Кремле, достиг до них...»

Конечно же такое переживание Москвы зарождалось в Тютчеве еще в самые ранние годы (в восприятии Тютчева, заключенном в этих письмах, явно сохраняется атмосфера юной непосредственности). И оно, это переживание, безмерно усилилось тем, что история во всем ее грозном величии вторглась в Москву через полтора года после того, как Тютчевы поселились в своем доме в Армянском переулке.

1812 год. Иван Аксаков писал, что Отечественная война не могла не оказать «сильного непосредственного действия на восприимчивую душу девятилетнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере в немалой степени, его преждевременному развитию, — что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах (имеются в виду,

очевидно, такие сверстники Тютчева, как Языков, Хомяков, Шевырев. — *В. К.)* зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить?».

Мы не знаем подробностей жизни Тютчева в грозную годину. Иван Аксаков, много лет постоянно общавшийся с поэтом, не без горечи замечает: «Нам никогда не случалось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године...» Известно только, что при приближении наполеоновской армии к Москве Тютчевы выехали в Ярославль, туда же, куда Лев Толстой отправит своих Ростовых. И по всей вероятности, Тютчевы испытали все то, что с присущим ему проникновенным чутьем воссоздал в своей эпопее Толстой.

Кстати сказать, Тютчев не сообщал «никаких воспоминаний» о своей частной, личной судьбе в 1812 году, по-видимому, не придавая своим отроческим переживаниям всеобщего значения. Но о судьбе России в Двенадцатом году он поведал со всей глубиной и мощью и в стихах, и в своей политико-философской прозе. И написанное им об Отечественной войне ясно свидетельствует, что великое испытание, выпавшее его Родине, было пережито им так цельно, так глубоко лично, как это бывает только при непосредственном восприятии исторических событий.

Тринадцатого июня 1843 года, на другой день после того, как исполнился тридцать один год с момента вторжения наполеоновских войск в Россию, Тютчев в письме своей жене Эрнестине Федоровне предложил ей прочитать книгу с описанием Москвы (где она еще не бывала), «чтобы составить себе верное представление о городе, который тридцать один год назад был свидетелем похождений Наполеона и моих». Эта внешне шутливая фраза все же достаточно убедительно свидетельствует о том, что Тютчев навсегда сохранил в памяти свои «похождения» в Москве 1812 года...

В замечательном тютчевском стихотворении «Неман» (1853), воссоздающем само вторжение Наполеона в Россию, как бы воскресает изначальное, отрочески-потрясенное переживание события 12 июня:

Победно шли его полки,
Знамена весело шумели,
На солнце искрились штыки,
Мосты под пушками гремели —
И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними
И двигал всем и все стерег
Очами чудными своими...

Лишь одного он не видал...
Не видел он, воитель дивный,
Что там, на стороне противной,
Стоял Другой — стоял и ждал...
И мимо проходила рать —
Все грозно-боевые лица.
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать...

И так победно шли полки,
Знамена гордо развевались,
Струились молнией штыки,
И барабаны заливались...
Несметно было их число —
И в этом бесконечном строе
Едва ль десятое чело
Клеймо минуло роковое...*

Своего рода мифотворческое видение всемирно-исторической схватки наполеоновской армии и России сложилось, надо думать, еще в отроческом сознании, за тридцать лет до создания стихотворения «Неман». Ибо вообще условием подлинно великого искусства является способность собрать воедино в творческом порыве всю полноту человеческого бытия — от детской, ничем не ограниченной свободы воображения до спокойной, уже как бы отрешенной умудренности старика.

В тридцать лет Тютчев уже смог написать:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

Но он же писал, приблизившись к семидесяти годам:

Впросонках слышу я — и не могу
Вообразить такое сочетанье,
А слышу свист полозьев на снегу
И ласточки весенней щебетанье, —

воплощая поистине младенческую цельность и вольность восприятия жизни.

И те слова, которые зрелый Тютчев сказал о Двенадцатом годе, позволяют нам думать о потрясенном отроческом восприятии «роковой године», отозвавшемся и в приведенных стихах 1853 года.

---

* Речь идет о том, что лишь примерно одна десятая наполеоновского войска вернулась обратно из-за Немана.

Характерно, что, посылая жене стихи о переходе Наполеона через Неман, Тютчев советовал, дабы «их уразуметь... вспомнить картинки, так часто попадающиеся на постоялых дворах и изображающие это событие». Ясно, что лубочное воссоздание этого события как раз и соответствовало отроческому восприятию...

...Пожар, полыхавший без малого неделю, с 3 по 8 сентября 1812 года, уничтожил 7632 из 9151 московского дома. Основная часть города, в пределах Садового кольца, сгорела почти целиком. Но тютчевский дом уцелел. И это не было случайностью. Говоря об уголке Москвы, где поселились Тютчевы, мы пока не коснулись одной его особенности. Район между Маросейкой и Мясницкой издавна был пристанищем и иноземных посольств, и русских дипломатов. Еще в XVI веке в самом начале Мясницкой стоял Английский двор, в котором жили и торговали купцы из Лондона. Как уже было упомянуто, прямо против тютчевского дома находился дом начальника Посольского приказа (то есть, по-нынешнему, министра иностранных дел) при Алексее Михайловиче, Артамона Матвеева. В двух шагах отсюда на Маросейке доныне стоит усадьба Николая Румянцева, министра иностранных дел в 1807—1814 годах. По другую сторону Маросейки, в Колпачном переулке, — дом Емельяна Украинцева, начальника Посольского приказа в первые годы царствования Петра Великого; в тютчевские времена в этом доме помещался знаменитый Архив коллегии иностранных дел, где поэт наверняка бывал (здесь, кстати сказать, служили многие его соученики по Московскому университету).

Словом, есть нечто символическое в том, что Тютчев, будущий дипломат, вырос в «посольском» районе Москвы. Но, помимо того, в Армянском переулке началась еще одна линия судьбы Тютчева, прошедшая через всю его жизнь. Именно между Маросейкой и Мясницкой с давних времен размещались представительства целого ряда народов, которые впоследствии вошли в состав России. Здесь находилось Малороссийское (Украинское) подворье, как раз и давшее название улице Маросейке (первоначально — Малоросейка); поблизости стоит и поныне дом украинского гетмана Мазепы, перебежавшего накануне Полтавской битвы к Карлу XII. В начале Мясницкой улицы в XVIII веке жил грузинский царь Вахтанг VI, вынужденный покинуть родину из-за персидских и турецких нашествий.

А в ближайшем соседстве с тютчевским домом находилось своего рода представительство армянского народа. В XVII веке Армянский переулок назывался Артамоновским (по имени жившего здесь, как мы уже не раз упоминали, Артамона Матвеева); в XVIII веке его называли Никольским или Столповым — по стоявшей напротив тютчевского дома церкви Николы в Столпах; в самом конце XVIII — начале XIX века переулок стал зваться Армянским. Еще в середине XVIII века здесь поселился знаменитый армянский купец и общественный деятель, родоначальник прославленной семьи Л. Н. Лазарев (Лазарян). Семья Лазаревых вместе с другими переехавшими из захваченной персами и турками родины в Россию армянскими родами (Абамелеки, Бебутовы, Ахшарумовы, Меликовы, Аргутинские, Деляновы и др.) сыграла громадную роль в присоединении Армении к России, совершившемся в 1828 году. Но и до этого три поколения семьи Лазаревых дали России выдающихся граждан, деятелей промышленности и культуры.

Владения Лазаревых занимали большую часть нынешнего Армянского переулка; еще в 1779 году они построили здесь григорианскую церковь. Тютчевы были не просто ближайшими соседями Лазаревых, они обрели с ними самую тесную дружбу. Через много лет, в 1854 году, Тютчев писал жене о Христофоре Лазареве, что он «давнишний друг нашей семьи... и совершенно особенным образом расположен к нам».

Христофор Лазарев (1789—1871), как и его братья — Артемий, геройски павший в Битве народов под Лейпцигом, Иван, Лазарь — и зять (муж сестры) Давид Абамелек, сражался с наполеоновскими захватчиками в Отечественной войне 1812 года.

Тютчев знал Христофора Лазарева с детства, а впоследствии прожил около двадцати лет в его петербургском доме на Невском проспекте. Он был также особенно дружен с племянницей (дочерью сестры) Лазарева, Анной Абамелек, известной в свое время поэтессой и переводчицей, которой посвятили восторженные стихи Пушкин, Лермонтов, Вяземский, Иван Козлов; Анна Давидовна перевела на английский язык несколько стихотворений Тютчева. В 1835 году она вышла замуж за брата Евгения Боратынского Ираклия. Жила она и после замужества у своего дяди Христофора, в одном доме с Тютчевым. Словом, дружеские отношения с Лазаревыми и родственной им армянской семьей Абамелеков Тютчев действительно пронес через всю жизнь.

В том самом 1810 году, когда Тютчевы поселились в Армянском переулке, семья Лазаревых начала подготовку к

строительству знаменитого впоследствии Лазаревского института восточных языков, надолго ставшего средоточием всей армянской культуры и внесшего большой вклад в русскую культуру (особенно в русское востоковедение). Здание института и поныне находится в Армянском переулке (дом 2) наискосок от тютчевского дома.

Тютчев с ранних лет, без сомнения, не раз бывал и в институте, и в доме Лазаревых, и, надо думать, уже тогда зарождалось в поэте то глубокое внимание к Востоку, особенно к православному Востоку, которое так сильно выразилось позднее в его стихах и размышлениях.

Весь армянский район Москвы, о чем уже упоминалось, сохранился во время страшного пожара 1812 года. В «Материалах для истории Лазаревского института» об этом сказано: «Приближенный императора Наполеона, некто из армян, любимый мамелюк Рустан, испросил у Наполеона повеление, чтобы весь квартал, от Покровки до Мясницкой улицы, и все то, что принадлежит армянской церкви, было сохранено... для чего были повеления и поставлены военные французские караулы».

Едва ли Наполеоном руководила особенная любовь к своему мамелюку; не следует забывать, что император намеревался, покорив Россию, идти на Восток, в Индию, и ему ни к чему было заранее восстанавливать против себя один из народов Закавказья. Кроме того, в тех же «Материалах» отмечено, что «усердие и бдительность некоторых пребывающих в Москве тогда армян и еще соседей (по-видимому, и тютчевских людей, остававшихся в доме. — *В. К.*) отвратили бедствия пожара, и тем единственно спасена была эта часть древней столицы».

И тут, вероятно, главная разгадка. Как уже говорилось, четверо Лазаревых в это самое время сражались с французами в русской армии; но «некоторые пребывающие в Москве армяне» имели возможность предстать перед оккупантами в качестве иноземцев, оберегающих свое особенное достояние.

Так или иначе, дом Тютчевых — один из немногих в центральной части Москвы — уцелел, и хозяева возвратились в него из Ярославля. Кстати сказать, подмосковная усадьба Тютчевых, Троицкое, расположенная в двух шагах от Калужской дороги, по которой наполеоновские войска уходили из Москвы, была ими жестоко разорена.

Отечественная война 1812 года во всем многообразии ее проявлений оказала на Тютчева громадное воздействие, которое нельзя переоценить. Она во многом определила основы его миросозерцания, его восприятие и понимание Рос-

сии и Европы, истории и народа, а в известном смысле даже и миропорядка в целом. П. А. Флоренский справедливо говорил о формировании тютчевского мировоззрения: «Крушение наполеоновской системы — отсюда сознание тщеты и мимолетности человеческих индивидуальных усилий и мощи неизменной природы».

Могут возразить, что Тютчев был слишком мал, чтобы по-настоящему воспринять трагедию и героику Отечественной войны; как уже было отмечено, он никогда не рассказывал о своих переживаниях этого времени. Но сохранились воспоминания (изданные единственный раз за границей — в 1884 году) человека одного поколения с Тютчевым — А. И. Кошелева, видного впоследствии общественного деятеля. Кошелев был к тому же в начале 1820-х годов участником тех же самых юношеских кружков, что и Тютчев, и знал его лично.

Кошелев передал воспоминания своего детства так: «В день вступления Наполеона в Москву мы выехали из подмосковной в Коломну... Большая дорога от Бронниц до Коломны была запружена экипажами, подводами, пешими, которые медленно тянулись из белокаменной. Грусть была на всех лицах; разговоров почти не было слышно; мертвое безмолвье сопровождало это грустное передвижение... Воспоминание об этом — не скажу путешествии — о странном, грустном передвижении живо сохранилось в моей памяти и оставило во мне тяжелое впечатление.

В Коломне мы не могли оставаться, как потому, что негде было жить, так и потому, что мародеры французские показывались уже между Бронницами и Коломною. По получении известий о московских пожарах, отец мой решился ехать в Тамбов, где жил родной его брат... Из Коломны опять почти все разом тронулись и на перевозе через Оку была страшная давка, толкотня и ужасный беспорядок. Во все время нашего переезда до Тамбова слухам, россказням не было конца; казалось, что Наполеон идет по нашим пятам. В Тамбове мы, наконец, поселились как должно; и тут матушка и сестра мои выучили меня читать и писать по-русски. Помню, мне было ужасно досадно, что меня не пускали в армию, и я постоянно спрашивал у матери: скоро ли мне можно будет идти на Бонапарта?

Из пребывания нашего в Тамбове осталось у меня в памяти общая грусть, причиненная успехами Наполеона, а впоследствии — общая радость при получении известия об отступлении, а потом о поражении и бегстве врага. В декабре мы возвратились в нашу подмосковную, где в доме, подвалах, сараях и пр., нашли все разграбленным...

Весною отец и мать поехали в Москву и меня взяли с собою. Обгорелые стены каменных домов; одинокие трубы, стоявшие на местах, где были деревянные строения: пустыри и люди, бродящие по ним, — все это меня так поразило, что доселе сохраняю об этом живое воспоминание...»

Нет сомнения, что Тютчев, который был на два с половиной года старше Кошелева, пережил все это еще более сильно и глубоко.

Стоит вспомнить, что дорога из Москвы в Ярославль, по которой в 1812 году двигалась семья Тютчевых, проходит через Троице-Сергиеву лавру, где в 1380 году Дмитрий Донской принял благословение Сергия Радонежского на Куликовскую битву, через Переславль-Залесский — родину Александра Невского, через Ростов Великий... В грозовом свете Отечественной войны, без сомнения, с особенной силой предстала перед отроком Тютчевым историческая память, воплощенная в башнях и соборах этих городов. Той же дорогой Тютчевы возвращались в Москву, что было, вероятнее всего, в конце ноября 1812 года, после получения известий о сокрушительном разгроме наполеоновской армии при Березине (14—16 ноября). 28 ноября были именины Феди, названного в честь скончавшегося в этот день в 1394 году выдающегося исторического деятеля эпохи Куликовской битвы, ставшего одним из героев «Сказания о Мамаевом побоище», Феодора Ростовского — племянника и воспитанника Сергия Радонежского. Феодор основал Симонов монастырь в Москве, накануне Куликовской битвы стал духовником Дмитрия Донского, а в 1387 году — архиепископом Ростовским. Быть может, именно в Ростове, по дороге в Москву, встретил Федя Тютчев свои именины, и в родительских рассказах о Феодоре Ростовском предстала и слилась с сегодняшним великим испытанием полутысячелетняя даль родной истории...

Но, конечно, реальные плоды тютчевского переживания и осмысления эпопеи 1812 года созрели позже, в 1830—1840-х годах. Поэтому речь о них должна идти в соответствующих главах книги. Будем только постоянно помнить о том, что на пороге сознательной жизни Тютчев пережил великое, даже величайшее действо истории, определившее и очень быстрое созревание, и серьезность отроческих чувств и стремлений.

Вскоре после возвращения в Москву началась, так сказать, новая эпоха в жизни Феди Тютчева — годы учения. К этому времени он с помощью родителей и своего «дядьки» Хлопова уже приобщился к русской грамоте, начаткам за-

падных языков, первым сведениям по истории и географии, основам христианского учения. Но теперь в дом Тютчевых на шесть лет вошел поистине замечательный наставник — Семен Егорович Раич.

Впрочем, прежде чем говорить о Раиче и его роли, необходимо отметить, что едва ли мог бы вырасти подлинный поэт из мальчика, который с десятилетнего возраста был погружен в книги, тетради и лекции. Годы учения Тютчева являли собой живые и полнокровные отрочество и юность, прошедшие в обширном кругу сверстников из родственных и знакомых семей, а также крестьянских детей.

До нас дошли крайне скупые сведения об этом периоде жизни будущего поэта. Сохранилось письмо, где Тютчев через тридцать лет с трогательным чувством вспоминал о детских балах, устраивавшихся в московском доме, балах, для которых его сестра Дашенька «тщательно составляла пригласительные списки». Упоминание об этом опять-таки невольно обращает нас к «Войне и миру», где воссоздан, в частности, детский бал в Москве начала XIX века. Бывали юные Тютчевы и на детских балах в доме князей Трубецких, у Покровских ворот, — доме в стиле пышного барокко (и сегодня украшающем Москву), получившем прозвание «комод»; на этих балах бывал и мальчик Пушкин.

Сохранились свидетельства о том, что Тютчевы жили в Москве по присущим ей бытовым канонам — жили открыто, широко, хлебосольно. Семья целиком предавалась ритуалам праздников, крестин, свадеб, именин. Тем более что в просторном тютчевском доме всегда обитало, как уже говорилось, множество родственников, гостей, жильцов.

Вошедший в дом Тютчевых С. Е. Раич (до этого он, кстати сказать, два года был домашним учителем в семьях сестер отца поэта — А. Н. Надоржинской и Н. Н. Шереметевой) ни в коей мере не стеснял отроческой свободы своего воспитанника; он был человеком живого и открытого характера, чуждого какого-либо педантизма. Вообще можно с большими основаниями утверждать, что Семен Егорович оказался своего рода идеальным наставником будущего поэта. Особенно существенно то, что Раич, будучи всего на одиннадцать лет старше своего воспитанника, развивался и обретал зрелость вместе, заодно с ним.

Семен Егорович родился в 1792 году в селе Рай-Высокое недалеко от Орла, в семье местного иерея Е. Н. Амфитеатрова. Его ждал традиционный путь сына священника. К восемнадцати годам он окончил Орловскую духовную семинарию (в городе Севске), где, согласно обычаю, взял себе

новую фамилию — явно по названию родного села — Раич. Старший брат Семена Егоровича, триумфально пройдя по тому же пути, достиг сана митрополита (Киевского). А Раич, отчасти в силу рано зародившейся страсти к поэзии (он уже в семинарии сочинял стихи), отчасти по причине слабого здоровья, которое было несовместимо с напряжением повседневных церковных служб, после окончания Орловской семинарии стал канцеляристом в суде подмосковного города Руза, а вскоре решил избрать поприще домашнего учителя и одновременно готовиться к поступлению в Московский университет.

Даровитый выпускник одной из лучших тогдашних семинарий, Раич в совершенстве овладел древнегреческим и латинским языками и превосходно знал классическую поэзию Античности. На основе латыни он освоил итальянский язык и стал одним из лучших в России того времени знатоков поэзии Данте, Петрарки, Ариосто, Тассо. Кроме того, Раич свободно владел церковнославянским языком — то есть литературным языком Древней Руси — и был восторженным поклонником русской поэзии XVIII века во главе с Державиным.

Свое знание фундаментальных основ европейской и русской литературы Раич передал ученику. Через много лет Раич рассказывал о начале своих отношений с Федей Тютчевым: «Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня; года через три (то есть к 1816 году. — *В. К.*) он уже был не учеником, а товарищем моим, — так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум».

Раич избирал для своего еще очень юного воспитанника плодотворнейшие «методы» преподавания. Он сам «с удовольствием» вспоминал «о тех сладостных часах, когда, бывало, весною и летом, живя в подмосковной (уже упомянутое село Троицкое по Калужской дороге. — *В. К.*), мы вдвоем с Ф. И. выходили из дому, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение...». Федор, как свидетельствует Раич, «по тринадцатому году переводил уже оды Горация с замечательным успехом».

И главное, пожалуй, состояло в том, что учились в равной мере оба — и десятилетний воспитанник, и двадцатилетний наставник. В 1815 году Раич поступил вольнослушателем в Московский университет и через год-полтора стал брать с собой Федора на лекции Мерзлякова и других профессоров. Окончив последовательно два отделения универ-

ситета — этико-политическое и словесное (последнее он окончил на полгода позднее своего ученика Тютчева), — Раич окунулся в многогранную деятельность: преподавал словесность в Университетском благородном пансионе (где одним из его учеников оказался Лермонтов), издавал литературный журнал «Галатея» и альманах «Северная лира», много переводил (главным образом древнеримских и итальянских поэтов), публиковал стихотворения и поэмы, наконец, состоял членом декабристского Союза благоденствия.

Семен Раич не был выдающимся писателем (хотя его стихи, переводы, издания вошли в качестве неотъемлемой части в русскую литературу 1820—1830-х годов). Но столь же несомненно, что Раич сыграл выдающуюся роль как литературный деятель, как своего рода инициатор, родоначальник целого периода в развитии русской литературы и, шире, культуры. Те черты его характера и его отношение к искусству и культуре, которые оказали плодотворнейшее воздействие на юного Тютчева, ярко проявились и в его взаимосвязях со множеством молодых писателей, ученых, мыслителей, начавших свой путь на рубеже 1810—1820-х годов.

Тютчев высоко ценил своего наставника-друга и посвятил ему два стихотворения. Первое из них, написанное в шестнадцать лет, приветствует завершение долгого и поистине творческого труда Раича, переводившего поэму Вергилия «Георгики». Стихотворение построено юным стихотворцем согласно общепринятым тогда условным канонам поэтического «послания», но сквозь них слышна непосредственность и сила чувств:

...Ты рассек с отважностью и славой
Моря обширные — своим рулем, —
И днесь, о друг, — спокойно, величаво
Влетаешь в пристань с верным торжеством.
Скорей на брег — и дружеству на лоно
Склони, певец, склони главу свою —
Да ветвию от древа Аполлона
Его питомца я увью...

Поводом для второго стихотворения, написанного Тютчевым через три года, послужила защита Раичем магистерской диссертации. Здесь Тютчев как бы делает смотр стремлениям и делам Раича, говоря в том числе и о его участии в деятельности Союза благоденствия:

Как скоро Музы под крылом
Его созрели годы —
Поэт, избытком чувств влеком,
Предстал во храм Свободы...

Стихи завершает многозначительная строфа:

Ум скор и сметлив, верен глаз,
Воображенье — быстро...
А спорил в жизни только раз —
На диспуте магистра.

Раич, очевидно, очень дорожил этим посланием; через пять лет, когда Тютчев уже служил за границей, оно было опубликовано в журнале «Атеней», который издавал близкий Раичу профессор Московского университета М. Г. Павлов. Трудно сомневаться в том, что стихи передал в журнал сам Раич; кстати сказать, он был чужд какой-либо нескромности, и стихотворение в журнале появилось под названием «К NN», а не «К Раичу».

Иван Аксаков записал воспоминания знавших юного Тютчева людей: «Все свойства и проявления его детской природы были окрашены какою-то особенно тонкою, изящною духовностью. Благодаря своим удивительным способностям, учился он необыкновенно успешно... Уже и тогда нельзя было не заметить, что учение не было для него трудом, а как бы удовлетворением естественной потребности знания».

В том, что Тютчев с самых ранних лет, как сообщает Иван Аксаков, «постоянно расширял кругозор своей мысли и свои познания, которым так дивились потом и русские, и иностранцы», не было и тени какого-либо искусственного напряжения: «Он только свободно подчинялся влечениям своей, в высшей степени интеллектуальной, природы. Он только утолял свой врожденный, всегда томивший его умственный голод».

Так, в частности, «Тютчев обладал способностью читать с поразительною быстротою, удерживая прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому и начитанность его была изумительна... Эту привычку к чтению Тютчев... сохранил до самой своей предсмертной болезни, читая ежедневно... все вновь выходящие сколько-нибудь замечательные книги русской и иностранной литератур, большею частью исторического и политического содержания».

Князь И. С. Гагарин, который был близким другом Тютчева позднее, в пору его тридцатилетия, и тоже испытывавший страсть к знанию, в своих кратких воспоминаниях отмечал: «Тютчев много читал и он умел читать, т. е. умел выбирать, что читать, и извлекать из чтения пользу».

М. П. Погодин (ему тогда было уже около двадцати) записал в своем дневнике о встрече с шестнадцатилетним Тютчевым: «Ходил в деревню (Троицкое под Москвой. —

В. К.) к Ф. И. Тютчеву, разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде, Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо». Позднее Погодин, движимый уязвленным нравственным чувством, каялся в том же дневнике: «Тютчев дал мне недели две тому назад воспоминания Шатобриана и спросил, прочел ли я. Я, не принимавшись за нее (книгу. — *В. К.*), но совестясь, что она лежит у меня долго, отвечал да, что она мне понравилась и пр. ...Еще он сказал, что ему не нравится смерть Элоизы у Руссо, я, не читав ее, сказал да...»

У Тютчева очень рано проявилась склонность к литературному труду. Как уже говорилось, Раич свидетельствовал, что «по тринадцатому году он переводил уже оды Горация с замечательным успехом». Ранние тютчевские переводы не сохранились, но до нас дошло написанное именно «по тринадцатому году» стихотворение «На новый 1816 год», в котором о завершившемся годе сказано:

Как капля в Океан, он в Вечность погрузился...

О Время! Вечности подвижное зерцало! —
Все рушится, падет под дланию твоей!..
Сокрыт предел твой и начало
От слабых Смертного очей!..

Пустынный ветр свистит в руинах Вавилона!
Стадятся звери там, где процветал Мемфис!
И вкруг развалин Илиона
Колючи терны обвились!..

Конечно, стихи эти пронизаны отзвуками поэзии Ломоносова, Державина, молодого Карамзина. И все же нет сомнения, что для двенадцатилетнего автора начала XIX века такие стихи были достижением. Естественно было предположить, что в самом ближайшем будущем он станет настоящим поэтом. Однако развитие Тютчева оказалось значительно более сложным. До конца 1820-х годов он сочинил всего несколько стихотворений (не считая переводов), которые к тому же в большинстве своем представляли собой так называемые «стихи на случай» (то есть являлись стихотворными откликами на какое-либо событие или явление).

Тютчев явно не торопился стать поэтом, — несмотря на то, что первые же его опыты встретили самый благоприятный прием. Стихи «На новый 1816 год», по-видимому, попали в руки поэта (создателя славной песни «Среди долины

ровныя...») и университетского профессора Мерзлякова, и он прочитал их в Обществе любителей российской словесности при Московском университете. Юный стихотворец был сразу же избран сотрудником общества. Позднее, в начале 1819 года, в печатных «Трудах» общества появилось тютчевское вольное переложение «Послания Горация к Меценату...»; Тютчеву в то время исполнилось всего лишь пятнадцать лет. Предание донесло до нас, что «это было великим торжеством для семейства Тютчевых и для самого юного поэта». Затем в университетских изданиях были напечатаны еще три переводных и одно оригинальное стихотворение Тютчева.

Казалось бы, столь поощряемый юноша должен был целиком отдаться стихотворчеству. Но этого не произошло. А вот когда ему уже было за двадцать пять лет, он сразу выступил как зрелый и самобытный поэт, более того, как великий поэт... До этого он многие годы отдавался другому — всестороннему и глубокому освоению мировой культуры. Уже цитированная погодинская запись о беседе с Тютчевым свидетельствует о широте его интересов. Он не расставался с книгами. Вот еще одна запись того же Погодина о юном Тютчеве: «Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку (именно таким Федор предстает на портрете начала 1820-х годов. — *В. К.*) в зелененьком сюртучке, лежит он, облокотясь, на диване и читает книгу. Что это у вас? Виландов Агатодемон».

Выше приводились стихи девятнадцатилетнего Тютчева, где сказано, что Раич «спорил в жизни только раз — на диспуте магистра». Здесь проходит резкая грань между наставником и учеником. Тютчев вроде бы восхищается доброжелательностью и кротостью Раича, который вступил в спор лишь в той ситуации, когда было, как говорится, положено спорить. Но сам Тютчев с юных лет и до смертного одра вел горячие споры с бесчисленными оппонентами.

В погодинском дневнике есть запись о восемнадцатилетнем Федоре: «Тютчев имеет редкие, блестящие дарования, но много иногда берет на себя и судит до крайности неосновательно и пристрастно».

Оставим выражение «неосновательно» на совести хроникера; ведь Погодин сам свидетельствует, что Тютчев уже в юности обладал чрезвычайно основательными знаниями. Что же касается выражений «много берет на себя» и «судит до крайности... пристрастно», они могут обозначать совершенно разные, противоположные свойства: чрезмерные претензии и чувство подлинной ответственности, капризный

субъективизм и глубоко обоснованную убежденность. Жизнь Тютчева доказывает, что он имел право «много брать на себя» и «судить до крайности пристрастно».

Как мы еще увидим, «тютчевское» направление в поэзии было широким и многолюдным. Во второй половине 1820-х и в 1830-х годах подавляющее большинство молодых поэтов двигалось в русле тех же общих идей и того же стиля, что и Тютчев. И одним из первых или даже самым первым вступил на этот путь не кто иной, как Раич. В 1823 году он писал вполне «по-тютчевски»:

На море легкий лег туман,
Повеяло прохладой с брега —
Очарованье южных стран,
И дышит сладострастно нега.

Подумаешь: там каждый раз,
Как Геспер в небе засияет,
Киприда из шелковых влас
Жемчужну пену выжимает.

И, улыбаяся, она
Любовью огненною пышет,
И вся окрестная страна
Божественною негой дышит.

Тот, кто хорошо знает поэзию Тютчева, ясно увидит здесь близкие ей настроенность, черты образности и стиля и даже интонационно-синтаксические формы. Между тем сам Тютчев создал первые стихи, всецело выдержанные в этом духе и стиле, лишь в 1825 году; речь идет о «Проблеске», в центре которого образ «воздушной — эоловой — арфы». Толстой в 1880-х годах сделал к этому стихотворению пометку «Т.!!!» — то есть мысли и форма, свойственные одному только Тютчеву:

Дыханье каждое Зефира
Взрывает скорбь в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская лира
Грустит, в пыли, во небесах!

Разумеется, стихи Раича, в сравнении с тютчевскими, менее содержательны; они сглажены, плоскостны и по смыслу, и по стилю. Но «школа» все-таки одна. Толстой, кстати сказать, вообще не знал основательно забытой к восьмидесятым годам поэзии тютчевского круга (в том числе поэзии Раича). Поэтому он и считал «свойственными одному Тютчеву» черты целой поэтической школы.

С семнадцати до восемнадцати с половиной лет Тютчев жил в Москве и ее окрестностях; в Овстуге он в это время не бывал. В 1818 году Тютчев пережил в Москве событие, которое горячо и свято хранил в памяти до самой своей кончины. Оно связано с тогдашним первым поэтом России, Василием Жуковским (Державин к тому времени уже умер, а Пушкин был еще пока только учеником Жуковского), хорошо знавшим семью Тютчевых, чему есть документальное свидетельство.

Двадцать восьмого октября 1817 года Жуковский записал в дневнике: «Обедал у Тютчева*. Вечер дома. Счастие не цель жизни...»

Не будет натяжкой предположить, что именно эту тему о счастье развивал Жуковский днем в доме Тютчевых перед отцом и юным сыном, потому и написал о ней вечером в дневнике.

Через двадцать с лишним лет в Италии Тютчев, вскоре после тяжелейшей потери — смерти жены, обращается с письмом к Жуковскому, только что приехавшему в Италию, прося его о встрече:

«Вы недаром для меня перешли Альпы... Вы принесли с собою то, что после нее (погибшей жены. — *В. К.*) я более всего любил в мире: отечество и поэзию... Не вы ли сказали где-то: в жизни много прекрасного и кроме счастия. В этом слове есть целая религия, целое откровение...»

Мотив этот присутствует в ряде произведений Жуковского, но, возможно, Тютчеву запало в душу то, что Жуковский сказал в 1817 году в доме в Армянском переулке, глубоко поразив юношеское сознание («счастие не цель жизни»).

Но еще более важна была другая встреча юного Тютчева с Жуковским, состоявшаяся через полгода, 17 апреля 1818 года, в Московском Кремле, где отец поэта с 1813 года служил смотрителем «Экспедиции Кремлевского строения»; в этот день он рано утром привел сына к Жуковскому, жившему в кремлевском Чудовом монастыре, основанном в 1365 году митрополитом Алексием — воспитателем и ближайшим сподвижником Дмитрия Донского.

Это утро стало, очевидно, одним из самых значительных, основополагающих событий жизни Тютчева. Даже через пятьдесят пять (!) лет он благоговейно вспоминал его во всех подробностях, — несмотря на то, что находился тогда в преддверии смерти, был наполовину парализован...

---

* Отца поэта.

Да, 17 апреля 1873 года Тютчев уже плохо подчинявшейся ему рукой записал стихи, названные «17 апреля 1818 года». Собственно, не стоит воспринимать этот текст как стихи; перед нами кое-как зарифмованное воспоминание:

На первой дней моих заре,
То было рано поутру в Кремле,
То было в Чудовом монастыре,
Я в келье был, и тихой и смиренной,
Там жил тогда Жуковский незабвенный.
Я ждал его, и в ожиданье
Кремлевских колоколов я слушал завыванье.
Следил за медной бурей,
Поднявшейся в безоблачном лазуре...
. . . .
Хоругвью светозарно-голубой
Весенний первый день лазурно-золотой
Так и пылал над праздничной Москвой...
. . . .
С тех пор воспоминанье это
В душе моей согрето
Так благодатно и так мило —
В теченье стольких лет не измен <яло>
Меня всю жизнь так верно провожало...

В цитированном выше письме Тютчев говорил, что Жуковский принес ему с собою в Италию «отечество и поэзию». В событии 17 апреля 1818 года как бы слились Москва — это сердце России — и поэзия в лице первого тогда русского поэта. И конечно, так и пылавший над Москвой «хоругвью светозарно-голубой весенний первый день лазурно-золотой».

Можно предположить, что именно в это утро, как бы в скрещении лучей, исходящих от Московского Кремля, поэзии и первого весеннего дня, родился поэт и мыслитель Тютчев. Разумеется, реальные плоды этого события созрели только более чем через десятилетие — ведь Федору в то утро не было и пятнадцати лет. Но именно тогда завязалось в озаренной душе семя, из которого выросло древо тютчевской поэзии и мысли. Именно потому и помнил он это утро до последней вспышки сознания.

Нельзя не сказать хотя бы кратко о роли, которую сыграл в становлении Тютчева Василий Жуковский. Его творчество — неотъемлемая своеобразная часть русской поэтической культуры. Но, пожалуй, еще более ярко и весомо значение Жуковского как своего рода необходимого предшественника и Пушкина, и Тютчева (стоит напомнить, что Жуковский оказал прямое, непосредственное воздействие и на явившихся позже поэтов — Лермонтова, Фета, Некрасова и даже Александра Блока). Жуковский — истинный зачи-

натель новой русской поэзии; он, в частности, впервые ввел ее как всепонимающую сестру в семью мировой поэзии.

Выше приведена запись из дневника Жуковского, отметившая его посещение дома Тютчевых 28 октября 1817 года. Замечательно, что в этом самом дневнике, который Жуковский вел во время своей поездки в Москву (в те годы он уже жил в Петербурге), под датой 4 октября записано: «Выезд из Петербурга. Обед в Царском селе. Пушкин».

Таким образом, Жуковский, простившись под Петербургом с еще совсем молодым Пушкиным (спустя три года он подарит ему свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя»), менее чем через месяц встречается в Москве с четырнадцатилетним Тютчевым, как бы соединяя двух будущих гениальных поэтов России невидимой, но нерасторжимой связью...

В 1818 году были изданы «Стихотворения Василия Жуковского» в трех частях. И до нас дошли многозначительные записки Тютчева к Погодину, в которых он сообщал, что возвращает первые две части этих «Стихотворений» и просит прислать третью; однако, изучив третью часть, Тютчев пишет: «Редко можно быть так кругом виноватым... Книги держу так долго — и вместо того, чтобы скорее прислать вам их, — прошу вас ссудить меня еще раз первою частию — и второю, если такое баловство покажется вам не выходящим из пределов...» Уже из этого видно, что Тютчев, как и Пушкин, может называться учеником Жуковского. Но столь же ясно, что для Тютчева самыми важными были иные стороны личности и творчества Жуковского, нежели для Пушкина.

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль... —

написал Пушкин в стихотворении «К портрету Жуковского» и как бы пояснял эту мысль в позднейшем письме (в 1825 году): «...Я точно ученик его... Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его. В бореньях с трудностью силач необычайный». Конечно же Пушкин здесь предельно скромен; к 1825 году он уже намного превзошел своего учителя «в могуществе и разнообразии слога». Но в данном случае важно другое: Пушкин видит в Жуковском прежде всего художника, создателя высокого искусства слова.

Очень характерно, что одновременно с только что цитированными суждениями Пушкин написал о Державине: «Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить

всякое разборчивое ухо... Читая его, кажется, читаешь дурной вольный перевод с какого-то чудесного подлинника».

Эта критика Державина, без сомнения, не вполне исторична; однако Пушкин, окончательно создавший классический «слог» русской поэзии, имел право на такую критику (собственно говоря, он один только и имел это право). К тому же он ясно видел сквозь несовершенство державинского слога «чудесный подлинник», чудо державинской поэтической стихии. Но именно на фоне «дурного вольного перевода» Пушкин так исключительно высоко ценил «слог» Жуковского.

Иное выдвигает на первый план Тютчев. В стихотворении, созданном вскоре после кончины Жуковского, он писал:

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял дух в нем чисто голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

Для Тютчева главное заключено во внутренней духовной жизни поэта; внешнее — «стройно пел» — только естественное, так сказать, неизбежное порождение «строя» души Жуковского. И это не просто личное своеобразие тютчевского восприятия; перед нами другая, новая стадия развития поэзии. Ведь Тютчев стал поэтом в конце 1820-х годов, когда Пушкин, опираясь на сделанное Жуковским, уже завершил сотворение классического «слога», гармонического «строя» русской поэзии. Это свершение, имевшее поистине грандиозный смысл (ведь именно и только благодаря ему поэтическое самосознание, поэтическая душа России обрела действительное воплощение, стала непреложной реальностью), уже не представало перед Тютчевым как неотвратимая и всепоглощающая задача. Тютчев мог и должен был идти дальше.

Закономерно, что, говоря о Жуковском (а также и о Пушкине), Тютчев чаще всего как бы вообще не принимает во внимание его стихотворства; он судит только о жизненном творчестве. Так, он писал после смерти Жуковского: «Я не знаю человека, чьи деяния заставляли бы менее ощущать ужас перед бренностью бытия... Столь поистине достойной была его жизнь».

И совершенно ясно, что в то утро 17 апреля 1818 года в Кремле Тютчев увидел в Жуковском не столько автора сти-

хов, сколько личность, несущую в себе самый дух поэзии. Кстати сказать, цитированная выше записка Тютчева, в которой он так настоятельно просит прислать ему снова книги Жуковского, относится к более позднему времени (года через два после кремлевской встречи). И есть основания полагать, что Тютчева властно влекли не стихи Жуковского как таковые, но его поэтическая личность, его «душевный строй», который он стремился еще раз пережить, пристально вглядываясь в стихи. Ведь в конце концов едва ли было особенно трудно приобрести книги Жуковского, чтобы стихи всегда были под рукой, — Тютчев же удовлетворился внимательным прочтением чужих книг.

Однако не возникает ли перед нами некое противоречие? Встреча Тютчева с Жуковским (встреча в самом богатом и высоком смысле слова) произошла еще в конце 1810-х годов, а окончательное сотворение классического слога русской поэзии Пушкиным относится к середине 1820-х годов. И вместе с тем речь идет о том, что Тютчева властно влекли не стихи Жуковского, но дух его поэзии. Выходит, что Тютчев, так сказать, слишком забегал вперед; вместо того чтобы сосредоточиться на сотворении поэтического «слога» (что так волновало Пушкина), он уже весь обращен к духу поэзии, и именно он захватывает его в стихах и самой личности Жуковского. Не значит ли это, что юный Тютчев смотрел и видел дальше, чем сам Пушкин, еще погруженный в заботы о «могуществе и разнообразии слога»?

Здесь мы сталкиваемся с очень существенной закономерностью личной и — в равной мере — исторической судьбы человека. Тютчев действительно был, так сказать, с самого начала сознательной жизни весь нацелен, устремлен к собственно духовным исканиям. В нем назревала новая стадия развития русской поэзии. И в то же время, если бы не свершил свой творческий подвиг Пушкин, эта стадия попросту не осуществилась бы, не стала реальностью. Тютчев оказался бы преждевременной, не могущей развернуться завязью. Таким образом, дело не в том, что Тютчев «обогнал» Пушкина, но в том, что именно такой человек, как Тютчев, мог и должен был стать поэтом следующей, послепушкинской стадии развития. Среди сверстников Тютчева было немало людей, которые шли шаг в шаг следом за Пушкиным. Но не они, а другие люди составили ядро нового поколения русской поэзии и культуры. И Тютчев уже к семнадцати годам соприкоснулся с этими людьми, вошел в духовную атмосферу нового поколения.

Глава третья

ПОКОЛЕНИЕ ЛЮБОМУДРОВ

Дух силы, жизни и свободы
Возносит, обвевает нас!..
И радость в душу пролилась,
Как отзыв торжества природы,
Как Бога животворный глас!..

Москва, 1821

Как уже говорилось, на рубеже 1816—1817 годов Тютчев вместе с Раичем начал посещать лекции университетских профессоров — прежде всего А. Ф. Мерзлякова, который был и талантливым поэтом, чьи лучшие песни живы до сих пор. Вскоре эти посещения сделались регулярными. Тютчев стал, как это тогда называлось, вольнослушателем Московского университета, а осенью 1819 года держал экзамены по истории, географии и языкам (латинскому, немецкому, французскому) и был зачислен в состав «своекоштных студентов» словесного факультета.

К этому времени завершились реставрация и обновление здания университета на Моховой улице, воздвигнутого в свое время великим Казаковым и сильно пострадавшего в 1812 году. Новый, полный особого обаяния облик в духе московского ампира придал университету один из лучших мастеров этой эпохи Дементий Жилярди. На втором этаже центральной части (точнее, ее правой половины) здания размещались аудитории словесного факультета, в которых Тютчев постоянно бывал в течение пяти лет (с 1817-го по 1821 год).

Как вспоминал позднее Погодин, «всего важнее для образования в университете было общество, где студенты взаимною беседою образовывались». В это общество входили и молодые люди, которые формально не принадлежали к студенчеству — скажем, воспитанники Благородного пансиона при Московском университете (в тютчевские времена пансион этот соединял в себе черты среднего и высшего учебного заведения). Пансион находился вблизи университета, на углу Тверской и Газетного переулка (теперь на его месте стоит здание Московского телеграфа), в нем собирались члены Общества любителей российской словесности, в котором с 1818 года состоял Тютчев.

Невдалеке, по другую сторону от Тверской, на Большой Дмитровке (на месте дома 11), помещалось созданное в 1815 году Московское учебное заведение для колонновожатых, на

основе которого позднее сложилась российская Академия Генерального штаба. Это было наиболее культурное военное учебное заведение, воспитанники которого, в частности, постоянно участвовали в общественной и литературной жизни университетских кругов. Здесь учился старший брат Тютчева Николай — впоследствии полковник Генерального штаба. С университетом были тесно связаны и многие юноши, которые в студенческие годы Тютчева получали домашнее образование под руководством университетских преподавателей.

И именно в московской университетской среде сложилось ядро целого поколения, выступившего на авансцену культурной жизни во второй половине 1820-х годов, после поражения декабристов. В этом нет ничего удивительного: Московский университет и ранее, и позже не раз являл собой настоящее горнило культурного и идеологического творчества России, горнило, в котором выплавлялись многие важнейшие движения русской мысли и общественной деятельности, — начиная с Николая Новикова и его круга. И особо следует подчеркнуть, что именно в Московском университете сформировалось и поколение, предшествующее тютчевскому, — поколение декабристов. Более распространено мнение, что декабристы явились прежде всего из среды петербургских гвардейских офицеров, прошедших через Отечественную войну. Но оно не противоречит тому факту, что многие воспитанники Московского университета или пансиона в 1812 году стали офицерами, а позднее образовали идейное ядро декабристских организаций.

Так, среди учредителей раннедекабристского Союза спасения решающую идейную роль играли питомцы Московского университета, во время Отечественной войны ставшие офицерами, — Александр Муравьев (основатель и председатель союза) и его братья Михаил и Николай, Иван Якушкин, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев, Николай Тургенев, Михаил Фонвизин и др. Ошибочно полагают, что своего рода колыбелью декабристской идеологии был будто бы Царскосельский — пушкинский — лицей. В действительности же лицеисты — Пущин, Кюхельбекер, Вольховский, — будучи на несколько лет моложе декабристов, присоединились к уже сложившемуся движению. Это касается и самого Пушкина (не являясь членом декабристских организаций, он все же принадлежал именно к декабристскому поколению).

Воспитанниками Московского университета были также Чаадаев, Грибоедов, Александр Тургенев, не принимавшие

участия в деятельности декабристов, но сыгравшие громадную роль в духовном развитии этого поколения.

Названные люди учились в Московском университете всего за пять-семь лет до того, как туда поступил Тютчев. А в момент его появления в здании на Моховой улице завершали свое образование самые молодые участники декабристского бунта — Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский, Николай и Павел Бобрищевы-Пушкины, Федор Вадковский. Все они после университета стали офицерами: такова была общая судьба поколения. Стали декабристами и их сверстники — воспитанники Московского учебного заведения для колонновожатых — Александр Корнилович, Николай Басаргин, Петр Муханов, Николай Заикин и др.

Короче говоря, едва ли не каждый пятый из числа декабристов вырастал в московской университетской среде; но еще характернее тот факт, что именно из этой среды вышли большинство идейных основоположников движения — Александр и Никита Муравьевы, Иван Якушкин, Сергей Трубецкой, Николай Тургенев и др. Именно эти люди создавали первые декабристские организации — Союз спасения и Союз благоденствия. Что касается Северного общества декабристов, созданного в 1821 году, то трое из пяти его основателей — Никита Муравьев, Николай Тургенев, Сергей Трубецкой — питомцы Московского университета.

Когда Тютчев пришел в Московский университет, самые молодые из декабристов как раз оканчивали обучение в нем, готовясь стать просвещенными офицерами. Университетская атмосфера еще была во власти декабристских веяний.

К этому нельзя не добавить, что и семейное окружение Тютчева было пронизано теми же веяниями. Декабристами стали племянники матери поэта — Василий Ивашев (в Сибири он обручился с приехавшей туда полюбившей его гувернанткой — француженкой Ле Дантю; об этой романтической истории не раз вспоминал позднее Тютчев) и Дмитрий Завалишин, передавший в 1825 году Тютчеву список еще не опубликованного грибоедовского «Горя от ума».

Трое участников декабристских организаций оказалось в семье любимой сестры отца Тютчева, Надежды Николаевны: ее сын (то есть двоюродный брат поэта) Алексей Шереметев, муж ее старшей дочери Михаил Муравьев и муж младшей — один из лидеров декабристов — Иван Якушкин. Все они часто бывали, а иногда жили в доме Тютчевых в Армянском переулке, а Иван Якушкин именно в этом доме был арестован после 14 декабря (Тютчев находился тогда в Петербурге)...

Но это еще не все. Тютчев был теснейшим образом связан с едва ли не главным центром декабристских устремлений в Москве — домом Муравьевых на Большой Дмитровке. Когда в 1819 году Тютчев стал студентом университета, его наставник Раич перешел в дом генерал-майора Н. Н. Муравьева, чтобы воспитывать его младшего сына Андрея. Тютчев, сохраняя теплые отношения с Раичем, подружился с Андреем Муравьевым и постоянно бывал в его доме.

А старшие сыновья Н. Н. Муравьева — Александр, Николай и Михаил, — окончившие Московский университет накануне 1812 года, прошедшие Отечественную войну и участвовавшие в заграничных походах, стали, как уже говорилось, основателями первых декабристских организаций среди гвардейских офицеров Петербурга. С осени же 1817 года большая часть гвардии находилась в Москве, и старая столица надолго стала средоточием декабристского движения. Здесь под руководством Александра Муравьева был создан насчитывавший более двухсот членов Союз благоденствия, в который приняли и Семена Раича, жившего в доме Муравьевых.

Тайные совещания руководителей Союза благоденствия проходили в казенной квартире полковника Александра Муравьева в Хамовнических казармах (ныне — на Комсомольском проспекте). В обширном доме Муравьева на Большой Дмитровке размещалось, помимо его семьи, то самое Учебное заведение для колонновожатых, о котором шла речь выше. Оно было создано высокообразованным военным деятелем генерал-майором Н. Н. Муравьевым (1768—1840), отцом трех братьев — участников декабристского движения. Здесь Тютчев навещал Раича и его воспитанника — младшего Муравьева, общался с его братьями и со многими ставшими декабристами питомцами Учебного заведения для колонновожатых (то есть будущими офицерами Генерального штаба), в котором учился его старший брат Николай.

После 14 декабря 1825 года более десяти родственников и близких знакомых Тютчевых отправились на каторгу и в ссылку. Это произвело столь сильное воздействие на мать поэта, Екатерину Львовну, что до конца своих дней (до кончины в 1866 году) она тревожилась о судьбе сына. Екатерина Львовна несколько успокаивалась лишь тогда, когда он был рядом с ней. 2 июля 1864 года Тютчев писал о матери: «Она ждет только моего отъезда, чтобы вернуться к своей постоянной мысли о ссылке меня в Сибирь».

Но Екатерина Львовна ошибалась: Тютчев не мог бы стать декабристом. Он очень рано вступил на иной путь, ко-

торый избрало вместе с ним и подавляющее большинство его сверстников, выраставших в той же университетской среде. Невидимая грань разделила в начале 1820-х годов тогдашних молодых людей, родившихся в 1790-х годах, и тех, совсем еще юных, которые явились на свет одновременно или же двумя-тремя годами позже Тютчева.

В одни годы с Тютчевым в Московском университете или же дома под руководством университетских профессоров, в Благородном пансионе и Учебном заведении для колонновожатых учились, помимо уже не раз упомянутого Михаила Погодина, писатель, мыслитель и музыкальный деятель Владимир Одоевский (1803—1869), историк, естествоиспытатель и филолог Михаил Максимович (1804—1873), публицист и общественный деятель Александр Кошелев (1806—1883), поэт философского склада Дмитрий Веневитинов (1805—1827), литературный критик и философ Иван Киреевский (1806—1856) и его брат, знаменитый фольклорист Петр Киреевский (1808—1856), теоретик искусства и переводчик Николай Рожалин (1805—1834), критик, литературовед и поэт Степан Шевырев (1806—1864), литератор, в будущем председатель Общества любителей российской словесности Николай Путята (1802—1877), философ и поэт Алексей Хомяков (1804—1860), писатель, теоретик искусства и дипломат Владимир Титов (1807—1891), дипломат и литератор Иван Мальцов (1807—1880), поэт и публицист Андрей Муравьев (1806—1874), экономист и публицист Василий Андросов (1803—1841), поэт и переводчик Дмитрий Ознобишин (1804—1877); к этому кругу людей присоединились получившие образование в Петербургском благородном пансионе влиятельный литературный и музыкальный деятель Николай Мельгунов (1804—1867) и литератор, знаменитый библиофил Сергей Соболевский (1803—1870). Эти два десятка юношей, большинство из которых обычно называют «любомудрами» (русский эквивалент слова «философ»; о происхождении и смысле этого слова еще пойдет речь), стали своего рода ядром нового поколения, пришедшего на смену декабристской генерации.

Они обладали различной степенью одаренности и трудоспособности (некоторые из них вообще не сумели воплотить себя в значительных произведениях литературы или мысли), однако чрезвычайно важным для судеб отечественной культуры было их совместное воздействие на развитие литературы, искусства, культуры в целом.

В дальнейшем судьба у этих юношей сложилась по-разному. Так, например, Степан Шевырев стал в 1840-х и осо-

бенно в 1850-х годах крайним консерватором, непримиримым противником Белинского и Герцена, а Николай Мельгунов, напротив, сотрудничал с Герценом и был в 1856—1858 годах наиболее активным поставщиком материалов из России для «Колокола» и других герценовских изданий.

Тот факт, что пути людей, в юности выступающих как когорта, постепенно расходятся — и подчас очень далеко расходятся, — закономерен и типичен. Например, членами ранних декабристских организаций были Леонтий Дубельт, ставший впоследствии управляющим Третьим отделением (а ведь Дубельт даже попал под следствие и был занесен в «Алфавит» декабристов), и Михаил Муравьев, будущий «усмиритель» Польского восстания 1863 года...

Словом, необходимо иметь в виду, что речь идет пока только о первых шагах поколения Тютчева, о любомудрах, о его мировосприятии и деятельности в 1820—1830-х годах. Так, скажем, некоторые из названных ровесников Тютчева в 1840—1850-х годах стали ведущими представителями славянофильства — Хомяков, братья Киреевские, Кошелев. Но нельзя забывать, что славянофильство действительно сложилось лишь в 1840-х годах; в 1830-х годах Киреевский еще издавал журнал под выразительным названием «Европеец», и даже Погодин и Шевырев были достаточно далеки от всесторонней идеализации России и решительного отрицания современного им Запада. В 1830-е годы тот же Шевырев более всего гордился полученным им доброжелательным письмом Гёте...

Особенно показателен тот факт, что до 1840-х годов сам Белинский относился к Погодину и Шевыреву — не говоря уже об Иване Киреевском — уважительно, а подчас даже восхищался ими. Так, в 1834 году Белинский писал о Степане Шевыреве следующее: «Один из молодых замечательнейших литераторов наших, г. Шевырев, с ранних лет своей жизни предавшийся науке и искусству, с ранних лет выступивший на благородное поприще действования в пользу общую... Одаренный поэтическим талантом... обогащенный познаниями, коротко знакомый со всеобщею историею литератур, что доказывается многими его критическими трудами и особенно отлично исполняемою им должностию профессора при Московском университете» и т. д.

Тогда же Белинский говорил о Михаиле Погодине: «Народному направлению много способствовал г. Погодин. В 1826 году появилась его маленькая повесть “Нищий”, а в 1829-м — “Черная немочь”. Обе они замечательны по верному изображению русских простонародных нравов, по тепло-

те чувства, по мастерскому рассказу, а последняя и по прекрасной, поэтической идее, лежащей в основании».

Итак, говоря о поколении любомудров, мы имеем в виду ту его раннюю стадию развития (1820—1830-е годы), когда оно еще представляло собой нечто более или менее цельное, когда в нем еще не развились те «крайние» тенденции, которые, скажем, вызвали в 1840-х годах ожесточенные нападки Белинского на Погодина и Шевырева.

Жизнь и деятельность Тютчева невозможно по-настоящему осмыслить без достаточно широкого знания и понимания пути его поколения. Между тем и до сих пор Тютчева нередко воспринимают как совершенно «одинокую», словно выпадающую из современной ему России фигуру. Это обусловлено в значительной мере тем, что само тютчевское поколение знают мало и чаще всего поверхностно, — что имеет вполне определенную причину.

Мы очень ясно представляем себе предшествующее поколение — декабристское — и, с другой стороны, последующее, — поколение, как обычно говорят, людей 1840-х годов, к которому принадлежат Белинский, Станкевич, Герцен, Иван Тургенев, Михаил Бакунин, Грановский, Огарев и др. И это вполне понятно. Декабристы и — двадцатью годами позднее — люди 1840-х годов воплотили себя гораздо более решительно, определенно, осязаемо, нежели тютчевское поколение — поколение 1830-х. Если попытаться предельно кратко выразить суть проблемы, следует сказать, что люди тридцатых годов, выступившие на общественную и литературную сцену сразу после трагического поражения декабристов, целиком ушли в мыслительную, духовную работу. Они как бы не действовали, а только размышляли. И в результате самый облик и характер поколения не запечатлелись в истории с той рельефностью и остротой, которые были присущи декабристам и, позднее, людям сороковых годов.

Сам период между поражением декабристов и сороковыми годами многим кажется неким промежутком, «безвременьем», в течение которого вроде бы не свершилось чего-либо подлинно значительного. Но такое представление совершенно не соответствует действительности. 1830-е годы — это поистине величайшая, ни с чем не сравнимая эпоха истории отечественной культуры; ведь именно в тридцатые годы создал свои высшие творения Пушкин; в эти же годы вместились все творчество Лермонтова, погибшего 15 июля 1841 года, и почти вся художническая деятельность Гоголя

(в 1840 году он сообщал: «Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том “Мертвых душ”»). В это же время создал отмеченные несравненной глубиной и широтой мысли «Философические письма» Петр Чаадаев. В то время творил Михаил Глинка, а великий живописец Александр Иванов уже работал над «Явлением Христа народу» (работа затянулась подобно тому, как медленно подвигался труд Гоголя над продолжением «Мертвых душ»; такое медленное и напряженное творчество вообще характерно для этого поколения). Наконец, именно в 1830-х годах создал половину своих творений Тютчев и достигла своих вершин близкая к нему поэзия Боратынского.

Надо прямо сказать, что последующие полтора десятилетия развития русского искусства не дали таких высших творческих свершений. И лишь в 1860—1870-х годах, в эпоху расцвета творчества Толстого, Достоевского, Лескова, литература вновь поднялась на уровень, сопоставимый с уровнем Пушкина и Гоголя...

В сущности, достаточно только перечислить основные творения русского искусства и культуры, явившиеся в 1830-е годы, дабы отчетливо увидеть, что перед нами — эпоха высшего творческого взлета. Менее внятно другое — тот факт, что перечисленные выше представители тютчевского поколения сыграли громадную и многообразную роль в этом взлете. Они, как уже говорилось, были погружены в чисто духовную деятельность, они мыслили, а не действовали в прямом смысле слова. Но в тот период насущно необходима была именно такая деятельность.

Любомудры оказали не могущее быть переоцененным воздействие на творчество своих ровесников — художников, выступивших на рубеже 1820—1830-х годов, — Гоголя (ближайшими его сподвижниками стали Максимович, Одоевский, Погодин, Шевырев и другие любомудры), Михаила Глинки (в его судьбе первостепенное значение имели Мельгунов, Одоевский, Сергей Соболевский, Шевырев), Александра Иванова (главным его вдохновителем был Николай Рожалин; позднее он творил в нераздельной связи с Гоголем и его кругом).

Но очень большую роль сыграли любомудры и в развитии Пушкина (о чем мы еще будем говорить подробно в связи со сложной темой «Пушкин и Тютчев»), Лермонтова (для его становления многое сделали Раич, Погодин, Максимович, Владимир Одоевский, Андрей Муравьев), Боратынского (во второй половине 1820-х годов он сблизился с кругом любомудров, прежде всего с Иваном Киреевским).

Наконец, совершенно очевидно огромное воздействие любомудров на формирование следующего поколения — людей 1840-х годов. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с перепиской одного из главных ранних деятелей этого поколения, как бы его родоначальника — Николая Станкевича (1813—1840). В своих юношеских письмах он постоянно и подчас восторженно говорит о тех «уроках», которые получил в общении с Владимиром Одоевским, братьями Киреевскими, Мельгуновым, Максимовичем, Шевыревым, Погодиным (однако позднее Станкевич, как истый человек нового поколения, начинает относиться к любомудрам все более критически).

Но обратимся, так сказать, к истории любомудров. В самом начале 1820-х годов в университетской среде формируется это ядро поколения. У нас нет точных сведений о том, насколько близко был связан со всеми перечисленными выше юношами Тютчев; единственное весомое документальное свидетельство — дневник Михаила Погодина, из которого ясно, что Тютчев состоял с ним в прочных и постоянных отношениях. Они встречались и в университете, и в Обществе любителей российской словесности, и в московском и подмосковном тютчевских домах, и в доме Трубецких, где служил домашним учителем (будучи одновременно студентом) Погодин. Они горячо обсуждали проблемы истории, литературы, философии, в меньшей степени — политики, университетские дела и т. д.

Имеются скудные сведения о том, что юный Тютчев общался также с Максимовичем, Дмитрием Веневитиновым, Кошелевым, Андреем Муравьевым, Владимиром Одоевским, Путятой, Рожалиным, Ознобишиным. Но косвенные данные позволяют предполагать, что Тютчев лично знал большинство любомудров. Так, скажем, известно, что Хомяков с 1817 года брал уроки у профессоров университета, а в 1821 году опубликовал перевод из Тацита на страницах «Трудов Общества любителей российской словесности» (при Московском университете), где с 1819 года печатался и Тютчев. Трудно представить, что юноши не познакомились (не забудем, что и университетский круг был немногочисленным).

Весной 1821 года семнадцатилетний Тютчев написал стихотворение под названием «Весна» и с подзаголовком «Весеннее приветствие стихотворцам». Смысл этих стихов соответствует идеям любомудров, и можно не сомневаться в том, что они обращены к таким юным стихотворцам, какими бы-

ли тогда Шевырев, Хомяков, Ознобишин, Веневитинов, Андрей Муравьев, Владимир Титов, — если даже и не ко всем перечисленным, то, во всяком случае, к части из них:

Дух силы, жизни и свободы
Возносит, обвевает нас!..
И радость в сердце пролилась
Как отзыв торжества природы.
Как Бога животворный глас!
. . . .
Природы храм отверст, певцы, пред вами!
Вам ключ к нему поэзией вручен!
В парении своем высоком
Не изменяйтесь никогда...
И вечная природы красота
Не будет вам ни тайной, ни упреком!..

Эти стихи — как бы прямой, непосредственный вклад Тютчева в деятельность любомудров.

Между прочим, через два десятилетия, в 1843 году, Тютчев сообщал жене из Москвы: «Я встретил... несколько университетских товарищей, среди которых иные составили себе имя в литературе и стали действительно выдающимися людьми». Кого имел в виду Тютчев, кроме Погодина? В Москве в это время из своих «выдающихся» сверстников он встретил Ивана Киреевского, Хомякова, Шевырева (Одоевский жил тогда в Петербурге, Максимович — в Киеве). Но эти трое формально не были «университетскими товарищами», то есть студентами; Тютчев, очевидно, имел в виду товарищей своей университетской поры и, таким образом, свидетельствовал, что он был в достаточно близких отношениях с этими любомудрами в начале 1820-х годов.

В московской университетской среде в конце 1810-х — начале 1820-х годов возникло несколько кружков и объединений молодежи. Широко известный кружок Раича собирался с 1819 года в уже не раз упомянутом доме Муравьевых на Большой Дмитровке. В него входили вместе с Тютчевым Одоевский, Погодин, Андрей Муравьев, Максимович, Шевырев, Путята, Кошелев, Ознобишин, Владимир Титов и др. Вокруг профессора Мерзлякова еще с 1817 года объединялись его многочисленные ученики, в том числе Тютчев; Мерзляков шутливо назвал это объединение «моей маленькой академией». Естественно предположить, что в «академию» входили Хомяков, Веневитинов, Киреевские, Кошелев и другие приватные ученики профессора.

Уже после того как Тютчев окончил университет и уехал за границу, сложилось тайное «Общество любомудрия» (1823—1825), в которое вошли всего пять человек — Влади-

мир Одоевский (председатель), Дмитрий Веневитинов (секретарь), Иван Киреевский, Рожалин и Кошелев. Общество собиралось в квартире Одоевского в Газетном переулке вплоть до 14 декабря 1825 года, когда оно было в целях предосторожности распущено, а его устав и протоколы сожжены.

Собственно, от названия этого общества и происходит термин «любомудры». Но нет никаких оснований относить к истинным любомудрам только пятерых членов тайного общества. Достаточно заметить, что в «Обществе любомудрия» не состояли брат Дмитрия Веневитинова Алексей и брат Ивана Киреевского Петр, между тем как и тот и другой были единомышленниками Дмитрия и Ивана. Тайное общество призвано было, очевидно, играть роль руководящего центра, но настоящими любомудрами являлись и многие молодые люди, не входившие в этот орган. Александр Кошелев, оставивший наиболее подробные воспоминания о любомудрах, включает в число своих задушевных соратников почти всех перечисленных выше юношей. Все они были в 1820-х годах связаны нерасторжимыми узами.

Когда в 1827 году безвременно скончался Дмитрий Веневитинов, Погодин записал в дневнике: «19 марта. Приходит Рожалин и подает письмо... Неужели так! Ревел без памяти. Кого мы лишились? Нам нет полного счастья теперь!.. Какое кольцо вырвано... 20 марта. Соболевский был у меня. Повестил ему горесть. Он зарыдал».

Друзья каждый год 15 марта собирались почтить память Веневитинова — в течение целых сорока лет... Здесь ясно обнаруживается единство поколения, напоминающее дружбу, столь характерную для предшествующей генерации. И это единство дало свои богатые плоды.

С середины 1820-х годов любомудры очень широко и весомо выступают на авансцене литературы, мысли, культуры в целом. В самом конце 1825 года Погодин издал первый самостоятельный альманах любомудров «Урания», в котором было опубликовано первое подлинно «тютчевское» стихотворение «Проблеск» рядом со стихами Веневитинова, Шевырева, Ознобишина, прозой Владимира Одоевского и Погодина; здесь же выступили наставники любомудров — Раич и Мерзляков. Погодин и его друзья добились также участия в их альманахе Пушкина, Вяземского и Боратынского.

В конце 1826 года Раич и Ознобишин издали альманах «Северная лира», в котором, помимо издателей, участвовали Тютчев, Веневитинов, Одоевский, Шевырев, Андрей Муравьев, Погодин, Андросов и другие, а с 1827 года начал выходить в свет двухнедельный журнал любомудров «Москов-

ский вестник». И это было только началом деятельности любомудров.

Нельзя не сказать о том, что до 14 декабря 1825 года любомудры подчас соединялись в своей литературной деятельности с декабристами. Так, в 1824—1825 годах Одоевский вместе с Кюхельбекером издал четыре части альманаха «Мнемозина». В подготовленном Александром Бестужевым и Рылеевым накануне 14 декабря 1825 года и арестованном альманахе «Звездочка» участвовали любомудры Хомяков и Ознобишин. Примеры такого сотрудничества двух поколений могут быть умножены.

Но новое поколение все же отличалось от поколения декабристов — притом отличалось с самых своих истоков. Это отличие особенно впечатляет потому, что любомудры формировались в обществе, которое было все пронизано духом декабризма. Уже говорилось о том, сколь многогранны и тесны были связи с декабристами юного Тютчева. Но это можно сказать и о большинстве любомудров — особенно о Веневитинове, Кошелеве, Андрее Муравьеве, Одоевском, Путяте, Хомякове.

Некоторые формы деятельности любомудров сложились под явным воздействием декабристов — например, создание тайного «Общества любомудрия», — пусть в нем и состояло только пятеро. Однако, как свидетельствовал Александр Кошелев, в этом тайном обществе «господствовала немецкая философия, т. е.: Кант, Фихте, Шеллинг... Мы иногда читали наши философские сочинения... Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед».

Правда, в год декабристского восстания любомудры были волей-неволей захвачены общим порывом. Тот же Кошелев рассказывал, как в начале 1825 года он присутствовал на вечере в доме на Пречистенском бульваре (ныне Гоголевский бульвар, 10) у своего троюродного брата Михаила Нарышкина, декабриста (он был восемью годами старше Кошелева). «На этом вечере были, — свидетельствует Кошелев, — Рылеев, князь Оболенский, Пущин и некоторые другие, впоследствии сосланные в Сибирь. Рылеев читал свои патриотические думы, а все свободно говорили о необходимости d'en finir avec ce gouvernement*. Этот вечер произвел на меня самое сильное впечатление, и я на другой же день утром сообщил все слышанное Ив. Киреевскому, и с ним вместе мы отправились к Дм. Веневитинову, у которого жил

* Покончить с правительством (*фр.*).

тогда Рожалин... Много мы в тот день толковали о политике и о том, что необходимо произвести в России перемену в образе правления... На время немецкая философия сошла у нас с первого плана...

Никогда не забуду, — продолжает Кошелев, — того потрясающего действия, которое произвели на нас первые известия о 14 декабря... Слова стали переходить уже в дела... Мы часто, почти ежедневно, собирались у М. М. Нарышкина... Казалось, что для России уже наступал великий 1789 год...

Известия из Петербурга получались самые странные и одно другому противоречащие. То говорили, что там все спокойно и дела пошли обычным порядком, то рассказывали, что открыт огромный заговор, что 2-я армия... идет на Москву и тут хочет провозгласить конституцию. К этому прибавляли, что Ермолов... с своими войсками идет с Кавказа на Москву... Мы, немецкие философы, забыли Шеллинга и компанию, ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу учиться верховой езде и фехтованию и таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначали».

Все это необходимо ясно представить себе, ибо Тютчев, в середине 1822 года отправившийся за границу, после трехлетней службы как раз в 1825 году приехал в отпуск и жил несколько месяцев в Москве, без сомнения, постоянно общаясь с любомудрами. В июне 1825 года Погодин в дневниковой записи о встрече с Тютчевым привел его высказывание: «В России канцелярии и казармы. Все движется около кнута и чина».

За месяц до восстания из Петербурга в Москву приехал двоюродный брат Тютчева, морской офицер Дмитрий Завалишин, — один из активных декабристов, приговоренный к двадцатилетней каторге. Впоследствии он вспоминал о том, что «поселился в доме Тютчевых в Армянском переулке... Я занимал там почти весь верхний этаж, и ко мне был особый ход, так что члены общества (декабристского. — *В. К.*) могли беспрепятственно посещать меня».

Завалишин, в частности, привез в Москву точный список грибоедовского «Горя от ума», сделанный им по рукописи, переданной самим Грибоедовым декабристу Александру Одоевскому, собиравшему у себя многих сотоварищей для размножения текстов комедии («Горе от ума», как известно, было для декабристов своего рода орудием пропаганды). «Привезенным мною экземпляром “Горя от ума”, — вспоминал позднее Завалишин, — немедленно овладели Федор Иванович... и Николай Иванович, офицер гвардейского ге-

нерального штаба... Как скоро убедились, что списанный мною экземпляр есть самый лучший из известных тогда в Москве, из которых многие... представляли... значительные пропуски, то его стали читать публично в разных местах и прочли между прочим у княгини Зинаиды Волконской».

Салон Волконской на Тверской улице (перестроен; д. 14) был с 1824 года одним из центров культурной жизни Москвы, и любомудры — Веневитинов, Киреевские, Одоевский, Максимович, Шевырев, Погодин, Андрей Муравьев и другие — уже играли здесь главную роль, хотя в этом салоне были достаточно сильны и декабристские веяния; вспомним, что именно у Зинаиды Волконской Пушкин 26 декабря 1826 года прощался с уезжавшей к мужу в Сибирь Марией Раевской. Тютчев бывал здесь за год с лишним до того, перед 14 декабря. Его речи и споры уже тогда производили неизгладимое впечатление. Об этом лаконично, но многозначительно сказано в записи погодинского дневника от 26 июня 1825 года: «Тютчев своими триумфами поселил во мне недовольство что ли?»

Нет сомнения, что любомудры в то время были настроены в декабристском духе, как об этом подробно и рассказывает Александр Кошелев. Нельзя не обратить внимание и на тот факт, что в самом конце 1825-го — начале 1826 года, когда шли аресты всех подозреваемых в принадлежности к тайным организациям, любомудры испытывали острое чувство близости к декабристам. Об этом свидетельствует тот же Кошелев. Рассказывая об арестах своих троюродных братьев — Михаила Нарышкина и Василия Норова (которого арестовали в тот момент, когда Кошелев был у него в гостях), — он признается: «Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец. Эти события нас... чрезвычайно сблизили и, быть может, укрепили ту дружбу, которая связывала Веневитиновых, Одоевского, Киреевского, Рожалина, Титова, Шевырева и меня».

В то время, которое описывает Кошелев, Тютчева уже не было в Москве. Самый выдающийся его родственник, герой 1812 года граф Остерман-Толстой в создавшейся ситуации «велел» двадцатидвухлетнему племяннику «скорее убираться к своему месту в Мюнхен».

Дело было так. Остерман-Толстой опекал двух своих племянников, живших в это время в Армянском переулке, — Завалишина и Тютчева (именно Остерман-Толстой за три года до того отвез Тютчева в Мюнхен). В какой-то момент, по-видимому, незадолго до 14 декабря, когда атмосфера уже

накалилась, Остерман-Толстой заставил намеревавшегося возвратиться в Петербург Завалишина уехать в Казань (он собирался туда, чтобы посетить местных сторонников декабристов, но, ввиду надвигающихся событий, надумал вернуться в Петербург).

«В Петербург отпущу я одного Федора, он не опасен», — говорил Остерман-Толстой, добавив, впрочем, что и Тютчеву велено, не задерживаясь в столице, «убираться» в Германию (собственно, другого пути в Германию — кроме как через Петербург — тогда не было). Уместно будет сказать, что Остерман-Толстой проницательно усмотрел глубокое различие между любомудром Тютчевым и декабристом Завалишиным. Хотя Завалишин был на полгода моложе Тютчева, он целиком отдался идеям и настроениям старшего поколения.

Тютчев, очевидно, выехал из Москвы вскоре после своих именин (28 ноября), и 14 декабря 1825 года он находился в Петербурге. Основание для этого вывода дает разысканная в архиве тогдашнего баварского короля Людвига I записка (составленная в феврале 1826 года) о восстании декабристов, в которой содержится ссылка на рассказ Тютчева об этом событии. Кстати сказать, тютчевское стихотворение «14 декабря 1825 года», о котором речь пойдет позже, звучит как созданное очевидцем «минут роковых» русской истории.

Одновременно с Тютчевым или же вскоре после него в Петербург приехал Михаил Погодин. Он был в том же душевном состоянии, что и другие любомудры, чуть ли не каждый час ожидая ареста.

Только что, 26 ноября 1825 года, дружественный цензор — профессор Мерзляков — разрешил издание подготовленного Погодиным альманаха «Урания», где впервые единым строем явились вместе в печати Тютчев, Веневитинов, Владимир Одоевский, Шевырев, Ознобишин. В «Урании» была опубликована и повесть самого Погодина «Нищий», в которой вчерашний крепостной достаточно резко изображал крепостнические порядки.

Встречаясь с Тютчевым в Петербурге в двадцатых числах декабря 1825 года, Погодин выражал понятное опасение, что правительство обнаружит в его повести «согласие с образом мыслей заговорщиков» и «притянет его к делу декабристов». Тютчев старался успокоить сотоварища. Вскоре он уехал в Мюнхен.

Никто из любомудров не привлекался по делу декабристов — даже Владимир Одоевский, издававший «Мнемозину» совместно с Кюхельбекером и состоявший в дружбе со своим двоюродным братом (который был всего на год его стар-

ше), декабристом Александром Одоевским. И это не было случайностью.

Мы видели, что любомудров захватило общее настроение накануне 14 декабря. Но это все же представляло собой скорее подчинение мощному порыву внешнего мира, нежели глубокое внутреннее устремление. Характерно, что тот же Владимир Одоевский писал еще в 1821 году о своем брате: «Александр был эпохою в моей жизни». Именно — «был», а теперь для Владимира уже настала новая эпоха — «эпоха любомудрия». Известно, что каждый из братьев в годы, предшествующие 14 декабря, пытался обратить другого в свою веру, но эти усилия остались тщетными.

Любомудры относились к декабристам с уважением и сочувствием. Александр Кошелев вспоминал о «потрясающем действии», произведенном на него самого и его друзей казнью пятерых декабристов: «Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, нет возможности; словно каждый лишался своего отца или брата». Владимир Одоевский впоследствии сочувственно цитировал слова Герцена о декабристском движении: «В нем участвовали представители всего талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России...»

И все же любомудры избрали совсем иной путь. Уже в 1824 году в «Мнемозине» Владимир Одоевский высказал отношение любомудров к «практической» французской философии XVIII века, которой восторгалось предшествующее поколение: «До сих пор философа не могут представить иначе, как в образе французского говоруна XVIII века, — много ли таких, которые могли бы измерить, сколь велико расстояние между истинною, небесною философией и философией Вольтеров и Гельвециев». К этому суждению Одоевский дал многозначительное примечание: «По сему-то мы для отличия и называем истинных философов "любомудрами"».

Несколько позже, в 1826 году, Дмитрий Веневитинов писал: «Самопознание — вот идея, одна только могущая одушевить вселенную; вот цель и венец человека... История убеждает нас, что сия цель человека есть цель всего человечества; а любомудрие ясно открывает в ней закон всей природы.

С сей точки зрения должны мы взирать на каждый народ, как на лицо отдельное, которое к самопознанию направляет все свои нравственные усилия, ознаменованные печатью особенного характера. Развитие сих усилий составляет просвещение; цель просвещения или самопознания на-

рода есть та степень, на которой он отдает себе отчет в своих делах и определяет сферу своего действия...

С этой мыслию обратимся к России и спросим: какими силами подвигается она к цели просвещения? Какой степени достигла она на сем поприще, общем для всех? Вопросы, на которые едва ли можно ожидать ответа... ибо беспечная толпа наших литераторов, кажется, не подозревает их необходимости. У всех народов самостоятельных просвещение развивалось из начала, так сказать, отечественного... Россия все получила извне... Оттуда (в смысле — отсюда. — *В. К.*) совершенное отсутствие всякой свободы и истинной деятельности...

Началом и причиной медленности наших успехов в просвещении была та самая быстрота, с которою Россия приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое здание литературы без всякого основания, без всякого напряжения внутренней силы. Уму человеческому сродно действовать, и если б он у нас следовал естественному ходу, то характер народа развился бы собственной своей силой и принял бы направление самобытное, ему свойственное».

Нетрудно заметить здесь предвосхищение ряда основных идей «Философических писем» Чаадаева, созданных несколькими годами позднее. Далее Веневитинов усматривает выход из положения в том, что «легче действовать на ум, когда он пристрастился к заблуждению, нежели когда он равнодушен к истине... Мы видим тому ясный пример в самой России. Давно ли сбивчивые суждения французов о философии и искусстве считались в ней законами? И где же следы их? Они в прошедшем...». Нет сомнения, что это мог бы сказать и Тютчев. Еще 13 октября 1820 года Погодин сделал в дневнике запись о своем разговоре с Тютчевым «о немецкой словесности, о преимуществе ее пред французскою...».

Правда, Веневитинов не очень уж обольщался всем этим: «Такое освобождение России от... невежественной самоуверенности французов было бы торжеством ее, если бы оно было делом свободного рассудка; но... мы отбросили французские правила не от того, чтобы могли их опровергнуть какою-либо положительною системою».

И Веневитинов ставит следующую задачу: «Опираясь на твердые начала новейшей философии, представить ей (России. — *В. К.*) полную картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое собственное предназначение...

Вот подвиг, ожидающий тех, которые возгорят благородным желанием в пользу России и, следственно, человечества осуществить силу врожденной деятельности и воздвиг-

нуть торжественный памятник любомудрию если не в летописях целого народа, то по крайней мере в нескольких благородных сердцах, в коих пробудится свобода мысли...»

Итак, насущнейшая цель русского народа — «отдать себе отчет в своих делах и определить сферу своего действия». Только тогда будет возможна «истинная деятельность». Веневитинов писал это после поражения декабристов. Но основные устремления, выразившиеся в этом размышлении со всей определенностью, проявились уже в самом начале формирования любомудров — на рубеже 1810—1820-х годов.

Большое влияние оказало на любомудров знакомство с немецкой философией, хотя совершенно несостоятельно мнение, что они вообще, так сказать, вышли из этой философии. Сразу встает вопрос: почему именно в России и именно в этот исторический момент вспыхнул страстный интерес к немецкой философии? Кстати сказать, близкое знакомство с этой философией в России началось задолго до любомудров — еще в конце XVIII — начале XIX века — и выразилось, например, в деятельности профессоров А. М. Велланского, И. И. Давыдова и А. И. Галича, преподававшего, между прочим, в Царскосельском лицее. Однако лишь в 1820-х годах германская философия вышла на первый план интересов молодежи.

Ясно, что решительный поворот любомудров к германской философии и культуре в целом имел свои глубокие корни в русском духовном развитии.

Тютчев уже в семнадцать лет обратился к германской культуре. Об этом свидетельствуют многие дневниковые записи Погодина о разговорах с Тютчевым:

«13 октября 1820 г. Говорил с Тютчевым... о немецкой словесности, о преимуществе ее перед французскою.

26 ноября 1820. Говорил с Тютчевым о Шиллере, Гёте, вообще о немецкой словесности, о богатстве ее и проч.

2 декабря 1820. Был у Тютчева, говорил с ним о просвещении в Германии, о будущем просвещении у нас... У немцев какая всеобъемлемость!..»

Именно эта немецкая «всеобъемлемость» прежде всего и вдохновляла любомудров. Они ставили перед собой иные цели, чем декабристы. Из этого не следует делать вывод, что они, еще будучи зелеными юношами (ведь Тютчеву 23 ноября 1820 года исполнилось всего лишь семнадцать лет), «перегнали» декабристов. Суть дела в том, что именно из таких юношей должно было составиться поколение, которое не опустило руки после поражения декабристов, но со всей энергией отдалось «самопознанию».

Уже говорилось, что в какой-то момент любомудры были очень близки к декабристам, грань, разделявшая два поколения, представлялась несущественной и зыбкой. Но если смотреть из исторической перспективы, становится ясно, что на самом деле отличия между поколениями были глубоки и многосторонни.

Поколение декабристов немыслимо без реального опыта Отечественной войны, включая Заграничный поход. Этот опыт дал, помимо прочего, уверенность в том, что можно энергичным волевым усилием преобразовать мир — как преобразовали его русские полки, разрушившие наполеоновскую империю. Почти все основоположники декабристских организаций были участниками или, вернее, героями великой войны. Правда, позднее к ним присоединились и несколько десятков более молодых офицеров, не успевших побывать в боях, но и они как бы прониклись практической волей, которая жила в старших их сотоварищах.

Одним из младших в этом поколении был Пушкин, который в 1826 году писал об осужденных декабристах: «120 друзей, братьев, товарищей». Пушкин родился на четыре с половиной года раньше Тютчева. Но эти годы очень много значили тогда. Достаточно сказать, что ровесник Пушкина декабрист Павел Колошин (1799—1854) в 1813 году уже был прикомандирован к армии, участвовал в осаде Дрездена, Магдебурга и Гамбурга и даже удостоился ордена.

Пушкин впоследствии писал о себе и других лицеистах, прощавшихся с идущими через Царское Село войсками:

...И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

Между тем любомудрам в 1812 году было всего лишь по пять—девять лет, и переживание войны было уже совершенно иным, не имеющим действенной, волевой направленности.

Нельзя не сказать и о другом очевидном различии поколений. Среди основателей декабристских организаций очень весомое место занимали представители высшей родовой аристократии. Так, в числе десятка основателей первой такой организации, Союза спасения, было пятеро князей (из них трое — Рюриковичи) — Сергей Трубецкой (в 1825 году был избран «диктатором» восстания), Евгений Оболенский (начальник штаба восставших), Илья Долгоруков, Федор Шаховской, Павел Лопухин. Правда, впоследствии в ряды декабристов вошло много не столь родовитых дворян; но все

же среди осужденных по делу декабристов каждый восьмой принадлежал к титулованному дворянству.

Лев Толстой в одном из предисловий к «Войне и миру» дал прекрасное — и, между прочим, далеко не сразу им найденное — объяснение тому факту, что главные герои его эпопеи — князья и графы: «...Я буду писать историю людей, более свободных, чем государственные люди, историю людей, живших в самых выгодных условиях жизни... (Далее следуют глубокие слова, хотя Толстой и зачеркнул их: «...для борьбы и выбора между добром и злом, людей, изведавших все стороны человеческих мыслей, чувств и желаний... могших выбирать между рабством и свободой, между образованием и невежеством, между славой и неизвестностью, между властью и ничтожеством, между любовью и ненавистью».) людей, свободных от боязни, бедности, от предрассудков, невежества, независимых и имевших право считать себя равными всякому».

Именно такие люди сыграли основополагающую роль в декабристском движении, и Толстой показывает это в эпилоге «Войны и мира», изображая взаимоотношения проникшегося декабристскими настроениями графа Пьера Безухова с «князем Федором» (возможно, имеется в виду Шаховской) и «князем Сергием» (Трубецким?).

Все любомудры вышли уже из другого круга — прежде всего из «среднего дворянства», о котором шла речь выше. Правда, среди них оказался один князь — Владимир Одоевский, но его мать была крепостной крестьянкой. Выдающуюся роль играл в движении любомудров (он даже входил в пятерку руководителей) Николай Рожалин — безродный сын служащего Мариинской больницы для бедных (той самой, где в 1821 году у лекаря М. А. Достоевского появился на свет сын Федор). О Погодине, родившемся крепостным, уже говорилось. Из купеческого рода происходит принадлежавший к кругу любомудров Иван Мальцов.

Далее, любомудров отличали от предшествующего поколения сами избираемые ими жизненные дороги. Если подавляющее большинство декабристов — в том числе даже тех, которые начинали свой путь после Отечественной войны, во второй половине 1810-х — начале 1820-х годов, — были военными, офицерами, то почти все любомудры оказались на своего рода пересечении ученой и дипломатической деятельности. Каждый второй из тех юношей-любомудров, чьи имена были перечислены выше, после завершения образования поступил на службу в московский архив Коллегии иностранных дел: Веневитинов, братья Киреевские, Ко-

шелев, Мальцов, Мельгунов, Титов, Шевырев, Соболевский, давший своим собратьям прозвище «архивные юноши», которое отозвалось в «Евгении Онегине»:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят...

Правда, двое из любомудров, Хомяков и Путята, были офицерами, но довольно скоро вышли в отставку. Максимович и Погодин стали профессорами университета, а несколько позднее к ним присоединился Шевырев. Любомудры Кошелев, Андрей Муравьев, Иван Мальцов, Титов, как и Тютчев, побывали на непосредственно дипломатической службе (Мальцов, между прочим, служил первым секретарем русского посольства в Персии, возглавлявшегося Грибоедовым, и был единственным, кто уцелел в тегеранской трагедии 1829 года).

Изменились не только занятия; в новом поколении резкие изменения претерпел самый стиль поведения. Об этом выразительно рассказал в своих воспоминаниях племянник ближайшего друга Пушкина, Антона Дельвига. Он поведал о том, как в 1830 году «вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву (еще один из лицеистов. — *В. К.*) и нескольким другим их сверстникам по летам показать младшему поколению, то есть мне, семнадцатилетнему, и брату моему Александру, двадцатилетнему, как они вели себя в наши годы и до какой степени молодость сделалась вялою относительно прежней», — то есть молодости декабристского поколения.

«Мы все зашли в трактир на Крестовском острове... На террасе трактира сидел какой-то господин... Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион и что его надо прогнать. Когда на это требование не поддались ни брат, ни я, Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина то с правой, то с левой стороны... Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр... Но наши благоразумные уговоры ни к чему не привели... Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим приставаньем до того, что последний ушел... Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из Лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах и глумились над нами, юношами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые десятью и более годами нас старее... Захотелось им встряхнуться старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению. Я упомянул об этой прогулке собственно для того,

чтобы дать понятие о перемене, обнаружившейся в молодых людях в истекшие десять лет».

Перемена в самом деле была разительной. В свете приведенного рассказа становится вполне понятным смысл пушкинских строк о «чопорных» архивных юношах. Нередко эту перемену целиком объясняют тяжким ударом, нанесенным новому поколению трагедией 14 декабря. Но в действительности характер поколения достаточно очевидно проявился уже в первой половине 1820-х годов; начало службы любомудров в архиве (что было бы дико, нелепо для молодых декабристов) относится к 1823 году, а не ко времени после восстания.

Разрыв между поколениями поистине бросался в глаза. Так, сын еще одного друга Пушкина, Вяземского, счел нужным сказать в своих мемуарах о том же самом, что и племянник Дельвига: «Для нашего поколения... выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя».

Не менее характерна относящаяся к 1827 году дневниковая запись А. Н. Вульфа, приятеля Пушкина, но бывшего моложе его на шесть лет (и, следовательно, ровесника любомудров). Он писал, что представители старшего поколения, «как, например, Пушкин... хотят в молодости находить буйность. Но... нониче уже время буйства молодежи прошло... Даже и гусары (название, прежде однозначащее с буяном) не пьянствуют и не бушуют».

В рассказе племянника Дельвига есть по-своему замечательная деталь: оказывается, что его двадцатилетний брат Александр действительно мог рассердиться, вспылить, поссориться — в том случае, если его спутники вели себя на улице недостаточно «серьезно и обдуманно». В момент, когда происходила описанная сцена (то есть в 1830 году), большинство любомудров были на несколько лет старше этого двадцатилетнего Александра; но такой стиль поведения установили именно они еще в самом начале 1820-х годов. И быть может, особенно интересен и многозначителен тот факт, что этот стиль наиболее типичен именно для молодости любомудров — и в том числе Тютчева. Мы еще увидим, что как раз в зрелом и даже пожилом возрасте Тютчев был нередко склонен к резким и даже, если угодно, к озорным высказываниям и поступкам, — во всяком случае, в гораздо большей степени, чем в молодые годы.

Это же можно сказать и о других любомудрах. Так, в 1857 году пятидесятилетний академик (!) Шевырев закатил пощечину издевавшемуся над Россией космополитически настроенному графу Бобринскому — сыну покровительницы Дантеса графини Софьи Бобринской. За этот поступок Шевырев был уволен из Московского университета, где он был одним из ведущих профессоров, и выслан из Москвы (стоит добавить, что Бобринский был очень крепкого сложения и почти на двадцать лет моложе Шевырева и, вступив с ним в драку, едва не убил его). Хорошо известно, что от молодого Шевырева, от Шевырева-любомудра как раз нельзя было ожидать подобного поступка.

Небывалая юношеская серьезность и сдержанность любомудров объясняются тем, что они видели истинное призвание и высшую ценность человеческого бытия в напряженной духовной жизни, в глубоком движении мысли. Все, что могло нарушить это состояние, представало в их глазах как нечто недостойное и мелкое. Этот стиль поведения был присущ именно и только поколению любомудров; их преемники в литературе и мысли, люди 1840-х годов, вели себя уже совсем по-иному — достаточно вспомнить о неистовости Белинского в повседневных спорах или о Константине Аксакове, готовом, как казалось Герцену, даже пустить в ход свои крепкие кулаки...

Это страстное поколение явно повлияло на любомудров, которые в 1840—1850-х годах становятся значительно менее «сдержанными» в своих внешних проявлениях, — что отчетливо выступает, скажем, в поздней деятельности Хомякова, Мельгунова и самого Тютчева. Но, конечно, общий стиль поколения так или иначе сохраняется. Очень характерно замечание Герцена о том, что ему приходилось «спорить... и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не сердился» (чего никак нельзя было бы сказать о таком человеке герценовского поколения, как Константин Аксаков).

Один современный известный журналист между прочим написал: «Тютчев. Странный, удивительный человек... Он всегда был служащим, но как нелепо звучит: "...чиновник Тютчев!"... Философ. Природой любовался, но и размышлял над ней. И это строгое лицо, запавшие щеки, тонкие очки, которые еще больше сушат весь облик. Он непохож на поэта». Это рассуждение стоило привести потому, что журналист выразил представления, характерные для многих людей. Первое, что необходимо здесь опровергнуть, — слова «странный, удивительный человек», очевидно, подразумевающие «непохожесть» Тютчева, его отличие от современни-

ков, тем более современных ему поэтов. Но в действительности Тютчев был вполне характерным, типичным представителем именно своего поколения. Он явно не похож на людей предшествующего, декабристского, и последующего (1840-х годов) поколений. Но он вовсе не «странен» рядом с Киреевским, Одоевским, Максимовичем и другими или, если говорить о поэтах, с Веневитиновым, Шевыревым, Андреем Муравьевым. Все они в течение того или иного времени были «чиновниками» (а не, скажем, офицерами), все они главным образом «размышляли», у всех у них были «строгие» и даже, если смотреть со стороны, в чем-то «сухие» лица. В портретах Тютчева нетрудно заметить много общего с портретами Веневитинова и Ивана Киреевского, Хомякова и Владимира Одоевского.

В. О. Ключевский писал о декабристах: «В них мы замечаем удивительное обилие чувства, перевес его над мыслью». Про любомудров вполне можно было бы сказать обратное: мысль перевешивает чувство. В том, что Тютчев был поэт-мыслитель, поэт-философ, усматривают нередко его личное, индивидуальное своеобразие. Но это совершенно неправильно; философская направленность Тютчева являет собою как раз общее, типическое свойство всего его поколения.

С этой точки зрения тютчевское поколение очень отличалось от поколения декабристов, которые были, так сказать, людьми чувства и действия. Уже говорилось, что любомудры на какое-то время накануне 14 декабря были захвачены порывом старших своих братьев. Но и до этого момента, и после него они твердо шли по иному пути. Декабристы действовали, а любомудры стремились стать орудием «самопознания народа», достичь, по выражению Веневитинова, той «степени» развития, «на которой он (народ. — *В. К.)* отдает себе отчет в своих делах и определяет сферу своего действия». В этом отношении любомудры сделали неоценимо много. Они преобразовали самый характер развития русской культуры.

Веневитинов со всей резкостью писал в 1826 году: «...У нас чувство некоторым образом освобождает от обязанности мыслить... При сем нравственном положении России одно только средство представляется тому, кто пользу ее изберет целию своих действий. Надобно бы совершенно остановить нынешний ход ее словесности и заставить ее более думать, нежели производить...»

Конечно, это по-своему слишком радикальная и односторонняя программа. Нельзя не видеть также, что без героического деяния декабристов невозможно было бы и дальнейшее движение отечественной мысли; это остается непреложным, если даже посчитать, что декабристы потерпели полное поражение. Но нельзя не видеть и другое: духовная работа любомудров имела столь же необходимое значение, как и героическое деяние их предшественников. И любомудры были естественной и закономерной сменой на авансцене идеологии и культуры. Дело здесь не в том, что они обладали большей основательностью, чем декабристы. Дело в том, что именно они могли и должны были на совершенно, казалось бы, иной дороге продолжить русское историческое творчество.

Любомудры, как уже говорилось, вступили на эту свою дорогу задолго до 14 декабря — уже на грани 1810—1820-х годов. Из этого вроде бы надо сделать вывод, что они были гораздо дальновиднее декабристов, были своего рода пророками. Но такое представление означало бы грубое упрощение проблемы. Ибо каждая стадия развития имеет свое собственное, как бы даже самоценное значение. Достаточно сказать, что без декабристов, без всей их деятельности не было бы Пушкина, — хотя впоследствии Пушкин воспринял и вклад любомудров в русскую культуру.

В 1823 году совершается замечательное по наглядности расхождение путей двух поколений: декабристы готовятся выйти на площадь, чтобы делать историю, а любомудры идут в архив Коллегии иностранных дел, чтобы понять историю...

Кто же из них был более прав? Сама такая постановка вопроса безнадежно упрощает суть дела. Из исторической перспективы можно ясно увидеть, что и то и другое было необходимо. Ведь именно любомудры «не растерялись» после поражения декабристов и достаточно активно добивались своих целей.

К сожалению, в книгах о той эпохе часто господствует, так сказать, абсолютная «идеализация» декабристов и, соответственно, принижение или даже отрицание деятелей, шедших иным путем. Правда, Е. Н. Лебедев еще в 1983 году хорошо возразил таким авторам: «...если вспомнить известные ленинские слова о первых революционерах из дворян: “Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа”, — то необходимо будет признать, что очень часто наши авторы ограничивали свои творческие задачи показом именно “узкого круга”, а народ представал в их произведениях

лишь как объект размышлений "лучших людей из дворян". Если быть до конца историчным... то ведь надо показывать реалистически беспощадно и удаленность от народа этих действительно лучших представителей русского дворянства».

Любомудры это понимали по-своему. Один из них, Хомяков, в 1823—1825 годах был гвардейским офицером в Петербурге и постоянно общался с декабристами, особенно с Рылеевым и Александром Одоевским, печатался в декабристском альманахе «Полярная звезда» и т. п. Есть все основания полагать, что если бы Хомяков не взял летом 1825 года долгосрочный отпуск и не уехал за границу, он так или иначе оказался бы под следствием по делу декабристов.

Но хорошо известно из рассказов современников, что Хомяков еще в 1824 году решительно оспаривал идею военного переворота, уже овладевшую тогда декабристами. «Вы хотите военной революции, — говорил он. — Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружил на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» После этих слов «рассерженный Рылеев убежал с вечера домой». Хомяков же сказал князю Александру Одоевскому, что тот-де «вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства».

Очевидно, что критика Хомякова основывалась на отвлеченных, абстрактных нравственно-философских принципах, которые, в сущности, неприменимы, когда речь идет о реальной политической борьбе. Кстати сказать, дочь Хомякова записала такое его общее суждение о декабристах: «Всякий военный бунт сам по себе безнравственен». Здесь отвлеченность постановки вопроса выступает со всей очевидностью. И все же в глубине, в подтексте хомяковских высказываний есть своя несомненная правота. Ведь Хомяков подразумевает, что декабристы собираются действовать без народа, помимо народа. Владимир Одоевский позднее, в связи с одной из статей Герцена, писал о декабристах: «Они говорили народу, но не с народом». И в высказывании Ленина: «Страшно далеки они от народа» — не очень «научное» слово «страшно» чрезвычайно уместно.

Военный переворот, который совершается заведомо без всякого участия народа, чрезвычайно легко, даже естественно может вылиться в военную диктатуру...

И есть своя правота в народной песне о декабристах, записанной выдающимся фольклористом Н. Е. Ончуковым:

Придумали, братцы, бояришка думу крепкую;
«Кому, братцы, из нас да государем быть?
Государем быть да акитантом слыть?
Государём-то быть князю Вильянскому*,
Акитантом слыть князю Волхонскому»**...
Рассадили их по темным кибиточкам,
Развозили-то их да по темным тюрьмам.

Только учитывая все это, можно верно понять созданное в 1826 году стихотворение Тютчева «14-е декабря 1825», где он выразил то понимание и ту оценку событий, которые характерны для любомудров в целом.

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил —

так начинает Тютчев. Известный исследователь жизни и творчества поэта Г. И. Чулков писал: «Невозможно истолковать первые два стиха в том смысле, что декабристы были развращены собственным своеволием... Нет, поэт сказал то, что хотел сказать: “Самодержавие развратило декабристов, и оно же казнило их”».

Это действительно так; декабристы, действуя без народа, в сущности, могли только заменить самовластье царя своим самовластьем, — таков, надо думать, смысл тютчевских строк. И далее поэт говорит:

Народ, чуждаясь вероломства***,
Поносит ваши имена...

Г. И. Чулков заметил, что «поэт, по-видимому, не вполне отождествляет свою мысль с... народным приговором». Но это слишком осторожное предположение; из дальнейших строф тютчевского стихотворения как раз вполне очевидно, что поэт ни в коей мере не склонен «поносить» имена декабристов. Тютчев только верно отражает ту самую объективную историческую ситуацию — «страшно далеки они от народа». Но, ясно сознавая истинные намерения своих старших братьев, он говорит:

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!

* Вероятно, имеется в виду Евгений Оболенский.
** По-видимому, Сергей Волконский.
*** Имеется в виду нарушение присяги.

Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

Единственный упрек — если только это можно назвать упреком — в «безрассудности» мысли, что совершенно закономерно для человека поколения любомудров. Да, Тютчев полагал — и для этого, несомненно, были серьезные основания, — что декабристы никак не могли одержать победу. Это, кстати сказать, совпадало с чисто жертвенным самосознанием многих декабристов. Сам Рылеев не раз высказывал убеждение в неотвратимости гибели, — в частности, в своих знаменитых стихах:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает...

Александр Одоевский восклицал накануне 14 декабря: «Умрем, ах, как славно мы умрем!..»

Об этом, собственно, и говорит Тютчев, создавая жестокий, но глубоко поэтический образ «скудной крови», которая, «дымясь, сверкнула на вековой громаде льдов». Можно сказать, что Тютчев преувеличил мощь империи, изображая ее как «вечный полюс», который почти невозможно «растопить», как «вековую громаду льдов», дышащую «зимой железной». Но в 1826 году неимоверно трудно было думать поиному. В то же время в стихах нет конечно же никакого «поношения» декабристов (хотя иные авторы работ о Тютчеве и пытались это вычитать в данном стихотворении). Сам образ сверкнувшей на вековой громаде льдов — как ослепительная искра — крови исключает такое истолкование.

Тютчев оказался не прав только в одном — в утверждении, что «не осталось и следов». Достаточно вспомнить о явившихся через десятилетие на общественную арену Герцене и Огареве, чтобы убедиться в неуничтожимости этих следов...

Но сразу же следует сказать, что Герцен, вдохновлявшийся героическим примером декабристов, продолжал их дело уже на совсем другом уровне, — на уровне гораздо более высокой культуры мысли и с гораздо более глубоким историческим сознанием. И в этом отношении он, как и его сверстник Станкевич, опирался на духовное творчество любомудров.

В 1832 году двадцатилетний Герцен рекомендует своему другу (рано умершему) Николаю Астракову диссертацию

любомудра Максимовича «О системах растительного царства» (1827), советуя «прочесть это изящнейшее творение по сей части мира, философское направление и высокое понятие о науке — и науках естественных».

В 1835 году Герцен пишет Николаю Кетчеру о вышедшем тогда в свет произведении Владимира Одоевского: «Читал ли ты в "Московском наблюдателе" статью "Себастиан Бах"? Что за прелесть. Она сильно подействовала на меня».

Как уже говорилось, на рубеже 1830—1840-х годов несколько выдающихся любомудров стали основоположниками славянофильства. Герцен в течение сороковых годов все более решительно борется со славянофильскими концепциями. Но он не изменяет своей самой высокой оценки деятельности любомудров в предславянофильский период. Так, 21 декабря 1843 года, когда борьба «двух станов» (по герценовскому определению) уже разгорелась вовсю, он записывает в дневнике: «На днях пробежал я 1 № "Европейца" (журнал, который в 1832 году издавал Иван Киреевский. — *В. К.*). Статьи Ив. Киреевского удивительны; они предупредили современное направление в самой Европе, — какая здоровая, сильная голова, какой талант, слог...» Стоит заметить, что характеристика — «предупредили современное направление в самой Европе» — была для того времени в устах Герцена высочайшей, ни с чем не сравнимой похвалой (лишь много позднее он стал относиться к европейской мысли значительно более критически) и что очень трудно назвать какие-либо другие явления тогдашней русской культуры, о которых Герцен мог бы сказать нечто подобное.

Непримиримо споря с бывшими любомудрами, Герцен не переставал ценить их глубоко разработанную философскую культуру. 21 декабря 1842 года он записал: «Вчера продолжительный спор у меня с Хомяковым о современной философии. Удивительный дар, быстрота соображения, память чрезвычайная, объем пониманья широк, верен себе... Необыкновенная способность. Я рад был этому спору, я мог некоторым образом изведать силы свои, с таким бойцом помериться стоит всякого ученья... Консеквентность (последовательность. — *В. К.*) его во многом выше формалистов гегельянских... Опровергая Гегеля, Хомяков не держится в всеобщих замечаниях, в результатах, — нет... он идет в самую глубь, в самое сердце, то есть в развитие логической идеи...»

Оценки Герцена поистине более чем беспристрастны, — ведь речь идет о заведомых его противниках. При всей ост-

роте полемики он не может не воскликнуть (1843 год): «Что за прекрасная, сильная личность Ивана Киреевского!»

Значительно позднее, в 1861 году, Герцен писал об уже покойных братьях Киреевских и Хомякове: «...Закрывая глаза, они могли сказать себе с полным сознанием, что они сделали то, что хотели сделать... Они остановили увлеченное общественное мнение и заставили призадуматься всех серьезных людей.

С них начинается перелом русской мысли. И когда мы это говорим, кажется, нас нельзя заподозрить в пристрастии».

Еще позднее, в 1867 году, Герцен написал: «Середь ночи, следовавшей за 14 декабрем... первые, закричавшие "земля", были московские славянофилы».

Собственно, тогда они не были еще славянофилами, — Герцен называет их так по сути дела «задним числом». Еще в 1826 году Дмитрий Веневитинов как бы сформулировал цель своего поколения: «Философия и применение оной ко всем эпохам наук и искусств — вот предметы, заслуживающие особенное наше внимание, предметы, тем более необходимые для России, что она еще нуждается в твердом основании изящных наук и найдет сие основание, сей залог своей самобытности и, следственно, своей нравственной свободы... в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления».

То, что стремились создать — и во многом действительно создали — любомудры, только в самом общем смысле может быть названо «философией». Дело шло о сотворении национального и личностного самосознания — притом не только о его, так сказать, предметном и дифференцированном содержании, но и о целостном организме, о живой реальности самосознания.

Эту цель и преследовали любомудры, справедливо полагая, что без своей самобытной философии (в самом широком смысле этого слова) невозможна и подлинная нравственная свобода, о чем и говорил Веневитинов. Уже в 1830-х годах созданная реальность русского самосознания начала наливаться конкретным смыслом, вернее, многосмысленностью; затем она расчленилась на два борющихся течения — славянофильство и западничество.

Тютчев был одним из тех, кто внес неоценимый вклад в осуществление исторической задачи поколения. Уже одним фактом, что он явился великим, даже величайшим поэтом-мыслителем России, доказывается вершинная роль Тютчева в его поколении — поколении любомудров.

Человеческое и творческое становление Тютчева неотделимо от становления любомудров в целом. С 1817 по 1822 год он постоянно встречался с юношами этого круга — и в университете, и в Обществе любителей российской словесности, и в кружке Раича, собиравшемся на Большой Дмитровке, и в своем доме в Армянском переулке. Нам известно, что в тот же круг вошли в 1816—1820 годах — кто раньше, кто позже — юные Владимир Одоевский, Хомяков, Максимович, Кошелев, Погодин, Ознобишин, Шевырев, Андрей Муравьев, Владимир Титов, Путята и другие любомудры. Если даже Тютчев кого-либо из них не узнал тогда лично, он не мог не знать их через друзей и знакомых. Возможно, что с некоторыми из любомудров он сблизился позднее, в 1825 году, когда на полгода приехал в отпуск из Германии. Во всяком случае, когда в конце 1820-х — начале 1830-х годов братья Киреевские, Рожалин, Титов, Мельгунов приезжали в Мюнхен, Тютчев встречался с ними как с хорошо известными ему людьми.

Если же говорить о круге любомудров в целом (а не о каждом из них в отдельности), Тютчев, без сомнения, вошел в него еще на рубеже 1810—1820-х годов. Есть свидетельства, что юный Тютчев очень интересовался литературной и общественной жизнью тогдашней Москвы. Так, Погодин записал 27 мая 1822 года: «Ушел было из общества (имеется в виду Общество любителей российской словесности. — *В. К.*), торопясь уехать в Знаменское (подмосковная усадьба Трубецких, у которых он служил. — *В. К.*), но попался Тютчев и воротил меня».

Выше уже приводились записи из погодинского дневника о затрагивающих самые широкие проблемы беседах и горячих спорах с Тютчевым. Но нет сомнения в том, что полные смысла разговоры и жаркие диспуты Тютчев вел и с другими любомудрами. Это запечатлелось даже в тогдашнем его стихотворении «А. Н. М.» — то есть «Андрею Николаевичу Муравьеву», написанном 13 декабря 1821 года.

Андрей Муравьев — младший брат основателя Союза спасения Александра Муравьева — не принадлежал к наиболее выдающимся представителям поколения любомудров. Но он, безусловно, внес свою лепту в общее дело. Когда в 1827 году его стихи появились в альманахе «Северная лира», изданном Раичем и Ознобишиным, Пушкин сказал: «Между другими поэтами в первый раз увидели мы г-на Муравьева и встретили его с надеждой и радостию». Позже, в предисловии к своему «Путешествию в Арзрум во время похода 1829 года» (1835), Пушкин отметил муравьевское «Путешествие ко святым ме-

стам в 1830 году» (1832) как сочинение, «произведшее столь сильное впечатление». Стоит отметить, что Андрей Муравьев принял самое деятельное участие в приобретении древнеегипетских сфинксов, которые в 1834 году были установлены над Невой в Петербурге.

Стихотворение Тютчева, обращенное к Муравьеву, остро полемично. Поэт выступает против рационалистической философии французского типа, которую, очевидно, еще исповедовал в то время — согласно семейной традиции — Андрей Муравьев. Кстати сказать, ему тогда не было и шестнадцати лет... Но не будем забывать об исключительно раннем созревании этого поколения. Восемнадцатилетний Тютчев создает своего рода полемический стихотворный манифест любомудров:

Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников — их обнажил;
Ту жизнь до дна он иссушил,
Что в дерево вливала душу,
Давала тело бестелесным!..
. . . .
О раб ученой суеты
И скованный своей наукой!
Напрасно, критик, гонишь ты
Их златокрылые мечты; —
Поверь — сам опыт в том порукой, —
Чертог волшебный добрых фей
И в сновиденья — веселей,
Чем наяву — томиться скукой
В убогой хижине твоей!..

Многие созданные позже стихотворения Андрея Муравьева свидетельствуют, что Тютчев, так сказать, победил его в этом споре. Цитированное стихотворение Тютчева было впервые приведено в статье любомудра Дмитрия Ознобишина, опубликованной в том самом альманахе «Северная лира», где впервые увидели свет стихи Муравьева. Это с очевидностью означало, что Муравьев принял урок Тютчева...

В октябре 1821 года Тютчев держал выпускные экзамены в университете — на год раньше положенного трехгодичного срока учения. Для этого потребовалось разрешение министра народного просвещения, который написал попечителю Московского учебного округа князю Оболенскому: «По уважении отличного засвидетельствования вашего сиятельства о способностях и успехах в науках своекоштного студента Московского университета Тютчева я согласен на допуще-

ние его к испытанию... так как недостающий к числу лет обучения его в студенческом звании год можно заменить тремя годами бытности его вольным слушателем». В декабре Тютчев был выпущен из университета со степенью кандидата, которую получали только наиболее достойные.

На семейном совете было решено, что Федор поступит на дипломатическую службу. 5 февраля 1822 года восемнадцатилетний кандидат приехал вместе со своим отцом в Петербург, а 24 февраля был зачислен на службу в Государственную коллегию иностранных дел с чином губернского секретаря.

Тютчев поселился в доме своего родственника (троюродного брата его матери) графа Александра Ивановича Остермана-Толстого на Английской набережной (теперь — набережная Красного флота, 10). После Овстуга и Москвы перед ним впервые предстал иной город, иная жизнь. Совсем рядом с домом находилась пристань, от которой начинался морской путь в Европу. Граф Остерман-Толстой, самым родственным образом опекавший Тютчева, был живой легендой. Правнук одного из ближайших сподвижников Петра I, в двадцать лет — участник суворовского штурма Измаила (1790), выдающийся военачальник едва ли не во всех сражениях с Наполеоном, начиная с 1805 года он командовал корпусом в Бородинской битве, был в числе десяти на совете в Филях, а в сражении при Кульме в 1813 году потерял левую руку. Человек, пришедший из прошлого века, этот генерал от инфантерии впоследствии не смог ужиться в русском обществе эпохи Николая I и в 1837 году уехал в Швейцарию, в Женеву, где большей частью и жил. Когда в 1846 году там произошло восстание демократов, почти восьмидесятилетний генерал Остерман-Толстой давал военные советы его вождю, Жану Фази, о чем рассказал познакомившийся с Остерманом-Толстым в Женеве Герцен. Кстати сказать, Тютчев хорошо знал об этом эпилоге судьбы своего легендарного родственника. В 1860 году он писал из Женевы: «На днях я присутствовал на народном собрании под председательством господина Фази... которое произвело на меня сильное впечатление... Я еще не познакомился с господином Фази, но познакомлюсь, так как случайно нашел связывающую нас нить. Это его отношения в былое время к графу Остерману».

Но вернемся в 1822 год. Приглядевшись к Федору Тютчеву, Остерман-Толстой рекомендовал его на должность сверхштатного чиновника русского посольства в Баварии и, поскольку сам собирался за границу, решил отвезти Федора в Мюнхен в своей карете.

Более трех месяцев Тютчев прожил в Петербурге, и это как бы подвело итог его юношескому познанию России (по дороге из Москвы и обратно он еще, конечно, осмотрел Тверь и Новгород). Получив 13 мая назначение в Мюнхен, Тютчев тут же выехал в Москву, где должен был дождаться Остермана-Толстого.

Одиннадцатого июня 1822 года графская карета отправилась из Москвы в Германию. Через много лет Тютчев написал родителям из Мюнхена: «Странная вещь — судьба человеческая. Надо же было моей судьбе вооружиться уцелевшею Остермановою рукою, чтобы закинуть меня так далеко от вас!»...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1822—1844

Глава четвертая
ГЕРМАНИЯ

...здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной...
1849

В конце июня 1822 года Тютчев прибыл в Германию, где прожил в общей сложности около двух десятилетий (если исключить приезды в Россию — каждый раз на несколько месяцев — в 1825, 1830, 1837 и 1843 годах); только осенью 1844 года Тютчев окончательно возвратился на родину. Таким образом, почти треть его сознательной жизни прошла в Германии.

Собственно говоря, Германии как единой целой страны тогда не было; существовал лишь основанный в 1815 году Германский союз, включавший в себя около сорока (!) разнородных государственных образований (наиболее крупные из них — Пруссия, Бавария и Австрия, наиболее мелкие — «вольные города» Бремен, Гамбург, Любек, Франкфурт-на-Майне). Единое германское государство было создано только в самом конце жизни Тютчева, в 1871 году. Борьба за единство страны развертывалась на глазах Тютчева, и он самым внимательным образом следил за этой борьбой и даже стремился влиять на нее. В 1844 году Тютчев в одной из своих статей, обращаясь к общественным деятелям германских государств, говорил о немецкой печати: «Я очень расположен воздать ей должную хвалу... Она — законное детище вашей возвышенной великой литературы, той литературы, которая восстановила среди вас сознание вашего национального тождества».

К моменту прибытия Тютчева уже существовала в основе своей единая национальная культура Германии (в нее

тогда тесно вплеталась и культурная жизнь австрийской Вены), которая являла собой, в частности, незыблемый залог будущего единства страны. Эта богатая и мощная культура складывалась в самых разных германских государствах — в зависимости от возникавших в них благоприятных условий, но становилась достоянием всех. Казалось бы, раздробленность страны должна была тормозить формирование национальной культуры. Однако культурно-историческое творчество идет нередко очень сложным путем, не поддающимся прямолинейным толкованиям. И в известной мере именно страстная устремленность к обретению единства своего народа пробудила титанические силы в крупнейших представителях германской философии, поэзии, музыки. В конце XVIII — начале XIX века Германия играла бесспорно ведущую роль в культурном творчестве Европы.

Оказавшись в Германии, Тютчев вошел в духовную и творческую атмосферу, созданную такими недавно завершившими свой путь людьми, как Кант, Гердер, Шиллер, Гельдерлин, Клейст, Новалис, Гофман, Моцарт, и теми, кто еще продолжал творить, — как Гегель, Шеллинг, Гёте, братья Шлегели и Гумбольдты, Бетховен, Шуберт. К этому перечню можно прибавить еще немало имен деятелей тогдашней германской культуры, — деятелей, каждый из которых также имел общеевропейское значение.

Первыми в ряду стоят здесь мыслители, ибо культура Германии была прежде всего философской. Ее своеобразие вытекало уже хотя бы из того, что национальному культурному творчеству недоставало реальной, практической почвы единой страны — целостной Германии; и, в частности, как раз поэтому все тяготело к царству мысли, к чисто духовным исканиям, которые подчас оборачивались абстрактными метафизическими построениями. Но, так или иначе, именно германская философия явилась высшим взлетом общечеловеческой мысли Нового времени.

Философская устремленность пронизывала и развитие литературы, театра, музыки тогдашней Германии. Творческие искания конца XVIII — начала XIX века, пожалуй, более всего замечательны тем, что их одушевляла высочайшая цель — вобрать в себя и творчески обобщить всю предшествующую культуру Европы, а отчасти и Востока. Именно потому и можно с полным правом сказать, что через Германию проходило в это время главное русло развития мировой мысли и творчества.

Через полтора года после того, как Тютчев приехал в Германию, секретарь Гёте Иоганн Эккерман записал (15 февра-

ля 1824 года) очень многозначительное высказывание семидесятипятилетнего поэта и мыслителя:

«Я радуюсь, — сказал Гёте, смеясь, — что мне сейчас не восемнадцать лет. Когда мне было восемнадцать лет (то есть в 1767 году. — *В. К.*), Германии тоже было восемнадцать и поэтому кое-что можно было сделать. Но сейчас требования невероятно высоки, и все дороги уже проторены.

Германия во всех областях достигла таких успехов, что даже поверхностно всего этого нельзя охватить, а притом мы еще должны быть и греками, и римлянами, и англичанами, и французами. Да сверх того еще имеют сумасшествие указывать на Восток — тут есть от чего растеряться молодому человеку».

Восемнадцатилетний Тютчев, выросший в кругу любомудров, достаточно ясно представлял себе основные устремления германской культуры, выразившиеся в этих словах Гёте. И вот он оказался в одном из ведущих ее центров — Мюнхене, столице наиболее крупного, после Пруссии и Австрии, королевства Германского союза — Баварии.

Как раз в это время Мюнхен переживал период высшего культурного расцвета; его называли «германскими Афинами». С 1806 по 1820 год и после шестилетнего перерыва с 1827 по 1841 год здесь жил один из величайших мыслителей Германии Фридрих Шеллинг (1775—1854). В те же годы в Мюнхене работали многие выдающиеся философы и ученые — Фридрих Якоби, Франц Баадер, Лоренц Окен, Йозеф Гёррес, Фридрих Тирш, Иоганн Дёллингер, Якоб Фальмерайер и др. Особенно важно иметь в виду, что, несмотря на отсутствие единой Германии, целостная национальная культура уже существовала и ее деятели, жившие в Мюнхене, имели самую тесную и постоянную связь со всеми другими культурными центрами, начиная с гётевского Веймара.

Во времена Тютчева в Мюнхене плодотворно действовали Баварская академия наук, университет, Академия художеств. И пожалуй, особенно важным для становления Тютчева был тот факт, что культурная жизнь Мюнхена по-настоящему расцвела именно на его глазах; так, университет был открыт здесь в 1826 году, а 26 ноября 1827 года приглашенный снова в Мюнхен Шеллинг при большом стечении слушателей читал свою блистательную вступительную лекцию, на которой, по всей вероятности, присутствовал и Тютчев.

Первый президент Баварской академии наук Фридрих Якоби (позднее его сменил на этом посту Шеллинг) писал еще в 1805 году о Мюнхене: «Где вы найдете во главе дел столько умных и порядочных, ревностно стремящихся лишь

к добру людей, как здесь?.. При современном положении Европы дело Баварии есть дело всего человечества. Я усматриваю это с полною ясностью». И при Тютчеве в Мюнхене творилось в сфере мысли поистине «дело всего человечества», — то дело, о котором говорил Гёте.

Но именно о такой роли русской культуры мечтали любомудры. Веневитинов в статье «О состоянии просвещения в России» (1826) писал, что высшая конечная цель национальной культуры — войти «в состав всемирных приобретений», что грядущий подвиг творцов русской культуры ожидает «тех, которые возгорят благородным желанием в пользу России и, следственно, человечества»; предвидение Веневитинова, кстати сказать, оправдалось всего через несколько десятилетий в грандиозном мировом значении творчества Достоевского и Толстого.

Итак, Тютчев в 1820-х годах присутствует на зримом всемирном торжестве германской культуры, которая за предшествующие полвека прошла путь от юности (Гёте небезосновательно отождествил свой собственный юношеский возраст с возрастом национальной культуры) до золотой зрелости*. Органическое единство германской мысли и поэзии было, без сомнения, столь же ясно для Тютчева, как и для Веневитинова, сказавшего в уже упомянутой статье 1828 года: «Новейшая философия в Германии есть зрелый плод того же энтузиазма, который одушевлял истинных ее поэтов, того же стремления к высокой цели, которое направляло полет Шиллера и Гёте».

Тютчев, разумеется, всесторонне освоил германскую поэзию. В первые же годы пребывания в Мюнхене он переводит на русский язык «Песнь радости» Шиллера (которого он переводил еще и в России), в первой публикации перевода была указана дата: «Минхен**. 1823. Февраль» — и целый ряд творений Гёте, а также стихи Гердера и Уланда. Но есть все основания полагать, что германская мысль влекла к себе Тютчева не менее, а может быть, и более, чем поэзия. Несмотря на крайнюю скудость сведений о заграничной жизни поэта, мы все же многое знаем о его встречах с Шеллингом, но нам ничего не известно об отношениях Тютчева и Гёте. Большинство причастных к литературе русских, приезжая в Германию, стремились увидеть Гёте (как Карамзин) или даже подолгу беседовать с ним (как Жуковский). Встре-

* То же самое свершила русская литература за следующие полвека — с 1820-х до 1870-х годов.

** Так в то время воспроизводили по-русски слово *Munchen*.

чались с ним в конце 1820-х — начале 1830-х годов и любомудры Рожалин, Шевырев, Кошелев.

Тютчев же, по-видимому, не искал встречи с Гёте, хотя и приехал в Германию за десять лет до его кончины и жил в каких-нибудь трехстах километрах от Гётевой резиденции — Веймара (известно, что после 1832 года — года смерти Гёте — Тютчев не раз бывал в его городе и беседовал с родственниками поэта).

Это вовсе не означает, что Тютчев недостаточно ценил Гёте. Его стихи на смерть германского гения предельно выразительны.

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом, —

начинает Тютчев, утверждая, так сказать, абсолютное первенство Гёте, и далее обосновывает свою высшую оценку так:

С его* великою душою
Созвучней всех на нем ты трепетал!

Таким образом, Тютчев видит превосходство Гёте в том, что он менее кого-либо склонен к индивидуализму (в самом широком смысле этого слова), что он наиболее созвучен с душою целого человечества.

Именно это качество Тютчев, очевидно, и ценил прежде всего в высших проявлениях германской культуры вообще. В конечном счете Тютчев и его сподвижники как раз и стремились сделать русскую мысль и всю русскую культуру всеобъемлющей, подлинно всемирной. Веневитинов в той же статье говорил о необходимости «представить ей (России. — *В. К.*) полную картину развития ума человеческого, картину, в которой бы она видела свое собственное предназначение»; иными словами, русская культура, оставаясь глубоко самобытной, должна выйти на всемирный простор, занять свое весомое место в общечеловеческом движении.

Германская культура в полной мере достигла этой цели ко времени приезда Тютчева в Мюнхен и, естественно, являла собой мощно вдохновляющий пример. Именно это и было главным для Тютчева в его соприкосновении с мыслью и поэзией Германии.

Но было бы неверно и, более того, нелепо полагать, что сам духовный и творческий путь Тютчева и его сподвижников определяло и направляло влияние германской культуры. Как

* То есть «древа человечества».

раз напротив: именно собственное, внутреннее развитие русской мысли и поэзии в данное время властно побуждало, даже заставляло любомудров жадно вглядываться в достижения Германии. Ведь именно в этот исторический момент русская культура, как бы принимая эстафету от германской, обретала непосредственно общечеловеческий размах, притом в определенных отношениях небывалый еще в мире.

Есть достаточно убедительное доказательство самостоятельности русского пути; хорошо известно, что в то время ни одна европейская (не говоря уже о других континентах) культура не обращалась с такой страстностью и с таким проникновенным пониманием к всемирным достижениям германской мысли и поэзии, как русская. Хотя не подлежит никакому сомнению, что мысль и поэзия Германии на рубеже XVIII—XIX веков являли собой высший цвет мирового творчества, ни в Англии, ни во Франции, ни в Италии, ни где-либо еще, кроме России, это не было по-настоящему понято и оценено. Ибо именно России, а не какой-либо другой стране предстояло совершить новый грандиозный шаг в развитии мировой культуры (что с очевидностью воплотилось менее чем через полвека в творчестве Достоевского и Толстого). Словом, могучая внутренняя воля, зародившаяся в самой русской культуре, устремляла ее к освоению германской мысли, а не эта мысль своим влиянием пробуждала волю в русском творчестве; подобная «пересадка» из одного культурного организма в другой вообще нереальна и неспособна дать полноценные плоды.

В то же время совершенно справедливым будет утверждение, что глубокое освоение германской культуры, переживающей свой всемирный взлет, значительно облегчало и ускоряло духовное и творческое созревание Тютчева и его сподвижников.

Нередко можно столкнуться с мнением, что длительное, притом начавшееся в самые молодые годы, пребывание поэта в чужих краях помешало его творческому развитию или даже исказило это развитие. Можно согласиться с тем, что разлука Тютчева с родиной чрезмерно затянулась. В 1840-е годы он почти перестал писать стихи, и едва ли это было случайностью. Окончательно вернувшись в Россию (через двадцать два года!), Тютчев долго, лет пять, как бы приходил в себя, прежде чем начался новый расцвет его поэтического гения.

Но вместе с тем нет никакого сомнения, что жизнь в Германии была своего рода необходимостью для Тютчева и как поэта, и как мыслителя. Именно здесь, в Германии, в

конце 1820—1830-х годах он создал половину своих лучших творений. И невозможно даже представить себе Тютчева таким, каким он вошел в историю русской и мировой поэзии и мысли, без этого длительного, так сказать, полного испытания, «искушения» Германией или, вернее, Европой, — поскольку германская культура была тогда средоточием, центром всеевропейского творчества. Даже убежденный славянофил Иван Аксаков счел нужным отметить: «Переехав за границу, Тютчев очутился у самого родника европейской науки... Окунувшись разом в атмосферу стройного и строгого немецкого мышления, Тютчев быстро отрешается от всех недостатков, которыми страдало тогда образование у нас в России».

Как уже говорилось, Тютчев редко сообщал что-либо о собственной судьбе. Но до нас дошли многое раскрывающие письма Ивана Киреевского, который приехал в Германию в 1830 году, через восемь лет после Тютчева:

«14 марта 1830. За полночь. Сейчас от Гегеля и спешу писать... хотя не знаю, как выразить то до сих пор не испытанное расположение духа, которое насильно и как чародейство овладело мною при мысли: я окружен первоклассными умами Европы!.. Каждому предмету разговора давал он (Гегель. — *В. К.*) невольно оборот ко всеобщности...

Результатом этого разговора... было то, что на другой день посланный от него разбудил меня с приглашением от Гегеля на вечер завтра...»

Если принять во внимание, что в это время Гегель завершал свой путь (он скончался в следующем году), а Ивану Киреевскому было всего лишь двадцать три года, можно ясно представить себе, какую духовную волю ощутил великий немецкий мыслитель в молодом русском любомудре, раз уж он решил тут же пригласить его к себе для новой беседы.

В том же письме Киреевский говорит о могиле умершего ровно три года назад Веневитинова, которая находилась на кладбище Симонова монастыря: «16 марта... был ли вчера кто-нибудь под Симоновым? Что мои розы и акации? Если б он, то есть Веневитинов, был на моем месте, как прекрасно бы отозвалось в нашем отечестве испытанное здесь!» То, что сказано Киреевским о Веневитинове, всецело относится к Тютчеву.

Из Берлина, где царил в то время Гегель, Киреевский отправился в Мюнхен — к Шеллингу и, конечно, к Тютчеву, с которым встретился на следующий же день после приезда в город. Через полтора месяца, проведенных в постоянном общении с Тютчевым, Киреевский писал (2 июня 1830 года): «Тютчевы уехали 28-го в Россию (в очередной отпуск. —

В. К.)... Желал бы я, чтобы Тютчев совсем остался в России. Он мог бы быть полезен даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам». Двумя годами позднее Киреевский начал издавать в Москве свой знаменитый журнал «Европеец». Ясно, что слово «европейский» чрезвычайно много для него значило.

Но Тютчев — и это в высшей степени характерно — впоследствии как бы оспорил — и весьма решительно — определение, данное ему Киреевским («европейский человек»), хотя, по всей вероятности, ему и не было известно, что Киреевский так его назвал.

«Очень большое неудобство нашего положения, — писал Тютчев Петру Вяземскому, — заключается в том, что мы принуждены называть Европой то, что никогда не должно бы иметь другого имени, кроме своего собственного: Цивилизация. Вот в чем кроется для нас источник бесконечных заблуждений и неизбежных недоразумений. Вот что искажает наши понятия...»

Между прочим, слово «цивилизация» в устах Тютчева имело вполне определенное значение, которое выясняется из того же его письма. Тютчев говорит здесь по поводу книги Вяземского о Фонвизине:

«Ваша книга, князь, доставила мне истинное наслаждение, ибо действительно испытываешь наслаждение, читая европейскую книгу, написанную по-русски, книгу, к чтению которой приступаешь, не спускаясь, так сказать, с уровня Европы, тогда как почти всё, что печатается у нас, как правило, стоит несколькими ступенями ниже.

А между тем именно потому, что она европейская (то есть находится на должном уровне «цивилизации». — *В. К.*), Ваша книга — в высокой степени русская. Взятая ею точка зрения есть та колокольня, с которой открывается вид на город. Проходящий по улице не видит его. Для него город как таковой не существует. Вот чего не хотят понять эти господа, воображающие, что творят национальную литературу, утопая в мелочах».

Итак, для Тютчева подлинные «уроки» германской культуры означали отнюдь не заимствование тех или иных ее сторон и элементов и перенесение их в русскую культуру; германская культура была для него прежде всего образцом истинного «уровня», истинной высоты той точки зрения, с которой видят мир («каждому предмету разговора давал он невольно оборот ко всеобщности» — вот что выделил Киреевский в Гегеле). Тютчев стремился взойти на ту «колокольню», с которой открывается вид на Россию как целое; нельзя

не добавить, что это с необходимостью подразумевало и видение целого мира, ибо только во всеобщей картине мира можно было действительно увидеть Россию в ее цельности (о чем, между прочим, говорил уже Веневитинов в цитированной выше статье 1826 года).

И, называя в 1830 году Тютчева «европейским человеком», Иван Киреевский выразился неточно; следовало сказать об уже обретенной к тому времени «всемирности» тютчевской мысли, а вовсе не об «европеизме» в его противопоставленности «русскости». Понимание того, что нельзя, по выражению Тютчева, «творить национальную литературу, утопая в мелочах» русского быта, — это едва ли не основная черта любомудров в целом и особенно наиболее выдающихся из них. Подлинная русская литература (и культура в целом) не может не иметь общечеловеческого, всемирного размаха и значения, какими уже обладает культура Германии, — вот в чем были убеждены и Тютчев, и другие любомудры, и вот в чем заключается объяснение их страстного и всеобъемлющего интереса к германской мысли.

Поскольку Тютчев, как и Киреевский, обращался к этой мысли со своей собственной творческой волей — волей к созданию русской культуры всемирного значения, — его отношение к германскому духу ни в коей мере не было пассивным. Так, многолетнее общение Тютчева с Шеллингом с самого начала было, без сомнения, подлинным диалогом, подчас превращавшимся (о чем есть прямые свидетельства) в достаточно острый спор. Это был диалог представителей двух великих культур, — пусть одна из них и была тогда очень юной, становящейся культурой.

Хотя Шеллинг еще до Тютчева встречался с русскими людьми старшего, декабристского поколения — Александром Тургеневым и Петром Чаадаевым, который произвел на него неизгладимое впечатление, — трудно сомневаться в том, что именно Тютчев, бывший собеседником германского мыслителя в течение почти пятнадцати лет, сыграл главную роль в пристальном внимании Шеллинга к России. Встречаясь, уже после общения с Тютчевым, с целым рядом любомудров — братьями Киреевскими, Рожалиным, Шевыревым, Погодиным, Мельгуновым, Владимиром Титовым, Одоевским, — Шеллинг неизменно с глубоким интересом говорил о России. Так, он сказал в 1829 году Петру Киреевскому*: «России суж-

* Шеллинг тогда же говорил ему о Тютчеве: «Это превосходнейший человек, в высшей степени образованный человек, с которым всегда хочется беседовать».

дено великое назначение... В настоящем положении ее требования, может быть, слишком умеренны» (то есть Россия слишком «скромно» ведет себя на мировой арене).

Через несколько лет другой любомудр, Николай Мельгунов, записывает после беседы с мыслителем: «Шеллинг любит Россию и русских... имеет о России высокое понятие и ожидает от нее великих услуг для человечества... Шеллинг отвечал мне, что ему было бы весьма по сердцу войти с Россией в умственный союз».

Нельзя не сказать, что в тогдашней Германии Шеллинг вовсе не был одинок в своих представлениях о будущности России. В эти же годы Гегель, незадолго до своей кончины, писал: «Другие современные государства, как кажется... уже оставили кульминационный пункт развития за собою, и их состояние стало стационарным; Россия же, — возможно, уже самое могущественное государство среди остальных, — несет в своих недрах огромные возможности развития своей интенсивной природы».

«Высокое понятие» о России складывалось у германских мыслителей и поэтов, надо думать, и потому, что русские любомудры (и среди них — Тютчев), исключительно ценя «всеобъемлемость» этих мыслителей и поэтов и стремясь подняться до их уровня, в то же время с самого начала общения с ними вступали и в серьезный спор, выдвигая свои, вполне самостоятельные представления и идеалы.

Это сказалось даже на отношении к Гёте, перед которым любомудры преклонялись. В 1827 году была опубликована «Интерлюдия к Фаусту» Гёте (вошедшая затем в качестве третьего акта во вторую часть трагедии) — «Елена». К этому времени любомудры в Москве самым внимательным образом следили за деятельностью Гёте, и уже в том же 1827 году в их журнале «Московский вестник» публикуется «Елена» в переводе Степана Шевырева, сопровождаемом его же большой и глубокой по смыслу статьей.

Живший в то время в России образованный немец Николаус Борхард, восхищенный статьей Шевырева, перевел ее на немецкий язык и послал Гёте. Получив ответ Гёте, Борхард передал его Погодину, редактору журнала «Московский вестник», в котором он сразу же был опубликован. Гёте писал, что уже давно знаком с достижениями русской поэзии, которые давали основания полагать, что в России существует «высокое эстетическое образование». Но затем германский гений признавался: «Несмотря на то, для меня все еще было неожиданным встретить в отношении ко мне, на отдаленном Востоке, чувства столь же нежные, сколько

глубокие, коих милее и привлекательнее вряд ли можем найти на нашем Западе...»

Прервем письмо Гёте, дабы сказать, что в последних его словах выразилась не только утонченная вежливость, но и чистая правда. Русские умели ценить высшие достижения германского духа, как никто, включая и самих соотечественников Гёте. 29 августа 1847 года Тютчев писал из Франкфурта-на-Майне, где он находился тогда вместе с Жуковским: «Вчера исполнилось 98 лет со дня рождения довольно известного франкфуртского гражданина — Гёте, — но, право, сдается мне, что во всем Франкфурте только мы одни и были достаточно простодушны, чтобы вспомнить об этой славной годовщине».

Но вернемся к письму Гёте. Он говорит о смысле статьи Шевырева: «Разрешение проблемы или, точнее сказать, узла проблем, предложенных в моей "Елене", разрешение столь же удовлетворительное, проницательное, сколько сердечно-благочестивое, не могло не удивить меня, хотя я и привык уже испытывать, что нельзя по прошедшему времени судить о быстроте успехов новейшего» (Гёте имеет в виду здесь стремительность созревания русской мысли).

Тогда же Гёте напечатал в издаваемом им в Эдинбурге, Париже и Москве журнале «Искусство и древность» статью «Елена», где охарактеризовал три критические статьи о своем произведении, принадлежащие крупнейшему мыслителю Англии (шотландцу по происхождению) Томасу Карлейлю, видному французскому публицисту Жан Жаку Амперу (сыну великого физика) и московскому любомудру Степану Шевыреву: «Шотландец стремится проникнуть в произведение; француз — понять его, русский — присвоить себе. Таким образом, гг. Карлейль, Ампер и Шевырев вполне представили все категории возможного участия в произведении искусства или природы».

Это многозначительная характеристика отношения русских любомудров к германской культуре. Но что значит — «присвоить себе»? Речь ведь идет не о каком-либо подражании произведению Гёте, но о статье, посвященной этому произведению.

Дело в том, что Шевырев совершенно своеобразно истолковал гётевскую «Елену». У Гёте — апофеоз мощного и целостного, нераздельно сливающего тело и душу жизненного порыва, между тем как Шевырев, основываясь на отечественной традиции, уходящей корнями в культурное наследие Древней Руси, трактует «Елену» как поэтическое воплощение духовного преображения красоты, любви и искусства.

В процессе этого скрытого спора с Гёте на почве его же творения Шевырев в самом деле как бы относит его «Елену» к иной национальной культуре, которая видит, так сказать, абсолютную ценность в духовной высоте.

Аналогичные по смыслу споры вел Тютчев с Шеллингом, о чем вспоминал присутствовавший при этих спорах баварский публицист барон Пфеффель (сестра его позднее стала второй женой Тютчева). Тютчев не соглашался, в частности, с Шеллинговым стремлением всецело «примирить» и тем самым, в сущности, приравнять земное, телесное и духовное.

Столкнувшись с этим идейным сопротивлением Тютчева и других любомудров, которых он лично узнал, Шеллинг в конце концов отказался от какого-либо определения судеб России. Так, в 1842 году он заявил Владимиру Одоевскому: «Чудное дело ваша Россия; нельзя определить, на что она назначена и куда идет она, но к чему-то важному назначена». Этот отказ от определения следует поставить Шеллингу не в упрек, а в заслугу, так как германская мысль, действительно достигшая высочайшего уровня, была склонна подчас к самоуверенным вердиктам. Шеллинг же как бы предоставлял решать вопрос о назначении России ее собственным мыслителям и поэтам.

Итак, оказавшись в Германии, Тютчев обрел наиболее благоприятные условия для осуществления творческих целей своего поколения — поколения любомудров. Его служба в Мюнхене началась вроде бы случайно — потому, что была на этот счет рекомендация его влиятельного родственника графа Остермана-Толстого. Но пребывание в Германии превратилось для Тютчева в почву для высшего духовного взлета. Важно иметь в виду, что для другого человека жизнь в Германии могла бы обернуться совсем по-иному (мы еще будем говорить о сослуживце и друге Тютчева Иване Гагарине, который пошел по совершенно иному пути).

В известном смысле германская культура начала XIX века, в творческую атмосферу которой вошел Тютчев, была первой по времени национальной культурой, открыто и сознательно стремившейся к всемирности, к своего рода обобщению опыта целого человечества. Русская культура ставила перед собой ту же цель, хотя, как показало ее дальнейшее развитие (особенно творчество Достоевского и Толстого), с очень существенной «поправкой». Для германской культуры во главе всего была, так сказать, чистая мысль, которая как бы вбирала в себя мир без остатка; вспомним, что Гегель

даже провозглашал конец, отход на задний план всех форм творчества, кроме царства чистой мысли. Между тем русская культура в ее высших проявлениях обращалась к целостной сущности бытия, что со всей силой воплотилось и в поэзии Тютчева.

Мы рассмотрели в общих чертах взаимоотношения Тютчева и его сподвижников с вершинными явлениями германской мысли и поэзии того времени. По-видимому, это было самым важным и ценным для становления Тютчева в годы его жизни в Германии. Но конечно же жизнь эта вовсе не сводилась к размышлениям и философским спорам. Тютчев впоследствии сказал, что именно в Германии «расцвел» для него

Великий праздник молодости чудной.

В послании «Друзьям», отправленном в Москву через несколько месяцев после прибытия в Мюнхен, девятнадцатилетний поэт еще сокрушался:

И мне ли петь сей гимн веселый,
От близких сердцу вдалеке,
В неразделяемой тоске, —
Мне ль Радость петь на лире онемелой?
Веселье в ней не сыщет звука.
Ее игривая струна
Слезами скорби смочена, —
И порвала ее Разлука!

Но прошло еще какое-то время, и новый, неведомый мир европейского бытия надолго и всецело захватил юную душу.

Тютчев оказался как бы в самом центре Европы, в близком соседстве с несколькими странами: от Мюнхена рукой подать до Австрии и подчиненной ей тогда Чехии, Швейцарии, Франции, — и во всех этих странах Тютчев вскоре побывает. В полусотне километров южнее Мюнхена вздымаются склоны Альп, за которыми — Италия; в сотне километров к западу берут свое начало две крупнейшие европейские реки — Дунай и Рейн.

Уже в первые годы пребывания в Мюнхене Тютчев объездил Баварию. Но и сам Мюнхен давал обилие многообразных впечатлений. Он славился своими пришедшими из Средневековья карнавалами и ярмарками, многочисленными окрестными замками и курортными местами. Богатой и

интенсивной была светская жизнь города, в которой вместе с многолюдной местной аристократией участвовал столь же многочисленный дипломатический корпус (не забудем, что Мюнхен был тогда столицей суверенного королевства, поддерживавшего отношения едва ли не со всеми государствами Европы).

В 1833 году уже упомянутый Карл Пфеффель сообщает в письме сестре, что Тютчев — это человек, который «должен все видеть и все знать». И он действительно жадно вбирал в себя европейские ландшафты, сцены быта, политические новости, говор салонов и дипломатических приемов.

Тютчевских писем тех лет до нас дошло слишком мало; но вот достаточно характерные фрагменты из более позднего (1847 года) его письма, в котором он рассказывает о местах, расположенных сравнительно недалеко от Мюнхена:

«Вчера утром я любовался местностью сквозь пролет огромного старинного полуразрушенного окна древнего баденского замка. Этот замок представляет собою очень живописные руины, которые как бы парят на высоте 1400 футов над очень живописной местностью. С одной стороны — баденовская долина... с другой — огромная равнина, пересекаемая Рейном, который опоясывает собою всю местность, насколько может охватить глаз, от Страсбурга до Карлсруе...

...Три дня спустя, в Цюрихе... я устроился в своего рода фонаре на 4 этаже... в настоящем волшебном фонаре, где со всех сторон открывался вид на озеро, на горы, — великолепное, роскошное зрелище, которым я вновь любовался с истинным умилением. Ах... что и говорить — моя западная жилка была сильно задета все эти дни...

В Базеле... Был вечер. Я сидел на бревнах, у самой воды; напротив меня, на другом берегу, над скоплением остроконечных крыш и готических домишек, прилепившихся к набережной, высился базельский собор, — и все было прикрыто пеленою листвы... Это тоже было очень красиво, а особенно Рейн, который струился у моих ног и плескал волной в темноте».

Неутоляемое стремление вобрать в себя жизнь во всей ее полноте составляло постоянную основу тютчевского характера; уже на пороге старости он писал двадцатипятилетней дочери Дарье: «Вбирай же в себя полнее жизнь, тебя окружающую, впитывай ее в себя как можно больше...»

Тютчев жадно вглядывался конечно же не только в ландшафты Европы. Его мюнхенский сослуживец и на какое-то время — в 1830-х годах — ближайший друг, князь Иван Гагарин писал о нем:

«Богатство, почести и самая слава имели мало привлекательности для него. Самым большим, самым глубоким наслаждением для него было присутствовать на зрелище, которое развертывается в мире, с неослабевающим любопытством следить за всеми его изменениями... В людях его привлекал тоже спектакль, который представляли собой души...»

Множество фактов доказывает, что Гагарин, писавший эти строки через много лет после того, как пути его и Тютчева бесповоротно разошлись, исказил душевный облик поэта, изобразив его чуть ли не холодным соглядатаем. Хорошо известно, что те или иные — в том числе, казалось бы, совсем далекие от личных интересов Тютчева — события заставляли его подчас мучительно страдать. Но Гагарин, без сомнения, прав, утверждая, что Тютчев беспрерывно и жадно вбирал в себя все зрелище европейской жизни, знание о которой он черпал и из непосредственных впечатлений, и из рассказов и споров собеседников, и из газет и книг. Конечно, всякий человек так или иначе интересуется зрелищем жизни; но из воспоминаний Гагарина ясно, что у Тютчева этот интерес был всепоглощающей и постоянной страстью, и об этом нам еще не раз придется говорить. Поэтому уже через несколько лет пребывания в Европе Тютчев знал ее так, как если бы прожил здесь долгую жизнь.

Но дело, конечно, не только в знании. Поистине стремительно обрел Тютчев духовную и творческую зрелость. Это с совершенной ясностью можно увидеть, изучая в хронологическом порядке его стихотворения: еще в 1823 году они, по существу, чисто юношеские, в 1825-м — обретают черты самобытности, а к 1829-му предстают как зрелые создания великого поэта (ср. такие опубликованные в 1829—1830 годах стихи, как «Видение», «Бессонница», «Как океан объемлет шар земной...», «Цицерон», «Последний катаклизм» и др.).

К этому времени Тютчев достиг зрелости не только как поэт; Карл Пфеффель, узнавший его в 1830 году, вспоминал: «За исключением Шеллинга и старого графа де Монжела (один из наиболее выдающихся политических деятелей того времени, в течение многих лет — премьер-министр Баварии. — *В. К.*), он не находил равных себе собеседников, хотя едва вышел из юношеского возраста».

Как справедливо писал видный литературовед Наум Берковский, «в мюнхенский период у Тютчева вырабатывается свой взгляд на судьбы Европы, он обогащается мировым историческим опытом, с точки зрения его судит русские дела и, обратно, — сквозь призму русских проблем оценивает ход

всемирной истории». Это давало Тютчеву даже определенное преимущество над его европейскими собеседниками. Всем в общем-то было ясно, что после 1812 года Россия не может не играть самой весомой роли в исторических и духовных судьбах мира, но что это за роль — европейские мыслители и политики не представляли себе тогда сколько-нибудь отчетливо (выше приводились характерные суждения Шеллинга на этот счет).

Однако прежде чем говорить о философско-политических воззрениях Тютчева (каковые были им высказаны со всей определенностью лишь в 1840—1850-х годах), обратимся к иной, кстати, очень рано выявившейся стороне, иной теме его жизни, без которой невозможно представить себе облик и судьбу поэта.

Речь идет о любви, о чувстве, или, вернее, стихии, занявшей в бытии и сознании Тютчева совершенно исключительное место. Трудно найти человека, которого любовь захватывала и потрясала в такой же степени, как Тютчева: он отдавался ей всей полнотой своего существа.

На седьмом десятке поэт пишет дочери Дарье (уже также далеко не юной и так и не вышедшей замуж): «Тебе, столь любящей и столь одинокой... — с крайней откровенностью говорит Тютчев, — тебе, кому я, быть может, передал по наследству это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви, которая у тебя, мое бедное дитя, осталась неутоленной».

Многое из того, что произошло с Тютчевым, движимым этой жаждой, — и о чем нельзя умолчать, — может вызвать и недоумение, и даже осуждение. Но не будем делать поспешных выводов; прежде нужно вглядеться в долгую, сложную и противоречивую, но по-своему единую историю тютчевской любви.

Впрочем, сразу же уместно сказать, предваряя все дальнейшее, что, полюбив, Тютчев уже не умел, не мог разлюбить. Любимая женщина являла для него как бы полнозвучное воплощение целого мира — неповторимое, но все же несущее в себе именно все богатство мира воплощение. Это ясно запечатлелось в его стихотворении о той, которую мы знаем как первую любовь Тютчева и которая, если исходить из свидетельства его поэзии, была вместе с тем и последней его любовью. Оговорка «мы знаем» нужна здесь потому, что Тютчев пережил свои первые увлечения еще в России, до отъезда в Германию, но нам о них ничего не известно.

Вскоре после приезда в Мюнхен, по-видимому, весной 1823 года, Тютчев влюбился в совсем еще юную Амалию фон Лерхенфельд. К концу 1824 года его любовь достигла высшего накала, что выразилось в написанном тогда стихотворении, которое многие исследователи жизни поэта вполне основательно считают обращенным к шестнадцатилетней Амалии, — «Твой милый взор, невинной страсти полный...»:

...для меня сей взор благодеянье:
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье.

А в 1833 году Тютчев, уже давно женатый на другой, написал одно из обаятельнейших своих стихотворений, которым, по-видимому, отметил (это было для него характерно) десятую годовщину своей влюбленности в Амалию, воссоздав поразившую его душу встречу с ней:

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка в дол глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал...

Здесь выразилось то, что было, по-видимому, главным для Тютчева: его возлюбленная предстает как центр, как своего рода средоточие целого прекрасного мира.

Амалия была одарена редкостной, уникальной красотой. Ею восхищались позднее такие разные люди, как Генрих Гейне (он назвал ее «Божественной Амалией», «сестрой» Венеры Медицейской), Пушкин, Николай I. Баварский король Людвиг I заказал портрет Амалии для собираемой им галереи европейских красавиц.

Взаимоотношения Амалии с Тютчевым, продолжавшиеся целых полвека, говорят о том, что она сумела оценить поэта

и его любовь. Но она или не смогла, или не захотела связать с ним свою судьбу. Из стихотворения 1824 года, которое уже цитировалось, можно заключить, что имелись какие-то решительные противники этой любви. Поэт обращается к юной возлюбленной:

Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих
Не мог — увы! — умилостивить их —
Он служит им укорою безмолвной.

Сии сердца, в которых правды нет.
Они, о друг, бегут, как приговора,
Твоей любви младенческого взора,
Он страшен им, как память детских лет...

До нас дошли неясные сведения о драматических перипетиях начала 1825 года, когда Тютчев едва не оказался участником дуэли (неизвестно с кем, но явно в связи со своей любовью к Амалии) и должен был уехать из Мюнхена, взяв отпуск.

За время отсутствия Тютчева Амалия обвенчалась с его сослуживцем, бароном Александром Сергеевичем Крюднером, который тогда же стал первым секретарем русской миссии в Мюнхене (Тютчев числился в то время всего лишь сверхштатным чиновником при этой миссии). Крюднер, впоследствии русский посол в Швеции, был на семь лет старше Тютчева (которому шел тогда двадцать второй год) и являл собою, конечно, гораздо более надежного супруга, чем Тютчев.

Для понимания ситуации нужно знать, что Амалия лишь считалась дочерью видного мюнхенского дипломата графа Максимилиана фон Лерхенфельд-Кеферинга (в 1833—1838 годах он был баварским посланником в Петербурге). На самом же деле она была внебрачной дочерью прусского короля Фридриха-Вильгельма III и княгини Турн-и-Таксис (и являлась, таким образом, сводной сестрой другой дочери этого короля — русской императрицы, супруги Николая I Александры Федоровны).

Королевская дочь, да еще к тому же ослепительная красавица, Амалия явно стремилась добиться как можно более высокого положения в обществе. И ей это удалось. Муж ее, барон Крюднер, сделал карьеру и занял ответственный пост в Министерстве иностранных дел. Уже в 1830-х годах Амалия играет первостепенную роль в петербургском свете, пользуется громадным влиянием при дворе и т. д. После смерти Крюднера, который был двенадцатью годами старше ее, Амалия Максимилиановна вышла замуж за финляндского губернатора и члена Государственного совета графа

Н. В. Адлерберга, бывшего к тому же сыном всесильного министра двора. В то время ей исполнилось сорок шесть лет, но она все еще оставалась красавицей, и, между прочим, новый муж был моложе ее на одиннадцать лет...

При всем том Тютчев, который довольно часто встречался и обменивался письмами с Амалией Максимилиановной и был очень проницательным человеком, едва ли ошибался, говоря о ней следующее: «У меня есть некоторые основания полагать, что она не так счастлива в своем блестящем положении, как я того желал бы. Какая милая, превосходная женщина, как жаль ее. Столь счастлива, сколь она того заслуживает, она никогда не будет».

Поставив многое на карту ради «карьеры», Амалия Максимилиановна все же сохранила живую душу. Об этом ясно свидетельствует ее отношение к Тютчеву. Много раз и совершенно бескорыстно (ведь Тютчеву нечем было ей отплатить) она оказывала поэту очень важные услуги. Это сильно смущало его. В 1836 году он сказал об одной из таких ее услуг: «Ах, что за напасть! И в какой надо было мне быть нужде, чтобы так испортить дружеские отношения! Все равно, как если бы кто-нибудь, желая прикрыть свою наготу, не нашел для этого иного способа, как выкроить панталоны из холста, расписанного Рафаэлем... И, однако, из всех известных мне в мире людей она, бесспорно, единственная, по отношению к которой я с наименьшим отвращением чувствовал бы себя обязанным».

Позволительно усомниться, что Тютчева так уж безнадежно огорчали заботы Амалии о нем: ведь они как бы подтверждали ее неизменную глубокую симпатию. В 1836 году он полушутливо-полусерьезно просит своего тогдашнего друга Ивана Гагарина: «Скажите ей, что если она меня забудет, ее постигнет несчастье». Амалия не смогла забыть Тютчева. Сам же он продолжал ее любить всегда, хотя это была уже скорее нежная дружба, чем любовь. В 1840 году он писал родителям об очередной встрече с ней в окрестностях Мюнхена: «Вы знаете мою привязанность к госпоже Крюднер и можете легко себе представить, какую радость доставило мне свидание с нею. После России это моя самая давняя любовь... Она все еще очень хороша собой, и наша дружба, к счастью, изменилась не больше, чем ее внешность».

Дружба-любовь длилась всю жизнь. В 1870 году, невзначай встретившись с Амалией Максимилиановной в курортном Карлсбаде (ныне — Карловы Вары), Тютчев создал знаменитые стихи:

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило...

А весной 1873 года, ровно через пятьдесят лет после воспетой им встречи над Дунаем, Тютчев — уже на самом пороге смерти — писал дочери Дарье: «Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюднер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной...»

Едва ли будет натяжкой предположение, что Тютчев значил в судьбе прекрасной Амалии никак не меньше, а может быть, и больше, чем она в судьбе поэта. Среди постоянных и, конечно, очень напряженных забот о своем высоком положении, поглощавших жизнь Амалии, Тютчев был для нее, надо думать, ярчайшим воплощением всего того в мире, ради чего вообще стоит жить.

Но, конечно, и для Тютчева, любовь которого всегда вбирала в себя всю полноту его личности, Амалия оставалась живым выражением прошедшего, расцветшего в Германии «великого праздника молодости». Он и говорит об этом в стихотворении о встрече 1870 года:

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты...

Мы забежали далеко вперед, но лишь для того, чтобы понять своеобразие души поэта: обретя любовь, он действительно уже не мог изжить это чувство.

Однако возвратимся к тому, без сомнения, очень тяжкому для Тютчева времени, когда Амалия обвенчалась с другим. В мае 1825 года Тютчев уехал из Мюнхена и затем провел более полугода в России. Он возвратился в Мюнхен в ночь на 5 (17) февраля 1826 года. Неизвестно, когда узнал Тютчев о свадьбе Амалии, но легко представить себе его тогдашнюю боль и отчаяние.

И вот, удивительно скоро, 5 марта того же 1826 года, он женился на Элеоноре Петерсон, урожденной графине Ботмер. Это был во многих отношениях необычный, странный брак. Двадцатидвухлетний Тютчев тайно обвенчался (еще и через два года многие в Мюнхене, по свидетельству Генриха Гейне, не знали об этой свадьбе) с совсем недавно овдовевшей женщиной, матерью трех сыновей в возрасте от одного до семи лет, к тому же с женщиной, которая была на шесть лет старше его. (Тот же Гейне писал об Элеоноре в 1828 году: «Уже не очень молодая...») Стоит еще добавить, что, согласно основательному суждению одного из биографов поэта, К. В. Пигарева, «серьезные умственные запросы были ей (Элеоноре. — *В. К.*) чужды». Даже через десять лет,

в 1836 году, тогдашний мюнхенский начальник Тютчева, Г. И. Гагарин, очень ему благоволивший, писал о тяжелых последствиях «неприятного и ложного положения, в которое он поставлен своим роковым браком».

Правда, «в пользу» этого брака говорит то, что Элеонора была полной обаяния женщиной, о чем свидетельствуют и посвященные ей стихи Тютчева, и ее портреты (кстати сказать, заметив, что Элеонора «уже не очень молодая», Гейне продолжил характеристику: «но бесконечно очаровательная»).

И все же — не слишком ли неожиданная избранница для молодого поэта эта почти тридцатилетняя вдова с тремя детьми? Многозначительно и то, что брак долго держали в тайне. Не естественно ли будет предположить, что Тютчев решился на эту женитьбу главным образом ради спасения от мук и унижения, вызванных утратой истинной своей возлюбленной?

Но, так или иначе, Тютчев не совершил ошибку. Элеонора беспредельно полюбила его. В 1837 году Тютчев говорит в письме родителям:

«...Эта слабая женщина обладает силой духа, соизмеримой разве только с нежностью, заключенной в ее сердце... Я хочу, чтобы Вы, любящие меня, знали, что никогда ни один человек не любил другого так, как она меня... Не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня. Это способность очень редкая и очень возвышенная, когда это не фраза».

Возможно, что Тютчев поначалу искал в женитьбе спасения от своей тоски и горечи. Но поэту — это не раз подтвердилось — было присуще столь могучее, глубокое и всеобъемлющее чувство благодарности, что он и сам всем сердцем полюбил Элеонору — и опять-таки навсегда.

С этим могут поспорить, ибо как-то принято думать, что «любовь из благодарности» — чувство, так сказать, искусственное и заведомо легковесное. Но такое мнение основывается на смутном и формальном представлении о том, что есть чувство благодарности. Подлинная, исходящая из самой глубины человека (а не внешняя, рассудочная) благодарность — это высочайшее и крайне редко встречающееся чувство, доступное только немногим, действительно «избранным» натурам, хотя бы уже потому, что оно, это чувство, подразумевает предельную духовную скромность и смирение (а эти черты были в высшей степени присущи Тютчеву). Быть истинно благодарным — это значит, в частности, признавать безусловное превосходство другого чело-

века, признавать его наделенность благодатью, которая, собственно, и вызывает подлинное чувство благодарности. Все это Тютчев высказал в стихотворении, посвященном Элеоноре, — стихотворении, написанном тогда, когда прошло уже более тридцати лет со дня их свадьбы и ровно двадцать лет — со дня смерти Элеоноры:

В часы, когда бывает
Так тяжко на груди,
И сердце изнывает,
И тьма лишь впереди; —

(можно подумать, что Тютчев говорит здесь о времени, когда он потерял Амалию. А дальше — об Элеоноре)

Вдруг солнца луч приветный
Войдет украдкой к нам
И брызнет огнецветной
Струею по стенам;

И с тверди благосклонной,
С лазуревых высот
Вдруг воздух благовонный
В окно на нас пахнет...

Уроков и советов
Они нам не несут,
И от судьбы наветов
Они нас не спасут.

Но силу их мы чуем,
Их слышим благодать,
И меньше мы тоскуем,
И легче нам дышать...

Так мило-благодатна,
Воздушна и светла
Душе моей стократно
Любовь твоя была.

Итак, ее любовь была для Тютчева подобна благодатному лучу солнца и воздуху — верховным ценностям, которые и способны родить подлинную благодарность и истинную любовь к той, кто дарит эти ценности. Воспринять чувство другого человека как бесценный дар, подобный солнечному лучу и самому воздуху, способен далеко не всякий. Иван Аксаков, прекрасно знавший Тютчева, восхищенно говорил: «Способность Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее смирение: однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное

и отчасти народное свойство... с другой стороны, как постоянное... сознание своей личной нравственной немощи». Словом, истинное чувство благодарности подразумевает способность отречься от себя и признать бесценность другого.

Вместе с тем дар любви, который обрел Тютчев, не был, так сказать, незаслуженным. С полным правом можно сказать, что Тютчев был всецело достоин такой любви, уже хотя бы и потому, что, как никто, умел быть благодарным за нее...

Тютчев прожил с Элеонорой двенадцать лет, до ее драматической преждевременной смерти. Первые семь лет, до 1833 года, были временем почти безоблачного семейного счастья. Тютчев не раз вспоминал об этих годах, как об утраченном рае. В 1846 году он рассказывал дочери Анне, родившейся в 1829 году: «...И я был молод! Если бы ты видела меня за пятнадцать месяцев до твоего рождения... Мы совершили тогда путешествие в Тироль... Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно! А теперь это лишь сон. И она также, она, которая была для меня жизнью, — больше, чем сон: исчезнувшая тень. А я считал ее настолько необходимой для моего существования, что жить без нее мне казалось невозможным, все равно как жить без головы на плечах...

Первые годы твоей жизни, дочь моя... были для меня самыми прекрасными, самыми полными годами страстей... эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда, — так богаты, так полны были эти дни. Но годы промелькнули быстро, и все исчезло навеки... И она также... И все-таки я обладаю ею, она вся передо мною, бедная твоя мать!»

Через два года, к десятой годовщине смерти Элеоноры, Тютчев воплотил в стихах свою длящуюся любовь к ней, хотя давно уже был женат на другой:

Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...

Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

Элеонора была дочерью графа Теодора Ботмера, принадлежавшего к одной из самых родовитых баварских фамилий, как, впрочем, и ее мать, урожденная баронесса Ганштейн. Еще совсем юной Элеонора вышла замуж за русского

дипломата, поверенного в делах в Веймаре Александра Петерсона, и прожила с ним около семи лет, до его кончины. Уже тогда она сблизилась с Россией, и едва ли случайно трое ее сыновей от первого брака стали впоследствии русскими морскими офицерами. В 1830 году Элеонора провела полгода в России, где ее сердечно приняла вся семья Тютчевых.

В Мюнхене Элеонора сумела создать уютный и гостеприимный дом, хотя при очень скромном жалованье Тютчева и сравнительно небольшой денежной помощи его родителей ей едва удавалось сводить концы с концами. И все же первые семь лет этого супружества были самой счастливой порой в жизни Тютчева. Даже спустя несколько десятилетий он почти умиленно вспоминал об этой жизни. Он писал дочери Анне о дне ее появления на свет через почти сорок лет после 21 апреля 1829 года: «Ты была так тиха и сосредоточена, что твоей матери пришлось самой обратить мое внимание на то, что означает маленький сверток, который лежит в ее ногах...» Тютчев, как всегда, сетует на то, что все поглощает забвение, что ничего «не осталось у меня от впечатлений этого первого воскресенья твоей жизни, кроме воспоминания о прекрасном весеннем солнце и теплом, мягком ветре, который веял в этот день в первый раз». Но память, очевидно, удержала в себе главный колорит того времени.

Годы, о которых впоследствии с такой радостью и скорбью — скорбью о том, что они безвозвратно миновали, — вспоминал Тютчев, были не только временем семейного счастья. Именно в течение этих лет Тютчев достиг духовной и творческой зрелости, стал великим поэтом и мыслителем.

Это были годы бесед и споров с Шеллингом, дружбы с приехавшими в Мюнхен братьями Петром и Иваном Киреевскими и достаточно тесных связей с другими любомудрами. В Москве Раич начинает издавать журнал «Галатея», и в нем из номера в номер появляются в 1829—1830 годах тютчевские творения — «Весенняя гроза», «Могила Наполеона», «Видение», «Бессонница», «Как океан объемлет шар земной...» и др. С 1831 года Михаил Максимович выпускает альманах «Денница», где публикуются «Цицерон», «Успокоение», «Последний катаклизм», «Безумие». В том же году начали издаваться журнал «Телескоп» и его приложение «Молва», где в первое время главную роль играли любомудры (Иван Киреевский, Хомяков, Максимович, Погодин, Шевырев, Мельгунов, Ознобишин, Андросов), здесь были напечатаны «Весенние воды», «Silentium!» и др.

Почти каждое из названных стихотворений Тютчева принадлежит к вершинам русской и мировой лирики, а ведь они составляли только малую часть созданного им в те годы. Тютчев, как уже говорилось, не торопился стать поэтом; став поэтом, он опять-таки не спешил печатать стихи. Известно, что он передавал стихи в московские журналы и альманахи только благодаря настойчивым просьбам Раича, братьев Киреевских, Погодина. В весьма редких случаях — и то лишь в последние годы жизни — стихи поэта попадали в печать по его личной инициативе.

Чаще всего делают вывод, что Тютчев-де вообще не придавал большого значения своему поэтическому творчеству, и это как бы даже бесспорно подтверждается целым рядом его небрежных, а нередко и иронических высказываний о собственных стихах.

Но, если внимательно вглядеться во все дошедшие до нас суждения Тютчева о мысли и творчестве, станет неопровержимо ясно: он не находил удовлетворения в своих стихах, в сущности, потому, что ставил перед собой грандиозные, безграничные цели. Иначе говоря, его очень сдержанные или даже пренебрежительные самооценки относились не к его творчеству (и, тем более, не к творческим возможностям), но к отдельным плодам этого творчества.

Ведь мог же он сказать о себе еще в молодости:

По высям творенья, как бог, я шагал...

Или в более позднем стихотворении:

О вещая душа моя!

Но, может быть, это только чисто поэтические обороты, не выражающие истинной, трезвой самооценки? Нет, Тютчев, например, как бы даже между прочим касается в одном из своих писем «присущего» его уму «свойства охватывать борьбу во всем ее исполинском объеме и развитии».

Вполне естественно, что при таком сознании своих возможностей те или иные реальные плоды собственной деятельности не удовлетворяли поэта. Это относилось, кстати сказать, не только к поэзии. Излагая свои мысли в обычных письмах, Тютчев нередко тут же сокрушался, что не может высказать их во всей глубине и размахе.

Вот очень характерное наблюдение близкого Тютчеву человека. Поэт должен был написать письмо о современной политической ситуации одному из уважаемых им людей. Он «раз двадцать брал в руки перо... но отступал в

ужасе перед той массой мыслей, которые пришлось бы ворошить».

И уж если всерьез разбираться в существе дела, следует сказать, что тютчевское отношение к плодам собственной мысли и творчества выразилось с наибольшей очевидностью не столько в самокритических оценках, сколько в малом количестве им созданного. Томик стихов, несколько статей и оставшийся в набросках трактат «Россия и Запад» — вот и все, не считая его писем, которым сам он придавал лишь чисто практическое значение (хотя многие из них поистине проникновенны).

«Чтобы ясно выразить эти мысли, понадобилось бы исписать целые тома», — жалуется Тютчев в одном из писем. В другом письме он говорит о «восточном вопросе»: «В глубине души я постоянно обсуждаю его... но как только берусь за перо — ничего не выходит... Слишком много пришлось бы мне писать».

Но дело не только в грандиозности мыслей, требующих для своего выражения многотомного трактата. Дело еще и в том, что само выражение как таковое, полагал Тютчев, искажает и замутняет его мысль. Об этом, в частности, говорится в знаменитом стихотворении «Silentium!», написанном около 1830 года (хотя смысл его многозначен и не сводится к тому, что имеется в виду в данном случае):

...Мысль и изреченная есть ложь.

В 1836 году Тютчев писал о том же в прозе: «Ах, писание страшное зло. Оно как будто второе грехопадение злосчастного разума...»

То, что совершалось в духовном мире Тютчева, охватывающем природную и человеческую борьбу, по его собственному определению, «во всем ее исполинском объеме и развитии», не могло, как ему представлялось, воплотиться в слове. Короче говоря, собственные стихи не удовлетворяли Тютчева не, так сказать, сами по себе, а в их соотношении с тем, что открывалось его «вещей душе». Он склонен был видеть в созданных им стихах лишь бледные намеки на дарованные ему — именно дарованные, а не добытые и потому не порождающие гордыню — откровения (Иван Аксаков писал о Тютчеве: «Его “я” само собою забывалось и утопало в богатстве внутреннего мира мысли, умалялось до исчезновения в виду откровения...»).

Тютчев не раз сетовал, что не может-де высказаться с полной ясностью и цельностью: «Я чувствую, что все, что

я... говорю... туманно, отрывочно, бессвязно и передает... лишь душевную тревогу».

В конце концов можно бы даже и согласиться с тем, что творчество Тютчева воплотило «лишь душевную тревогу»:

О вещая душа моя,
О сердце, полное тревоги...

Но эта тревога так богата смыслом и столь всеобъемлюща — тревога о всей человеческой истории и всем мироздании, — что и ее бы оказалось достаточно для создания великой поэзии. И необходимо при этом сознавать, что воплощение такой тревоги было бы невозможно без присущего Тютчеву «свойства охватывать борьбу (борьбу и природных, и человеческих сил. — *В. К.*) во всем ее исполинском объеме и развитии».

Наследие Тютчева — это предельно емкие лирические творения, в которые нужно пристально вглядываться, вчувствоваться, вживаться, чтобы постичь воплотившееся в них «исполинское» откровение. Тютчев постоянно сомневался в том, что ему удалось внятно выразить открывшееся ему.

Все это ясно видел теснейшим образом связанный с поэтом Иван Аксаков, который писал, что Тютчев поистине страдал «от нестерпимого блеска своей собственной неугомонной мысли... В этом блеске тонули для него, как звезды в сиянии дня, его собственные поэтические творения. Понятны его пренебрежение к ним и так называемая авторская скромность».

Да, конечно, именно так. И все же Тютчев прозорливо сказал:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

И действительно, ныне тютчевское слово отзывается с такой силой и широтой, что едва ли можно было это предугадать.

Сейчас, перебирая в памяти даже отдельные тютчевские строки из созданных около 1830 года стихотворений, мы понимаем, что они принадлежат к высшим выражениям человеческого духа.

...Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

...И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

...Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!

Но мы знаем, что эти самые стихотворения были тогда же опубликованы в московских журналах и альманахах и не вызвали сколько-нибудь достойного их отзыва. Тютчевское мнение о своих созданиях вроде бы подтверждалось.

И можно сказать, что Тютчев как личность был при жизни оценен (конечно, не всеми, но многими) более, чем его поэзия. Вот несколько суждений о Тютчеве, принадлежащих хорошо знавшим его людям, кстати, людям самым разным:

«В его обществе вы чувствовали сейчас же, что имеете дело не с обыкновенным смертным, а с человеком, отмеченным особым даром Божиим, с гением...»

«Самый легкий намек вызывал в нем существенный отклик. К нему можно было применить без всякой натяжки истасканное сравнение души поэта с натянутыми струнами эоловой арфы, не пропускающей без отзыва ни малейшего движения в воздухе, откуда бы оно ни шло, с севера или юга, с запада или востока...»

«Помимо его гения философского, исторического и, не знаю как сказать, пророческого, — его поэтическая суть удивляет и очаровывает; он, как гармоничный и полный инструмент, который вибрирует от малейшего дуновения...»

«Каждое его слово сочилось мыслью. Но так как, с тем вместе, он был поэт, то его процесс мысли не был... отвлеченным, холодным, логическим процессом... нет, он не разобщался в нем с художественно-поэтической стихиею его души и весь насквозь проникался ею...»

Тютчев поистине покорял людей, пусть и не каждый из них осознавал, что перед ним безусловно гениальная личность. Замечательно одно место в тютчевском некрологе, написанном постоянно общавшимся с ним в течение многих лет человеком:

«Федор Иванович Тютчев был, вероятно, один в своем роде из крупно выдававшихся вперед в обществе мыслителей, про которого можно было сказать: у него нет врагов. Это уважение, которым он пользовался... это ощущение людьми мысли прелестей его ума, поэтического вдохновения и остроумия — были как будто наградою его еще на земле».

В самом деле: Тютчев не дождался сколько-нибудь широкого признания его поэзии, однако как личность он был исключительно высоко оценен едва ли не всеми, кто его хорошо знал. Между прочим, в том же некрологе сказано: «Ф. И. Тютчев прекрасною стороною мысли или чувства мог принадлежать даже ко всякому лагерю, — в той степени, в какой находил там мысль, или хотя искру истины... Он

любил спор и спорил, как мало людей умеют спорить: с смирением к своему мнению и с уважением к чужому...»

Но ошибочно было бы прийти к выводу о некоей полной «терпимости» Тютчева. Он мог навсегда разойтись даже с теми людьми, которые относились к нему самым лучшим образом, если сталкивался в них с заведомо чуждым ему характером и поведением. Об этом ясно свидетельствует история его кратковременной дружбы с двумя людьми, с которыми он встретился в Германии, — Генрихом Гейне и Иваном Гагариным. Эти истории интересны, конечно, не только тем, что в них проявилась, как сказали бы теперь, «принципиальность» Тютчева. Эти истории — часть судьбы поэта и даже характерное явление эпохи.

В начале 1828 года Тютчев познакомился и вскоре близко сошелся с уже знаменитым к тому времени Генрихом Гейне, который более полугода прожил тогда в Мюнхене. Хотя Гейне был старше Тютчева всего на шесть лет, он уже издал около десятка книг (первая из них вышла в 1821 году), получивших широкую известность и сделавших его кумиром немецкой молодежи.

Тютчев увлекся его стихами вскоре после приезда в Германию, очевидно, после выхода второй, уже зрелой книги Гейне «Трагедии с лирическим интермеццо» (1823). Не позже 1824 года Тютчев перевел на русский язык гейневское стихотворение («На севере мрачном, на дикой скале...»), а к моменту знакомства с Гейне этот первый перевод его стихов на русский язык уже был опубликован в России (правда, стихи эти прославились в России в другом, более вольном переводе Лермонтова, сделанном через семнадцать лет после тютчевского — «На севере диком стоит одиноко...»).

В ноябре 1827 года Гейне был приглашен в Мюнхен в качестве редактора журнала «Новые политические анналы». Кроме того, он рассчитывал стать профессором уже стяжавшего тогда славу Мюнхенского университета.

Первое время пребывания в Мюнхене Гейне в письмах жалуется на свое одиночество в этом городе. Но 1 апреля 1828 года он сообщает в письме немецкому писателю Карлу Фарнгагену фон Энзе (с которым вскоре сблизится и Тютчев), что часто встречается «с молодым русским дипломатом и моим лучшим другом Тютчевым». Про тютчевский дом в Мюнхене, где он постоянно бывает, Гейне говорит: «Я повсюду умею найти какой-нибудь прекрасный оазис».

Нет сомнения, что эти оценки были искренними. Даже через четыре года после того, как Гейне уехал из Мюнхена, он в письме одному из своих приятелей поручает обратиться к их общему мюнхенскому знакомому — публицисту Линднеру: «Спросите его, в Мюнхене ли еще Тютчевы, что они делают. Не забудьте об этом. Скажите Линднеру, пусть мне напишет».

Тютчев до 1830 года перевел еще шесть стихотворений Гейне; по всей вероятности, хотя бы некоторые из них были переведены уже после знакомства с автором. Трудно сомневаться в том, что Тютчеву были весьма интересны беседы и споры с Гейне, который являл собой одну из самых знаменитых фигур в новейшей немецкой литературе.

Казалось бы, Тютчев должен был дорожить дружбой с такой знаменитостью, как Гейне, не говоря уже о том, что русский поэт всегда отдавал должное его стихам. Но все же дружба довольно скоро расстроилась; после 1830 года Тютчев, по-видимому, уже не имел желания общаться с Гейне*. Правда, почти через четверть века, накануне Крымской войны, он посетил Гейне во время своей поездки в Париж, но эта встреча была вызвана чисто «деловыми» соображениями.

Расхождение Тютчева с Гейне имело серьезный, принципиальный характер, и потому на нем нужно остановиться. Кстати сказать, через два десятилетия аналогичное расхождение привело к драматическому и даже трагическому финалу дружбы Герцена с немецким поэтом Георгом Гервегом (история эта очень ярко и подробно описана в «Былом и думах», которые Герцен, как он сам объясняет, даже и задумал для того, чтобы обнаружить всю суть именно этой истории, — хотя его повествование разрослось затем в гораздо более широкую картину).

Тютчев столкнулся в лице Гейне с такой «моделью» поведения и сознания, которая совершенно не соответствовала русским понятиям о писателе и деятеле культуры. Между прочим, позднее это выявил Герцен в тех же своих «Былом и думах». Он рассказывал, как уже после смерти Гейне он взялся читать вышедший в свет двухтомник его писем: «Письма наполняются литературными сплетнями, личностями впересыпочку с жалобами на судьбу, на здоровье, на нервы, на худое расположение духа, сквозь которое просвечивает безмерное, оскорбительное самолюбие... Гейне кокетничает с прусским правительством, заискивает в

* Вполне естественно, что в 1832 году, желая получить сведения о Тютчевых, Гейне не обращается непосредственно к ним.

нем через посла, через Фарнгагена и ругает его. Кокетничает с баварским королем (хорошо знакомым Тютчеву. — *В. К.*) и осыпает его сарказмами, больше чем кокетничает... и выкупает свое дрянное поведение... едкими насмешками».

Тютчев столкнулся со всем этим непосредственно. Летом 1828 года прекратилось издание журнала, редактируемого Гейне, и последний решил предпринять путешествие в Италию, где еще не бывал, чтобы затем вернуться в Мюнхен: он заручился покровительством баварского министра внутренних дел Шенка, который был к тому же писателем, и надеялся, что тот выхлопочет ему должность профессора в университете.

Из Италии Гейне 1 октября 1828 года писал Тютчеву именно в том духе и стиле, который так не понравился Герцену: «Я должен Вам написать — быть может, Вы сумеете быть мне полезным...

Вам известно положение дела о назначении меня профессором... Прилагаю письмо, которое я написал Шенку и которое прошу Вас тотчас же любезно ему передать.

Навестите его через несколько дней — ведь он знает, что Вы мой истинный друг... Вы дипломат, Вы легко сможете так разузнать о положении моих дел, чтобы Шенк и не подозревал, что я просил Вас об этом, и не счел себя свободным от обязательства написать мне лично... Он знает, что для суда потомства это будет иметь значение.

Еще одно слово. Скажите главному приказчику коттовской литературно-эстетической лавки в Мюнхене (его имя Витмейер), что я прошу его, если он получил для меня письма, отослать их во Флоренцию».

Здесь все по-своему «замечательно»: и объяснение, что письмо это посылается, так как Тютчев может «быть полезным», и наказ «тотчас» передать письмо для Шенка, и предложение лгать Шенку, и абсолютная уверенность, что потомство высоко оценит благодетелей Гейне, и использование Тютчева в качестве своего рода посыльного в лавку (хотя, конечно, Гейне сам мог бы отправить письмо приказчику) и т. д.

В декабре 1828 года Гейне вернулся в Мюнхен и провел здесь две недели. Профессором его не назначили, он был крайне огорчен, и Тютчевы его утешали. Неудачи Гейне, по-видимому, заставили Тютчева простить почти оскорбительное письмо.

В начале июня 1830 года, направляясь в отпуск в Россию, супруги Тютчевы проезжали через Гамбург и посетили Гейне в его доме в гамбургском пригороде Вандсбек. Но хозяин

был в дурном настроении и, не сдерживаясь, обрушил все свое раздражение на жену поэта. Он сам потом понял всю неуместность своего поведения и писал 21 июня того же года Фарнгагену фон Энзе: «Одной из моих добрых знакомых пришлось вдоволь наслушаться моего брюзжанья... Это у меня болезнь, и болезнь постыдная. Ведь именно эта добрая знакомая (к чему скрывать ее имя — Тютчев с женой и свояченицей выказали мне трогательное внимание, навестив меня по пути в Петербург), эта же самая добрая знакомая утешала меня в горестные минуты...»

Дело здесь было, конечно, не только в «несдержанности» Гейне. Тютчев, несомненно, увидел в манерах Гейне проявление целой системы поведения.

Видный критик и литературовед Абрам Лежнев всесторонне исследовал эту «систему» в своей обстоятельной книге «Два поэта (Тютчев и Гейне)». Он не углубляется в конкретные взаимоотношения героев своей книги, но ясно обнаруживает, так сказать, несовместимость Тютчева и Гейне. Следует подчеркнуть, что А. Лежнев вообще-то ставит Гейне исключительно, даже чрезмерно высоко, — поэтому не может быть и речи о каких-либо наговорах на Гейне, — скорее уж о некоторых умолчаниях.

«В личном и общественном поведении Гейне, — писал Лежнев, — многое может неприятно поразить. Он перешел в христианство по мотивам практическим и утилитарным. Он брал деньги у своего дяди-миллионера, в доме которого ему пришлось вынести столько унижений... Уже взрослый человек и знаменитый писатель, он получал от него регулярную ежегодную подачку, своего рода жалованье... Он принимал пенсию от правительства Луи Филиппа; когда после Февральской революции 1848 года это раскрылось и независимость политических высказываний Гейне была поставлена под вопрос, он сослался на Маркса, который будто бы хотел выступить в его защиту; это была неправда, но Маркс промолчал, не желая наносить удар смертельно больному писателю...* Он (Гейне. — *В. К.*) не знал меры в своей полемике... для того, чтобы уничтожить противника, он не щадил его интимной жизни...»

---

* Уже после смерти Гейне К. Маркс, прочитав его статью об этой истории, писал Энгельсу 17 января 1855 года: «Он (Гейне. — *В. К.*) рассказывает подробно выдумку о том, как я и другие приходили утешать его... Мучимый нечистой совестью, — ведь у старой собаки чудовищная память на всякие такие гадости, — он старается льстить» (К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве. М.: Искусство, 1957. Т. 2. С. 291).

И далее А. Лежнев говорит: «Мы вспоминаем слова Пушкина о Вольтере, которого русский поэт осуждает за то, что тот не умел держаться с достоинством и независимо. Не применимы ли они еще в большей степени к Гейне? И мы невольно сравниваем... линию поведения Гейне со спокойной прямотой Герцена, со страстной монолитностью Тютчева... чисто прочерченным путем Пушкина... Мы удивлены: в отсталой России писатель умел уже соблюдать свое достоинство, а в общественно более развитой Германии... это оказывается не по силам!..» (стоит отметить, что А. Лежнев едва ли уместно говорит здесь об «отсталости» России; в модели поведения Гейне проступает скорее буржуазный «прогресс», нежели нечто архаическое).

Касается А. Лежнев и мюнхенского периода, отмечая, что Гейне «старался притворяться умеренным во время своего пребывания в Мюнхене (имея в виду профессорскую кафедру)» и вел «странные переговоры... с близкими разным правительствам людьми, в том числе и с каким-то жуликом — о получении брауншвейгского ордена».

Тютчев, конечно, не мог не знать тех поступков Гейне, о которых говорит Лежнев. Кроме того, Тютчев, без сомнения, был знаком с резкой полемикой, которую вели против Гейне такие виднейшие мюнхенские мыслители, как Франц Баадер, Йозеф Геррес и особенно проживший долгую жизнь Иоганн Дёллингер (1799—1891), опубликовавший в 1828 году в издававшемся в Мюнхене журнале «Эос» четыре критические статьи о Гейне (Тютчев с глубоким сочувствием писал о Дёллингере много позднее, в начале 1870-х годов, когда последний выступил как вождь «старокатоликов»; об этом пойдет речь позже).

В поведении и мировосприятии Гейне Тютчев столкнулся с тем, что стало особенно чуждо и враждебно ему в Европе, — с тем, чему он сам, в частности, дал позднее такое определение: «Принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства». В этом смысле короткая дружба с Гейне много дала Тютчеву.

Как известно, Гейне эмигрировал вскоре из Германии во Францию и опубликовал там два эссе — «Романтическая школа» (1833) и «К истории религии и философии в Германии» (1834)*, в которых было немало безосновательных — и к тому же крайне резких — нападок на крупнейших германских мыслителей и писателей, начиная с Канта и Гёте.

---

* Вначале они печатались под другими названиями.

Так, Гейне писал об основных сочинениях Шеллинга, что «в области философии природы, где ему и приходилось орудовать среди цветов и звезд, он должен был пышно расцвести и воссиять... Как выпущенные на свободу школьники... вырвались ученики г-на Шеллинга на лоно природы... шумно ликуя, кувыркаясь и неистовствуя вовсю».

«...с тех пор, как благодаря ему получила значение натурфилософия, поэты стали гораздо глубже воспринимать природу, — чисто иронически (как это ясно из дальнейшего) писал Гейне о Шеллинге в «Романтической школе». — Одни погрузились в природу всеми своими человеческими чувствами, другие нашли некоторые чародейские формулы, чтобы проникнуть в нее, разглядеть ее и *заставить природу заговорить по-человечески*. Первые были подлинными мистиками и во многих отношениях походили на индийских подвижников, которые хотят раствориться в природе и в конце концов начинают ощущать себя частицей природной жизни. Другие были скорее заклинателями — они по собственному желанию вызывали даже враждебных духов природы; они походили на арабского волшебника, который по своей воле может оживлять каждый камень и превращать в камень всякую жизнь. Среди первых надо прежде всего назвать Новалиса, среди вторых — Гофмана. Новалису виделись повсюду чудеса, и прелестные чудеса; он подслушивал *голоса растений, ему раскрывалась тайна каждой юной розы*... (курсив мой. — *В. К.*)

Великое сходство между обоими поэтами заключается в том, что их поэзия была, собственно, болезнью. Вот почему высказывалась мысль, что обсуждать их произведения дело не критика, а врача».

Возмущенный этими сочинениями Гейне, Чаадаев писал Александру Тургеневу (в 1835 году): «Знаете, как я назвал Гейне? Фиески* в философии... Смею думать, что этот новый Фиески немногим лучше старого; но, во всяком случае, его книга есть покушение, во всем подобное бульварному, с тою только разницею, что короли Гейне законнее короля Фиески; ибо это... все помазанные науки и философии. В остальном тот же анархический принцип... как тот, так и другой бесспорно вышли из парижской грязи».

Прямые отклики Тютчева на эти эссе Гейне не дошли до нас. Но, как убедительно доказывает современный немец-

---

* «Классический» заговорщик, изображенный в знаменитой трагедии Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе».

кий литературовед Ганс Роте, именно эти сочинения Гейне послужили поводом для написанного в 1835-м — начале 1836 года стихотворения Тютчева:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок*, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
. . . .
Они не видят и не слышат.
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!..

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Души его, ах, не встревожит
И голос матери самой!..

Нельзя не сказать в связи с этим об объективности Тютчева. Отвергнув в целом ряде отношений эстетическую позицию и самое поведение Гейне, поэт не перестал ценить лучшие его стихи. Это недвусмысленно выразилось в том, что в одно время с почти гневным «Не то, что мните вы, природа...» Тютчев создает своего рода вариацию на стихи Гейне — «Из края в край, из града в град...», — а через несколько десятилетий, уже незадолго до кончины, как бы возвращаясь к своей молодости, пишет стихотворение «Мотив Гейне» («Если смерть есть ночь, если жизнь есть день...»), опирающееся на раннее гейневское восьмистишие.

Правда, этими двумя стихотворениями (если не считать явно не предназначенного для печати перевода чисто юмористической гейневской вещицы «В которую из двух влюбиться...») полностью исчерпываются «контакты» Тютчева с Гейне после 1830 года, когда поэт, очевидно, решил порвать все связи с последним. Но тем многозначительнее объективность Тютчева.

---

* У Гейне в первом из названных эссе имеется утверждение, что природа-де есть только слепок человеческого языка. «Человеку, — писал Гейне, — подобно библейскому Богу, достаточно высказать мысль, и создается мир, возникает свет или возникает тьма, воды отделяются от суши... Мир есть отпечаток слова» (то есть «слепок»).

Летом 1833 года в Мюнхен прибыл на должность атташе молодой князь Иван Гагарин (1814—1882), внук того самого Гагарина, дом которого приобрели в 1810 году родители Тютчева. Молодой человек не мог не быть интересен Тютчеву уже хотя бы потому, что он был связан с Московским университетом и начал свой жизненный путь как «архивный юноша», то есть служил в том самом Московском архиве Коллегии иностранных дел, через который ранее прошли большинство любомудров. Но еще более он был интересен как представитель нового поколения русских людей, вступавшего в жизнь через десятилетие после тютчевского. Наконец, насколько нам известно, среди русских, живших в Мюнхене, не было никого, кто мог выступить в качестве полноценного собеседника Тютчева. Гагарин же, несмотря на молодость, был понимающим и острым собеседником, который, в частности, смог по-настоящему оценить поэзию Тютчева (не стоит забывать, что для таких собеседников, как Шеллинг или Гейне, поэзия Тютчева не существовала).

Тютчев, без всякого преувеличения, полюбил Гагарина. Когда через два года тот уехал в Россию, Тютчев писал ему: «С момента нашей *разлуки* дня не проходило, чтобы я не ощущал вашего отсутствия. Поверьте, любезный Гагарин, немногие любовники могут *по совести* сказать то же своим возлюбленным... Чувствую, что если бы я дал себе волю, то мог бы написать вам большое письмо для того только, чтобы доказать вам недостаточность, бесполезность, нелепость писем... Боже мой, да как можно писать? Взгляните, вот подле меня свободный стул, вот сигары, вот чай. Приходите, садитесь и станем беседовать; да, станем беседовать, как бывало, и как я больше не беседую».

Через полгода Тютчев спрашивает в письме своим родителям: «А что поделывает Иван Гагарин?» И не без горечи замечает: «Чего он не делает, я знаю. Он не пишет своим друзьям».

Это был, впрочем, несправедливый дружеский укор. Гагарин явно относился к Тютчеву с еще большим и горячим чувством, которое не покидало его всю жизнь (а он почти на десять лет пережил Тютчева). И письма Тютчеву он писал в те годы достаточно регулярно, даже если не получал на них ответа. Еще 2 мая 1836 года Тютчев сообщал ему: «Все ваши письма доставляли мне большое удовольствие, все были читаны и перечитаны, — на каждое из них у меня было по крайней мере по двадцати ответов. Виноват ли я, что ответы эти не дошли до вас, не будучи написаны?..» И пытался оправдать себя: «Знайте, что в течение нескольких месяцев

это проклятое молчание тяготит меня, как кошмар, что оно меня душит, давит... И хотя, чтобы устранить его, достаточно было бы весьма легкого движения пальцев, — до сей минуты мне не удавалось произвести этого спасительного движения...» Далее Тютчев объясняет свое молчание «проклятой ленью». Но в уже цитированном выше письме тому же Гагарину он дал, надо думать, гораздо более верное объяснение, провозгласив «недостаточность, бесполезность, нелепость писем».

Нельзя не сказать здесь, что до нас дошло более 1200 писем Тютчева, — то есть слишком много для безнадежно «ленивого» человека. Но очень характерно, что почти 500 из них — это письма второй жене поэта, Эрнестине Федоровне, которая понимала его, пожалуй, более, чем кто-либо. Вот почему не так уж трудно было писать ей, хотя и в этих письмах Тютчев постоянно жалуется на невозможность полноценно высказать то, что он мыслит и чувствует.

Гагарин, при всей их дружбе, не был, очевидно, для Тютчева таким идеальным адресатом. В следующем после только что цитированного письма Тютчев говорит: «Я получил от вас за последнее время два добрых и прекрасных письма, доставивших мне все то удовольствие, какое я могу получить от писем... И за все эти благодеяния я... не подал даже ни малейшего признака жизни. Сознаюсь — это низко, но... Пусть ваша дружба окажется выше моего молчания».

Гагарин проявил свою дружбу к Тютчеву в полной мере. Приехав в конце 1835 года в Петербург, он не без изумления увидел, что ни Жуковский, ни Вяземский, ни сам Пушкин не знают поэзии Тютчева, которую Гагарин ставил исключительно высоко. Он начал действовать — и действовать энергично. Настоятельными просьбами в письмах он вынудил Тютчева переслать ему стихи. В это самое время из Мюнхена уезжал для службы в Министерстве иностранных дел барон Крюднер, и сама прекрасная Амалия доставила Гагарину тютчевские рукописи.

Под давлением Гагарина Тютчев сообщил ему также, что целый ряд рукописей его стихотворений находится у Раича, который не сумел их опубликовать, так как его журнал «Галатея» в 1830 году перестал издаваться (до 1839 года). Тогда Гагарин обратился к знакомому ему по университету Шевыреву, и последний, получив рукописи у Раича, прислал их молодому энтузиасту.

Гагарин не смог осуществить свой замысел целиком (он ведь намеревался издать книгу стихотворений Тютчева), так как в июле 1837 года был отправлен министром иностран-

ных дел Нессельроде за границу и возвратился лишь через два года. Но тем не менее в результате усилий Гагарина более двух десятков высших творений поэта появилось в пушкинском журнале «Современник».

Рукописи Тютчева, не превратившиеся тогда в книгу, Иван Гагарин бережно хранил четыре десятилетия, и только благодаря его заботе до нас дошли такие тютчевские творения, как «Тени сизые смесились...», «Нет, моего к тебе пристрастья...», «Сижу задумчив и един...», «Я лютеран люблю богослуженье...» и многие другие. До конца своих дней Гагарин исключительно высоко ценил Тютчева. Но все же пути их необратимо разошлись уже к концу 1830-х годов, и это расхождение имело очень существенный, непосредственно исторический смысл.

Гагарин сам рассказывал о том, что, оказавшись в Мюнхене, постоянно «сравнивал Россию с Европой». Объясняя это стремление, он говорил: «Я видел в Европе различные нации, весьма несхожие между собою, обладающие каждая своим особым характером: тем не менее у всех них было нечто общее... которого я не находил в России... Россия в сравнении с другими странами имела отличительный характер, отделявший ее от этих стран гораздо более глубокой разграничительной линией, чем та, которую можно заметить между Германией и Италией, Англией и Францией, Испанией и Швецией. Отчего происходит это различие? В чем состоит та общность, которая существует между различными европейскими нациями и остается чуждою России? Такова вставшая передо мною в Мюнхене задача, решения коей я с тех пор не переставал искать».

В конце концов Гагарин пришел к отрицанию России во имя Европы. Во время пребывания в России он сблизился с Чаадаевым (в частности, именно Гагарин передал в октябре 1836 года Пушкину оттиск знаменитого чаадаевского «Философического письма»). О своих взаимоотношениях с Чаадаевым Гагарин позднее писал: они «имели громадное влияние на мою будущность, и я исполняю долг благодарности, громко заявляя, что я всем обязан этому человеку». Однако Гагарин явно не воспринял истинную суть чаадаевских воззрений, в которых беспощадная национальная самокритика органически сочеталась с убежденностью в великом, имеющем громадное всемирно-историческое значение будущем России (ведь не кто иной, как Чаадаев, писал в 1837 году: «Мы, так сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого ду-

ха и человеческого общества»). Гагарин усвоил только чаадаевскую национальную самокритику, довел ее до крайних пределов и вскоре уже утверждал, что Чаадаев «отстал» от его, гагаринской, мысли. В 1842 году Гагарин перешел в католичество.

Герцен записал в своем дневнике 8 января 1843 года: «...в наш век сделаться католиком... сделаться иезуитским пропагандистом! Жаль откровенность, с которой бросаются в эти мертвые путы. Таков князь Гагарин, он считает Чаадаева *отсталым*. Понять можно... ум и горячее сердце, Бог привел взглянуть на Францию, на Европу... А тут случайная встреча с иезуитом, с безумным католиком; перед непривычным глазом развертывается в первый раз учение, мощно развитое из своих начал (которые вперед втесняют своим авторитетом)... Таланты Чаадаева делают его более ответственным...»

Герцен, таким образом, усматривает в судьбе Гагарина вину Чаадаева (с которым позднее будет горячо спорить Тютчев). Известно, что Чаадаев склонен был идеализировать католицизм. Пушкин писал ему 19 октября 1836 года: «Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был не чист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. ...У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство до Феофана (имеется в виду церковный деятель Петровской эпохи Ф. Прокопович. — *В. К.*) было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма... Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу».

В эти суждения нам следует вдуматься, ибо Пушкин здесь говорит многое из того, что, по всей вероятности, мог бы сказать о чаадаевских воззрениях и Тютчев (хотя это вовсе не значит, что поэты были близки во всех отношениях).

С другой стороны, необходимо видеть и глубочайшее различие между Чаадаевым и Гагариным. Первый во многом отрицал прошлое России, но во имя ее великого будущего; последний же явно не видел для России никакого будущего, кроме безусловного подчинения Западу и, в частности, перехода русских в католическое вероисповедание. В 1843 году Гагарин покинул Россию и стал священником ордена иезуитов.

И Тютчев, несмотря на несомненную глубокую привязанность к своему мюнхенскому молодому другу, никогда, насколько нам известно, более не поминал Гагарина, как бы вычеркнув его из своего сознания.

Но Гагарин не мог забыть Тютчева. После смерти поэта он прислал Ивану Аксакову все имевшиеся у него рукописи, а также рассказал в ряде писем о своей давней дружбе с Тютчевым...

Известны факты, свидетельствующие о том, что Гагарин не сумел вообще отринуть и свои чувства к родине. В середине 1850-х годов он хотел вернуться в Россию (правда, не без намерения проповедовать здесь католицизм), но ему это не было разрешено правительством. До нас дошел любопытный рассказ русской паломницы, присутствовавшей в 1859 году на пасхальных торжествах в Иерусалиме. Описывая православные празднества, она отметила, что на них «смотрели с любопытством католические монахи и иезуиты, между которыми находился и наш русский князь Гагарин, 18 лет тому назад перешедший в латинскую церковь... Я нечаянно взглянула на князя Гагарина — вижу: у него градом текут слезы и радостию сияет лицо... Не есть ли это поздний плод раскаяния?.. Где же он — представитель искреннего своего Убеждения?.. На возвышении кафедры со словом поборничества за права папы, или здесь — в толпе народа, со слезами на глазах, как с невольною данью родному чувству...».

Надо думать, именно «родное чувство» побудило Гагарина хранить бесценные рукописи Тютчева и подготовить (в 1862 году) за границей двухтомное издание сочинений Чаадаева, которого ранее он обвинил в «отсталости». При этом важно отметить, что знакомство Гагарина с основными сочинениями Чаадаева, по всей вероятности, еще более развеяло его представление о близости взглядов великого русского мыслителя к его, гагаринской, позиции. Нетрудно представить себе, например, как был смущен или даже возмущен католик Гагарин, прочитав следующее рассуждение Чаадаева: «России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней (в отличие от Европы. — *В. К.*) не затронутым людскими страстями и интересами...»

Впрочем, кто знает? Может быть, оказавшись в центре клубка иезуитских «страстей и интересов», Гагарин начал сомневаться в своем выборе? Но это было уже его личным делом. Так или иначе, Гагарин не вынес испытания, «искушения» Европой.

Иван Аксаков писал: «Самое двадцатидвухлетнее пребывание Тютчева в Западной Европе позволяло предполагать, что из него выйдет не только “европеец”, но и “европеист”, т. е. приверженец и проповедник теорий европеизма — иначе поглощения русской народности западною, “общечелове-

ческою" цивилизацией. Если вообразить всю обстановку Тютчева во время его житья за границей, то, кажется, судьба как бы умышленно подвергала его испытанию...

Невольно недоумеваешь, каким чудом, при известных нам внешних условиях его судьбы, не только не угасло в нем русское чувство, а разгорелось в широкий упорный пламень... Тютчев положительно пламенел любовью к России; как ни высокопарно кажется это выражение, но оно верно...»

В словах Аксакова много правды, но не вся правда. Сам Тютчев — о чем уже говорилось — думал иначе и гораздо истиннее. Он писал, что мы сплошь и рядом подменяем понятие «цивилизация» понятием «Европа». В Западной Европе общий уровень развития цивилизации был в начале XIX века значительно выше, чем в России, и в этом все дело. Гагарин же целиком и полностью отождествил «Европу» и «цивилизацию» и видел единственное «спасение» в том, чтобы заменить все русское европейским, начиная с церкви и религии, которые в то время еще объединяли наибольшее число людей как в России, так и на Западе.

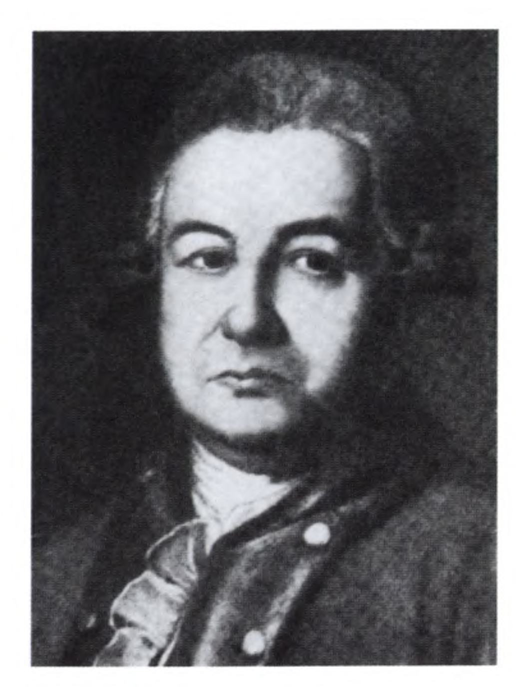
Неточность представлений Ивана Аксакова особенно ясно выступает в дальнейшем его рассуждении о Тютчеве: «Что же выработал за границей *его* ум, так долго и одиноко (имеется в виду оторванность от русских людей. — *В. К.*) созревавший в германской среде? Явится ли он "отсталым" для России, но передовым представителем европейской мысли? Какое последнее слово западного просвещения принесет с собою?

Он и действительно явился представителем европейского просвещения. Но велико же было удивление русского общества... когда оказалось, что результатом этого просвещения, так полно усвоенного Тютчевым, было не только утверждение в нем естественной любви к своему отечеству, но и высшее разумное ее оправдание; не только верование в великое политическое будущее России, но и убеждение в высшем мировом призвании русского народа и вообще духовных стихий русской народности».

Тут неточность заключается в том, что Тютчев явился представителем не специфически «европейского», но истинно всемирного «просвещения», которое в тот исторический момент достигло наибольшей высоты и размаха в русле германской мысли. Вспомним, что Гёте, Шеллинг и Гегель с этой высоты предугадывали великое грядущее России, ее духовный и культурный расцвет. И тютчевское «убеждение в высшем мировом призвании русского народа» (речь шла, разумеется, не о некоем «превосходстве» русских над други-



Ф. Тютчев



Н. А. Тютчев, дед поэта

Вид усадьбы Овстуг.
Акварель
О. А. Петерсона. 1861 г.



Е. Л. Тютчева, мать поэта



И. Н. Тютчев, отец поэта

Музей Тютчева в Овстуге







Николай Тютчев,
старший брат
поэта, в детстве

Федор Тютчев
в детстве

Дарья Тютчева,
сестра поэта,
в детстве



Н. И. Тютчев, брат поэта



Ф. И. Тютчев. *1820-е гг.*

Мюнхен. Городская ратуша. *1840-е гг.*





Амалия Крюднер



И. С. Гагарин

П. Я. Чаадаев



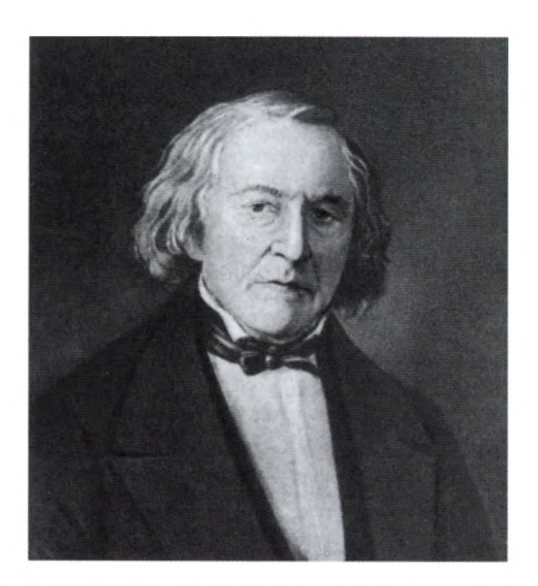
Московская гостиная А. П. Елагиной. На картине изображены: Белинский, Герцен, Чаадаев, Хомяков, Грановский, Боткин, Щепкин, братья Киреевские, К. Аксаков и др. *Художник Б. М. Кустодиев*





Генрих Гейне

С. Е. Раич





Альманах
«Северная лира
на 1827 год»



Ф. И. Тютчев



Элеонора Тютчева, первая жена поэта



М. П. Погодин

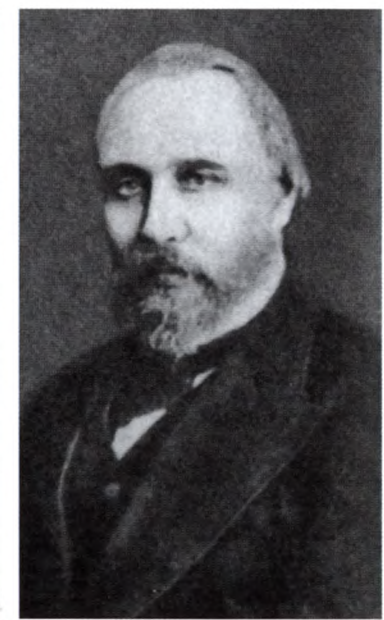


А. Ф. Гильфердинг

Ю. Ф. Самарин



М. Н. Катков



А. Х. Бенкендорф





К. В. Нессельроде



П. А. Вяземский

ми народами, но о их равноправном участии в высшем духовном развитии мира) могло и должно было сложиться на почве всемирной или же европейской, а не замкнуто, самодовлеюще русской точки зрения.

Многим казалось, что, усваивая «европейское просвещение», нельзя-де понять «мировое призвание» России, и наоборот: углубляясь в русские «духовные стихии», невозможно разглядеть всемирность европейской — в частности германской — мысли. И в результате приходится отвергнуть либо Европу, либо Россию (что и сделал Гагарин).

Между тем Тютчев уже очень рано поднялся до подлинно всемирной точки зрения. И для того, чтобы увидеть «мировое призвание русского народа», ему вовсе не нужно было отрицать Запад, — точно так же, как Гёте, Шеллинг и Гегель для утверждения западных ценностей не нуждались в отрицании России; они, как мы помним, напротив, предрекали ей великую самобытную будущность.

Тютчев непримиримо выступал лишь против таких западноевропейских идеологов, которые пытались с порога отвергнуть «мировое призвание» России. Он писал, в частности, следующее: «Европейский Запад — только половина великого органического целого, и претерпеваемые Западом, по-видимому, неразрешимые трудности обретут свое разрешение только в другой половине...»

И, если глубоко разобраться, расхождение Тютчева с Гагариным состояло вовсе не в том, что первый «выбрал» Россию, а последний — Европу. Тютчев сумел освоить высшие достижения европейской культуры, и это помогло ему подняться до всемирной точки зрения, с которой в своем истинном значении предстала и Россия; вспомним, как писал Тютчев о книге Вяземского: «Именно потому, что она европейская (то есть находится на должном уровне «цивилизации». — *В. К.*), Ваша книга — в высокой степени русская». Между тем Гагарин воспринял только внешний и узкий смысл европейского «просвещения» и попросту попытался переселиться из одной «половины великого органического целого» в другую. Не сумев стать «в высокой степени русским», он (и это всецело закономерно!) не смог сделаться и «в высокой степени европейцем», какими были Гёте или Шеллинг. И он как-то ощущал свою неполноценность, иначе почему бы этот фанатик католицизма разрыдался при зрелище православных торжеств?

Через много лет Тютчев с беспощадной резкостью (которая не была ему свойственна в молодые годы) написал о людях типа Гагарина:

Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Между прочим, Ивана Гагарина, по сути дела изменившего родине, не раз обвиняли еще и в том, что он состряпал пасквильный «диплом», ставший одной из главных причин трагической пушкинской дуэли. Однако это уже излишний поклеп. Гагарин в 1836-м — начале 1837 года был как раз в самых добрых отношениях с Пушкиным*, которому именно он открыл поэзию Тютчева (кстати, Гагарин еще и не впал тогда в свое отступничество от России). Вместе с тем Гагарин постоянно бывал в доме министра иностранных дел Нессельроде, где Пушкина ненавидели. В оправдание Гагарина можно сказать, что в доме этом бывал тогда и сам Пушкин, хотя бы уже потому, что он числился на службе в Министерстве иностранных дел. Гагарин же в это время хлопотал о назначении за границу и, вполне понятно, дорожил своими отношениями с семьей Нессельроде.

Перекладывать вину на Гагарина — значит прикрывать истинных злодеев. И в высшей степени вероятно, что слухи о мнимой виновности Гагарина пошли именно из дома Нессельроде. Но к этой теме мы еще вернемся в связи с рассказом о взаимоотношениях Тютчева и Пушкина.

Глава пятая

ТЮТЧЕВ И ПУШКИН

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

1837

...Не исключено, что они видели друг друга в отроческие годы, так как оба бывали на «детских балах» у Трубецких, и весьма вероятно, что одиннадцатилетний Пушкин и семи-

* Кстати сказать, отец матери Гагарина, Михаил Алексеевич Пушкин, был родным братом бабушки поэта, Марии Алексеевны (по мужу — Ганнибал), и Иван Сергеевич приходился, таким образом, Пушкину троюродным братом...

летний Тютчев хотя бы обменялись взглядами в зале дворца-«комода», и поныне стоящего у Покровских ворот...

Но затем судьба все время разводила их. Когда Тютчев в 1822 году перед отбытием в Германию приехал в Петербург, Пушкин находился в южной ссылке, а во время тютчевского отпуска 1825 года безвыездно жил в Михайловском. В тот единственный отрезок времени, когда поэты могли встретиться — с 19 июля по 10 августа 1830 года (в течение этих двадцати дней оба находились, насколько нам известно, в Петербурге), Пушкин был весь поглощен своей предстоящей свадьбой с Натальей Гончаровой. Бесконечные визиты, денежные и прочие дела навалились на него так, что он писал невесте: «У меня почти нет на это сил...»

Наконец, в 1837 году Тютчев приехал в Петербург, когда уже прошло более трех месяцев со дня гибели Пушкина...

Но несостоявшееся личное знакомство само по себе не может обеднить тему отношений двух великих поэтов. Вспомним, что Достоевский и Толстой также никогда не встречались и не обменялись ни единым письмом, но вопрос о их взаимоотношениях — один из самых емких и глубоких в русской литературе. В известном смысле отсутствие прямого общения даже углубляет тему взаимоотношений — то есть уводит ее в самую глубь личных и исторических судеб обоих поэтов.

Уже шла речь о том, что в 1818 году Жуковский как бы соединил Пушкина и Тютчева, попрощавшись с первым в Царском Селе и встретившись со вторым в Москве. И такие «связи» по-своему не менее значимы, чем непосредственные.

Но дело не только в этом. Выше говорилось о том, что Пушкин и Тютчев, несмотря на весьма небольшое различие в возрасте (четыре с половиной года), принадлежали к совершенно разным поколениям русской литературы и самой русской жизни в целом. Ведущие деятели декабристского движения были на пять—десять лет старше Пушкина; то же самое следует сказать и о наиболее важных для него друзьях (так, Чаадаев родился в 1794 году, Вяземский и Катенин — в 1792-м). Но Пушкин все же был прежде всего сыном этой самой декабристской генерации — хотя его мировоззрение и творчество уже к 1825 году отличали широта и глубина, выделявшие его из рядов поколения.

Поэтому тема «Тютчев и Пушкин» подразумевает не только сопоставление двух поэтов; она, эта тема, неизбежно включает в себя взаимоотношения Пушкина с поколением любомудров вообще.

Наконец, нельзя не сказать о том, что тема «Тютчев и Пушкин» не раз рассматривалась очень неточно или попросту искаженно — вплоть до того, что отношения поэтов без сколько-нибудь достоверных аргументов трактовались как почти враждебные... Поэтому поистине необходимо изложить все по порядку.

Не подлежит сомнению, что Тютчев очень рано и очень основательно воспринял пушкинскую поэзию. Об этом свидетельствуют уже хотя бы переписанные в 1820 году юным Тютчевым строфы пушкинской «Вольности», распространявшейся нелегально в списках, и, конечно, тютчевское стихотворение «К оде Пушкина на Вольность», сочиненное, по-видимому, тогда же:

Огнем свободы пламенея
И заглушая звук цепей,
Проснулся в лире дух Алцея —
И рабства пыль слетела с ней.
. . . .
Счастлив, кто гласом твердым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рожден!
И ты великим сим уделом,
О муз питомец, награжден!

В то же самое время Погодин заносит в свой дневник: «Говорил с Тютчевым о молодом Пушкине, об оде его *Вольность,* о свободном, благородном духе мыслей, появляющемся у нас».

Но не забудем, что Тютчев к этому моменту уже проникся специфическим «философским» отношением к миру, которое было характерно для всех любомудров. И в своем поэтическом отклике на «Вольность», прославляя свободолюбие Пушкина, Тютчев все же не соглашается с прямыми призывами к бунту и завершает стихотворение таким пожеланием старшему собрату по поэзии:

Своей волшебною струною
Смягчай, а не тревожь сердца!

Трудно сомневаться в том, что Тютчев всегда внимательно прислушивался к звуку «волшебной струны» поэта. Между прочим, почти одновременно с созданием своего стихотворения об оде «Вольность» Тютчев говорил Погодину, что при осмыслении развития «русской словесности» необходи-

мо «показать, какое влияние каждый писатель имел на ход ее, чем именно способствовал к улучшению языка...».

И нельзя не задуматься над тем, что Тютчев действительно стал поэтом сравнительно поздно (особенно по тогдашним меркам) — к концу 1820-х годов, когда ему было уже лет двадцать пять. Он словно дожидался того момента в «ходе русской словесности», когда обретший зрелость Пушкин сотворил подлинные образцы совершенного — классического — русского поэтического слова.

Мы не знаем точной даты создания первых зрелых и уже отмеченных печатью художественного величия тютчевских творений. Но в печати они появляются лишь с 1829 года. Между тем Тютчев в 1825 году провел в России — и в Петербурге, и в Москве — более полугода и встречался с многими людьми круга любомудров. Он отдал тогда свои стихи в погодинский альманах «Урания», вышедший в конце 1825 года, и в альманах Раича и Ознобишина «Северная лира», увидевший свет в конце 1826 года. Однако из десяти стихотворений, опубликованных в обоих альманахах, лишь одно — «Проблеск» — может войти в состав избранных произведений Тютчева. Между тем в 1829—1830 годах в печати появляется сразу более десятка высших творений поэта — «Видение», «Весенняя гроза», «Летний вечер», «Бессонница», «Как океан объемлет шар земной...», «Цицерон», «Успокоение», «Утро в горах», «Вечер», «Последний катаклизм» и др. Нет никаких оснований предполагать, что стихи эти были созданы ранее 1828 года и несколько лет пролежали в столе поэта.

Этому утверждению, казалось бы, противоречит тот факт, что в последующие годы Тютчев нередко как раз надолго оставлял свои стихи в столе. Но позднейшее нежелание публиковать стихи объясняется, надо думать, тем, что обнародование только что перечисленных творений Тютчева не получило истинного «отзыва» (о причинах молчания критики еще пойдет речь). Поэт вовсе не был равнодушен к тому, как «отзывалось» его слово (хотя подобное представление о нем широко распространено). Так, после появления в январе 1850 года восторженной статьи Некрасова о его давно, четырнадцать лет назад, опубликованных произведениях Тютчев отдает в печать несколько десятков своих стихотворений (чего не было уже много лет) и соглашается на издание книги (первой в его жизни!), вышедшей в 1854 году.

Поэтому едва ли стоит думать, что зрелые стихотворения поэта, появившиеся в печати в 1829—1830 годах, были созданы ранее 1828 года (или уж в крайнем случае — 1827-го)

и долго находились под спудом. Тютчев в самом деле перестал посылать стихи в Россию позднее, когда увидел, что его поэзия не находит, в сущности, никакого отзыва. Кроме того, в 1833 году в его жизни началась мучительная личная драма. И если в 1829—1831 годах в печати появились десятки тютчевских стихотворений и переводов, то в 1832—1835-м было всего несколько случайных публикаций. И в 1836 году для того, чтобы довести тютчевские стихи до печати, понадобилось, как мы уже знаем, энергичное вмешательство Ивана Гагарина. Но к этому времени, между прочим, и сам Пушкин почти отказался от обнародования своих стихотворений...

Словом, Тютчев стал поэтом не ранее 1827—1828 годов — уже после появления зрелых плодов пушкинской поэзии. Незадолго до того, как Тютчев в 1825 году приехал из Германии на родину в полугодовой отпуск, вышла в свет первая глава пушкинского «Евгения Онегина», предваренная «Разговором книгопродавца с поэтом». Ее появление было большим событием, и невозможно усомниться в том, что Тютчев внимательно изучил это совершенное, классическое творение русской поэзии.

К глубокому сожалению, никакие тютчевские суждения о Пушкине, относящиеся к этим годам, до нас не дошли (собственно говоря, почти никаких литературных суждений Тютчева периода 1823—1828 годов не сохранилось вообще, а ведь это время творческого становления поэта). В цитированных стихах 1820 года — то есть написанных тогда, когда Пушкин еще не достиг истинной зрелости, — Тютчев уже сказал о присущей поэту «силе сладкогласья», о его «волшебной струне», о том, что он «великим уделом награжден». И естественно предположить, что поэтическое совершенство «Онегина» Тютчев сумел оценить (хотя позже отказывался считать его «романом»).

Стоит сказать еще, что в 1825 году, когда Тютчев пробыл несколько месяцев в России, он не мог не встречаться постоянно с пушкинской поэзией, ибо она присутствовала тогда почти в каждом журнале и альманахе, в любой литературной или просто «светской» беседе.

В 1824 году отдельными книжками вышли в свет «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», в 1825-м, как уже говорилось, первая глава «Евгения Онегина», а в следующем, 1826 году — вторая глава романа и «Стихотворения Александра Пушкина» — книга, впервые широко представившая лирику поэта. Известно, что Тютчеву регулярно присылали книги из России. Так, в 1837 году он сообщает

родителям из Турина (переписка его с родителями сохранилась только начиная с 1836 года — то есть с четырнадцатого года его пребывания за границей) как об обычном факте: «Сегодня утром, в то время, как я писал вам это, ко мне в комнату вошел человек и передал мне от вашего имени пачку русских книг и ваше письмо от 24 сентября. Весьма благодарен за то и за другое». Не будет натяжкой представить себе, что пушкинские «Стихотворения» 1826 года, вызвавшие громадный по тем временам интерес, дошли до Тютчева и в Германии.

После гибели Пушкина Тютчев назовет его живым органом богов, и нет никаких оснований полагать, что это осознание пушкинского величия пришло к Тютчеву только к тому времени; мы знаем, что его мысль, проникновенность его духа созрели очень рано — даже раньше собственно поэтического дара.

В начале 1828 года в «Московском вестнике» появились одна за другой статьи любомудров Шевырева и Ивана Киреевского, в которых впервые было сказано о подлинной зрелости пушкинского гения, о том, что Пушкин раскрывается как великий национальный поэт. Нелепо было бы думать, что Тютчев не понял тогда же эту ясную другим любомудрам истину.

Через десяток лет, в 1836 году, Тютчев напишет, что Пушкин «высоко стоит над всеми современными французскими поэтами». Этими поэтами были ни много ни мало Альфред де Виньи, Барбье, Мюссе, Жерар де Нерваль, Ламартин, Беранже и даже сам Гюго, в котором Франция видит одного из величайших своих поэтов (в России он более признан как прозаик); стихи трех последних Тютчев, кстати сказать, сам переводил на русский язык. Насколько нам известно, цитированное суждение было первым по времени признанием всемирного величия пушкинской поэзии.

Если в 1836 году Тютчев мог поставить Пушкина «высоко над всеми современными французскими поэтами», вполне естественно полагать, что за десять лет до того, когда начиналась подлинная жизнь самого Тютчева в поэзии, он уже ясно воспринимал верховную роль Пушкина в русской поэтической культуре. И тот факт, что Тютчев действительно стал поэтом лишь в конце 1820-х годов, уже не в первой молодости, достаточно многозначителен.

Тютчев в самом деле словно ждал той творческой зрелости русской поэзии, когда она зазвучала в пушкинском стихе как «богов орган живой». Именно тогда он стал творить сам.

Стихи Тютчева, написанные до 1828 года, очень отличаются от позднейших. Даже как бы вырвавшееся вперед стихотворение 1825 года «Проблеск» еще не вполне зрелое: оно для Тютчева слишком (в сопоставлении с объемом смысла) многословное — восемь строф, в нем есть явно риторические или чисто описательные элементы, которых не найдешь в зрелом творчестве поэта, — кроме «прикладных» политических стихотворений.

Словом, тютчевская поэзия родилась на основе, на почве зрелого творчества Пушкина. В этом конкретном (но именно только в этом) смысле прав был Гоголь, в 1846 году назвавший Тютчева в числе поэтов, которых «возбудил на деятельность Пушкин». Они, эти поэты, по гоголевскому определению, «не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если не были зажжены огнем поэзии Пушкина».

Но в то же время нельзя согласиться с Иваном Аксаковым, который писал: «Тютчев принадлежал бесспорно к так называемой Пушкинской плеяде поэтов». Это написано в 1874 году, когда развитие исключительно богатой и многообразной русской поэзии 1820—1830-х годов еще не было сколько-нибудь обстоятельно изучено. Ныне как раз бесспорно ясно, что Тютчев принадлежал не к пушкинской, а к совсем иной плеяде (ее уместно назвать — хотя это определение уже в той или иной степени спорно — тютчевской). В литературоведческих работах XX века Тютчев и близкие ему поэты были не только отделены от пушкинской плеяды, но даже резко противопоставлены ей — вплоть до утверждения враждебности двух этих поэтических школ.

И если мы хотим действительно понять жизненную и творческую судьбу Тютчева, во всем этом надо тщательно разобраться.

Да, до нас не дошли какие-либо высказывания Тютчева о Пушкине в период между 1820 и 1836 годами. Хотя, казалось бы, можно было бы прочно опереться на тютчевские суждения, столь предельно высоко оценившие начало и конец деятельности Пушкина, — тем не менее достаточно популярна легенда об отчужденности поэтов.

На деле отношение Тютчева к Пушкину было совершенно естественным отношением поэта нового поколения к корифею предшествующей поэтической плеяды, творчество которого нужно было не повторять, а продолжать.

Уже шла речь о том, что Тютчев почти за десяток лет до своего истинного творческого становления горячо откликнулся на неопубликованную оду Пушкина. Трудно сомне-

ваться в том, что он уже к тому времени знал, скажем, вот эту прекрасную и многосмысленную пушкинскую строфу, созданную в 1818-м и обнародованную в начале 1819 года, когда поэту еще не было и двадцати лет:

Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

В заветных тютчевских строках 1837 года на смерть Пушкина:

...Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!.. —

словно слышится утверждающий отклик на этот юношеский пушкинский обет.

Готовясь к пушкинскому торжеству 1880 года, Достоевский с волнением писал: «Как-то прочту... сцену Пимена и Скупого Рыцаря и тоже (главное) "На смерть Пушкина" Тютчева?» В это «главное» конечно же входила мысль о только что приведенных строках. Но Тютчев, очевидно, вложил в эти строки не только благоговейное преклонение, но и точное сознание того, что первая любовь неповторяема и что идущие вслед за Пушкиным призваны прокладывать свой, иной путь, — и это никак не может умалить меру преклонения перед первой любовью России.

...Восьмого сентября 1826 года, после более шести лет ссылок, Пушкин появился в Москве, которая несколько месяцев поистине триумфально чествовала поэта. И безусловно, главную роль играли в этом торжестве люди нового, созревшего за годы отсутствия Пушкина поколения — любомудры.

В первый же вечер к Пушкину, заехавшему в дом своего дяди Василия Львовича, ворвался один из любомудров — Сергей Соболевский, которого поэт знал мальчиком, учившимся в Петербургском благородном пансионе вместе с младшим Пушкиным — Львом Сергеевичем. Через день после приезда, 10 сентября, в квартире Соболевского на Собачьей площадке Пушкин впервые читает своего «Бориса Годунова». И вместе с Чаадаевым и Боратынским поэта слушают Дмитрий Веневитинов, Иван Киреевский, Шевырев, Рожалин.

Собственно говоря, Пушкин был уже в какой-то мере подготовлен к встрече с новым литературным поколением,

сложившимся в Москве. Любомудры сформировались именно в Москве, и это нуждается хотя бы в кратком пояснении: дело в том, что новые литературные и, шире, духовные искания XIX века, как правило, зарождались именно в Москве. Здесь выросли предшественники и учителя Пушкина — Карамзин, Жуковский, Батюшков, Гнедич, хотя деятельность их широко развернулась позднее не в Москве, а в Петербурге. Выше уже было показано, что главные родоначальники декабризма начали свой путь также в Первопрестольной. Целиком это относится и к поколению любомудров. Далее, главные герои следующего поколения — 1840-х годов — Герцен, Станкевич, Белинский, Бакунин, Грановский и другие сформировались опять-таки в Москве, и лишь позднее часть из них переселилась в Петербург (как Белинский, Боткин, Гончаров, Тургенев). Словом, Москва всегда была колыбелью новых поколений русской культуры.

Явившись в Москву, Пушкин уже знал, что встретит здесь любомудров, или, по бытовому прозванию, «архивных юношей». Так, например, поселившийся в Москве за год до возвращения Пушкина из Михайловского и сразу сошедшийся с любомудрами Боратынский писал ему в январе 1826 года: «Посылаю тебе “Уранию” (один из первых скромных альманахов любомудров, изданных Погодиным. — *В. К.*); не велико сокровище, но блажен, кто и малым доволен. Нам очень нужна философия. Однакож позволь тебе указать на пьесу под заглавием: “Я есмь”. Сочинитель мальчик лет осьмнадцати и, кажется, подает надежду (речь идет о философском стихотворении девятнадцатилетнего Шевырева. — *В. К.*). Слог не всегда точен, но есть поэзия, особенно сначала. На конце метафизика, слишком темная для стихов. Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. Не знаю, хорошо ли это, или худо; я не читал Канта и, признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков. Галич* выдал пиэтику на немецкий лад... Не зная немецкого языка, я очень обрадовался случаю познакомиться с немецкой эстетикой. Нравится в ней собственная ее поэзия, но начала ее, мне кажется, можно опровергнуть философически. Впрочем, какое о том дело, особливо тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над этим голову».

Вспомним, что в «Урании» были опубликованы три ранних стихотворения Тютчева, хотя лишь одно из них — «Про-

---

* *Александр Иванович Галич* (1783—1848) — русский мыслитель, учившийся в Германии.

блеск» — было в той или иной мере подлинно «тютчевское». Но Боратынский, уже хорошо знавший Шевырева и его деятельность, а Тютчева не знавший совсем, явно не обратил внимания на «Проблеск», который еще мог при первом взгляде показаться сочинением верного ученика Семена Раича — поэта, не отмеченного творческой глубиной и силой...

Из письма ясно, что Боратынский в тот момент относился к любомудрам (с которыми он по-настоящему познакомился всего несколько месяцев назад) двойственно. Но позднее поэт, надолго ставший ближайшим другом Ивана Киреевского, в сущности, пошел по их пути; в его поздних стихах (таких как «Толпе тревожный день приветен...», «Осень», «Недоносок» и др.) можно даже обнаружить и своего рода «темную метафизику», которую он в 1826 году еще не принимал, — хотя и был убежден, что «нам очень нужна философия».

Перейдя целиком на позиции «философской» поэзии, Боратынский впоследствии даже стал весьма критически относиться к творчеству Пушкина и лишь после его гибели, познакомившись с его высшими созданиями последних лет, не без изумления писал жене: «Все последние пьесы его отличаются — чем бы ты думала? — силою и глубиною. Что *мы сделали, Россияне, и кого погребли!* — слова Феофана на погребение Петра Великого».

Это непростое и противоречивое отношение Боратынского к Пушкину способно прояснить многое в соотнесенности Тютчева и Пушкина. Есть все основания утверждать, что Тютчев, хотя его поэтический путь решительно отличался от пушкинского, не впадал в ту односторонность, которую проявил в последние годы жизни Пушкина Боратынский.

В 1826 году Боратынский еще полагал, что Пушкину попросту нет дела до философии: «Твори прекрасное, и пусть другие ломают над этим голову». А в 1832 году он пишет Ивану Киреевскому о «Евгении Онегине», которым ранее безгранично восхищался: «Это произведение носит на себе печать первого опыта, хотя опыта человека с большим дарованием... Так пишут обыкновенно в первой молодости из любви к поэтическим формам более, нежели из настоящей потребности выражаться. Вот тебе теперешнее мое мнение об Онегине».

Чтобы правильно понять это — по сути дела — отрицание высшей ценности «Евгения Онегина», следует иметь в виду, что в том же 1832 году Боратынский писал Киреевскому: «Поверь мне, русские имеют особенную способность и

особенную нужду мыслить». И именно весомой «мысли» Боратынский не находил тогда в творчестве Пушкина...

В том же самом году Боратынский восхищается современными французскими поэтами — Гюго и Барбье: «Для создания новой поэзии именно недоставало новых сердечных убеждений, просвещенного фанатизма; это, как я вижу, явилось... Но вряд ли он найдет в нас отзыв... Мы так далеко от сферы новой деятельности, что весьма неполно ее разумеем и еще менее чувствуем... Мы свергнули старые кумиры и еще не уверовали в новые...»

Как видим, это чуть ли не прямо противоположно уже упомянутому суждению Тютчева, высказанному несколькими годами позже: «Мне приятно воздать честь русскому уму, по самой сущности своей чуждающемуся риторики... Вот отчего Пушкин так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами».

Столь существенное отличие в отношении к Пушкину Тютчева и, с другой стороны, Боратынского следует объяснить, в частности, тем бесспорным фактом, что первый гораздо лучше знал и французских поэтов, и германских мыслителей. Боратынскому же, надо думать, казалось, что Пушкин-де отстал и от тех, и от других...

Резкость оценок Боратынского объясняется, без сомнения, еще и тем, что он начал свой путь как верный сподвижник Пушкина; перейдя на новые позиции, он — это вполне естественно — как бы вынужден был решительно отказываться от своих прежних убеждений. Ведь всего за пять лет до цитированной выше резкой характеристики «Онегина» он писал Николаю Полевому (25 ноября 1827 года): «Про “Онегина” что и говорить! Какая прелесть! Какой слог блестящий, точный и свободный! Это рисовка Рафаэля, живая и непринужденная кисть живописца из живописцев». Через пять лет он истолковывает эти же самые черты как лишенную глубины «любовь к поэтическим формам». Тютчеву же в отличие от Боратынского не нужно было, так сказать, ломать свое отношение к Пушкину.

Уже из этих сопоставлений явствует, сколь сложная ситуация складывалась в русской поэзии (да и культуре в целом) в конце 1820—1830-х годах, когда Тютчев становился одним из величайших ее творцов.

Но вернемся к тому моменту, когда Пушкин встретился с любомудрами. Поначалу это была поистине великолепная встреча, о которой ее участник, Михаил Погодин, вспоминал:

«Успех “Урании” ободрил нас. Мы составили с Дмитрием Веневитиновым план издания другого литературного сбор-

ника... Программы сменялись программами, и в эту-то минуту, когда мы были, так сказать, впопыхах, рвались работать, думали беспрестанно о журнале, является в Москву А. Пушкин, возвращенный Государем из его псковского заточения.

Представьте обаяние его имени, живость впечатления от его поэм, только что напечатанных... и в особенности мелких стихотворений... которые просто привели в восторг всю читающую публику, особенно нашу молодежь, архивную и университетскую. Пушкин представлялся нам каким-то гением, ниспосланным оживить русскую словесность...

Он обещал прочесть всему нашему кругу "Бориса Годунова", только что им конченного... Октября 12-го числа поутру, спозаранку, мы собрались все к Веневитинову (между Мясницкою и Покровкою, по дороге к Армянскому переулку)*, и с трепещущим сердцем ожидали Пушкина. Наконец, в двенадцать часов он является.

Какое действие произвело на всех нас это чтение, передать невозможно. До сих пор еще — а этому прошло сорок лет — кровь приходит в движение при одном воспоминании.

Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь... О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь...

Пушкин знакомился с нами со всеми ближе и ближе. Мы виделись все очень часто... Толки о журнале, начатые еще в 1823 или 1824 году в обществе Раича, усилились. Множество деятелей молодых, ретивых было, так сказать, налицо, и они сообщили Пушкину общее желание. Он выразил полную готовность принять самое живое участие. После многих переговоров редактором был назначен я. Главным помощником моим был Шевырев. Много толков было о заглавии. Решено: "Московский вестник". Рождение его положено отпраздновать общим обедом всех сотрудников. Мы собрались в доме... Хомякова**: Пушкин, Мицкевич, Боратынский, два брата Веневитиновы, два брата Хомяковы, два брата Киреевские, Шевырев, Титов, Мальцов, Рожалин, Соболевский...

В Москве наступило самое жаркое литературное время... Вечера, живые и веселые, следовали один за другим, у

---

* Это второе чтение «Бориса Годунова» состоялось, таким образом, именно в «тютчевском» уголке Москвы; здесь собрались тогда, помимо Веневитиновых, Киреевские, Рожалин, Хомяковы, Титов, Шевырев, Соболевский, Мальцов, Мельгунов и др.

** На Петровке (дом 3).

Елагиных и Киреевских за Красными воротами, у Веневитиновых, у меня, у Соболевского... у княгини Волконской... Приехал М. И. Глинка, связанный более других с Мельгуновым и Соболевским, и присоединилась музыка».

Так Пушкин в сентябре — октябре 1826 года встретился с любомудрами. Он почти не расставался с ними до мая 1827 года, когда уехал в Петербург. Уже из перечня собравшихся у Хомякова ясно, что Пушкин тогда узнал почти всех молодых людей этого круга (Погодин, кстати, не упомянул присутствовавших на обеде Андросова, Максимовича, Андрея Муравьева, Путяту). В Москве не оказалось только двух выдающихся представителей нового поколения — Владимира Одоевского (он незадолго до того переехал в Петербург, где Пушкин и познакомится с ним в конце 1827-го — начале 1828 года) и Тютчева, который был в Мюнхене. Нет сомнения, что, окажись Тютчев в те месяцы в Москве, он встречал бы Пушкина так же, как Киреевские и Веневитинов, Хомяков и Погодин.

Но мы знаем, что всего за четыре года до того Тютчев расстался с близким своим сотоварищем Погодиным, а спустя три года он как друзей принимал в Мюнхене братьев Киреевских. Хорошо известно, что Пушкин постоянно присутствовал в разговорах юного Тютчева с Погодиным. И есть все основания полагать, что с братьями Киреевскими Тютчев говорил и о Пушкине, и о столь волнующей встрече любомудров с ним (речь идет, конечно, не просто о самом факте встречи, но о ее духовно-историческом значении).

Когда Петр Киреевский в конце лета 1829 года собирался в Мюнхен, его мать А. П. Елагина писала Жуковскому: «Немецкий университет будет для него полезен, и Мюнхен выбрала потому, что там живет Тютчев, женатый молодой человек, очень хороший, — он там при посольстве; а я с отцом его и со всею семьею коротко знакома». Петр вскоре сообщил из Мюнхена: «У Тютчевых... я бываю непременно раза два в неделю и люблю его», а несколько позднее отметил: «Мы... сошлись как нельзя лучше». 5 (17) апреля 1830 года в Мюнхен приехал и Иван Киреевский; на другой же день, пришедшийся на Пасху, братья обедали у Тютчева.

Хотя Иван Киреевский пробыл за границей менее года, он все же в одном из писем родителям (от 5 августа 1830-го) не удержался от такой просьбы: «Пришлите непременно... что есть нового Пушкина... и, если можно, хотя предисловие к “Борису”» (которое, между прочим, Пушкин только начал писать в 1828 году и не пошел далее набросков, — но Киреевский этого не знал).

Словом, невозможно даже представить себе, чтобы творчество Пушкина не оказалось в центре бесед Тютчева и Киреевских (стоит отметить, что Иван Гагарин, который постоянно общался с Тютчевым в 1833—1835 годах, свидетельствовал: «Мы часто говорили о месте, занимаемом Пушкиным в поэтическом мире»). В частности, Иван Киреевский конечно же преподнес Тютчеву свои статьи «Нечто о характере поэзии Пушкина» («Московский вестник», № 6 за 1828 год) и «Обозрение русской словесности 1829 года» (альманах «Денница»; статья в значительной мере посвящена Пушкину, и в ней упомянут Тютчев).

Все это позволяет сделать вывод, что Тютчев, не участвовавший во встрече любомудров с Пушкиным, достаточно хорошо знал о ней. При этом особенно плодотворным было то обстоятельство, что вестниками этой встречи для Тютчева оказались Киреевские.

Ибо между многими любомудрами и Пушкиным после столь обещающей встречи возникли и некоторое время даже нарастали и обострялись определенные трения, — но это никак не касалось Ивана Киреевского. Когда 17 февраля 1831 года, накануне свадьбы с Натальей Гончаровой, Пушкин устроил в своей арбатской квартире мальчишник, из любомудров он пригласил именно Ивана Киреевского (почти все остальные гости были друзьями Пушкина с юных лет — Вяземский, Нащокин, Боратынский, Денис Давыдов, Верстовский и др.).

Но неизбежное все же произошло: разнонаправленные воли Пушкина и любомудров пришли в определенное столкновение. Положение осложнялось тем, что Пушкин по праву чувствовал себя зрелым вождем литературы, который имеет все основания направлять молодежь.

Девятого ноября 1826 года, когда уже был решен вопрос об издании «Московского вестника» под редакцией Погодина, Пушкин писал Вяземскому: «...нам надо завладеть... журналом и царствовать самовластно и единовластно... Впрочем, ничего не ушло. Может быть, не Погодин, а я буду хозяином нового журнала». В феврале 1827 года Пушкин пишет Василию Туманскому: «Погодин не что иное, как *имя, звук пустой* — дух же я».

Однако довольно быстро выяснилось, что многие любомудры не согласны с этим. И дело было вовсе не в том, что они недооценивали Пушкина. Дмитрий Веневитинов писал о только что появившейся в первом выпуске «Московского вестника» сцене в келье Чудова монастыря из «Бориса Годунова»: «Эта сцена, поразительная по своей простоте и энер-

гии, может быть смело поставлена наряду со всем, что есть лучшего у Шекспира и Гёте».

(Кстати сказать, через четверть века, 5 января 1853 года, дочь Тютчева Дарья сообщит сестре Анне в письме из Овстуга: «Вечером папа читал нам "Бориса Годунова", и читал так хорошо, что я позабыла о своем огорчении», — речь шла о разлуке с Анной, которая уехала в Петербург утром того же дня, и письмо было послано как бы вдогон любимой сестре.)

Да, любомудры знали истинную цену Пушкину. Но они не могли отказаться от своего принципиально «философского» направления в литературе. Тот же Веневитинов, столь высоко оценивший сцену из «Бориса Годунова», еще в 1826 году написал стихотворение «К Пушкину», в котором, по сути дела, поучал поэта, хотя в то же время и как бы просил извинения за этот тон:

Рассей на миг восторг святой,
Раздумье творческого духа
И снисходительного слуха
Младую музу удостой.

Веневитинов призывал Пушкина, воспевшего ранее Байрона и Шенье, написать стихи, обращенные к Гёте:

Наставник наш, наставник твой,
Он кроется в стране мечтаний,
В своей Германии родной...

Сам этот призыв был, разумеется, только поэтическим оборотом; суть дела состояла в желании Веневитинова, чтобы Пушкин взял себе в высшие «наставники» Гёте и — шире — германскую культуру в целом.

Необходимо только отчетливо сознавать, что в конечном счете дело было не в германской культуре как таковой. Она была для любомудров прежде всего примером, образцом, символом глубокого духовного творчества. Это следует иметь в виду каждый раз, когда заходит речь об увлечении Германией и ее философией, о «немецкой школе» в поэзии и т. п.

С другой стороны, стихи Веневитинова с призывом обратиться к Гёте — только одно из выражений того постоянного и многообразного воздействия, которое стремились оказать на Пушкина любомудры. И не будет преувеличением утверждать, что любомудры смогли побудить Пушкина решительно переоценить свое отношение к германской культуре. Ранее он, например, как бы ставил Байрона и Гёте в один ряд. Но уже в 1827 году Пушкин пишет — хотя и не в стихах (о чем просил Веневитинов), а в прозе: «Байрон... в

Manfred'е подражал "Фаусту", заменяя простонародные сцены и субботы другими, по его мнению благороднейшими; но "Фауст" есть величайшее создание поэтического духа; он служит представителем новейшей поэзии, точно как "Илиада" служит памятником классической древности».

Вместе с тем Пушкин в то время явно еще не был готов признать плодотворной сугубо «философскую» направленность любомудров. После выхода в свет первых номеров «Московского вестника», так сказать, перенасыщенных философией, ближайший друг Пушкина Дельвиг выразил ему свое неудовольствие журналом в письме (из Петербурга). Пушкин отвечал ему 2 марта 1827-го (он все еще жил в Москве): «Ты пеняешь мне за "Московский вестник" — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а черт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать — все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... — "Московский вестник" сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая?.. А время вещь такая, которую с никаким "Вестником" не стану я терять. Им же хуже, если они меня не слушают».

Через день, 4 марта, Погодин записал в дневнике, что Пушкин «декламировал против философии, а я не мог возражать дельно и больше молчал, хотя очень уверен в нелепости им говоренного». Несколько ранее Погодин писал там же: «Пушкин поэт чувства, Шиллер — мысли».

Казалось бы, дело шло к разрыву Пушкина с любомудрами (и между прочим, во многих книгах об этом времени можно встретить неверное утверждение, что такой разрыв произошел). Однако на деле споры эти не привели к конфликту. Пушкин был поистине уникален в своем внимании и любви ко всем серьезным явлениям родной литературы и в своей способности оценить по заслугам любое подлинно творческое начало.

Уже после процитированного раздраженного письма к Дельвигу Пушкин опубликовал в «Московском вестнике» около двадцати своих произведений, а через полгода, 31 августа 1827 года, писал Погодину, задумавшему издать новый выпуск альманаха «Урания»:

«Ради бога, не покидайте "Вестника"; на будущий год обещаю Вам *безусловно* деятельно участвовать в его издании... Вестник Московский по моему беспристрастному, совестному мнению — лучший из русских журналов».

Еще через год, 1 июля 1828 года, Пушкин повторял: «Надобно, чтоб наш журнал издавался и на следующий год. Он,

конечно, буде сказано между нами, первый, единственный журнал на Святой Руси».

Пушкин дал самые лестные оценки деятельности почти всех любомудров. О Веневитинове он писал как о «лучшем из избранных». О повести Владимира Одоевского «Квартет Бетховена» (1831) Пушкин говорил Кошелеву, что «едва когда-либо читали на русском языке статью столь замечательную по содержанию и слогу».

«Он бесится, что на нее обращают мало внимания, — сообщал Кошелев о реакции Пушкина в письме к Одоевскому. — Он находит, чтб ты в этой пьесе доказал истину, весьма для России радостную: а именно, что возникают у нас писатели, которые обещают стать наряду с прочими европейцами, выражающими мысли нашего века».

Пушкин не раз писал о «прекрасном стихе» Хомякова и о неоспоримости «истинного таланта» его и Шевырева, критические работы которого Пушкин также высоко ценил. Пушкин очень высоко — в данном случае, пожалуй, даже и чрезмерно высоко — оценил народную драму Погодина «Марфа-посадница» (1830) в специальной статье о ней и целом ряде писем. Не склонный к излишнему самомнению Погодин даже записал 14 мая 1830 года в своем дневнике по поводу отзывов Пушкина: «Да не слишком ли он воображает сам здесь...» — то есть как бы творит на основе погодинской драмы свою собственную... Исключительно лестно писал не один раз Пушкин о критических и философских трудах Ивана Киреевского. С «надеждой и радостию», по его выражению, встретил он даже стихи второстепенного поэта-любомудра Андрея Муравьева.

Обо всем этом необходимо было сказать потому, что это находится в жестоком противоречии с несостоятельной и даже попросту нелепой (и все-таки очень широко распространенной) легендой, согласно которой Пушкин отчужденно или, более того, чуть ли не враждебно относился к Тютчеву. Ведь в самом деле нелепость: Пушкин столь высоко ценит всех значительных представителей поколения любомудров, но оказывается неспособным оценить гениального поэта этого поколения...

Легенда о «вражде» Пушкина и Тютчева возникла в двадцатых годах XX века, и подспудная причина ее появления состоит в том, что в 1910-х — начале 1920-х годов литература развивалась в обстановке шумной и острой борьбы различных школ и школок (символизма, акмеизма, футуризма,

имажинизма и т. п.); при этом «борьба» шла обычно во имя какого-либо формального, чисто литературного принципа. И тогдашние критики формального толка, так сказать, воспитавшись на этой борьбе, перенесли, спроецировали ее на отношения Пушкина к Тютчеву как поэту «новой» школы. К великому сожалению, этот безосновательный перенос был широко разрекламирован и замутнил сознание очень многих людей.

Легенда эта была построена буквально на пустом месте, так как никаких отрицательных отзывов Пушкина о Тютчеве не существует, их попросту нет.

«Главный конструктор» легенды, Ю. Тынянов, «опирался», в частности, на тот факт, что Пушкин в конце 1820-х — начале 1830-х годов в самом деле весьма критически и даже насмешливо относился к литературной работе былого наставника юного Тютчева — Семена Раича; в статье Тынянова «Пушкин и Тютчев», которая и легла в основу легенды, около трети объема занимает обсуждение вопроса о Раиче.

Мы видели, что Семен Раич сыграл самую благотворную роль в формировании Тютчева, постоянно находясь при нем от девяти- до пятнадцатилетнего его возраста. Но хороший и, более того, идеальный наставник вовсе не обязательно должен быть выдающимся поэтом (скорее уж, это может и помешать). С другой стороны, совершенно ясно, что ко времени своей творческой зрелости, к двадцати пяти годам, после шестилетнего пребывания в Германии, Тютчев настолько далеко ушел от Раича, что их уже никак нельзя было рассматривать в одном ряду.

Словом, отношение Пушкина к Раичу ровно ничего не может сказать о его отношении к Тютчеву; с таким же успехом можно было бы судить об отношении Тютчева к Пушкину, скажем, на основе тютчевской оценки какого-либо лицейского наставника последнего...

Семен Раич, о чем подробно говорилось, сыграл в 1818—1823 годах немалую роль в самом собирании сил любомудров. Но к концу 1820-х годов он уже отстал от них и почти не участвовал в их изданиях. Иван Киреевский в том самом «Обозрении русской словесности 1829 года» отнес Раича вовсе не к «немецкой школе» поэтов (то есть любомудров), а к иной, «итальянской».

Сам Раич горестно сознавал свой разрыв с любомудрами. В 1830 году он писал, что у него теперь нет прежних друзей:

> Одних постигла смерть, другие на пути
> Земном расстретились со мной и торопливо
> Умчалися вперед...

Тынянов, пытаясь из критически-иронического отношения Пушкина к Раичу вывести пушкинскую неприязнь к Тютчеву, ссылается и на тот факт, что Пушкин отрицательно отзывался об издававшемся Раичем в 1829—1830 годах журнале «Галатея». Но это уж целиком и полностью несостоятельный аргумент, ибо не кто иной, как Тютчев писал в 1836 году, что часть его стихов была опубликована Раичем «в довольно пустом журнале, который он выпускал».

Словом, зрелый Тютчев был вполне солидарен с Пушкиным в оценке журнальной деятельности Раича, и один из главных аргументов Тынянова оказывается, таким образом, совершенно неуместным (следует оговорить, что Тютчев не переставал хорошо относиться к Раичу в собственно человеческом смысле; так, он был глубоко огорчен, увидев его после своего возвращения из Германии сильно постаревшим).

Столь же беспочвен и другой основной аргумент Тынянова. Он цитирует пушкинский отзыв о первом выпуске альманаха Максимовича «Денница», который целиком посвящен восхитившей Пушкина статье Ивана Киреевского «Обозрение русской словесности 1829 года». Киреевский, пишет Пушкин, «принадлежит к молодой школе московских литераторов, школе, которая основалась под влиянием новейшей немецкой философии и которая уже произвела Шевырева, заслужившего одобрительное внимание великого Гёте, и Д. Веневитинова, так рано оплаканного друзьями всего прекрасного. Несколько критических статей г. Киреевского были напечатаны в “Московском вестнике” и обратили на себя внимание малого числа истинных ценителей дарования».

Разбирая статью, Пушкин, в частности, говорит: «Из молодых поэтов немецкой школы* г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим».

Цитируя эти слова, Тынянов резюмировал (притом вразрядку), что Пушкин «прямо отказывает в истинном таланте Тютчеву».

Волей-неволей в глазах читателей снижается образ Пушкина, который высоко оценил поэзию Хомякова, Шевырева и даже Андрея Муравьева, а у Тютчева вообще не обнаружил таланта... Однако здесь оставлено без внимания одно простое, но чрезвычайно существенное обстоятельство. Пушкин писал свою статью в декабре 1829-го — январе 1830 года. К этому моменту он очень хорошо знал Хомякова и Шевы-

* Уже говорилось об условном характере этого определения.

рева и их основные стихи. Но он явно не знал сколько-нибудь зрелых стихотворений Тютчева.

Чтобы убедиться в этом, перечислим все опубликованные к тому времени стихи Тютчева с указанием (в скобках) года, не позже которого они были написаны (помня, что поэт родился в самом конце 1803 года, нетрудно установить возраст, не старше которого написано то или иное стихотворение), и изданий, где они были опубликованы:

1. Урания (1820) — «Речи и отчеты Московского университета», 1820.

2. Весеннее приветствие стихотворцам (1821) — «Труды Общества любителей российской словесности», 1822, ч.1.

3. А. Н. М. (1821) — «Русский зритель», 1828.

4. «На камень жизни роковой» (1822) — «Атеней», 1829.

5. Слезы (1823) — «Северная лира», 1827.

6. К Н. (1824) — «Северная лира», 1827.

7. К Нисе (1825) — «Урания», 1826.

8. Проблеск (1825) — «Урания», 1826.

Из этих восьми стихотворений, опубликованных в шести разных изданиях, только одно, «Проблеск», может войти в состав зрелых произведений Тютчева (современный читатель найдет остальные стихи только в более или менее полных собраниях сочинений поэта, да и то главным образом в «приложениях»). Следует добавить, что в тех же самых журналах и альманахах были опубликованы тогда же восемь тютчевских переводов (из Горация, Шиллера, Ламартина, Гёте, Байрона, Гердера и Гейне), но также ранних, еще несовершенных.

Итак, чтобы действительно оценить Тютчева, Пушкин должен был специально обратить внимание на одно из шестнадцати его стихотворений («Проблеск»), разбросанных по шести разным изданиям (кстати сказать, четыре из этих шестнадцати стихотворений публиковались без имени автора — с обозначениями «Ф. Т.» или даже «* *»).

Правда, в течение 1829 года было опубликовано еще семь стихотворений Тютчева в шести номерах журнала Раича «Галатея» (указывается дата написания и номер журнала):

1) Друзьям (1823) — № 29.

2) Cache — cache (1826) — № 17.

3) Олегов щит (1827) — № 34.

4) Могила Наполеона (1828) — № 8.

5) Весенняя гроза (1828) — № 3.

6) Летний вечер (1828) — № 24.

7) Видение (1829) — № 34.

Последние три стихотворения, несомненно, принадлежат к зрелым тютчевским творениям. Но мы уже знаем, что

Пушкин (как и сам Тютчев, о чем уже шла речь) относился к Раичевой «Галатее» не только отрицательно, но даже иронически и конечно же не выискивал в ней — из номера в номер — поэтические жемчужины. Более того, можно с полной уверенностью утверждать, что Пушкин не читал этих тютчевских стихотворений, ибо их не читал даже Иван Киреевский, хотя он, в отличие от Пушкина, жил в Москве, где издавалась «Галатея», хорошо знал Тютчева и, наконец, гораздо ближе общался с Раичем, чем Пушкин. Тем не менее в той самой своей статье «Обозрение русской словесности 1829 года», на которую с таким восхищением отозвался Пушкин, Киреевский писал: «Между поэтами немецкой школы отличаются имена Шевырева, Хомякова и Тютчева. Последний, однако же, напечатал в прошедшем году только одно стихотворение»*.

Из приведенного выше списка мы видели, что Тютчев напечатал в 1829 году вовсе не одно, а восемь стихотворений — одно в журнале «Атеней» и семь — в «Галатее». Естественно сделать вывод, что Киреевский вообще не считал нужным заглядывать в «Галатею» (в которой он, очевидно, как и Тютчев, видел «пустой журнал»), но интересовался «Атенеем», издававшимся видным философом М. Г. Павловым. Потому-то он и заметил в 1829 году лишь одно, опубликованное именно в «Атенее», стихотворение Тютчева. Стоит упомянуть, что, задетый невниманием к его журналу, Раич в одном из следующих номеров «Галатеи» возмущенно «уличил» Киреевского в ошибке, указав на свои публикации семи тютчевских стихотворений.

Но если Киреевский не добрался до тютчевских стихов в «Галатее», то от Пушкина этого вообще невозможно было ожидать. Словом, нельзя сомневаться в том, что Пушкин промолчал в 1830 году о таланте Тютчева, ибо попросту не знал его сколько-нибудь зрелых творений, а вовсе не потому, что «не принял» эти творения и потому «отказывал» Тютчеву в истинном таланте. Когда Пушкин (в 1836 году) узнал эти творения, он сразу же стал необычайно щедро публиковать их в своем журнале «Современник»; стоит отметить, что Пушкин тогда без всяких оговорок «перепеча-

* Уместно еще сказать о том, что известный тогдашний критик Ксенофонт Полевой возмутился самим упоминанием всего лишь «одного стихотворения» мало кому знакомого Тютчева в статье Киреевского. В своем «Взгляде на два обозрения русской словесности 1829 года...», опубликованном в журнале «Московский телеграф» (1830, № 2), Кс. Полевой писал: «Вот каково быть в милости у критики...» — восхищаются, мол, и одним стишком...

тал» три лучших тютчевских стихотворения, появившихся в 1829 году в «Галатее»; он конечно же ничего не знал о их публикации, так как — об этом сказано выше — не интересовался раичевским журналом.

Тынянов ссылается еще на тот факт, что в неоконченном наброске пушкинского — весьма критического — отзыва об альманахе Раича «Северная лира» (1827) ничего не говорится о шести помещенных в нем стихотворениях Тютчева. Но Тынянов опять-таки «забыл» пояснить, что четыре из этих стихотворений — переводы из Шиллера, Гейне, Гёте и Байрона, к тому же ранние, сделанные в 1823—1824 годах, а оригинальные стихи — «Слезы» (1823) и «К Н.» (1824) — опять-таки не могут считаться подлинно «тютчевскими».

Казалось бы, просто невозможно переоценить тот факт, что Пушкин, получив в 1836 году через Ивана Гагарина рукописи зрелых стихотворений Тютчева, проявил поистине неслыханную щедрость по отношению к почти неизвестному тогда поэту — напечатал в двух номерах своего журнала двадцать четыре стихотворения (собственно, даже двадцать пять — одно не было пропущено цензурой). И вот вместо того, чтобы исходить из этого выразительнейшего факта, отношение Пушкина к поэзии Тютчева пытаются вычитать даже не из каких-либо его критических отзывов о тютчевских стихах более раннего времени (это бы еще куда ни шло — однако ведь таких отзывов нет в природе!), но из факта *отсутствия* отзывов о Тютчеве в статьях 1827 и 1830 годов, — когда Пушкин, как это совершенно ясно, вообще не знал тютчевской поэзии и, вполне естественно, не мог что-либо говорить о ней.

Одна из учениц Тынянова писала: «Тютчев как “архаист” боролся с Пушкиным, и Пушкин не имел оснований восторженно приветствовать нового поэта». Если уж на то пошло, с Пушкиным «боролись» — хотя это слишком резкое выражение, не соответствующее реальным отношениям; вернее будет сказать, спорили — не Тютчев, а другие любомудры. Тютчев находился при жизни Пушкина за две тысячи верст от Москвы, не выступал ни с какими декларациями, а стихи его только изредка появлялись в печати, — особенно после 1830 года (не считая переводов, в 1831-м было опубликовано четыре стихотворения, в 1832-м — три, в 1833-м — одно, в 1834-м — одно, в 1835-м — ни одного). Впервые Тютчев по-настоящему явился только на страницах журнала того самого Пушкина, с которым он-де боролся...

С Пушкиным в самом деле открыто, публично спорили Веневитинов, Шевырев, Погодин, Титов и менее явно — в переписке и разговорах, которые все же вполне могли так

или иначе стать известными Пушкину — Мельгунов, Хомяков, Рожалин, а также все более сближавшиеся с любомудрами Боратынский и Языков.

Достаточно ярким примером «борьбы» с Пушкиным может послужить пространное (154 строки) шевыревское стихотворение «Послание к А. С. Пушкину», опубликованное в альманахе Максимовича «Денница» за 1831 год.

Двадцать девятого апреля 1830 года Пушкин написал Шевыреву, который был тогда в Риме: «Возвратитесь обогащенные воспоминаниями, новым знанием, вдохновениями, возвратитесь и оживите нашу дремлющую северную литературу». Шевырев тут же сообщил Погодину: «Прошу тебя дать следующий ответ Пушкину: его строки были электрическими в Риме... я в Риме лучше понял назначение России и Пушкина; скоро осмелюсь говорить ему об этом».

Созданное вскоре Шевыревым «Послание к А. С. Пушкину» было, если угодно, «борьбой» с Пушкиным, обращенным к нему требованием изменить свои творческие принципы. Шевырев обвинял всю современную русскую поэзию в легковесности мысли и слова, полагая, что то и другое нераздельно, органически связано; он писал ранее, в 1827 году, в одной из своих статей: «Чем зрелее и богаче мысль, тем зрелее и слово». Пушкин не мог не понимать, что весьма резкие стихи Шевырева имеют в виду и язык его, пушкинской, поэзии:

Теснее ль в речь мысль новую водвинешь, —
Уж болен он*, не вынесет, кряхтит,
И мысль на нем как груз какой лежит!

Лишь песенки ему да брани милы;
Лишь только б ум был тихо усыплен
Под рифменный отборный пустозвон.
Что если б встал Державин из могилы,
Какую б он наслал ему грозу!
На то ли он его взлелеял силы,
Чтоб превратить в ленивого мурзу?

И далее Шевырев призывал Пушкина решительно преобразовать язык (а тем самым — и смысл) русской — в том числе, понятно, и его собственной — поэзии:

Кто от одра болящего восставит?
Тебе открыт природный в нем состав,
Тебе знаком и звук его, и нрав,
Врачуй его: под хладным русским Фебом
Корми его почаще черным хлебом,
От суетных печалей отучи
И русскими в нем чувствами звучи.

---

* Поэтический язык.

Эти достаточно явные шевыревские поучения можно было бы квалифицировать как «борьбу» с Пушкиным, хотя на деле перед нами истинно творческий спор (о сути его еще пойдет речь). Нельзя умолчать о том, что, посылая свое стихотворение Погодину, Шевырев настоятельно требовал «не печатать, не показавши прежде Пушкину и не испросив его позволения от моего имени. Скажи ему, что я ему отдаю на цензурование и без его воли не хочу обнародовать...». Тот, кто действительно «борется», конечно, не поступает подобным образом. Погодин отвечал Шевыреву 25 января 1831 года: «Послание Пушкину отдал; очень, очень благодарен и хотел отвечать тебе стихами же; разве только свадьба теперь помешает: на днях женится».

Отклик Пушкина отнюдь не был данью вежливости. Вскоре, 26 марта 1831 года, он писал из Москвы своему другу Плетневу, имеющему влияние в Министерстве просвещения: «Надо бы поддержать... Шевырева, которого куда бы не худо посадить на опустевшую кафедру Мерзлякова, доброго пьяницы, но ужасного невежды. Это была бы победа над университетом, т. е. над предрассудками и вандализмом». В 1833 году, когда Шевырев, не без помощи Плетнева, уже стал профессором Московского университета, Пушкин писал: «Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы... Московская критика с честию отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews*» (Пушкин в то время выше всего ставил именно английскую литературную критику).

Вот так Пушкин отвечал на «борьбу», вернее, на спор Шевырева с ним, — спор, который в самом деле развертывался тогда и, кстати сказать, был достаточно острым.

В частной переписке спор этот иногда действительно приобретал черты борьбы. Так, в то самое время, когда Шевырев из Италии призывал Пушкина к истинному, по его мнению, поэтическому пути, один из любомудров, Мельгунов, утверждал, что на Пушкина-де вообще нечего надеяться. «Приезжай, — писал он Шевыреву в Рим, — будь корифеем новой школы... и тебя подхватит дюжий хор, и наши соловьи Хомяков, Языков к тебе пристанут... Пушкин идет под гору...»

Проницательнейший Пушкин не мог не чувствовать и таких перехлестов в отношении к нему со стороны любому-

* Обозрений (*англ.*).

дров, — и все же он, как мы видели, относился к ним доброжелательно. И в этом содержится глубочайший смысл.

Тынянов, пытавшийся спроецировать на взаимоотношения Пушкина и Тютчева ту модель литературной борьбы, которая была характерна для различных школ и школок начала XX века, в сущности, недопустимо принижал этих великих поэтов. Многие индивидуалистически настроенные литераторы начала двадцатого столетия в самом деле отчаянно боролись друг с другом, и притом боролись именно за формальное «первенство» в литературе. Но Пушкина, как и Тютчева, по-настоящему заботила судьба родной литературы и культуры в целом, а не свое личное место, свое положение в ней.

Был, очевидно, краткий период, когда Пушкин (это ясно выразилось в его письмах, часть из которых цитировалась) весьма критически относился к сугубо философской устремленности любомудров. Но он сумел преодолеть свою, уходящую корнями в самый характер его поколения, отчужденность от чисто философского пафоса. И в должной мере (а подчас даже и чрезмерно) оценил деятельность всех любомудров. Многие свидетельства этого были выше приведены, но можно было бы и значительно расширить их круг.

В течение тридцатых годов Пушкин — при всех возможных разногласиях с теми или иными представителями нового поколения — все более прочно убеждался в глубокой необходимости и плодотворности их исканий и свершений. Уже в конце 1830 года Пушкин пишет так, как мог бы написать и кто-либо из любомудров: «Между тем как эстетика со времен Канта и Лессинга развита с такою ясностию и обширностию, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого педанта Готшеда».

А через пять с лишним лет, в 1836 году, Пушкин, размышляя о «духе отечественной словесности», совершенно недвусмысленно писал: «Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно».

Да, это писал не кто-либо из любомудров, а Пушкин. В той же статье, опубликованной им в III томе его «Современника» за 1836 год, Пушкин говорит, что ныне русская «поэзия осталась чужда влиянию французскому; она более и более дружится с поэзией германскою».

Тынянову, пытавшемуся доказать, что Пушкин относился к Тютчеву холодно или даже враждебно, нужно было както объяснить появление невиданно большого количества

тютчевских стихотворений в пушкинском «Современнике». И он дал следующее «объяснение»: «“Современник” помещал стихи без всякого разбора». Но только что приведенные высказывания Пушкина были напечатаны в том самом III томе «Современника», который открывали шестнадцать тютчевских стихотворений! А это ясно свидетельствует, что Пушкин как раз совершенно целеустремленно выбрал стихи Тютчева, опубликованные под заголовком «Стихотворения, присланные из Германии», будучи убежденным в их ведущем, центральном значении для современного этапа русской поэзии.

Таким образом, легенда о какой-то «тяжбе» Пушкина и Тютчева абсолютно беспочвенна. Но дело не только в чисто фактической ее несостоятельности. Если даже допустить (хотя никакие факты этого рода нам не известны), что Тютчев в самом деле «боролся» с Пушкиным, у нас все равно нет ни малейших оснований делать предположения о какой-либо пушкинской враждебности или хотя бы отчужденности в отношении Тютчева. Ибо несравненное духовное величие Пушкина (именно несравненное — здесь его поистине не с кем сравнить) выражалось и в том, что он обладал способностью объективно оценивать даже и крайне далекие от него явления.

Обратимся к одному примеру, хотя их можно привести множество. Еще молодой Белинский (ему тогда было двадцать три — двадцать пять лет) не смог понять (это далось ему позднее) глубину и мощь зрелого творчества Пушкина, который в тридцатые годы стал одним из величайших мировых поэтов. В 1834 году Белинский писал в своих «Литературных мечтаниях» о пушкинских творениях, созданных после 1830 года: «Мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет... Тридцатым годом кончился или, лучше сказать, внезапно оборвался период Пушкинский, так как кончился и сам Пушкин».

Белинский не раз повторял и развивал это свое тогдашнее убеждение, и в начале 1836 года писал в отзыве о недавно вышедшей в свет четвертой части «Стихотворений Александра Пушкина»: «Очень мало утешительного можно сказать об этой *четвертой* части стихотворений Пушкина. Конечно, в ней виден закат таланта...» Книга «по большей части показывает одно уменье владеть языком и рифмою, уменье, иногда уже изменяющее, потому что нередко попадаются стихи, вставленные для рифмы... стихи, в которых отсутствует даже вкус».

И что же? Вскоре после появления этого поистине уничтожающего отзыва («отсутствует даже вкус»!) Пушкин печатает в своем «Современнике» заметку, где говорит о Белинском: «Он обличает* талант, подающий большую надежду». Так отнесся Пушкин к столь жестоко писавшему о нем критику нового, следующего за любомудрами поколения. И после этого нас хотят уверить, что Пушкин-де мог недоброжелательно отнестись к Тютчеву, поскольку последний как-то незаметно (фактов ведь никаких не имеется!) «боролся» с ним? Остается только удивляться тому, что ни на чем не основанные легенды не только могут возникать, но и получать весьма широкое распространение.

На самом же деле — и это необходимо со всей определенностью утвердить — именно Пушкин был единственным поэтом, единственным литературным деятелем, который еще в 1830-е годы сумел если даже и не в полной мере, то все же исключительно высоко оценить тютчевскую поэзию.

Понять ее высшую ценность явно не смогли сами любомудры. Даже очень чуткий к поэзии Иван Киреевский, по-видимому, ставил тогда выше тютчевской поэзии творчество Боратынского, Языкова, а может быть, даже Хомякова и Шевырева.

И единственным оправданием может служить то обстоятельство, что ему, как и другим любомудрам, были до 1836 года известны, по всей вероятности, только немногие зрелые творения Тютчева.

Правда, именно любомудры в 1829—1833 годах стремились публиковать в руководимых ими изданиях стихи Тютчева, — кроме них это делал один только Раич, журнал которого, увы, не привлекал серьезного внимания. Но они обнародовали до 1834 года всего лишь несколько зрелых тютчевских стихотворений: «Цицерон», «Последний катаклизм», «Успокоение», «Весенние воды», «Silentium!», «Безумие». Эти шесть тютчевских шедевров появились в четырех разных периодических изданиях и не были оценены вообще. Сами любомудры не сказали о них в печати ни слова — кроме введения Тютчева в один ряд с Хомяковым и Шевыревым в уже не раз упомянутой статье Киреевского.

Как это могло случиться? Одна из причин заключается в почти парадоксальном обстоятельстве: любомудры, о которых мы обычно думаем как о людях принципиально «поэтического» склада, не придавали первостепенного значения *стихам* как таковым. Сам Веневитинов, представляющийся

* В смысле — обнаруживает.

поэтом до мозга костей, говоря в 1826 году о недоразвитости «нравственной свободы» в русской культуре, писал: «Одним из пагубных последствий сего недостатка нравственной деятельности была всеобщая страсть выражаться в стихах. Многочисленность стихотворцев во всяком народе есть вернейший признак его легкомыслия».

Это, конечно, может удивить, ибо и сам Веневитинов, и Хомяков, и Шевырев, и другие любомудры писали тогда же стихи. Но в значительной своей части стихи эти были воплощениями философско-эстетической программы (скажем, уже упоминавшиеся послания Веневитинова и Шевырева к Пушкину), а не самодовлеющими образцами стихотворного искусства. Кроме того, с годами Хомяков, Шевырев, Андрей Муравьев все более оттесняли свои собственно поэтические интересы на второй план. Отдались целиком философии, историографии и иным сферам мысли Киреевский, Погодин, Максимович, Одоевский.

Это отнюдь не было присущей именно любомудрам тенденцией; в течение тридцатых годов поэзия стремительно теряет свою недавнюю первенствующую роль, уступая место художественной прозе (ведь даже и сам Пушкин в это время основные свои усилия отдает прозе) и публицистике в самых разных ее формах, включая литературную критику (нельзя опять-таки не заметить, сколь большое место занимает публицистика в деятельности Пушкина последних лет).

Между прочим, Белинский в первых же своих статьях совершенно точно зафиксировал этот конец эпохи поэзии и уже в 1834 году писал: «Дошло до того, что теперь уже утвердительно говорят, будто в наше время самые превосходные стихи не могут иметь никакого успеха». Критик был совершенно прав: когда Пушкин в 1836 году опубликовал в своем «Современнике» двадцать четыре тютчевских стихотворения, многие из которых принадлежали к вершинам русской и мировой поэзии, они не вызвали ни одного содержательного отклика (были только беглые упоминания в обзорах).

По всей вероятности, Пушкин вовсе и не предполагал, что тютчевские творения найдут широкое признание. Как хорошо известно, в последние годы жизни он почти перестал публиковать свои собственные стихи, зная, что они не найдут отзыва. Достаточно, по-видимому, будет сказать, что только после гибели Пушкина появились в печати такие вершины

его поэзии 1830-х годов, как «Заклинание», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Осень», «Не дай мне Бог сойти с ума», «Пора, мой друг, пора...», «Вновь я посетил...», «Мирская власть», «Как с древа сорвался предатель-ученик...», «Не дорого ценю я громкие права...», «Когда за городом, задумчив, я брожу...», «Отцы-пустынники и жены непорочны...» и др. Словом, Пушкин не печатал свои шедевры, а тютчевские — обнародовал, и тем выше поднимается в наших глазах его поступок. Он, вне всякого сомнения, знал, что, отдав восемнадцать начальных страниц III тома своего «Современника» стихотворениям Тютчева, нисколько не повысит тем самым читательский интерес к журналу, которым он весьма дорожил. И все же Пушкин сделал это...

До нас дошло несколько свидетельств самых разных людей о том, что Пушкин с истинным восхищением воспринял попавшие в его руки тютчевские стихи. 12 июня 1836 года Иван Гагарин писал о полученной им от Тютчева тетради стихотворений: «Я провел над нею приятнейшие часы. Тут вновь встречаешься в поэтическом образе с теми ощущениями, которые сродни всему человечеству и которые более или менее переживались каждым из нас. Мне недоставало одного, я не мог ни с кем разделить своего восхищения, и меня страшила мысль, что я ослеплен дружескими чувствами. Наконец, намедни я передаю Вяземскому некоторые стихотворения, старательно разобранные и переписанные мною (стоит отметить, что у Тютчева был трудно разбираемый почерк. — *В. К.*). Через несколько дней захожу к нему невзначай около полуночи и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнуты... Через день ознакомился с ними и Пушкин. Я его видел после того, и, говоря об них со мною, он дал им справедливую и глубоко прочувствованную оценку».

Приверженцы легенды о недоброжелательном отношении Пушкина к поэзии Тютчева пытаются истолковать эту описанную Гагариным пушкинскую реакцию на тютчевские стихи как «условную форму вежливости», — хотя едва ли бы восторженно относящийся к этим стихам Гагарин мог назвать «справедливой» прохладную оценку. Вместе с тем не исключено, что Пушкин к моменту разговора с Гагариным еще не успел со всем вниманием изучить рукопись; очевидно, что он тогда еще не имел намерения (иначе бы Гагарин написал об этом) уделить тютчевским стихам целый — и, помимо того, первый — печатный лист в очередном номере своего журнала.

Нельзя не сказать, что позднее, в 1838 году, в газете «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”», которую редактировал Андрей Краевский, активно участвовавший с мая 1836 года в издании пушкинского «Современника», появился анонимный отзыв об одном из стихотворений Тютчева, написанный, очевидно, самим редактором, то есть Краевским. В отзыве отмечено, что тютчевское стихотворение «дышит той меланхолией, той негой и таинственностью, которые так очаровательны в его вдохновенных стихах, приводивших в умиление Пушкина».

Впоследствии, в 1859 году, ближайший друг и сотрудник Пушкина по «Современнику» Петр Плетнев писал о переданных Иваном Гагариным тютчевских стихах: «Еще живы свидетели того изумления и восторга, с каким Пушкин встретил неожиданное появление этих стихотворений, исполненных глубины мысли, яркости красок, новости и силы языка».

Но, как это ни нелепо, приверженцы пресловутой легенды объявляют все эти свидетельства «недостоверными», — как и позднейшее сообщение Юрия Самарина: «Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидал собрание рукописное его (Тютчева. — *В. К.*) стихов... Он носился с ними целую неделю».

Но этим свидетельствам невозможно не доверять потому, что они целиком и полностью подтверждаются практическими действиями Пушкина в отношении тютчевских стихов. В цитированном письме к Тютчеву от 12 июня 1836 года Гагарин рассказал о том, как восприняли Вяземский и Жуковский стихи Тютчева: «Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание — Жуковского в особенности — все более убеждали меня в том, что он верно понял все оттенки и всю прелесть этой простой и глубокой мысли. Тут же решено было, что пять или шесть стихотворений будут напечатаны в одной из книжек пушкинского журнала».

Итак, ближайшие сотрудники Пушкина по журналу, Вяземский и Жуковский, решили опубликовать пять-шесть тютчевских стихотворений в одном из номеров пушкинского журнала, и на следующий день (это сообщение Гагарина уже цитировалось) Вяземский передал рукописи Пушкину. Совершенно ясно: не кто иной, как сам Пушкин, в отличие от Вяземского и Жуковского, решил опубликовать не пять-шесть, а двадцать пять тютчевских стихотворений в двух номерах журнала подряд. В сделанных пушкинской рукой набросках содержания очередных томов «Современника»

указано, что в третьем томе Тютчеву предоставляется печатный лист или даже полтора листа, а в четвертом — половина. Важно отметить, что именно с третьего тома Пушкин наиболее энергично взялся за свой журнал, — до этого он многое доверял своим сотрудникам. 27 мая 1836 года, то есть дней за десять до получения стихов Тютчева, Пушкин писал Нащокину о «Современнике»: «Я сам начинаю его любить и, вероятно, займусь им деятельно».

Явно в соответствии с требованиями времени основное место в III и IV томах «Современника» заняли проза, публицистика и критика. Стихотворные отделы представляли в этих томах виднейших поэтов пушкинской плеяды — Боратынского, Дениса Давыдова, Вяземского и, конечно, самого Пушкина. Между прочим, Тынянов, конструируя свою легенду, совершенно необоснованно утверждал, что будто бы именно «с III тома (в котором напечатан Тютчев) журнал принужден печатать стихи совершенно неведомых и третьестепенных поэтов: Семена Стромилова... в IV томе, кроме стихов Тютчева, помещены три стихотворения Л. Якубовича... Таким образом... “Современник” помещал стихи без всякого разбора», и именно потому-де там появились стихотворения Тютчева. При этом Тынянов, во-первых, «забывает» упомянуть о Боратынском, Вяземском, Денисе Давыдове, самом Пушкине; во-вторых, он умалчивает о том, что Стромилов был представлен в III томе одним лишь стихотворением «3 июля 1836 года», посвященным годовщине первой победы русского Военно-морского флота при Петре I (то есть Пушкин поместил его лишь как отклик в память выдающегося события); в-третьих, Лукьян Якубович был незаурядным поэтом именно «тютчевского» духа и склада и подчас даже прямо перекликался с Тютчевым*. Публикация трех стихотворений Якубовича в одном томе с тютчевскими лишний раз свидетельствует как раз о том, что Пушкин ценил то поэтическое течение, высшим выражением которого было творчество Тютчева. Известно, что Пушкин сам просил Якубовича дать стихи в журнал. И совершенно ясно, что публикация этих стихов не только не подтверждает, но, напротив, опровергает тыняновскую версию.

Нельзя не упомянуть и о том, что Пушкин с исключительной заботой отнесся к тютчевским стихам. Мы знаем, что он затратил немало усилий для борьбы с цензурой, которая запретила одно из семнадцати стихотворений, пред-

* См. его избранные стихи и статью о нем Е. В. Кузнецовой в книге «Поэты тютчевской плеяды» (М., 1982).

назначенных Пушкиным для III тома «Современника» («Два демона ему служили...») и потребовала исключить две строфы из другого стихотворения — «Не то, что мните вы, природа...». Пушкин вел по этому поводу переписку с цензором А. Л. Крыловым и настаивал хотя бы на том, чтобы выброшенные строфы были заменены восемью рядами точек, — дабы опущенное «подразумевалось» при восприятии стихотворения. Цензор жестко возражал: «Я не могу убедиться ни в позволительности отмечать точками цензурные исключения, ни в том, чтобы такие точки могли быть нужны для сбережения литературного достоинства».

И все же Пушкин сумел настоять на «сбережении литературного достоинства» тютчевского стихотворения; оно было напечатано с заменой исключенных восьми строк точками. Это, быть может, с особенной яркостью подтверждает, что Пушкин в самом деле ценил поэзию Тютчева, — иначе он не стал бы из-за такой «мелочи», как указание на исключенные строки, вступать в небезопасный для журнала конфликт с цензурой.

Наконец, о подлинном пушкинском восхищении поэзией Тютчева ярко свидетельствует то, что Пушкин, очевидно, опубликовал *все без исключения* тютчевские стихи, которые передал ему Вяземский. Факты складываются в следующую картину. В мае 1836 года Амалия Крюднер вручила Гагарину тютчевские рукописи — примерно около девяноста стихотворений. К началу июня Гагарин, по собственному его свидетельству, отобрал и переписал (почерк поэта, как уже упоминалось, оставлял желать лучшего) «некоторые стихотворения» и передал их Вяземскому. По всей вероятности, этих «некоторых стихотворений» было двадцать девять. Двадцать пять из них Вяземский вручил Пушкину, и все они (кроме одного, не пропущенного цензурой) были опубликованы, а четыре оставил у себя и отдал для публикации в «Современник» уже после гибели поэта (они появились в VI томе журнала за 1837 год).

Существует, правда, предположение, что Гагарин передал Вяземскому не двадцать девять, а пятьдесят два переписанных им стихотворения, а после отбора для печати взял обратно списки двадцати трех стихотворений (эти гагаринские списки сохранились). Но в высшей степени неправдоподобно, что князь Гагарин стал выпрашивать у Пушкина назад эти двадцать три *копии* тютчевских автографов (автографы оставались в его руках). Гораздо естественнее предположить, что Гагарин, воодушевленный пушкинским приятием уже переписанных им «некоторых» (29) стихотворений, взялся

уже после этого переписывать остальные, готовясь к изданию книги Тютчева. Если бы он переписал сразу пятьдесят два стихотворения — то есть намного больше половины присланных Тютчевым, — он бы не сообщил последнему, что переписал только «некоторые». И наконец, если Гагарин на самом деле забрал у Пушкина списки «непошедших» стихотворений, почему он не сделал того же самого с четырьмя списками, оставшимися у Вяземского? Словом, наиболее вероятно, что Пушкин отдал в печать все полученные им стихотворения Тютчева. Брать назад у Пушкина списки якобы «отвергнутых» им стихотворений Гагарину было ни к чему еще и потому, что Пушкин, как хорошо известно, изъявил желание сам принять участие в подготовке и издании книги Тютчева.

И едва ли можно сомневаться в том, что если бы Пушкин не погиб столь скоро — всего через несколько недель после выхода IV тома «Современника», — книга Тютчева вышла бы в свет.

К сожалению, Вяземский и Жуковский, которые и в журнале-то собирались опубликовать всего пять-шесть тютчевских стихотворений, не приложили заметных усилий, а сам Гагарин, как мы знаем, вскоре надолго уехал за границу. И выход книги Тютчева был отсрочен на семнадцать лет!

Второго ноября 1836 года, через месяц после выхода в свет III тома «Современника», Шевырев, пересылая Гагарину для тютчевской книги стихи, хранившиеся у Раича, писал: «Это будет прекрасное собрание... Хорошо, если бы Пушкин в корректуру взглянул на стихотворения Тютчева». Несомненно, что Пушкин не только «взглянул» бы, но и сделал бы все необходимое для издания книги. Ведь он писал на страницах того самого тома «Современника», где были опубликованы первые шестнадцать «Стихотворений, присланных из Германии», что современная русская поэзия «более и более дружится с поэзией германскою и гордо сохраняет свою независимость от вкусов и требований публики». Вполне понятно, что здесь имелась в виду прежде всего поэзия Тютчева; Пушкин не упомянул его имени лишь потому, что законы литературной этики запрещали хвалить то, что публиковалось в журнале, где выступал критик.

Пушкин явно стремился поддержать, укрепить эту «гордую независимость» тютчевской поэзии. Еще в 1830 году он писал, имея в виду, бесспорно, и свой собственный идеал, об истинном поэте: «Поэт мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изменяются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сделались холоднее серд-

цем и равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделяется от их... и, если изредка еще обнародовает свои произведения, то встречает холодность, невнимание и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединенных...

Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды... Он шел своею дорогой один и независим».

Конструкторы легенды об отчужденности Пушкина и Тютчева, в сущности, перевертывают наизнанку эту исповедь поэта. Они тщатся доказать, что Тютчев «встречает холодность, невнимание» не в каких-нибудь «равнодушных» читателях, но именно в самом Пушкине!.. Остается только пожалеть, что бумага все терпит...

Речь шла до сих пор в основном о многообразных фактах литературной жизни 1830-х годов — фактах, которые при непредвзятом их восприятии неопровержимо свидетельствуют о том, что Пушкин не только не «враждовал» с Тютчевым, но, совсем напротив, более, чем кто-либо из деятелей той эпохи, оценил его поэзию.

Но дело не только в фактах внешних литературных отношений. Само творческое развитие Пушкина в тридцатых годах двигалось в направлении, сближающем, роднящем его с Тютчевым. Уже цитировалась формулировка «Тютчев как "архаист" боролся с Пушкиным». В ней следует разобраться. Прежде всего, само это понятие «архаист» — чисто формальное, поверхностное и потому грубо искажающее суть дела. Верно то, что в 1810—1820-х годах Пушкин считал главной целью в сфере поэтического слова всестороннее освоение живой сегодняшней речи и с этой точки зрения боролся против всякого рода «архаики», мешавшей созданию современного литературного языка. В 1825 году он призывает писать «со всею свободою разговора или письма», — и в самом деле так и пишет своего «Евгения Онегина». В 1828 году он утверждает, что именно «зрелой словесности» присуще обращение «к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному». В 1830 году он заявил, что «разговорный язык простого народа... достоин также глубочайших исследований... Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням» и т. п.

Однако, уже освоив современную разговорную речь, Пушкин постепенно, но решительно изменяет свою позицию. Можно проследить как бы по ступеням это развитие.

Впрочем, достаточно выразителен своего рода итог развития пушкинских представлений — его рассуждение в статье 1836 года:

«Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же, как разговорный никогда не может быть совершенно подобным письменному... Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но *не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков.* Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка» (курсив мой. — *В. К.*).

К этому времени сам Пушкин стал в своей поэзии настоящим «архаистом», — если уж воспользоваться этим поверхностным определением. На самом же деле Пушкин в своих наиболее зрелых стихах осваивает всю полноту, весь тысячелетний объем русского слова. И в этом он как раз объединяется, роднится с поэтами нового поколения. И не только поэтами: Гоголь, как это совершенно очевидно, был самым ярым «архаистом».

Была, бесспорно, органическая потребность в том, чтобы русская поэзия (и литература в целом), в 1820-е годы вобравшая в себя как бы до самых своих основ живое современное слово, решительно обратилась к словесному богатству, «приобретенному в течение веков». Это в полной мере осуществили поэзия Тютчева и проза Гоголя, но и сам Пушкин тридцатых годов развивался в том же самом духе.

Об этом верно сказано в одном из очерков жизни и творчества Пушкина*. Упоминая о том, что в 1825 году Пушкин крайне резко отозвался об «архаической» поэзии Державина, автор замечает: «Пушкин называет это свое мнение окончательным. На деле оно оказалось менее всего окончательным: оно было не только высшей точкой критического отношения к Державину, но и предвестием неожиданного и резкого поворота. После этого высказывания, после 1825 г., наступает заметное повышение положительного интереса Пушкина к Державину, что выражается и в соответствующих признаниях Пушкина, и в его следовании в творчестве державинским языковым традициям...

После 1825 года Пушкин будет пользоваться державинской стилистикой... на взлетах своего поэтического творчества». Здесь же сказано о том, что «Пушкин и... любомудры не могли не сблизиться, не могли не почувствовать естественного тяготения друг к другу... Он стремился, по существу, к тому же, к чему стремились любомудры».

---

* *Маймин Е. А.* Пушкин. Жизнь и творчество. М., 1981.

Эту цитату из популярной биографии Пушкина стоило привести потому, что она свидетельствует об общепринятости подобного представления о развитии пушкинской поэзии в наши дни. Когда-то Тынянов, жестко противопоставлявший Тютчева и Пушкина, подчеркивал в связи с этим, что «Тютчев является... верным и близким учеником Державина». Это как бы и было исходным пунктом пресловутой «борьбы» Тютчева с Пушкиным. Но в свете нынешних, гораздо более верных понятий о творческом пути самого Пушкина теряет всякий смысл то его противопоставление Тютчеву, которое, как ни странно, доныне широко распространено, — хотя возникло оно лишь как продукт «левацких» тенденций начала XX века. Поэты могли бы, если угодно, спорить друг с другом в середине 1820-х годов, но уж во всяком случае в 1836 году, когда Пушкин с неслыханной щедростью публиковал тютчевские стихотворения в своем журнале, у них вообще не было никаких оснований для спора... Пушкин в 1830-е годы развивался в том же самом духе, что и Тютчев, — только не следует называть это «архаизмом».

Здесь встает вопрос, который не раз уже возникал: не значит ли это, что Тютчев предвосхитил развитие Пушкина, так сказать, опередил его — скажем, в своем «философском» пафосе?

Дело не только в том, что тютчевская поэзия (о чем шла речь выше) могла сложиться только на почве творческого подвига Пушкина, создавшего русское классическое искусство слова; в частности, только в русле этого живого искусства можно было действительно воскрешать «приобретенные в течение веков» богатства родного языка. Дело и в том, что Тютчев развивал как бы одну сторону, одну линию той всеобъемлющей поэтической стихии, которая была явлена в поэзии Пушкина.

Если попытаться кратко определить различие двух поэтов, можно сказать, что у Пушкина человек предстает во всей полноте своего бытия и сознания, а в поэзии Тютчева, особенно в стихах двадцатых-тридцатых годов (впоследствии положение изменится), — прежде всего и главным образом как мыслитель. Вот близкие по поэтической теме и даже стилю стихи, созданные в одном и том же 1830 году:

Пушкин:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Тютчев (стихи эти, кстати сказать, опубликованы Пушкиным в III томе «Современника»):

...Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Пушкинское «счастлив» обнимает всю цельность человека — от высокой мысли о «залоге бессмертья» до инстинктивного телесного ощущения «края бездны»; тютчевское «счастлив»* имеет в виду собственно духовное откровение.

Конечно, «философская» поэзия Тютчева, так сказать, одностороння в сравнении с пушкинской. Но присущее ей движение мысли «по высям творенья» было необходимой и бесценной стадией в развитии русской поэтической культуры.

Определение «философская» употреблено в отношении тютчевской поэзии в кавычках не случайно. Буквально философскими были, скажем, многие стихи других любомудров. Об этом глубочайшем различии позднее, в 1850 году, совершенно верно сказал Хомяков, сопоставляя свои стихи с поэзией Тютчева: «Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью... Он же насквозь поэт... В нем, как в Пушкине... натура античная в отношении к художеству». Хомяков здесь, пожалуй, все-таки слишком смиренен; некоторые его стихи — «Горе», «Счастлива мысль...», «На перенесение Наполеонова праха» — держатся не только мыслью, но и подлинным «художеством». Но это все же отдельные исключения.

Что же касается Тютчева, прямое, буквальное определение его поэзии как философской способно только помешать ее истинному пониманию и оценке. Ибо такое определение неизбежно подразумевает, что суть и ценность тютчевской

* Пушкин обычно ставил ударение на первом слоге этого слова, и, по-видимому, не без мощного воздействия его поэзии мы теперь говорим именно так; но в начале XIX века были употребительны обе формы.

поэзии — в выражении тех или иных философских идей. А это совершенно неверно.

Те — увы, многочисленные — читатели и — равным образом — исследователи тютчевской поэзии, которые заняты «извлечением» и систематизацией содержащихся в ней мыслей, идей, концепций, по сути дела, за деревьями не видят леса. Существо поэзии Тютчева вовсе не в философии, не в мыслях и даже не в их системе, но в величественном *образе мыслителя,* воплощенном в ней. Этот образ проникнут такой мощной и глубокой духовной жизнью, что те или иные философские идеи, содержащиеся в данном стихотворении либо целом ряде стихотворений, являют собой не самостоятельный, самодовлеющий смысл, но только отдельные выражения, только своего рода духовные «жесты» этого «лирического героя» тютчевской поэзии.

Словом, идеи — не внутренняя суть тютчевской поэзии, но необходимая и, пожалуй, главная *форма* воплощения определенного человеческого образа — вне этой формы «лирический герой» и не мог бы воплотиться, — играющая такую же роль, какую в других художественных мирах играют действия, поступки, волеизъявления героев (разумеется, в тютчевской поэзии присутствуют в той или иной степени и эти формы воплощения человеческого образа).

Во многих работах о поэзии Тютчева показано, что те или иные идеи, содержавшиеся в его стихах, восходят к идеям германской философии, прежде всего философии Шеллинга; подчас тютчевскую поэзию вообще преподносят как некое стихотворное изложение шеллингианства.

Верно, что тютчевские стихи вобрали в себя элементы германской мысли. Но это объясняется тем, что философская культура Германии вошла, как мы видели, в плоть и кровь тютчевского поколения; ее понятия и формулы — между прочим, имевшие нередко образный характер, — играли в сознании любомудров роль, аналогичную той, какую играли в сознании предшествующего, пушкинского, поколения образы античной мифологии и истории; кстати сказать, любомудрами и сами эти образы были переосмыслены в духе германской философии.

Поэзия Тютчева 1820—1830-х годов насыщена и образами античной мифологии, и понятиями германской философии (при этом первые, так сказать, введены в контекст вторых). И те и другие представляют собой характернейшие и по сути дела неизбежные (для тогдашнего времени) формы творческого сознания. Но, изучая эти формы, мы вовсе еще не проникаем в глубокую суть тютчевской поэзии. Ибо суть

эта заключена в целостном образе мыслителя, а не в отдельных проявлениях его мысли.

Можно утверждать, что те или иные идеи немецкой философии явились своего рода реальными источниками, *«прототипами» идей* (термин М. М. Бахтина, отнесенный им к идеям романов Достоевского), воплощенных в стихотворениях Тютчева, — но именно в той степени и, по сути дела, в том же значении, в каком мы говорим о реальных источниках, прототипах событий и героев, изображенных в художественных произведениях. Вполне понятно, что самое тщательное изучение реальных событий и лиц, легших в основу того или иного романа, имеет большое значение для науки о литературе, но все же ни в коей мере не является познанием истинного *художественного смысла* романа. То же самое следует сказать и об изучении *идей* германской философии, вобранных поэзией Тютчева.

Эти идеи нередко способны захватить воображение сами по себе (например, характерные для шеллингианства образные идеи *ночи, бездны, хаоса* и т. п.), однако истинная, художественная ценность поэзии Тютчева заключена, конечно, не в этих идеях, существующих ведь и помимо, вне тютчевских стихотворений. Истинная ее ценность — в господствующем в ней «мощном духе» лирического героя, для которого шеллингианские и иные идеи являются только типичными для эпохи духовными «жестами» (конечно, «жестами» подлинно значительными, яркими, масштабными; ведь без таких жестов и не создался бы облик этого героя!).

Между прочим, далеко не все стихотворения Тютчева вбирают в себя собственно философские идеи. Вот, к примеру, известное стихотворение 1834 года:

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой —
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам Вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит, —

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... Молитесь Богу,
В последний раз вы молитесь теперь.

В свое время В. В. Гиппиус рассуждал в связи с этим стихотворением об особенной тютчевской «философско-исторической категории веры». Но если вдуматься, стихи эти ед-

ва ли уместно называть философскими; мы просто привыкли видеть повсюду у Тютчева нечто «философское». Представление о лютеранстве и о протестантстве в целом как о прямой дороге к безверию, к полной потере веры было во времена Тютчева поистине общим местом в устах тех, кто исповедовал христианство в его изначальной форме. И подлинная суть стихотворения заключена не в этой вполне элементарной «мысли», но в целостном переживании лирического героя — переживании духовной драмы, даже трагедии людей, стоящих на том пороге, за которым необратимо исчезнет вера, веками являвшая собой незыблемую опору бытия.

Это переживание всемирно-исторической духовной драмы воплощено простыми, но могучими в своей осязаемости образными средствами; решающую роль здесь играют, пожалуй, завораживающие повторы строк, — то неполные, то полные и к тому же откликающиеся через разное количество строк («В последний раз вам Вера предстоит» — «В последний раз вы молитесь теперь»; «Еще она не перешла порогу» — и то же самое через строку; «Но дом ее уж пуст...» — «Но час настал, пробил»; «Еще она...» — «Еще за ней...»).

Словом, важна не «мысль», а захватывающее и полное глубокого драматизма напряжение духа. Но это относится и к тем стихотворениям, которые содержат очень весомую, способную поражать своей силой идею — «Видение», «Как океан объемлет шар земной...», «Цицерон», «О чем ты воешь, ветр ночной...», «Тени сизые смесились...», «Весна», «Колумб» и др.

Ценность этих стихотворений опять-таки отнюдь не в «мысли» самой по себе, а в безграничном, вселенском размахе духа. Высота и сила самой мысли в этих стихотворениях нужны, даже необходимы для воплощения духовного размаха. Но суть все же не в выражении яркой мысли, а, если угодно, в создании образа великого — всесильного и бесстрашного — человека-мыслителя.

Мысль как таковую мы воспринимаем в качестве определенного «предмета», которым мы можем восхищаться — но «со стороны»; между тем, воспринимая стихи Тютчева, мы сливаемся с их творческим субъектом, мы словно сами становимся высокими и могучими мыслителями, способными всем существом воспринять, что

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес...

Образ человека-мыслителя, воплощенный в поэзии Тютчева, поистине всемогущ; его дух свободно обнимает беспредельность пространства Вселенной и всю глубину времени. И при всем том тютчевское творчество не перестает быть подлинной лирикой — даже глубоко интимной лирикой, обращенной к сокровенной душевной жизни каждого человека. Это прямо и открыто выразилось в одном из ключевых стихотворений поэта — «Весна», завершающемся призывом к каждому, любому человеку (и в том числе, конечно, к самому себе):

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

Мы говорим теперь только о тютчевской поэзии конца двадцатых-тридцатых годов, ибо в сороковые годы Тютчев совсем перестает писать стихи, а в пятидесятых является уже, по сути дела, как иной, новый поэт.

В 1828—1839 годах Тютчев создал около семидесяти своих высших творений, большинство из которых принадлежит к ценнейшим образцам не только русской, но и мировой поэзии. За немногими исключениями стихи эти были написаны в Германии, и их связь с поэтической и философской культурой этой страны несомненна.

Но — о чем уже не раз говорилось — совершенно неверно истолковывать это как некую присущую именно Тютчеву «германскую ориентацию». Иван Киреевский, а позднее и сам Пушкин видели в «дружбе с поэзией германской» удел целого поколения русской поэзии, своеобразную стадию, эпоху ее развития. Дело было в том, что накануне величайшего расцвета русской литературы (и культуры в целом) центр, средоточие общечеловеческого духовного творчества находилось именно в Германии. И, вполне естественно, русская культура должна была опереться на германское духовное творчество. Очень характерно, например, что юный Гоголь, учась в конце 1820-х годов в Нежинском лицее, прямо-таки бредил Германией (первое его произведение — «Ганц Кюхельгартен» — говорит само за себя) и, поселившись в январе 1829 года в Петербурге, при первой же возможности (в июле того же года) на несколько недель вырвался не куда-нибудь, а в Германию.

Словом, поэзия Тютчева тридцатых годов, если ставить вопрос принципиально, была ориентирована на Германию в такой же степени, как и русская культура того времени вообще. Разумеется, в ряде стихотворений (их примерно полтора десятка) поэт воплотил свои непосредственно германские и, шире, европейские впечатления. Это очевидно, например, в таких его вещах, как «Утро в горах», «Снежные горы», «Альпы», «Над виноградными холмами...», «Я лютеран люблю богослуженье...», «И гроб опущен уж в могилу...», «Там, где горы, убегая...», «Я помню время золотое...», «1 декабря 1837», «Итальянская villa», «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...» и др.

Но, как говорил Гоголь, «поэт может быть и тогда национален, когда описывает совершенно сторонний мир». Так, скажем, в стихотворении «И гроб опущен уж в могилу...» воплощено, без сомнения, характерно русское восприятие чеканно и благообразно оформленного западного быта, — восприятие, впоследствии не раз выразившееся в творчестве Толстого, Достоевского, Лескова:

И над могилою раскрытой,
В возглавии, где гроб стоит,
Ученый пастор сановитый
Речь погребальную гласит.
Вещает бренность человечью,
Грехопаденье, кровь Христа...
И умною, пристойной речью
Толпа различно занята...

Это, пожалуй, мог написать именно и только русский поэт, который позднее скажет в одной из своих статей: «Мы знаем фетишизм людей Запада относительно всякой формы... Этот фетишизм — как бы последнее религиозное верование Запада...»

Наиболее значительная и по количеству, и по качеству часть тютчевских стихотворений данного периода — это «философские» стихи, обращенные к природе и к человеческому бытию в их всеобщем значении, — «Видение», «Последний катаклизм», «Полдень», «Как океан объемлет шар земной...», «О чем ты воешь, ветр ночной...», «Нет, моего к тебе пристрастья...», «Тени сизые смесились...», «Душа хотела б быть звездой...», «Не то, что мните вы, природа...», «Весна», «День и ночь», «Бессонница», «Еще шумел веселый день...», «Безумие», «Цицерон», «Silentium!», «Как над горячею золой...», «Фонтан», «Из края в край, из града в град...», «Как птичка, раннею зарей...», «Сижу задумчив и один...» и др.

Эти стихи, между прочим, более всего способствовали причислению Тютчева к приверженцам «архаики». На самом же деле поэт опирается здесь на стихию русского слова во всем его многовековом бытии. И в одном ряду с древними словами и оборотами в этих стихах очень широко представлены словосочетания, которые с точки зрения литературного языка являли свежесть и новизну, — такие как «густеет ночь», «полдень мглистый», «томительная ночи повесть», «лениво тают облака», «шорох стаи журавлиной», «в светлости осенних вечеров», «свежий дух синели», «цвет поблекнул, звук уснул», «здесь воздух колет», «с своими страхами и мглами» и т. п. Недаром современник поэта Петр Плетнев утверждал, что его стихи исполнены «новости языка».

Уже из этого ясно, что цель поэта состояла не в некоем возврате к прошлому, а в подлинно современном словесном творчестве, но творчестве, имеющем дело со всей тысячелетней стихией русского слова.

Слово — не звук пустой, оно всецело пронизано смыслом, и потому «философская» поэзия Тютчева, созидаемая из всего накопленного столетиями богатства русского слова, — поэзия подлинно национальная по самой своей сути. Она вобрала в себя смысловые токи и устного народного творчества, и летописей, и «Слова о полку Игореве»*, и древнерусского богословия во всем его многообразии, и поэзии восемнадцатого столетия. Конечно, чтобы показать все это, необходимо специальное и обширное исследование.

Нельзя не сказать еще о том, что в основе целого ряда «философских» стихотворений Тютчева как бы заложено своего рода первичное, изначальное восприятие природного мира, которое невольно поражает душу и запечатлевается в ней в самые ранние годы, а затем только развивается, обогащается и становится все более сознательным и оформленным.

Естественно предположить, что своего рода первообразы тех или иных «натурфилософских» образов поэта родились в его душе еще в отроческие годы, в Овстуге:

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, —
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

И надо думать, что не на мюнхенских улицах и не в окрестностях уютных прирейнских селений, а на придеснян-

* Точно известно, что Тютчев изучал это творение еще в семнадцатилетнем возрасте.

ских холмах, где ветер с Ледовитого океана сталкивается с ветром, веющим от Кавказа, зародился первообраз стихотворения:

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?
. . . .
О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!..

Наконец, в конце 1820-х — в 1830-х годах Тютчев написал более десятка стихотворений, которые были непосредственно связаны с Россией, хотя поэт приезжал на родину редко и ненадолго. Так, во время пребывания в России в 1830 году поэт создал свой «Осенний вечер»:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь.
Порывистый холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Через три года в Болдине Пушкин создаст свою «осень»:

...Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы...

В нашей поэзии найдется не так уж много стихотворений, которые было бы столь уместно поставить рядом, — скажем, в самой краткой, отобранной на основе высочайших критериев антологии «Русская осень», — как эти тютчевские и пушкинские строки. Они поистине родные друг другу.

И в то же время они глубоко своеобразны по художественной сути. Согласно меткому суждению Вячеслава Иванова, у Тютчева даже сами слова по своему смыслу как бы не те, что у Пушкина: «Его “лес”, “вода”, “небо”, “земля” значат не то же, что “лес”, “вода”, “небо”, “земля” у Пушкина, хотя относятся к тем же конкретным данностям и не заключают

в себе никакого иносказания. Пушкин заставляет нас их увидеть в чистом обличии, Тютчев — анимистически их почувствовать». Воссоздавая явления, Тютчев ставит перед нами «нераскрытый человеческому сознанию смысл их жеста... Пушкин... метко схватывает сущности и право их именует».

Некрасов в 1850 году писал о тютчевском «Осеннем вечере»: «Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен».

Из этого, конечно, отнюдь не следует, что Тютчев хоть в какой-то мере говорит не об осени; ведь Некрасов сравнивает не осень и умирающую женщину, а чувства, овладевающие человеком при зрелище той и другой.

Тем более удивительно, что приведенной только что строфе пушкинского стихотворения предшествуют такие строки об осени:

...Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна...

Да, «кроткая улыбка увяданья»... Но Пушкин говорит об умирающей девушке открыто, прямо. И в его стихотворении тоже нет — как и у Тютчева — «иносказания». Речь идет о двух самостоятельных реальностях, вызывающих близкие чувства, а не о каком-либо замещении одной из них другой реальностью.

Нельзя не задуматься над тем, что Тютчеву, написавшему так об осени, суждено было впоследствии дважды находиться у постели умирающей любимой женщины — в 1838 и в 1864 годах... Пушкину это суждено не было. И он говорит об умирающей так же спокойно, даже легко, как и об осени. Совсем по-иному говорит об осени Тютчев.

Некрасов, который почти ничего не знал о Тютчеве, когда написал приведенное только что суждение, глубоко проник в таинственное движение его поэзии, которая, как и истинная, высшая поэзия вообще, обладала способностью предвидеть.

Разве нет предвидения поэтической судьбы Тютчева в его стихах, напечатанных Пушкиным, «Душа хотела б быть звездой...»? Звездой не на полуночном небе,

Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

Именно такой была в течение долгого ряда десятилетий судьба воплотившей его душу поэзии. Палящие лучи бурных стихий русской жизни сокрывали ее как дымом, — в сущности, вплоть до наших дней...

Но вернемся к «осени» Тютчева и Пушкина. Написанные почти в одно время, эти стихотворения оба долго лежали в столе. Тютчевское появилось в печати в 1840-м, пушкинское — в 1841 году. И, несмотря на глубокие различия между ними, эти стихотворения — все же еще одна встреча Тютчева и Пушкина.

Впрочем, никак невозможно оспорить, что в великом царстве русской Поэзии встреча Тютчева и Пушкина состоялась в полной мере, — хотя поэты так и не увиделись...

...Тютчев приехал в Петербург в мае 1837 года. 11 июня он пишет Вяземскому: «Благоволите, князь, простить меня за то, что, не имея положительно никаких *местных знакомств,* я беру на себя смелость обратиться к Вам с просьбой не отказаться вручить кому следует 25 рублей за подписку на 4 тома “Современника”. В первом из них есть вещи прекрасные и грустные» (в посмертных томах пушкинского журнала были помещены в основном его творения). В это же время Тютчев создает стихотворение «29-е января 1837»:

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?

Таким образом, Тютчев усматривает *загадку* в совершенно очевидном, казалось бы, факте: Пушкин погиб от руки Дантеса...

Но ничего странного в этом нет. Ближайший друг Пушкина Петр Вяземский не раз повторял в своих многочисленных письмах о гибели поэта: «Эта история, окутанная столькими тайнами, даже для тех, которые наблюдали за ней вблизи». Или в другом письме: «Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих». Тютчев, который именно в то время сдружился с Вяземским, конечно же подробно обсуждал с ним эту темную историю.

К сожалению, и до сего дня большинство людей — в том числе даже и людей начитанных — имеют об этой истории примитивное, ложное и в конечном счете даже оскорбительное для памяти Пушкина представление.

В одном из наиболее серьезных размышлений об истории гибели поэта, статье «Погибельное счастье» (1977), известный исследователь творчества Пушкина и Тютчева Д. Д. Благой говорит, что в популярных сочинениях «национальная трагедия превратилась... в довольно-таки банальную семейную драму: муж, молоденькая красавица жена и разрушитель семейного очага, модный красавец кавалергард».

С этой точки зрения начало стихотворения Тютчева — «Из чьей руки...?» — звучит, разумеется, странно и непонятно. А между тем в истории последних месяцев жизни поэта был, пожалуй, только один день, который давал повод представлять себе историю его гибели в таком «банальном» виде. 4 ноября 1836 года Пушкин и несколько его друзей получили так называемый «диплом», клеветнически объявлявший об измене его жены. А поскольку Дантес уже давно преследовал Наталью Николаевну своими ухаживаниями, Пушкин тут же — явно «сгоряча» — послал ему вызов на дуэль. Однако, когда на следующее утро к поэту заявился насмерть перепуганный «приемный отец» Дантеса голландский посланник Геккерн, Пушкин без всяких споров согласился отсрочить дуэль на сутки; на другой день Геккерн примчался снова «со слезами на глазах», дуэль была отсрочена уже на целых две недели, а затем, еще до истечения срока, 17 ноября, отменена совсем.

И причина была явно не только и не просто в том, что Дантес, спасаясь от громкого скандала и смертельной угрозы, решился вступить в брак с сестрой Натальи Николаевны Екатериной. Это «решение» прежде всего, так сказать, развязало руки Пушкину, дав ему возможность без какого-либо ущерба для его чести отказаться от своего собственного поспешного вызова. И, беря обратно этот вызов (17 ноября), поэт счел возможным признать и устно, и письменно, что Дантес вел себя как «благородный» и «честный» человек; позднее, в конце декабря, сообщая в письме своему отцу о предстоящей свадьбе Дантеса, Пушкин назвал его «добрым малым».

И у нас нет никаких оснований считать эти суждения поэта вопиюще неискренними. Конечно же Пушкин видел в Дантесе (и совершенно справедливо) заурядного и пошлого юнца. Но он не видел в нем некоего своего «рокового» врага. Дантес вообще был в его глазах лишь послушным исполнителем воли Геккерна, которому поэт писал: «Всем поведением этого юнца руководили вы».

Стоит еще раз повторить, что, понимая гибель Пушкина как результат «рокового столкновения» с двадцатичетырехлетним красавчиком, мы недопустимо принижаем облик

поэта. А между тем такого рода представление настолько въелось в сознание многих людей, что они нередко буквально перестают видеть реальный ход событий: так, им кажется, что Пушкин позднее будто бы вызвал Дантеса на дуэль во второй раз, в то время как на деле 25 января 1837 года он послал не вызов Дантесу, а крайне оскорбительное письмо Геккерну, который на этот раз побудил своего «приемного сына» вызвать Пушкина к барьеру.

И уже само это резкое различие ноябрьской (в ноябре Геккерн готов был на все, лишь бы дуэль не состоялась) и январской ситуации до сих пор не нашло сколько-нибудь четкого объяснения. Фигура Дантеса, «линия» Дантеса, в сущности, заслонила и продолжает заслонять истинную суть трагедии.

В принципе уже давно общепризнано, что клеветнический «диплом», явившийся исходным пунктом трагического развития событий, имел в виду отнюдь не Дантеса, но императора Николая I: ведь в «дипломе» объявлялось, что Пушкин избран-де «коадъютором», то есть заместителем, Д. Л. Нарышкина (кстати, хорошо знакомого поэту), жена которого была известна всем как любовница императора Александра I, щедро одаривавшего мужа за «услуги» жены.

Пушкин ясно и резко выразил свое отношение к «диплому» уже 6 ноября*, когда письменно потребовал от министра финансов Канкрина принять в казну в качестве уплаты долга императору свое имение Кистенево (поэту была предоставлена Николаем I на литературные дела огромная по тем временам сумма — 45 тысяч рублей). Если же император, предупреждал в своем письме Пушкин, «прикажет простить мне мой долг... я в таком случае вынужден был бы отказаться от царской милости». Канкрин, конечно, не стал исполнять крайне дерзкое требование, но самим этим требованием поэт все же со всей решительностью высказал свое понимание дела и свою волю.

По свидетельству близкого в то время (особенно в ноябре) к поэту В. Соллогуба, именно распространение клеветы об отношениях Натальи Николаевны и царя делает понятным, «почему Пушкин искал смерти и бросался на всякого встречного и поперечного».

---

* Именно в этот день он без всяких споров согласился отсрочить дуэль с Дантесом на две недели; тогда же Пушкин сказал В. Соллогубу: «Дуэли никакой не будет».

Дело в том, что клевета «диплома» упала на как бы подготовленную почву. Пушкин еще в мае 1836 года, будучи в Москве, рассказывал своему самому задушевному другу П. В. Нащокину о том, что царь, «как офицеришка, ухаживает за Натальей Николаевной»; и тогда же иронически намекал на это в письме к ней (от 6 мая): «...ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостию, что он завел себе в утешение гарем из театральных воспитанниц». Нет сомнения, что речь шла о царе.

Наконец, сам Николай I, как известно, засвидетельствовал, что в последнем разговоре с ним, состоявшемся за три дня до дуэли, в ночь с 23 на 24 января 1837 года, Пушкин дерзостно заявил: «Я... вас самих подозревал в ухаживании за моею женою».

Словом, история с Дантесом была только своего рода «примесью» к несоизмеримо более тяжкой для Пушкина «проблеме». В. В. Кунин справедливо говорит: «...в пасквиле содержался гнуснейший намек на то, что и камер-юнкерство, и ссуда, и звание "историографа" — все это было оплачено Пушкиным тою же ценою, что и благоденствие Нарышкина. Большего оскорбления поэту нанести было невозможно».

Но две, в сущности, совершенно различные «линии» (Дантеса и царя) сплелись в глазах будущих исследователей в один клубок. Это было обусловлено, надо думать, прежде всего тем, что Пушкин — об этом подробно говорится во многих работах — убежденно считал изготовителем «диплома» Геккерна (хотя, о чем еще пойдет речь, отчетливо видел и стоящих за ним «вдохновителей»). И чуть ли не все внимание тех, кто изучал историю гибели поэта, было направлено на Геккерна и его окружение (в частности, князей Гагарина и Долгорукова).

Вопрос о том, кто именно сфабриковал «диплом», остается и по сей день нерешенным («кандидатуры» одна за другой категорически отвергались). Между тем этот, казалось бы, «технический» вопрос важен, так как может дать в руки исследователей указующую нить.

Как представляется, необходимо обратить особое внимание на документ, который (хотя он был опубликован еще в 1976 году) почему-то не изучался всерьез. Это письмо Г. В. Чичерина П. Е. Щеголеву от 18 октября 1927 года.

Прежде чем перейти к существу письма, нельзя не сказать хотя бы кратко о его авторе, ибо и сама его судьба, и его познания обеспечили ему исключительные, прямо-таки уникальные возможности для проникновения в тайну гибели Пушкина.

Георгий Васильевич Чичерин (1872—1936) вырос в истинно «дипломатической» семье. Его отец Василий Николаевич еще в 1849 году, всего через двенадцать лет после гибели Пушкина, начал карьеру дипломата и, между прочим, как бы повторил весь путь Тютчева: служил сначала в Мюнхене, затем в Турине, а позднее, как и Тютчев, был близок к Горчакову. Что же касается матери Г. В. Чичерина, урожденной Мейендорф, видными дипломатами были ее дед, дядя и двоюродный брат.

С отроческих лет Г. В. Чичерин приобщался к дипломатическим преданиям, документам, трудам. После окончания Петербургского университета он поступил на службу в архив Министерства иностранных дел, принял участие в создании очерка истории этого министерства, написал ряд исследований о русских дипломатах и т. п.

Наконец, как известно, в 1918—1930 годах Г. В. Чичерин был народным комиссаром иностранных дел СССР (до 1922-го — РСФСР). Уместно еще добавить, что Чичерин — о чем особенно ярко свидетельствует его замечательная книга о Моцарте — был человеком высокой культуры.

И вот, прочитав в 1927 году в журнале «Огонек» сообщение (впоследствии полностью опровергнутое), согласно которому составителем пресловутого «диплома» был близкий к Геккерну князь Долгоруков, Чичерин в письме к Щеголеву с полной уверенностью заявил, что в действительности «диплом» написан Брунновым.

Ф. И. Бруннов (или иначе Брунов, 1797—1875) родился в Саксонии (выходцем из Саксонии был, между прочим, и будущий патрон Бруннова Нессельроде), с 1818 года состоял на русской дипломатической службе, в 1823—1826 годах был чиновником особых поручений при графе Воронцове в Одессе, где, как известно из воспоминаний Липранди, имел столкновения с Пушкиным, у которого вызывало отвращение характерное для Бруннова пресмыкательство перед начальством. В 1829—1839 годах Бруннов служил ближайшим личным помощником министра иностранных дел Нессельроде, который затем предоставил своему любимцу самый престижный тогда пост посланника в Лондоне.

Г. В. Чичерин, как уже говорилось, великолепно знал историю и, так сказать, самый быт Министерства иностранных дел (и по семейным преданиям, и благодаря специальным разысканиям, и, наконец, в силу доступности ему любых архивных материалов) и как бы восстановил в своем письме Щеголеву сцену, в ходе коей графиня Нессельроде «заказала» Бруннову составление «диплома». При этом Чичерин,

знакомый с письмами Бруннова, утверждал, что почерк последнего разительно похож на почерк лица, написавшего «диплом».

Между прочим, Г. В. Чичерин, считавший, что «диплом» был заказан Бруннову графиней Нессельроде, едва ли мог знать фрагмент из воспоминаний князя А. М. Голицына, поведавшего о заявлении императора Александра II (который, конечно, был высокоосведомленным человеком): «...теперь знают автора анонимных писем, которые были причиной смерти Пушкина: это Нессельроде» (имелась в виду графиня); Вл. Соллогуб говорит в своих воспоминаниях, что и сам Пушкин «в сочинении... "диплома"... подозревал одну даму», и никто не сомневался, что речь шла о Нессельроде.

«Автор» — это еще, понятно, не значит непосредственный изготовитель «диплома» как такового. Сделал его, по-видимому, именно Бруннов. Хотя не исключено, что Чичерин не прав относительно почерка: Бруннов мог поручить переписать «диплом» какому-нибудь мелкому чиновнику. Важно, что именно Бруннов его сфабриковал. Сам Пушкин, о чем уже шла речь, считал, что «диплом» изготовил Геккерн*. Но поэт ясно видел, кто стоял за кулисами: чтобы убедиться в этом, необходимо отказаться от одной поистине странной ошибки.

Общеизвестно написанное 21 ноября 1836 года Пушкиным по поводу «диплома» письмо к некоему «графу». В свое время Щеголев по всему смыслу и самому тону письма совершенно верно определил, что этим графом был Нессельроде. Но вскоре сам же Щеголев установил, что 23 ноября Николай I принял Пушкина и Бенкендорфа; исходя из этого, исследователь как бы вынужден был прийти к выводу, что письмо было направлено Бенкендорфу, который и устроил Пушкину прием у царя. Однако впоследствии стало точно известно, что поэт вообще не отправил указанное письмо. Тем не менее оно и поныне считается — вопреки всяческой логике — письмом к Бенкендорфу.

До нас дошло более пятидесяти пушкинских писем Бенкендорфу, но они выдержаны в совершенно ином тоне. Характерно, что Н. Я. Эйдельман, рассуждая об этом письме, говорил о его «таинственности», «загадочности», о том, что оно «враждебно адресату, содержит смелые до дерзости вы-

---

* В своем письме Нессельроде (см. о нем ниже) Пушкин писал о «дипломе»: «По виду бумаги, по слогу письма, по тому, как оно составлено, я понял, что оно исходит от иностранца, от человека высшего света, от дипломата». Но все это относится к Бруннову так же, как и к Геккерну.

пады» (хотя Бенкендорф, понятно, никоим образом не был причастен к «диплому»).

И давно следует сделать единственно правильный вывод (как и поступил когда-то Щеголев): письмо обращено вовсе не к графу Бенкендорфу, а к графу Нессельроде. Тогда, в частности, обретает полную оправданность то качество письма, которое Н. Я. Эйдельман справедливо определил как «особую инвективную тональность послания, рассчитанную, вероятно, на широкий круг читателей в случае распространения списков».

Словом, это письмо Пушкина предназначалось для разоблачения и сочинителя «диплома» и, так сказать, его заказчиков: известно, что Пушкин в течение длительного времени носил это письмо к Нессельроде в кармане сюртука, как бы ожидая удобного момента для его «предъявления».

Естественно встает вопрос о том, какую цель преследовали «заказчики». На этот вопрос убедительнее всего ответил Д. Д. Благой в своей уже цитированной выше итоговой работе «Погибельное счастье. (Женитьба, дуэль, смерть)»: в последние годы жизни Пушкин начинает оказывать все более значительное влияние на позиции царя в сфере культуры, а отчасти даже и политики. И было ясно, как показал Благой, что роль Пушкина в этом отношении может значительно увеличиться.

Это вызывало крайнее раздражение и даже опасение в кругу Нессельроде, «непримиримо» (по верному определению Благого) враждебном всей сути Пушкина как гражданина и мыслителя. И затея с «дипломом» имела, как пишет Благой, вполне определенную цель: «столкнуть» поэта с царем, «натравить» его на царя и тем самым предотвратить влияние Пушкина на ход государственных дел.

И есть все основания полагать, что с 6 ноября 1836 года (когда было отправлено вышеупомянутое письмо Канкрину) до 23 января 1837 года Пушкин терзался сомнениями по поводу содержания «диплома». Но вечером, или, вернее, ночью с 23 на 24 января, на балу у Воронцовых-Дашковых состоялась беседа поэта с Николаем I (о которой последний рассказал через много лет, упомянув, правда, только одно поразившее его пушкинское суждение: «Я... вас самих подозревал в ухаживании за моею женою»). Очевидно, что в ходе этого разговора Пушкин убедился в абсолютной несостоятельности клеветы. Через день, 26 января, он многозначительно сказал в письме генералу Толю: «Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно принимается клевета, но одно слово... навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда откры-

вает истину, а истина сильнее царя, говорит Священное писание». Накануне, 25 января, Пушкин отправил свое гневное письмо Геккерну, которого, о чем уже шла речь, он считал изготовителем «диплома».

Для понимания ситуации весьма важна такая подробность: во второй половине января в Петербург приехала задушевная приятельница Пушкина — его соседка по селу Михайловскому Е. Н. Вревская. Она встречалась с поэтом 18 и 22 января, но тогда и речи не было о его враждебном настрое против Геккерна. Между тем при их следующей встрече 25 января Пушкин прямо-таки испугал Вревскую своим крайним негодованием в адрес голландского посланника.

Вполне естественно сделать из этого вывод, что, всецело убедившись во время разговора с царем в абсолютно клеветническом характере «диплома», Пушкин уже не смог сдержать гнев по отношению к тому, кого он считал изготовителем этого пасквиля.

Теперь вернемся к тому, о чем уже шла речь: почему Геккерн, который в ноябре предпринял всевозможные усилия для предотвращения дуэли, в январе послал Дантеса к барьеру? В дипломатических кругах стало известно, что в день дуэли, 27 января, Геккерн не один раз встречался с Нессельроде и показывал ему пушкинское письмо. Но не будет натяжкой предположение, что он имел разговор с Нессельроде уже 26 января, сразу после получения письма и до отправления вызова Пушкину (поэт послал свое письмо еще 25 января, между тем как вызов на дуэль был получен им после пяти вечера 26-го). Сам Геккерн официально заявил, что, прежде чем ответить Пушкину, он «советовался» с графом Г. Строгановым, который, мол, и побудил его принять решение, а Нессельроде он-де показал пушкинское письмо тогда, когда, так сказать, отступать уже было поздно. Но, скорее всего, Геккерн нашел возможность познакомить Нессельроде с письмом еще 26 января, и, увидев в пушкинском письме обещание «...скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь», министр дал понять Геккерну, что дуэль необходима. Ибо «скандал» вполне мог обнаружить, кто истинный инициатор злодейской акции против Пушкина...

Тютчев, знавший, как и все мы, что пистолет, чья пуля нанесла поэту смертельную рану, находился в руке Дантеса, все же счел необходимым начать свое стихотворение на смерть Пушкина с вопроса «из чьей руки...?». Уже шла речь о том, что Пушкин не питал к Дантесу какой-либо ненависти; в частности, в ноябре 1836-го — январе 1837 года он не раз отзывался о нем вполне спокойно и объективно.

И у нас нет никаких оснований думать, что Пушкин в этих своих высказываниях был вопиюще неискренним, скрывая свою непримиримость. Он говорил секундантам 17 ноября: «Я признал и готов признать, что г. Дантес действовал как честный человек». А 21 ноября сказал своему секунданту Соллогубу: «“С сыном уже покончено... (то есть к нему нет никаких претензий. — *В. К.*). Вы мне теперь старичка подавайте”. Губы его задрожали, глаза наполнились кровью. Он был... страшен».

Это резкое различие в отношении Пушкина к Дантесу и Геккерну объясняется тем, что поэт довольно скоро увидел в Дантесе всего-навсего марионетку в руках голландского посла. Он сказал в своем письме Геккерну о Дантесе: «Всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили вы».

Нельзя не упомянуть о том, что вечером 25 января 1837 года (дуэль состоялась днем 27 января) Пушкин и Дантес с женами были в гостях у Вяземского. Сын последнего Павел свидетельствовал, что все «были спокойны, веселы, принимали участие в общем разговоре. В этот самый день было уже отправлено Пушкиным барону Геккерну оскорбительное письмо. Смотря на жену, он сказал в этот вечер: “Меня забавляет то, что этот господин (Дантес. — *В. К.*) забавляет мою жену, не зная, что ожидает его дома. Впрочем, с этим молодым человеком мои счеты кончены”».

Из этого явствует, что Пушкин в канун дуэли не предполагал возможности поединка с Дантесом. Но об этом речь пойдет ниже. Петр Вяземский, который более чем кто-либо проник в суть событий, писал через полмесяца после дуэли, что Дантес был «опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву». В конце концов он и к барьеру вышел вместо Геккерна.

Речь идет, вполне понятно, не о каком-либо «оправдании» Дантеса (который к тому же в будущем, уже во Франции, проявил себя как верный «ученик» Геккерна), но лишь о том, что противостояние Пушкина и Дантеса было только внешним, не столь уж существенным проявлением рокового конфликта. Неизмеримо более существенно столкновение Пушкина с Геккерном, в котором поэт видел участника злодейского заговора против себя.

В уже упомянутой работе Д. Д. Благой убедительно раскрыл суть этого заговора. Пушкин стремился играть очень весомую роль в судьбе родины и потому должен был находиться там, где «делалась политика». Но, доказывает Д. Д. Благой, чем больше Пушкин «вовлекался в сферу придворно-велико-

светской жизни, тем самым оказываясь ближе и к царю, число врагов — и крайне опасных, влиятельных — все возрастало. Это было непосредственно связано с той политической линией, которую он повел по возвращении его Николаем из ссылки». Пушкин был непримиримым противником людей, «окружающих престол и стремящихся, как он считал, помешать преобразовательным намерениям царя... — развивает свою мысль Д. Д. Благой. — Это придворно-светская клика, новоявленная (без исторических традиций, с презрением к простому народу, с европейским внешним лоском, но без передовой европейской образованности) знать... Опасность, что царь не только услышит, но может и прислушаться к голосу поэта... существовала. Оживленные и встревоженные негодующие толки обо всем этом, безусловно, шли среди придворно-светских "рабов и льстецов", особенно в одном из реакционнейших гнезд императорской столицы, влиятельнейшем политическом салоне, связанном многими нитями с реакционными политическими салонами Парижа и Вены, салоне жены министра иностранных дел... графини Нессельроде, которая была злейшим личным врагом Пушкина... Но как обезвредить дерзкого "сочинителя"?.. Царь, как они имели некоторое основание считать, ему покровительствовал» (Д. Д. Благой приводит целый ряд подтверждающих этот вывод фактов, — в частности, данное в начале 1836 года царем разрешение Пушкину — несмотря на резкие возражения ряда влиятельнейших лиц — издавать свой журнал).

Особенную ненависть в салоне Нессельроде вызывала, вполне понятно, внешнеполитическая позиция Пушкина, которую он запечатлел в имевших небывалый резонанс стихотворениях «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» и постоянно высказывал царю и его приближенным. Так, например, он писал ближайшему советнику царя Бенкендорфу: «Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветой... Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет». Эту задачу, как мы еще увидим, стремился исполнить позднее и Тютчев, — чем был крайне недоволен тот же Нессельроде.

И именно в салоне мадам Нессельроде был состряпан гнусный пасквиль. Он преследовал цель, по определению Д. Д. Благого, «натравить поэта на царя и тем самым его погубить», или, иными словами, «вовлечь его в прямое столкновение с царем, которое при хорошо известном и пылком... нраве поэта, могло бы привести к тягчайшим для него последствиям».

Пушкин понимал, что «первоисточником» пасквиля была Нессельроде и в конечном счете ее муж. Но прямой, открытый удар поэт направил не против жены всесильного министра (это было бы не только предельно опасно, но и бесполезно, ведь реальных доказательств поэт представить не мог), а против Геккерна, которого он не раз называл изготовителем пасквиля. В этом был убежден и Николай I (сын его, Александр II — о чем уже шла речь, — узнал уже всю правду). Познакомившись *после гибели Пушкина** с текстом пасквиля и обнаружив, что речь там идет о нем самом, императоре, Николай I испытал чувство ярости.

Об этом убедительно говорится в работе «О гибели Пушкина» Н. Я. Эйдельмана, который полагает, что «главным для Николая I было не столкновение Пушкин — Геккерн, а конфликт Геккерн — царь». И в самом деле: попытка «натравить» Пушкина на царя волей-неволей означала «использование Николая I в грязной игре. Потому после ознакомления с пасквилем Николай назвал Геккерна «гнусной канальей» и, как справедливо подчеркивает Н. Я. Эйдельман, «повел дело весьма круто: с позором, без прощальной аудиенции из Петербурга был выслан посол "родственной державы" (голландская королева — точнее, принцесса — Анна Павловна — родная сестра Николая I. — *В. К.*)».

Весьма примечательно, что правивший в Голландии принц Вильгельм Оранский, выражая полное согласие с решением Николая I, писал ему 12 февраля 1837 года о своем изгнанном из России посланнике Геккерне: «Он кончил бы тем, что запутал бы наши отношения Бог знает с какой целью». Но к этому можно добавить, что «диплом» призван был именно «запутать» отношения между Николаем I и Пушкиным.

Пушкин давно знал, что министр Нессельроде — его непримиримый враг. По всей вероятности, ему было известно то, о чем поведал в своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель — об истории ссылки поэта в Михайловское в 1824 году: «Государь, по докладу Нессельроде, повелел Пушкина отставить от службы и сослать на постоянное жительство в отцовскую деревню, находящуюся в Псковской губернии».

Характерен и позднейший факт. В 1831 году Пушкин радостно сообщал своему другу Нащокину: «Царь (между нами) взял меня в службу, т. е. дал мне жалования и позволил рыться в архивах для составления "Истории Петра I". Дай Бог здоровья царю!» А через несколько месяцев министр

---

* Это точно установлено.

внутренних дел Блудов рассказал Пушкину, что Нессельроде, которому царь велел выдавать жалованье поэту, дал «странный ответ»: «Я желал бы, чтобы жалованье выдавалось от Бенкендорфа».

Многие известные исследователи были убеждены, что заговор против Пушкина (говоря конкретнее, попытка «натравить» его на царя) исходил именно от супругов Нессельроде. Об этом еще в 1920-х годах писал автор знаменитой книги «Дуэль и смерть Пушкина» П. Е. Щеголев, сказавший о министре Нессельроде: «Слишком близка была прикосновенность его супруги к вражде Геккернов с Пушкиным и к дуэльному делу». Известный биограф Пушкина и Тютчева, а также исследователь быта императорского двора Георгий Чулков утверждал в 1938 году:

«Мадам Нессельроде, ненавидевшая Пушкина... была представительницей той международной олигархии, которая влияла на политику и дипломатию через своих единомышленников в салоне князя Меттерниха в Вене и здесь, в Петербурге... Она была достойной спутницей своего супруга, графа Нессельроде, лакея Меттерниха... В салоне М. Д. Нессельроде... не допускали мысли о праве на самостоятельную политическую роль русского народа... ненавидели Пушкина, потому что угадывали в нем национальную силу, совершенно чуждую им по духу... Независимость его суждений раздражала эту олигархическую шайку».

«Ненависть графини Нессельроде к Пушкину, — говорил в 1956 году Ираклий Андроников, — была безмерна и столь же хорошо известна, как и дружеское отношение ее к Геккерну и Дантесу, на свадьбе которого она была посаженой матерью. Современники заподозрили в ней сочинительницу анонимного "диплома"... Почти нет сомнений, что она — вдохновительница этого подлого документа».

Но, конечно, нельзя не видеть рядом с графиней Нессельроде фигуры ее мужа. Он в данном случае почти не действовал сам, ибо в его положении министра и вице-канцлера это было бы, мягко говоря, дурным тоном. Но есть все основания полагать, что Пушкин сумел разгадать его незримую руководящую роль против себя. Об этом ясно говорит пушкинское письмо к Нессельроде от 21 ноября 1836 года. Правда, оно и по сей день считается письмом к Бенкендорфу.

Все становится на свои места, если мы вернемся к верному первоначальному выводу П. Е. Щеголева (измененному им позднее по ошибке) и поймем, что письмо от 21 ноября было обращено к графу Нессельроде, который был в конечном счете главным режиссером всей истории.

Не отправив письмо Нессельроде, поэт вместе с тем, по-видимому, постоянно держал его при себе; сложенное вчетверо, оно потерто на сгибах, что свойственно бумаге, долго находившейся в кармане. Не исключено, что оно было и в кармане того сюртука, в котором Пушкин отправился на дуэль (правда, по другим сведениям, поэт на дуэли имел при себе не это письмо, а копию оскорбительного послания Геккерну). Возможно также, что Пушкин читал кому-либо это письмо, — как он читал, например, Соллогубу первый вариант своего оскорбительного письма Геккерну, — и сведения об этом могли дойти до Нессельроде.

Посылая Пушкину свой гнусный пасквиль, заговорщики стремились, как уже было сказано, натравить его на царя, но отнюдь не предполагали вступить с поэтом в открытое личное столкновение. Мы видели, что Геккерн в ноябре предпринял всевозможные усилия, чтобы расстроить дуэль (и Пушкин решил, что «дуэли никакой не будет»). Вскоре после свадьбы Дантеса с Екатериной Гончаровой, состоявшейся 10 января 1837 года, новоиспеченный родственник отправил Пушкину письмо с предложением помириться. Но поэт, встретив Геккерна, отдал это нераспечатанное письмо, предложив возвратить его Дантесу. Геккерн, рассказал К. К. Данзас, «отвечал, что так как письмо это было написано к Пушкину, а не к нему, то он и не может принять его». Этот ответ взорвал Пушкина, и он бросил письмо в лицо Геккерну со словами: «Ты возьмешь его, негодяй!»

Однако даже и после этого не было речи о поединке. Есть все основания полагать, что и Пушкин до самого конца не думал о дуэли (так, он стал искать секунданта лишь в канун поединка). Написав к 21 ноября первый вариант разоблачительного письма к Геккерну и не отправив его, поэт в течение двух месяцев ничего подобного не предпринимал. Но в ночь на 24 января на бале у графа Воронцова-Дашкова состоялся уже упоминавшийся разговор Пушкина с царем. Пушкин, по-видимому, убедился, что пасквиль был целиком и полностью беспочвенным и что его изготовители преследовали единственную мерзкую цель — столкнуть поэта с царем. Именно тогда возмущение Пушкина дошло до своего предела. И днем 25 января он отправил Геккерну оскорбительнейшее письмо, которое, вероятно, он начал писать еще 24 января, то есть сразу после разговора с царем.

Как уже было отмечено, Пушкин после отправления письма к Геккерну сказал о Дантесе: «...С этим молодым человеком мои счеты кончены». И Дантес вышел к барьеру только как марионетка в руках прожженного интригана, который никак не хотел подставлять себя под пулю.

Вяземский писал: «Само собой напрашивается вопрос, какие причины могли побудить Геккерна-отца прятаться за сына, когда раньше он оказывал ему столько нежности и отеческой заботы; заставлять сына рисковать за себя жизнью, между тем как оскорбление было нанесено лично ему, а он не так стар, чтобы быть вынужденным искать себе заместителя?» (Геккерну было 45 лет).

Д. Д. Благой убедительно объяснил, что именно заставило Геккерна, который в ноябре сделал все ради предотвращения дуэли, в январе послать Дантеса на поединок. Исходя из угроз, содержащихся в пушкинском письме от 25 января («обесчестить Вас в глазах дворов нашего и вашего»; обещание «скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь»), исследователь писал о Геккерне: «Карта его была окончательно бита. Речь шла теперь... о грандиозном скандале, угроза которого нависла не только над ним одним, но который мог задеть и его высокопоставленных покровителей... Теперь оставался всего лишь единственный способ обезвредить поэта — физически его уничтожить, пока он еще не успел привести свой замысел в исполнение».

Можно сказать, что Геккерн как бы догадывался, что у Пушкина лежит в кармане письмо к Нессельроде... И лишь тогда Геккерн предложил Дантесу сделать то, чего он столь панически старался избежать, начиная с 4 ноября. У Пушкина были все основания сомневаться в самой возможности дуэли — даже и после письма от 25 января, несмотря на всю его резкость. Не задетая «честь», а боязнь разоблачения заставила заговорщиков решиться на дуэль.

Но прежде, как сообщил своему статс-секретарю саксонский посланник в Петербурге Карл Люцероде (его осведомленность, возможно, объясняется тем, что Нессельроде был выходцем из Саксонии), произошло следующее: Геккерн «докладывал графу Нессельроде самые оскорбительные выражения из письма Пушкина» или, вернее, просил указания, как поступить. Голландскому министру иностранных дел Геккерн сообщил позднее, после дуэли: «В самый день катастрофы граф и графиня Нессельроде... оставили мой дом только в час по полуночи». А Дантесу Геккерн тогда же многозначительно писал: «Не называю тебе лиц, которые оказывают нам внимание, чтобы их не компрометировать... Ты знаешь, о ком я говорю; могу тебе сказать, что муж и жена (никто не сомневается, что речь идет о Нессельроде. — *В. К.*) относятся к нам безукоризненно, ухаживают за нами, как родные...»

В настоящее время сложилось прочное убеждение, что наиболее полным знанием всех обстоятельств гибели Пуш-

кина обладал Петр Вяземский, который долго и тщательно изучал все стороны дела, собрал целый свод документов и многое изложил в своих письмах разным лицам. Но он был весьма осторожный человек и явно опасался касаться главных организаторов заговора против Пушкина. Даже через десять лет после дуэли, в 1847 году, он сказал в печати: «Теперь не настала еще пора подробно исследовать и ясно разоблачить тайны, окружающие несчастный конец Пушкина». Завесу приоткрыл через тридцать три года, в 1880 году, его сын Павел, которому в год гибели Пушкина исполнилось всего семнадцать лет, но который конечно же знал результаты разысканий своего отца. Он достаточно ясно указал в своей книге о Пушкине на руководящую роль жены Нессельроде, которая, по его словам, «самовластно председательствовала в высшем слое петербургского общества и была последней гордой, могущественной представительницей того интернационального ареопага, который свои заседания имел в Сенжерменском предместье Парижа, в салоне княгини Меттерних в Вене и салоне графини Нессельроде в доме министерства иностранных дел в Петербурге». Павел Вяземский говорит, что Пушкин испытывал безграничную ненависть к этой «последней представительнице космополитического олигархического ареопага... не пропускал случая клеймить... свою надменную антагонистку, едва умевшую говорить по-русски».

Нельзя не заметить, что Павел Вяземский, крупный чиновник (с 1881 года — начальник главного управления по делам печати), все же не решился открыто говорить о самом графе Нессельроде, хотя, конечно, невозможно представить себе, чтобы его жена действовала вопреки его воле.

Сказать обо всем этом в книге о Тютчеве поистине необходимо, ибо Нессельроде был, как мы еще увидим, и его главным врагом. Связь Тютчева и Пушкина со всей определенностью выразилась и в этом... Более того, и непосредственные «исполнители» убийства Пушкина — Геккерн и его «приемный сын» Дантес — были достаточно хорошо известны Тютчеву. Ведь изгнанный в 1837 году из России Геккерн через пять лет сумел стать голландским послом в Вене и сыграл свою роль в подготовке того отвратительного предательства, которое совершила Австрия по отношению к своей давней союзнице России во время Крымской войны. Что же касается выученика Геккерна, Дантеса, он был позднее доверенным лицом Луи Наполеона — одного из главных органи-

заторов Крымской войны; за свои «заслуги» Дантес был возведен в сан сенатора Франции. Словом, главные враги Пушкина были в стане главных врагов Тютчева. Поэтому история гибели Пушкина имеет самое прямое отношение к Тютчеву.

Через пятнадцать лет после гибели Пушкина благонамеренный Карл Пфеффель, брат второй жены Тютчева, сообщит ей о Нессельроде — в то время уже канцлере: «Канцлер рассматривает возможно слишком пылкие речи, произносимые Тютчевым в салонах на злободневные политические темы как враждебные ему выступления. Считаю своим долгом Вас об этом предупредить, чтобы Вы убедили Тютчева утихомириться».

Тютчев, однако, не утихомирился. Через два года он писал о Нессельроде: «Вот какие люди управляют судьбами России!.. Нет, право, если только не предположить, что Бог на небесах насмехается над человечеством... невозможно не предощутить переворота, который, как метлой, сметет всю эту ветошь... Лет тридцать тому назад барон Штейн*, человек, наиболее ненавидевший это отродье, встретившись с нашим теперешним канцлером на каком-то конгрессе, писал про него в своих письмах: “Это самый жалкий негодяй, какого я когда-либо видел”».

Мы знаем, что Тютчев, который не встретился лично с Пушкиным, стал позднее близким другим пушкинских друзей — Жуковского, Чаадаева, Вяземского. Но столь же важно знать, что у Пушкина и Тютчева были общие враги.

Глава шестая

МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И РОССИЕЙ

...Последние я помню взоры
На этот край — на озеро и горы,
В роскошной славе западных лучей...

Женева, 1860

Рассказ об отношениях Тютчева и Пушкина заставил нас заглянуть в будущее. Теперь мы должны возвратиться назад, в 1833 год.

Это был, по-видимому, крайне драматический год в жизни Тютчева. Ему исполнялось тридцать лет, и он остро вос-

---

* Крупнейший немецкий государственный деятель, ратовавший за дружбу с Россией.

принимал этот рубеж как конец молодости, как возраст, от которого начинается путь вниз...

Шло второе десятилетие его жизни в Германии, и на состоянии духа — пусть пока неосознанно, незаметно (вскоре это станет явным) — начинала тяжко сказываться оторванность от родины.

Миновало уже три-четыре года со времени появления в русских журналах и альманахах десятка великолепных тютчевских стихотворений, но они так и не породили отзыва... Поэт перестал посылать стихи в Россию.

Вошла в его жизнь новая любовь, которая, вероятно, принесла поначалу больше мучений, чем счастья.

Наконец, в 1833 году окончился неудачей едва ли не первый опыт самостоятельной дипломатической деятельности Тютчева. С этого, пожалуй, и стоит начать.

До сих пор не было речи о Тютчеве-дипломате. Впрочем, в первые годы службы в Мюнхене он только готовился стать дипломатом. Он был зачислен на службу при русской миссии в Мюнхене не сразу по прибытии, а 13 мая 1823 года и то «сверхштатно» в чине губернского секретаря (соответствует самому младшему офицерскому чину, то есть по-нынешнему — младшему лейтенанту). Поначалу Тютчев только переписывал и оформлял дипломатические документы.

В 1826 году он был — по обычному порядку выслуги лет — произведен в следующий чин — коллежского секретаря, а в 1828 году назначен вторым секретарем при миссии. Теперь он уже сам составляет донесения в Петербург, правда, имеющие в основном чисто информационный характер.

Дипломатическая карьера имела свои преимущества; так, Тютчев уже в 1825 году получил придворное звание камер-юнкера (Пушкин получил его, будучи на одиннадцать лет старше). Но проявить какую-либо самостоятельность в то время, когда деятельность Министерства иностранных дел целиком определял Нессельроде, было чрезвычайно трудно. Тем не менее Тютчев уже в 1829 году начинает осуществлять самостоятельный дипломатический проект. Он близко сошелся с выдающимся эллинистом, ректором Мюнхенского университета Фридрихом Тиршем (1784—1860), которого его ученик Петр Киреевский назвал «одним из значительнейших людей Германии». Тирш не только глубоко изучал древнюю Элладу, но и был сильно озабочен современной судьбой греков, которые боролись за национальное освобождение от турецкого господства, начавшегося в 1453 году, когда пал Константинополь. Тирш вступил в тесную связь с Гетерией — тайным обществом, возглавлявшим эту борьбу,

и создал в Баварии Греческий комитет, который должен был помочь древнему народу обрести независимость.

Как хорошо известно, Россия, исходя из многовековых связей с православной Грецией, сыграла громадную роль в ее национальном освобождении. В частности, именно по воле России на Ионических островах был в 1800 году создан своего рода прообраз самостоятельной греческой государственности — Республика Семи Соединенных островов. Когда в 1821 году в Греции началось восстание против турецкого господства, Россия оказывала многообразную поддержку повстанцам. Все, очевидно, знают, как горячо сочувствовал борьбе греков Пушкин.

В 1829 году Греция получила автономию. Но сразу же обострилась борьба между Россией и Англией за влияние в Греции.

Фридрих Тирш делал все для того, чтобы Бавария помогла юному греческому государству встать на ноги; вместе с тем, опираясь на опыт истории, Тирш был склонен полагать, что Греции необходим союз именно с Россией. Добрые отношения с воскресающей Грецией нужны были и России — уже хотя бы потому, что дело шло о выходе в Средиземное море.

Тютчев совместно с Тиршем разрабатывает далеко идущие планы. Поскольку в только еще возникающем греческом государстве происходили постоянные столкновения самых разных сил, сложилось решение (которое поддерживали и Россия, и Англия) — пригласить своего рода «варяга» — короля из «нейтральной» страны. На эту роль избрали Оттона — совсем юного сына баварского короля. Предполагалось, что он примирит враждующие греческие партии и группировки. Его юность призвана была служить гарантией беспристрастности и одновременно порукой тому, что он, вырастая в Греции, станет именно греческим королем.

В то же время не только Тютчев, но и сдружившийся с ним Тирш полагали, что новое королевство должно находиться под покровительством России, которая, в частности, гораздо больше, чем кто-либо, сделала для освобождения Греции. Тирш по совету и при воздействии Тютчева написал осенью 1829 года послание к русскому императору, призывая его активно поддержать греческую государственность; Тютчев через благоволившего ему тогдашнего русского посла в Баварии И. А. Потемкина брался передать это послание Николаю I.

Однако Нессельроде явно препятствовал активной русской политике в отношении Греции. Еще не раз пойдет речь

о его дипломатической линии. Пока достаточно сказать, что Нессельроде всегда противостоял политическим действиям, которые могли вызвать недовольство Австрии. А поскольку чуть ли не основные ее интересы сосредоточивались на Балканах, Австрия постоянно боролась против всякого усиления там позиций России.

Официально линия Нессельроде выражалась в тезисе о безоговорочной необходимости тесного союза России с Австрией — союза, который-де обеспечивает всеобщее равновесие и порядок. Но, по сути дела, объективно получалось так, что Нессельроде руководствовался интересами не столько России, сколько Австрии (имела хождение едкая острота, что Нессельроде потому имеет чин вице*-канцлера — а он был им с 1828 по 1845 год, — что он является помощником австрийского канцлера Меттерниха...).

Кроме того, Нессельроде постоянно внушал Николаю I, что ни в коем случае не следует восстанавливать против себя Англию и Францию (хотя впоследствии почему-то именно он не смог предостеречь царя от конфликта, приведшего к Крымской войне).

Тютчев с юных лет самым внимательным образом изучал европейскую дипломатию и прекрасно понимал, что Англия и Франция будут всеми средствами препятствовать русскому влиянию в Греции, хотя это влияние было бы совершенно закономерным и естественным.

Подготовка посланий Фридриха Тирша Николаю I была точным дипломатическим ходом Тютчева. Влиятельный деятель Баварии — страны, откуда приглашается король для Греции, — призывает Россию всемерно помочь молодому греческому государству... Однако именно в то самое время, осенью 1829 года, когда Тютчев содействовал утверждению русского влияния в Греции, ставленник Нессельроде, посол в Англии Ливен совершил прямо противоположную акцию. Дело заключается в том, что в результате только что закончившейся победой России Русско-турецкой войны 1828—1829 годов сложилась ситуация, при которой положение Греции как бы целиком должна была определять именно Россия; статья о Греции, включенная в Адрианопольский договор с турками (2 сентября 1829 года), предполагала теснейшую связь нового государства с Россией. Но когда Англия резко возразила против этой статьи русско-турецкого договора, Ливен дал согласие на то, чтобы вопрос о Греции решался в Лондоне на международной конференции.

---

* От латинского «вместо», «взамен».

В то же время в турецкой и европейской прессе стали появляться материалы, восхвалявшие Англию и Францию в качестве «благородных помощников» Греции, а Россию объявлявшие чуть ли не главным врагом греческой свободы и независимости.

Первого февраля 1830 года Тютчев пишет Тиршу, призывая его выступить против одной из подобных статей, которая, по его словам, есть «самое грубое оскорбление, какое когда-либо наносилось общественному здравому смыслу». И поборник свободы Греции Тирш неоднократно выступал в печати в пользу русского влияния в греческих и славянских землях.

Но, так или иначе, Англия, в частности, благодаря «уступчивости» Ливена одержала большую дипломатическую победу, в результате которой она позднее смогла прибрать к рукам юного Оттона, провозглашенного в 1832 году греческим королем. Оттон стал, по сути дела, английской марионеткой — несмотря на то, что его отец, король Баварии Людвиг I, был вроде бы самым положительным образом настроен по отношению к России. Под воздействием Англии русский посланник в Греции был по положению поставлен ниже английского, хотя последний прибыл на свой пост позже первого. Еще более выразительна была попытка сделать английского генерала Чёрча... послом Греции в России.

Все эти английские «козни» досконально выявил именно Тютчев, который в конце лета 1833 года был отправлен из Мюнхена в Грецию в качестве дипломатического курьера. Он глубоко изучил политическую ситуацию в стране и по возвращении в Мюнхен составил донесение в Петербург, в котором, в частности, писал: «В течение трех веков Россия сумела неизменно поддерживать с порабощенной Грецией самые искренние благожелательные отношения... Греция свободна... Вот она — эта нация, самая древняя и самая юная в Европе! Для нее настало время заявить миру о своем существовании. И посольства Греции явятся к европейским дворам. Это, несомненно, один из наиболее торжественных моментов в жизни народа. Но среди ее посольств есть одно, которому Греция хотела бы придать еще более величественный, еще более национальный характер: это — посольство, отправляемое ею в ту дружественную страну, которая, одна во всем мире, не хотела верить ее смерти, которая никогда не отчаивалась в ее спасении, которая, в течение веков ожидания, сумела сохранить ей место среди прочих народов. Разве не прекраснейшим днем будет для Греции тот, когда она, наконец, свободная, возобновит... союз с

Россией, клятвенно заключенный под гнетом магометанского рабства?»

И далее Тютчев ставит вопрос о том, кто же избран, дабы «достойно представить Грецию перед Россией»? Оказывается, «это — английский офицер»...

В конце донесения Тютчев предлагал ряд конкретных мер для изменения этой поистине возмутительной ситуации. Так, он советовал «выказать немного настойчивости с целью добиться от короля Баварского, чтобы он употребил все свое влияние...». Необходимо, чтобы король направил к своему юному сыну надежного человека, могущего противостоять агентам Англии. Не приходится говорить о том, писал в заключение Тютчев, «насколько такое лицо, надлежаще выбранное, могло бы оказать пользы нашим дипломатическим сношениям, и каким коррективом оно послужило бы для нас...».

Естественно предположить, что Тютчев уже подыскал такое «лицо» (возможно, это был сам Фридрих Тирш или кто-нибудь из его сподвижников) и ждал только согласия из Петербурга на дальнейшие действия.

Однако новый, только приступивший к своим обязанностям русский посланник в Мюнхене князь Г. И. Гагарин, как свидетельствовал позднее уже известный нам его племянник Иван Гагарин, не решился отправить это тютчевское донесение в Петербург. Он сказал, что оно-де «недостаточно серьезно». На деле же Гагарин, надо думать, понимал, что решительность позиции, выраженной в донесении, весьма не понравится Нессельроде, который не хотел «ссориться» ни с Англией, ни с Австрией, видевшей в любом возрастании «русского присутствия» в Греции ущемление своих интересов. Георгий Чулков писал по поводу этого его донесения: «Нессельроде... всеми силами старался... как-нибудь поправить “ошибку” России, поддерживавшей борьбу Греции за национальное освобождение. Вот почему депеша Тютчева не была утверждена... Гагариным, испугавшимся, очевидно, ее резкого тона».

Так бесплодно закончилась «греческая акция» Тютчева... Следует сказать о том, что Греция занимала одно из виднейших мест в политическом и историософском мировоззрении Тютчева. Поэтому неуспех начатого в 1829 году дипломатического предприятия, в которое он сумел вовлечь такого выдающегося германского деятеля, как Фридрих Тирш, был для Тютчева, по всей вероятности, очень чувствительным.

Весьма широко распространено — можно даже сказать, всецело господствует — представление о том, что Тютчев был

недостаточно способным или даже совсем неспособным дипломатом. Это как бы прямо вытекает из истории его службы.

За ее первые пять лет он продвинулся до должности второго секретаря миссии. В 1829 году Тютчев был произведен в титулярные советники, в 1833-м — в коллежские асессоры (соответствует воинскому званию майора). Но чины эти шли, так сказать, сами собой — за выслугу лет. А Тютчев все оставался вторым секретарем (с 1835 года он стал называться «младшим секретарем») миссии в одном из германских королевств...

Первого июня 1832 года его жена Элеонора сообщала брату Тютчева Николаю, что была надежда на повышение в должности первого секретаря в Мюнхене Крюднера, которое, как предполагалось, привело бы, в свою очередь, к продвижению по службе самого Тютчева. Но Крюднера тогда не повысили; «итак никакой надежды на повышение для Федора», — заключила Элеонора. Вскоре, 4 сентября того же года, русский посланник в Мюнхене Потемкин писал Нессельроде о тютчевской «карьере, к которой, как я уже почел долгом заметить вашему сиятельству, у него есть способности, но, тем не менее, за десять лет усердной службы ни разу г-ну Тютчеву не посчастливилось заслужить ни малейшего знака поощрения от министерства».

Первого января 1834 года Элеонора снова говорит в письме Николаю Тютчеву: «Нам остается только надежда на место Крюднера, так как эта желанная преемственность должна же, наконец, наступить».

В 1836 году Крюднер действительно получает повышение, но это, как оказывается, вовсе не приводит к повышению Тютчева (хотя он служит в Мюнхене уже пятнадцатый год!), и 31 декабря он пишет родителям: «Мой удел при этой миссии довольно странный. Мне суждено было пережить здесь всех и не унаследовать никому. Я только что написал Крюднеру. Он... за последнее время на деле доказал мне свою дружбу и свое стремление помочь мне. Возможно, что при случае он походатайствует за меня перед вице-канцлером. Но, в конце концов, что мог бы он ему сообщить? Вице-канцлер пишет мне любезные письма и неоднократно самым благосклонным образом высказывался на мой счет. Стало быть, если он ничего не делает для меня, на это есть другие причины. Может быть, он полагает, что привязанность, столь искренняя, как та, которую он ко мне питает, не нуждается во внешних проявлениях».

Ирония здесь весьма многозначительная. Но, может быть,

Тютчев в самом деле не имел способностей к дипломатической деятельности?

Чтобы разобраться в существе дела, целесообразно проследить карьеру крупнейшего русского дипломата XIX века Александра Горчакова, с которым позднее, с середины пятидесятых годов, Тютчев окажется в самых тесных отношениях. Он был на пять лет старше Тютчева. В 1817 году он блестяще окончил Царскосельский лицей (вместе с Пушкиным) и сразу же был зачислен в Министерство иностранных дел. С 1820 года он уже принимает участие в международных конгрессах, а в декабре 1822 года Александр I назначает его сразу первым секретарем русского посольства в Англии; Горчакову было тогда всего двадцать четыре года.

Но именно к этому моменту власть в Министерстве иностранных дел целиком оказалась в руках Нессельроде. Вскоре посол в Лондоне Ливен (тот самый, который через пять лет как бы отдаст Грецию в английские руки) «жалуется» на Горчакова, и Нессельроде переводит его первым секретарем в несоизмеримо менее значительное представительство в Риме, который был тогда столицей даже не Италии, а небольшой Папской области. В 1828 году Горчаков назначается поверенным в делах в итальянском герцогстве Тосканском, а затем в захолустном герцогстве Лукка.

В 1833 году, на шестнадцатый год службы, Горчаков наконец получает немаловажный пост советника в Вене. Но так как здесь яснее обнаружилось его противостояние политике Нессельроде, в 1838 году он был «уволен от должности советника в Вене для употребления по другим делам». В знак протеста сорокалетний Горчаков подал в отставку, надеясь, что ее не примут. Но он ошибся и был «уволен вовсе со службы». В 1839 году его сотоварищ по лицею М. А. Корф, подводя в своем дневнике «итоги» судеб лицеистов, отнес Горчакова к сравнительно небольшой категории «неудачников»...

Лишь после трехлетних усилий Горчаков сумел с помощью влиятельных родственников, хлопотавших за него перед царем, вернуться в дипломатию и в 1841 году стал посланником... в одном из тридцати восьми германских государств — маленьком королевстве Вюртемберг. Здесь он находился тринадцать лет!

Решительный поворот в судьбе Горчакова произошел лишь в июле 1854 года, когда царь лично назначил его на один из важнейших дипломатических постов — русским послом в Вене. Нессельроде пытался возражать, указывая на... «некомпетентность» Горчакова. Николай I ответил: «Я назначил его потому, что он русский».

Но было уже невозможно что-либо изменить: Крымская катастрофа разразилась. Менее чем через два года Нессельроде был наконец отправлен в отставку, а его место занял не кто иной, как Горчаков, который затем в течение двадцати пяти лет прилагал усилия для исправления всего того, что «натворил» Нессельроде. А Тютчев стал ближайшим советником Горчакова.

Всматриваясь в путь Горчакова, приходится сделать вывод, что его дипломатическая карьера складывалась в 1820—1830-х годах даже более печально, чем тютчевская. Ведь Тютчев только долго не получал повышения (в 1837 году он все же был назначен первым секретарем, а затем и поверенным в делах в Турине). Между тем Горчаков, столь блистательно начавший свой путь, за это же время дважды отбрасывался назад, — вплоть до увольнения.

При этом очень важно иметь в виду следующее. Можно еще допустить, что Тютчев не обладал «техническими» способностями, потребными для дипломатической службы, — скажем, умением и желанием постоянно и четко вести документацию. Но Горчакову-то это было присуще в высшей степени. Так, например, в 1820 году, во время конгресса в Троппау, Горчаков, поражая всех, составил за три месяца около тысячи двухсот дипломатических донесений!

Словом, дело заключалось отнюдь не в «способностях». В дошедших до нас документах дипломатической деятельности Тютчева глубина и точность анализа сочетаются с масштабной и твердой политической волей. Трудно сомневаться в том, что Тютчев, если бы ему была предоставлена такая возможность, уже в тридцатых-сороковых годах внес бы самый весомый и плодотворный вклад в русскую внешнюю политику.

Но Нессельроде, который, по свидетельству самого Тютчева, на словах «неоднократно самым благосклонным образом высказывался» о нем, на деле явно препятствовал тому, чтобы Тютчев вообще смог как-либо проявить свою политическую волю. Ибо эта воля была поистине несовместима с волей самого Нессельроде...

В 1836 году, когда исполнилось уже четырнадцать лет со времени приезда Тютчева в Мюнхен, он писал, имея в виду известный библейский сюжет: «Вице-канцлер хуже тестя Иакова. Тот, по крайней мере, заставил своего зятя работать только семь лет, чтобы получить Лию; для меня срок был удвоен... Положение мое становится все более и более фальшивым... Я не могу помышлять о возвращении в Россию по той простой и превосходной причине, что мне не на что бу-

дет там существовать; с другой стороны, у меня нет ни малейшего разумного повода держаться службы, которая ничего не обещает мне в будущем».

Тютчев, по-видимому, чувствовал это уже в 1833 году. У него нарастает — в тридцать лет! — ощущение конца жизни в его подлинном значении. Тогда же или одним-двумя годами позже он пишет стихи, почти невероятные для его возраста:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

Нельзя не сказать и о том, что жизнь Тютчева была нелегка и с чисто материальной точки зрения. Конечно, дело идет об относительных трудностях; Тютчевы жили во вполне приличной квартире в центре Мюнхена, участвовали в светских развлечениях, держали слуг и т. п. Но семья дипломата за границей и не могла жить иначе. Вместе с тем Тютчевы еле-еле сводили концы с концами, постоянно находились в долгах и подчас не могли приобрести самое необходимое, — при соблюдении внешней видимости достатка.

Четвертого сентября 1832 года посланник Потемкин, очень высоко ценивший Тютчева, обращается к Нессельроде с настоятельной просьбой повысить жалованье Тютчеву. Потемкин предлагает даже сделать это за счет сокращения его собственного жалованья!.. «Скромность его содержания, — пишет он о Тютчеве, — совершенно не соответствует расходам, к которым его вынуждает положение человека женатого и дипломата, для того, чтобы оставаться на уровне того общества, где ему надлежит вращаться, как в силу своей должности, так и личных его достоинств. Такая милость... помогла бы ему выбраться из состояния постоянной нужды».

Новый посланник князь Г. И. Гагарин, приступивший к своим обязанностям в 1833 году, сумел добиться для Тютчева прибавки жалованья, но очень небольшой, по сути дела ничего не изменившей. Через полгода Элеонора пишет Николаю Тютчеву, что жить на имеющиеся средства «при требованиях занимаемого нами положения, детях и людях, число которых с каждым годом увеличивается, почти невозможно».

Годовой оклад Тютчева составлял, после прибавки в августе 1833 года, тысячу рублей серебром, то есть немногим более восьмидесяти рублей в месяц. Это в самом деле было совершенно несовместимое с положением дипломата

жалованье, и Тютчев не мог бы вообще существовать, если бы не было денежной помощи родителей, — но ею он весьма тяготился.

Ради сравнения имеет смысл назвать годовые оклады главных сподвижников Нессельроде. Посол в Англии в 1840—1854 годах Бруннов получал 59 тысяч рублей в год, посол в Пруссии и Австрии (с 1839-го по 1854-й) Мейендорф — 44 тысячи рублей; кстати сказать, оклад самого Нессельроде, поскольку он не имел «посольских» расходов, составлял 17 тысяч рублей. Для служащих в России это, впрочем, все равно был гигантский оклад; начальник Третьего отделения Бенкендорф получал всего лишь 3 тысячи рублей в год.

Можно представить себе, в каком нелегком состоянии духа приближался Тютчев к своему тридцатилетию — поре расцвета. Неудачи и тяготы со всех сторон, во всех сферах — в политической деятельности и служебной карьере, в литературе (обнародование целого ряда зрелых творений Тютчева не нашло отзыва) и домашнем быту.

В этих условиях (они, конечно, ни в коей мере не являются «оправданием», но, во всяком случае, могут многое сделать понятным) Тютчев весь отдается своей новой любви...

В феврале 1833 года на одном из балов приятель Тютчева, баварский публицист Карл Пфеффель, знакомит его со своей сестрой, двадцатидвухлетней красавицей Эрнестиной, и ее уже пожилым мужем бароном Дёрнбергом, месяц назад приехавшими в Мюнхен. Эрнестина, успевшая покорить мюнхенский свет красотой и искусностью в танцах, произвела сильное впечатление на Тютчева. К тому же произошла странная история: Дёрнберг почувствовал недомогание и покинул бал, сказав на прощанье Тютчеву: «Поручаю вам свою жену», а через несколько дней скончался...

После смерти мужа Эрнестина уехала из Мюнхена, но вскоре вернулась. И началась та любовь, которая, вероятно, была своего рода выходом, спасением для Тютчева, потерпевшего поражение чуть ли не во всем, — и в то же время принесла ему немало страданий. Он явно не мог ради новой любви не только расстаться с Элеонорой, но и даже — как мы увидим — разлюбить ее. И в то же время он не имел сил разорвать отношения с Эрнестиной. И это не могло остаться тайной.

Уже 2 июля 1833 года Элеонора сообщает Николаю Тютчеву о состоянии мужа: «Он, как мне кажется, делает глупости или что-то близкое к ним... Только не вздумайте прини-

мать всерьез то, что, слава Богу, только шутка. Единственное, о чем я действительно думаю, это что Федор легкомысленно позволяет себе маленькие светские интрижки, которые, как бы незначительны они ни были, могут неприятно осложниться. Я не ревнива, и у меня для этого как будто нет оснований, но я беспокоюсь, видя, как он уподобляется сумасбродам; при таком поведении поступь человека не может быть достаточно уверенной».

Но не проходит и двух месяцев, как Элеонора пишет тому же Николаю в совсем ином духе (29 августа 1833 года): «Федор... не то, чтобы болен, — чувствует он себя как обычно, но есть в нем какой-то нравственный недуг, который, как мне кажется, развивается быстро и страшно... Отвращение ко всему, невероятная разочарованность в мире и, главное, в самом себе, это — что пугает меня больше всего, — то, что сам он называет навязчивой идеей. Самая безумная, самая абсурдная идея, которую можно себе представить, мучает его до лихорадки, до слез».

В конце этого драматического 1833 года произошло печальное событие, о котором Тютчев писал позднее: «Принявшись как-то в сумерки разбирать свои бумаги, я уничтожил большую часть моих поэтических упражнений и заметил это лишь много спустя». Поэт рассказал о своем поступке как о результате рассеянности, но не исключено, что это было актом самосожжения, — пусть хотя бы даже полуосознанным... Такой поступок вполне соответствовал бы общему состоянию его духа в то время.

По-видимому, Тютчев тогда расстался с Эрнестиной Дёрнберг. Точно известно, что 1 мая 1834 года она уехала в Париж; может быть, она бежала от своей любви. Но Тютчев постоянно приходил к ее брату Карлу, чтобы расспрашивать о ней.

В начале июля Тютчев неожиданно приезжает в городок Эглофсгейм, где жил тогда Карл Пфеффель, — приезжает с надеждой, что сестра живет вместе с ним; но ее там не было. В записных книжках князя Вяземского, в октябре 1834 года заехавшего в Мюнхен, есть упоминание о «вдовушке черноглазой» Дёрнберг, но о ее тогдашних встречах с Тютчевым ничего не известно.

Эрнестина Дёрнберг родилась в 1810 году. Отец ее, эльзасский барон Христиан Пфеффель, был баварским дипломатом, послом в Лондоне, а затем в Париже. Мать Эрнестины — также из эльзасского рода графов Теттенборнов. Как это вообще характерно для тогдашнего Эльзаса, семья существовала на пересечении германских и французских традиций

и веяний. К тому же Эрнестина воспитывалась в парижском пансионе. Семья была причастна к высокой культуре; брат деда Эрнестины, Конрад Пфеффель, умерший за год до ее рождения, был значительным писателем (особенно славились его басни). Брат Эрнестины, Карл Пфеффель, стал видным мюнхенским публицистом, постоянно сотрудничавшим также в парижских изданиях.

Органически соединяя в себе германское и французское начала, Эрнестина была как бы гармоничным воплощением европейского духа, не греша ни галльской легковесностью, ни тевтонской тяжеловатой серьезностью.

Мать ее рано умерла, и отец женился на гувернантке своих детей, которая оказалась весьма дурной мачехой; Карл и Эрнестина, подобно сказочным Гансу и Гретель, собирались даже убежать из дома. Поэтому Эрнестина при первой же возможности вышла замуж — без любви и за человека уже немолодого. Но на третий год после свадьбы барон Дёрнберг умер.

Эрнестина Пфеффель сумела понять и оценить Тютчева, вероятно, более, чем кто-либо, — и как человека, и как мыслителя, и как поэта (впоследствии она специально изучила русский язык, чтобы иметь возможность читать тютчевские стихи).

В любви Тютчева и Эрнестины была та полнота близости, которой явно недоставало в первом — в какой-то мере случайном — брачном союзе поэта; в этой любви присутствовали и глубокое духовное взаимопонимание (что со всей очевидностью предстает в дошедших до нас почти пятистах тютчевских письмах к Эрнестине), и властная страсть, которая в своих предельных выражениях как бы даже страшила поэта (это запечатлено в его стихотворениях, обращенных к Эрнестине: «Люблю глаза твои, мой друг...» и «Итальянская villa»).

Полнота любви так соединяла их, что расстаться было неимоверно трудно, — хотя, как можно не без оснований предположить, они снова и снова стремились сказать друг другу «последнее прости». Ничего не известно о их встречах в 1834 году (возможно, их и не было), но в июне 1835 года Эрнестина занесла в свой альбом-гербарий запись «о счастливых днях, проведенных в Эглофсгейме».

Следующая из этих записей: «Воспоминание о 20 марта* 1836 года!!!» В это время встречи Тютчева с Эрнестиной стали, вероятно, слишком явными, что привело к драматичес-

* То есть по старому стилю, который принят в этой книге, 8 марта.

ким последствиям. Тютчев писал об этом своему тогдашнему другу Ивану Гагарину 2 мая 1836 года: «Эта зима, проведенная в постоянных тревогах, причины коих известны лишь мне одному, завершилась непредвиденным событием, которое могло иметь ужасные последствия и перевернуть все мое существование».

...Элеонора в отсутствие Тютчева попыталась тогда покончить с собой, ударив себя несколько раз в грудь кинжалом от маскарадного костюма. Это был скорее жест отчаяния, чем настоящее самоубийство. Увидев кровь, выступившую из ран, Элеонора выбежала на улицу и упала без чувств. Соседи принесли ее домой. Вскоре пришел Тютчев и, как можно предположить, клятвенно обещал ей разорвать отношения с другой.

Супруги договариваются покинуть Мюнхен. Г. И. Гагарин обращается к Нессельроде с просьбой освободить Тютчева от обязанностей секретаря миссии. Уезжает из Мюнхена и Эрнестина.

Элеонора в конце июня пишет матери Тютчева о своем горячем желании уехать из Мюнхена в Россию: «Признаюсь, что особенно в данное время эта возможность пленяет меня более чем когда-либо; может быть, тяжелые дни, которые я тут провела, или все ложное и неприятное в положении Федора заставляют меня тяготиться моим пребыванием в Мюнхене, и я живу лишь надеждой видеть это так или иначе сбывшимся».

Элеонора сумела простить мужа, и их отношения остались прежними. Но в Россию тогда уехать не удалось, так как тяжело заболел посланник князь Г. И. Гагарин. С 28 июля по 22 августа 1836 года Тютчев исполнял обязанности поверенного в делах. Затем сломленный болезнью Гагарин (в 1837 году он умер) снова просил его отложить поездку в Россию до весны следующего года. 31 декабря 1836 года, поздравляя родителей с Новым годом, Тютчев писал, что в Мюнхене «так уныло и так скучно, что трудно себе представить. Как если бы человек, и так-то тупой и угрюмый, да еще стал бы страдать мигренью».

Через месяц, 4 февраля 1837 года, Элеонора пишет матери Тютчева: «Если бы вы могли его видеть таким, какой он уже год, удрученным, безнадежным, больным, затрудненным тысячью тягостных и неприятных отношений и какой-то нравственной подавленностью, и, не будучи в состоянии от этого отделаться, вы убедились бы, так же, как и я, что вывезти его отсюда волею или неволею — это спасти его жизнь... Я, связанная с этой страной столькими узами дружбы,

я принуждена сказать, что пребывание здесь для меня невыносимо; судите, что же это для него, не имеющего здесь почвы в настоящем и ничего в будущем».

Через два с лишним месяца, 15 апреля 1837 года, Тютчев пишет родителям, обещавшим прислать деньги на дорогу в Россию, что он был бы крайне огорчен, «если бы за отсутствием средств вынужден был остаться в Мюнхене. Мне не терпится уехать отсюда... Перед отъездом я продам всю мою здешнюю обстановку, так как, что бы ни было, я твердо решился более не возвращаться сюда».

После того как Тютчев, по-видимому, заставил себя отказаться от Эрнестины, со всей ясностью выступило то, что он ранее не осознавал. Шел пятнадцатый год его пребывания в Мюнхене, и жизнь на чужбине все более тяготила его. Поэт еще не так скоро возвратится окончательно на родину — лишь через семь лет, — и возвращение его будет нелегким. Но он явно почувствовал, что это возвращение неизбежно и необходимо.

Пройдет не так уж много времени, и 1 декабря 1839 года Тютчев со всей определенностью напишет родителям: «Я твердо решился оставить дипломатическое поприще и окончательно обосноваться в России... Мне надоело существование человека без родины».

Но вернемся на два года назад. 9 мая 1837 года Тютчев с семьей выехал в Россию. Незадолго до отъезда он говорил в письме родителям о том, что в данный момент целиком поглощало его душу. Он писал о своей жене (эти слова отчасти уже приводились ранее), что «ни один человек не любил другого так, как она меня. Я могу сказать, уверившись в этом на опыте, что за одиннадцать лет не было ни одного дня в ее жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня. Это способность очень редкая и очень возвышенная, когда это не фраза. То, что я говорю, должно быть, покажется вам странным. Но... я имею на то свои причины. И эта дань, воздаваемая ей мною, является лишь очень слабым искуплением...».

Невозможно сомневаться в глубокой искренности этого стремления искупить свою вину. То, что вина Тютчева была достаточно тяжкой, не может быть оспорено. Но прежде чем осудить его, следует рассмотреть всю цельность его жизненного пути...

Прибыв в июне в Петербург, Тютчев, по-видимому, не знал, как разрешатся его служебные дела. Но именно в это время положение его несколько улучшилось. Этому помог-

ли, надо думать, хлопоты друзей — прежде всего Крюднеров, а также тот факт, что почти пятнадцатилетняя «беспорочная служба» Тютчева обязывала самого Нессельроде както считаться с ним. В 1835 году он был удостоен (десять лет пробыв камер-юнкером) придворного звания камергера, в 1836-м был произведен в надворные советники (достаточно высокий чин, соответствующий подполковнику). И 3 августа 1837 года он наконец получил уже не чаемое им «повышение» — был назначен старшим секретарем при русской миссии в Сардинском королевстве, в Турине. Конечно, это королевство на севере Италии не играло особой роли в политической жизни. Но все же речь шла о значительно большей самостоятельности и — что не могло не интересовать Тютчева, у которого к тому времени было уже три дочери (Дарья родилась в 1834-м, Екатерина — в 1835-м), — о сравнительно высоком жалованье.

Кроме того, приехав в Петербург, в котором он не был семь лет (да и тогда провел всего четыре месяца), поэт, несомненно, понял, что подлинное возвращение на родину требует глубокого преобразования всего его существа. Он даже бросил тогда в Петербурге жестокую, но и, пожалуй, очень горькую фразу: «У меня не тоска по родине, но тоска по чужбине».

Одна из причин, затруднявшая истинное возвращение Тютчева в Россию — и, надо думать, очень существенная причина, — заключалась в том, что его поэзия, как он узнал по приезде в Петербург, не нашла отзыва.

Неверно представление, будто Тютчева вообще не интересовала и не волновала судьба его творчества. Другое дело, что он считал неудобным или даже недостойным открыто выражать свои чувства по этому поводу. Но все же до нас дошли признания поэта, свидетельствующие, что он отнюдь не был равнодушен к тому, как отзовется его слово. Когда Иван Гагарин сообщил ему в письме от 12 июня 1836 года, что Вяземский, Жуковский и сам Пушкин высоко оценили его стихотворения, Тютчев тут же отвечал ему так: «Ваше последнее письмо доставило мне особое удовлетворение, — не удовлетворение тщеславия или самолюбия (такого рода радости отжили для меня свой век), но удовлетворение, которое испытываешь, находя подтверждение своим мыслям в согласии ближнего. В сущности, как только человек расстался со сферой чувств, для него, пожалуй, не остается иной реальности, кроме этого согласия, этой духовной связи. На этом основаны все религии, все общества, все языки».

Вот какой глубокий и всеобщий смысл и значение усматривает Тютчев в «отзыве» на свое поэтическое слово! И конечно, он не мог отнестись равнодушно к обнародованию двадцати четырех своих стихотворений в пушкинском «Современнике». Уже после гибели Пушкина он передал в «Современник» более десяти своих новых и ранее написанных произведений (они были опубликованы там в течение 1838—1840 годов).

Но в то же время не подлежит сомнению, что, оказавшись в июне 1837 года в Петербурге, Тютчев не мог не видеть, что его поэзия не нашла реального отзыва, — кроме разве самого узкого круга сотрудников «Современника». Об этом позднее свидетельствовал влиятельный критик сороковых годов Валериан Майков; в 1846 году, говоря об опубликованных десять лет назад в «Современнике» «истинно-поэтических» тютчевских стихотворениях, он четко сформулировал: «Там они и умерли... Странные дела делаются у нас в литературе!»

И в самом деле: стихотворения, опубликованные в 1836 году в «Современнике», впервые нашли настоящий отзыв лишь в 1850 году — в известной статье Некрасова. Пушкин обнародовал эти стихи, но лишь через почти полтора десятилетия Некрасов в первый раз печатно оценил их как принадлежащие к «немногим блестящим явлениям в области русской поэзии».

Следует сказать только, что Валериан Майков был не вполне прав, говоря о «странности» такой судьбы тютчевских стихотворений. В конце 1830-х — начале 1840-х годов судьба эта была нисколько не странной, а, если угодно, неизбежной. В русской литературе и культуре в целом совершался тогда чрезвычайно существенный и резкий перелом и даже самые высокие ценности, созданные в предшествующий период, как бы отходили на задний план. И поэзия Тютчева никак не могла в это время иметь иную судьбу.

Вот характерный факт того же рода: когда в 1842 году вышла в свет замечательная, поистине великая книга стихотворений Евгения Боратынского «Сумерки», она, по воспоминаниям современника, «произвела впечатление привидения, явившегося среди удивленных и недоумевающих лиц, не умевших дать себе отчета в том, какая это тень и чего она хочет?».

Но то же самое вполне можно было бы сказать и о появлении в 1836 году тютчевских стихотворений.

Поскольку все это имело очень существенное значение в жизни и творчестве Тютчева, необходимо разобраться в этом — достаточно сложном — вопросе. Уже шла речь о том,

что с середины 1830-х годов в русской литературе стало терять авторитет стихотворство, поэзия, которая еще совсем недавно безраздельно господствовала. Но это было только одним и, так сказать, внешним выражением более широких и значительных сдвигов в развитии русской литературы и культуры.

Для понимания сути совершавшегося в те годы процесса много могут дать позднейшие воспоминания Ивана Тургенева, который как раз в конце 1830-х входил в литературу. Обратиться к его свидетельствам в высшей степени уместно потому, что впоследствии, в 1850-х годах, именно Тургенев был одним из тех деятелей русской культуры, которые сумели оценить Тютчева и добились издания его первой книги. Но в 1836—1837 годах Тургенев вообще «не заметил» появления тютчевских стихотворений, — хотя, казалось бы, именно он, один из даровитейших представителей нового, молодого поколения русской литературы, к тому же начинавший как поэт, мог и должен был их оценить...

Чем же это объяснялось? В 1868 году, через тридцать лет после описываемого времени, Тургенев рассказывал: «Окончив курс по философскому факультету С.-Петербургского университета в 1837 году*, я весною 1838 года отправился доучиваться в Берлин... Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей. Из числа тогдашних преподавателей С.-Петербургского университета не было ни одного, который бы мог поколебать во мне это убеждение; впрочем, они сами были им проникнуты; его придерживалось и министерство, во главе которого стоял граф Уваров...»

Как явствует из дальнейшего рассказа, Тургенев был убежден не только в том, что в России нет «настоящего знания», но и в том, что в ней почти нет еще «настоящей» литературы и искусства. Тургенев, в частности, прямо заявляет, что «я, конечно, не написал бы “Записок охотника”, если б остался в России».

Но далее Тургенев — даже несколько неожиданно — говорит о том, что теперь, в 1868 году, когда он пишет свои воспоминания, он совершенно иначе, чем в 1838 году, — в сущности, даже прямо противоположно, — оценивает состояние русской литературы и культуры 1830-х годов. «Между тем, — пишет Тургенев, — та эпоха останется памятной в

---

* Таким образом, Тургенев в тот момент, когда появились стихотворения Тютчева, был студентом последнего курса.

истории нашего духовного развития. С тех пор прошло с лишком тридцать лет, но мы все еще живем под веянием и в тени того, что началось тогда; *мы еще не произвели ничего равносильного*» (курсив мой. — *В. К.*).

Это предстает как почти невероятное противоречие: в 1838 году Тургенев бросается за границу, так как не находит в России ничего «настоящего», а через тридцать лет приходит к выводу, что именно в то время, когда он уезжал из России, в ней как раз создавалось все самое «сильное», так и не превзойденное за последующие три десятилетия! И в этом Тургенев был совершенно прав, ибо 1830-е годы — это время, когда творили Пушкин, Гоголь, Тютчев, Лермонтов, Боратынский, Чаадаев, Иван Киреевский, Хомяков.

Выше шла речь о том, что Герцен, который был, во-первых, на шесть лет старше Тургенева, а с другой стороны, имел, пожалуй, более проницательности, уже в 1842—1843 годах по заслугам оценил духовное творчество двух последних из перечисленных деятелей того времени — Киреевского и Хомякова. Несмотря на все свои — весьма острые — разногласия с ними, Герцен писал тогда, что «статьи Ив. Киреевского удивительны; они предупредили современное направление в самой Европе» и что философский метод Хомякова «во многом выше формалистов гегельянских». Иначе говоря, Герцен уже в то время полагал, что отечественное «знание» кое в чем превосходит европейское, между тем Тургенев только в Европе усматривал «источник настоящего знания». Но Герцен в своем поколении был в этом плане настоящим исключением. Остальные его сверстники, как и Тургенев, ставили тогда отечественную культуру заведомо ниже европейской.

Тургенев в своих воспоминаниях говорил далее: «Весною только что протекшего (1836) года был дан в первый раз "Ревизор", а несколько недель спустя... "Жизнь за царя"»*. И добавляет тут же: «Я находился на обоих представлениях — и, сознаюсь откровенно, не понял значения того, что совершалось перед моими глазами. В "Ревизоре" я по крайней мере много смеялся, как и вся публика. В "Жизни за царя" я просто скучал. Правда, голос Воробьевой (Петровой), которой я незадолго перед тем восхищался... уже надломился... Но музыку Глинки я все-таки должен бы был понять...» И тем не менее — не понял, — как не понял тогда и поэзию Тютчева. Почему же? Тургенев дает замечательный по своей точности ответ. Он рассказывает, в частности, о

---

* Опера Глинки.

состоявшейся в начале 1837 года совершенно незначительной по смыслу беседе о творчестве Гоголя, в которой он принимал участие, и поясняет: «Белинский тогда едва начинал свою критическую карьеру — никто еще не пытался разъяснить русской публике значение Гоголя, в творениях которого оракул "Библиотеки для чтения"* видел один грязный малороссийский жарт».

И далее Тургенев подводит чрезвычайно весомый итог, утверждая, что в 1830-х годах в России «*литературы,* в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими столь же и более важными проявлениями их — *не было,* как и не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; *а была словесность* — и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали» (курсив мой. — *В. К.*).

Здесь необходимо сделать одно уточнение: Пушкин, Гоголь, Тютчев были конечно же не только непревзойденными «словесных дел мастерами». Они были гениальными поэтами, в творчестве которых красота сливалась с художественной истиной. И ныне всем ясно, что в тогдашней Европе — после смерти Гёте — не было уже поэтов, равных по своей мощи и глубине Пушкину, Тютчеву, Гоголю.

Но сейчас важно понять другое. Тургенев совершенно справедливо утверждал, что в России 1830-х годов не было литературы в широком социальном смысле этого слова — литературы как мощной общественной силы, объединяющей вокруг себя достаточно обширные и разнообразные круги людей и неразрывно связанной с политикой, идеологией, наукой. Для создания такой литературы и нужно было, к примеру (это конечно, только одна деталь многостороннего целого), как-то «разъяснить» творчество Гоголя.

Нельзя не сказать и о том, что Пушкин в конце жизни явно стремился именно к созданию литературы в этом самом смысле слова, и его журнал «Современник» был попыткой действовать именно в этом направлении; известно, что Пушкин не только одобрял в 1836 году критическую деятельность Белинского (несмотря на то, что последний весьма низко оценивал тогда творчество самого Пушкина), но и намеревался пригласить его работать в свой «Современник». 27 мая 1836 года Пушкин просил своего московского друга Нащокина послать Белинскому том «Современника» и добавлял: «Вели сказать ему, что очень жалею, что с ним не успел свидеться».

---

* Популярный тогда журнал.

Да, можно было бы привести немало фактов, убеждающих, что Пушкин тогда усматривал главную задачу времени в создании литературы в том самом смысле, в каком впоследствии употреблял это слово Тургенев.

Но осуществили эту задачу все же люди нового поколения, люди сороковых годов, среди которых главную роль играли Белинский и Герцен. Белинский еще в 1840 году писал, что «наша молодая литература по справедливости может гордиться значительным числом великих художественных созданий и до нищеты бедна хорошими беллетрическими* произведениями, которые, естественно, должны бы далеко превосходить первые в количестве». С этой точки зрения Белинский здесь же сопоставлял русскую литературу с европейскими: «Французская литература, бедная и ничтожная художественными созданиями**, едва ли еще не богаче других беллетрическими произведениями, благодаря которым она и удерживает свое исключительное владычество над европейскою читающею публикою».

Позднее, в 1845 году, Белинский высказался еще решительнее. Недостаточная развитость литературы в России, заявил он, выражается в том, что в ней «больше гениев, нежели талантов... С первого взгляда, — продолжал Белинский, — эта мысль может показаться странным парадоксом; но тем не менее она справедлива в основании». Ведь именно таланты, а не гении «имеют большое влияние на толпу».

И совершенно ясно, между прочим, что без постоянного расширения сферы реального воздействия литературы сами «гении» неизбежно остались бы достоянием чрезвычайно узкого круга ценителей. В сороковые годы движение литературы вширь было, по сути дела, важнее ее движения вглубь. И ведь именно благодаря этому движению вширь позднее, в пятидесятые годы, поэзия Тютчева обрела наконец сравнительно широкое общественное признание!

В своих уже цитированных воспоминаниях Тургенев совершенно верно сказал, что в тридцатые годы в России еще не имелось «литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими проявлениями их». И главной, неизбежно оттесняющей все остальное на второй план задачей тургеневского поколения

---

* Под беллетристикой Белинский понимал прежде всего не обладающие мощной творческой силой, но своевременно выражающие острые социальные вопросы произведения.

** Во Франции в самом деле не было в то время художников, достойных встать в один ряд с Пушкиным, Гоголем и Тютчевым.

было создание именно такой литературы, — без которой немыслимо было дальнейшее развитие России, — и ее общественности, и ее культуры. Поколение взялось за осуществление этой задачи — и исполнило ее.

И вполне понятно, что, создавая в России литературу в этом смысле слова, Тургенев и его сподвижники могли или, вернее будет сказать, не могли не ослабить свое внимание к тому, что было сотворено до них, — и прежде всего к поэзии в тютчевском, да и в пушкинском (если иметь в виду его наиболее зрелые творения) духе. Было бы заведомо неправильно сказать, что люди 1840-х годов вообще были неспособны ценить эту поэзию. Но они полагали — и вполне основательно, — что теперь России нужны, более того, необходимы иные свершения.

Белинский вполне недвусмысленно писал в статьях (в 1844 году), что «Пушкин принадлежит к той школе искусства, которой пора уже миновала совершенно в Европе и которая даже у нас не может произвести ни одного великого поэта... время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило... животрепещущего интереса... И... публика... не была в состоянии оценить художественного совершенства его последних созданий». В еще большей степени эти слова можно отнести к поэзии Тютчева.

Предельно кратко обо всем этом можно сказать так: для дальнейшего развития России необходима была не столько поэзия, сколько литература (в том смысле, в каком употребил это слово Тургенев).

Но отсюда вовсе не следовало (о чем никак нельзя умолчать), что Пушкин и другие деятели тридцатых годов вообще, так сказать, не участвовали в дальнейшем движении литературы. Как верно говорил Тургенев (эти его слова уже цитировались), и через тридцать лет (то есть в 1860-х годах) «мы еще живем под веянием и в тени того, что началось тогда»; «мы еще не произвели ничего равносильного» (это конечно же относится не только к шестидесятым, но и к сороковым годам). Но надо поставить вопрос даже еще более определенно и решительно. Тургенев и его сподвижники создавали литературу как мощную и раздающуюся вширь общественную силу. Однако самая возможность создания в России такой литературы возникла именно и только потому, что уже свершили свой творческий подвиг и Пушкин, и Тютчев, и другие их современники.

Тургенев ехал в Европу, где литература как общественная сила уже была широко развернута, — ехал брать уроки такой

литературной (а также политической, философской, научной) деятельности. Но если бы на родине Тургенева не было гениальных творений, воплотивших в себе красоту и истину, в нем не могла бы родиться сама эта глубокая и жадная потребность идти дальше и вширь. Пусть Тургенев не осознавал этого в 1837 году, но все-таки неумолимую жажду «настоящего знания» пробуждало в нем уже сотворенное величие русской культуры; это величие составляло подлинную — пусть и не замечаемую им — основу его духа, его творческого устремления.

Бесспорным доказательством правоты такого решения является тот выразительнейший факт, что впоследствии, в 1850-х годах, Тургенев, как и другие деятели его поколения, начиная с Некрасова, возвратился к тютчевским творениям, опубликованным в 1836 году! Да, в 1854 году тот самый Тургенев, который восемнадцатью годами ранее вообще не обратил никакого внимания на тютчевские стихотворения, писал, что Тютчев — «один из самых замечательных русских поэтов; или скажем более: в наших глазах, как оно ни обидно для самолюбия современников, г. Тютчев... стоит решительно выше всех своих собратьев... Он... создал речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше подобного сознания награды нет».

В статье Тургенева всецело воскресло даже само явление тютчевских творений в пушкинском «Современнике»; за восемь лет до того Валериан Майков сказал, что эти творения «там и умерли», а Тургенев начал разговор о Тютчеве как о поэте, «завещанном нам приветом и одобрением Пушкина». Словом, сама «встреча» Тютчева с Пушкиным отнюдь не прошла бесследно, но явила собой выдающееся, даже великое событие в развитии русской поэзии, — событие, казалось бы, прочно забытое в 1840-х годах, но сразу ожившее, сразу воскресшее в тургеневской статье 1854 года.

Мы заглянули в еще довольно отдаленное будущее, но без этого нельзя понять то, с чем столкнулся Тютчев в 1837 году, и что, по всей вероятности, еще более затрудняло его подлинное возвращение на родину. Его поэзия в данное время явно была как бы никому не нужной. При всей своей авторской скромности, Тютчев не мог не сознавать, что его стихотворения, с такой невиданной щедростью обнародованные Пушкиным на страницах «Современника», являют собой образцы истинной поэзии. Но когда Тютчев через девять месяцев после выхода в свет третьего тома этого журнала приехал в Петербург, он не обнаружил никаких печатных выступлений о своих стихах и наверняка не услышал каких-

либо устных откликов — кроме разве уже известного ему восхищенного сочувствия Вяземского и Жуковского.

В другой литературной ситуации Тютчев мог бы, приехав в Петербург после опубликования таких стихотворений, узнать о том, что он — известный и высоко ценимый поэт. Но на это не было и намека. А Пушкина, так прекрасно встретившего его поэзию, уже не было в живых.

И Тютчев, очевидно, должен был прийти к выводу, что его поэзии нет места на родине...

Восьмого августа 1837 года Тютчев, пока еще один, без семьи, выехал из Петербурга в Европу, к новому месту службы. Прибыв 25 августа в Мюнхен, он задержался здесь на месяц, а в начале октября добрался до Турина. Это было, в сравнении с Мюнхеном, европейское «захолустье». Но Тютчев сумел и здесь нащупать силовые линии мировой политики.

Сардинское королевство включало в себя североитальянские области Пьемонт и Лигурию, а также остров Сардинию; столица — Турин, главный порт — Генуя.

Тютчев сразу же по приезде узнал, что у него есть возможность будущей осенью стать здесь на целый год поверенным в делах, то есть обрести возможность самостоятельной деятельности (это осуществилось даже раньше, в июле 1838 года).

Вместе с тем его новое состояние духа, поворотившееся к родине, побудило Тютчева написать родителям через месяц после приезда в Турин (1 ноября 1837 года): «Скажите, для того ли я родился в Овстуге, чтобы жить в Турине? Жизнь, жизнь человеческая, куда какая нелепость!» В том же письме Тютчев говорил: «Позвольте мне побеседовать с вами о том, что озабочивает меня более всего на свете и — я могу по справедливости сказать это — ежеминутно в течение целого дня. Я хочу поговорить с вами о жене... Было бы бесполезно стараться объяснить вам, каковы мои чувства к ней. Она их знает, и этого достаточно. Позвольте сказать вам лишь следующее: малейшее добро, оказанное ей, в моих глазах будет иметь во сто крат более ценности, нежели самые большие милости, оказанные мне лично».

Это было, несомненно, выражением глубоко искренних чувств к жене, что подтверждается и всем последующим.

И все же... все же дней через десять Тютчев выезжает на две недели в Геную, чтобы встретиться там с Эрнестиной...

Правда, есть основания полагать, что это свидание в Генуе было прощанием Тютчева со своей любовью, — о чем и

сказано в созданном тогда стихотворении «1-е декабря 1837» (поэт, как это вообще ему было присуще, обращается в этих стихах, очевидно, к самому себе «во втором лице»):

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости...
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь твою убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!..

Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

Здесь же Тютчев написал стихи об итальянской вилле, сонный покой которой смутила

Та жизнь — увы! — что в нас тогда текла,
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром...

Оба эти глубоко личные стихотворения поэт сразу же передал в «Современник», где они и были вскоре опубликованы (тома 9 и 10, 1838 год). Можно подумать, что Тютчев стремился тем самым как бы закрепить, утвердить свое «прости». Вероятно, по обоюдному согласию поэт и его возлюбленная решили навсегда расстаться, убить все то, «чем сердце жило».

Правда, в марте 1838 года Тютчев, по всей вероятности, еще раз виделся с Эрнестиной. По просьбе Эрнестины ее подруга Ипполита Рехберг сделала тогда известный акварельный портрет Тютчева*. Но, по-видимому, именно в создании портрета, который Эрнестина Дёрнберг затем хранила как память о возлюбленном, и заключался смысл этой встречи.

Сказав свое «последнее прости» Эрнестине, Тютчев всем существом обращается к семье. В письме от 13 декабря 1837 года он пишет жене: «Запоздание твоих писем заставляет меня переживать тяжелые минуты... Нет ни одной минуты, когда я не ощущал бы твоего отсутствия. Я никому не желал бы испытать на собственном опыте всего, что заключают в себе эти слова».

Ранее Тютчев послал жене несколько очень пространных писем — целых «томов», как он выражается (они, к сожалению не дошли до нас). По всему видно, что он твердо ре-

* Выяснено С. А. Долгополовой.

шил возродить свою потрясенную в 1833—1836 годах семейную жизнь.

Это явствует, в частности, из того, что Тютчев тогда же начинает хлопотать о назначении его курьером в Россию. Прошло всего около полугода, как он расстался в Петербурге с семьей, а разлука уже становится для него невыносимой. Он не может дождаться весны, когда семья должна приехать в Турин.

Отсрочка приезда тютчевской семьи в Турин объяснялась вполне прозаически — не было денег для весьма дорогостоящего путешествия на лошадях и приходилось ждать весенней навигации, чтобы отправиться из Петербурга на пароходе. Получив от Тютчева сообщение о его намерении вернуться в Россию, Элеонора 15 декабря 1837 года пишет брату поэта Николаю: «Вы один можете говорить с ним и вразумить его; ради Бога, напишите ему немедленно, заставьте его понять, что его болезненное воображение сделало из всей его жизни припадок горячки. О Николай, мое сердце разрывается при мысли об этом несчастном. Никто не понимает, не может себе представить, как он страдает, а говорить, что это *по его собственной вине,* это значит укором заменить сострадание». Тут же она добавляет: «Если бы у меня был хороший экипаж и деньги, эти проклятые деньги, я поехала бы к нему».

Зная все события предшествующих лет, нельзя не преклониться перед этим выражением чувства, которое в высокой степени присуще германским натурам и обозначается словом «Treue» (слова «верность» или «преданность», употребляемые для перевода, не вполне ему соответствуют). Элеонора говорит в том же письме к Николаю Тютчеву: «Я Вам так мало сказала, но тем не менее я знаю, что Вы понимаете, что такое моя жизнь; я бы охотно пожертвовала половиной ее для того, чтобы другая стала спокойна и безмятежна, но этого ничем нельзя купить...»

Тютчев тогда или не добился назначения курьером в Петербург, или же сам, побуждаемый женой, решил отказаться от неразумного путешествия (ведь вскоре все равно надо было бы возвращаться в Турин) и стал ждать приезда семьи.

Четырнадцатого мая 1838 года Элеонора с тремя малолетними дочерьми (Анне было девять лет, Дарье — четыре, Екатерине — два с половиной года) села на пароход, направлявшийся из Кронштадта в Любек. Среди почти трехсот пассажиров парохода были Петр Вяземский и молодой Иван Тургенев, как раз тогда и двинувшийся в Европу за «знанием».

Уже вблизи Любека в ночь с 18 на 19 мая на пароходе

вспыхнул пожар. Через сорок пять лет, перед самой своей смертью, Тургенев подробно описал эту поистине страшную ночь в очерке «Пожар на море»*. Погасить пламя не было возможности. Капитан нашел спасительное решение: устремил корабль к скалистому берегу у местечка Эльменхорст и посадил его на мель, а затем пассажиры кое-как переправились на берег. Пароход сгорел дотла, но погибли всего пять человек. Элеонора Тютчева (Тургенев упоминает в своем очерке как «госпожу Т...», без сомнения, именно ее), спасая своих детей, испытала тяжелейшее нервное потрясение. Она писала на другой день после спасения сестре Тютчева Дарье: «Дети невредимы! — только я пишу Вам ушибленной рукой... Никогда Вы не сможете представить себе эту ночь, полную ужаса и борьбы со смертью!»

Добравшись до Гамбурга, Элеонора вынуждена была пробыть здесь около двух недель, не имея сил двинуться в дорогу к мужу. Врачи опасались за ее жизнь.

Лишь 30 мая французские газеты, сообщавшие о гибели русского парохода, на котором, как точно знал Тютчев, плывет его семья, дошли до Турина. О судьбе пассажиров не было ни слова. Потрясенный Тютчев немедленно выехал в Германию. Добравшись до Мюнхена к 4 июня, он узнал, что его семья спасена. Его ожидало здесь письмо жены, извещавшее о том, что она с детьми выезжает в Мюнхен.

Пробыв в Мюнхене около месяца, Тютчев с женой, оставив пока детей у родственников Элеоноры, отправляется в Турин. С 22 июля он приступил к исполнению обязанностей поверенного в делах в Сардинском королевстве.

Жизнь Тютчевых в Турине была очень нелегкой. Приходилось устраиваться заново в совершенно чужом городе, к тому же при крайнем недостатке средств. Во время пожара на пароходе, как писала Элеонора, «все потеряли всё — бумаги, деньги, вещи». Семье было предоставлено правительственное пособие, но его не хватало на самое необходимое. Элеонора писала 4 августа 1838 года родителям Тютчева: «Только несколько дней тому назад нашли дом. Жить будем в пригороде... так как квартиры здесь много дешевле. Теперь надо меблироваться, и я нахожусь в поисках торгов и случайных вещей, но купить ничего не могу по той простой причине, что у нас нет денег... Банкир выдал Федору вперед его жалованье за сентябрь, и на это мы живем...»

---

* Умолчав, правда, о том, что сам он проявил тогда неблаговидное малодушие (рвался к шлюпкам, опережая детей и женщин, так что моряки были вынуждены его отталкивать).

Все это окончательно надломило здоровье Элеоноры, и достаточно было сильной простуды, чтобы оборвать ее жизнь. 27 августа 1838 года в возрасте сорока лет она скончалась на руках мужа, — по словам его самого, «в жесточайших страданиях...».

Тютчев в одну ночь поседел от горя. 6 октября он писал Жуковскому, в тот момент находившемуся недалеко от Турина, в итальянском городке Комо, — прося его о свидании: «Есть ужасные годины в существовании человеческом... Пережить все, чем мы жили — жили в продолжение целых двенадцати лет... Что обыкновеннее этой судьбы — и что ужаснее? Все пережить и все-таки жить...

В несчастии сердце верит, т. е. понимает. И потому я не могу не верить, что свидание с Вами в эту минуту, самую горькую, самую нестерпимую минуту моей жизни, — не слепого случая милость. Вы недаром для меня перешли Альпы... Вы принесли с собою то, что после нее я более всего любил в мире: отечество и поэзию».

Тринадцатого октября Тютчев встретился с Жуковским. На следующий день они плавали на яхте по озеру Комо, и Жуковский записал в дневнике: «Глядя на север озера, он сказал: “За этими горами Германия”. Он горюет о жене, которая умерла мученическою смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене».

Чувствуется, что для сознания Жуковского это было необъяснимым, темным противоречием. Но через пять лет, в годовщину смерти Элеоноры, Тютчев писал той самой своей другой возлюбленной, мысль о которой смутила душу Жуковского в Комо:

«Сегодняшнее число... печальное для меня число. Это был самый ужасный день в моей жизни, *и не будь тебя,* он был бы, вероятно, и последним моим днем. Да хранит тебя Бог».

Тютчев, конечно, понимал, что сторонние взгляды могут жестоко осудить его, который, едва оправившись от потрясенности смертью жены, весь отдается другой любви. В декабре 1838 года в Генуе состоялась его тайная помолвка с Эрнестиной Пфеффель (Дёрнберг) — об этом не знали даже ближайшие родственники. «Все пережить и все-таки жить...» И вероятно, это было странно или даже страшно: в той самой Генуе, о которой ровно год назад он писал:

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости... —

он начинал теперь новую жизнь.

Первого марта 1839 года Тютчев подал официальное заявление о своем намерении вступить в новый брак. Май жених

и невеста, вместе с ее братом Карлом Пфеффелем, провели во Флоренции. А 17 июля 1839 года Тютчев обвенчался с Эрнестиной Федоровной в Берне, в церкви при русском посольстве... Ему было тридцать пять с половиной лет, ей — двадцать девять. 23 февраля 1840 года родилась первая дочь Тютчева и Эрнестины Федоровны Мария.

Но пережитая трагедия, с которой не могло не быть связано чувство глубокой вины, конечно, оставалась в душе Тютчева. 1 декабря 1839 года он писал родителям, что «есть вещи, о коих невозможно говорить, — эти воспоминания кровоточат и никогда не зарубцуются».

В цитированном письме Жуковскому от 6 октября 1838 года Тютчев говорит о своей любви к отечеству. Это не было риторическим оборотом. 22 июля 1838 года Тютчев, как уже говорилось, принял бразды правления в русском посольстве в Турине. Через день он писал члену Совета Министерства иностранных дел П. Г. Дивову, который в этот момент управлял министерством (Нессельроде находился в заграничной поездке): «Я не премину вносить в исполнение возложенных на меня обязанностей все то рвение, которого вправе от меня требовать служба... и все то разумение, к коему я способен». Не следует забывать, что Тютчев тогда впервые за пятнадцать лет своей дипломатической службы обрел возможность самостоятельной деятельности. Он пробыл в должности поверенного в делах всего лишь одиннадцать месяцев, в течение которых скончалась Элеонора и решался вопрос о его второй женитьбе. Но, — как это ни противоречит общепринятому представлению о чуть ли не полной «несостоятельности» Тютчева как дипломата, — за этот краткий срок он отправил в Петербург сорок два донесения, среди коих имеются весьма существенные по содержанию. При этом он сумел преодолеть свою личную трагедию — уже всего через месяц после похорон Элеоноры на кладбище под Турином он составляет донесение, проникнутое твердой и целеустремленной политической волей. Вместе с тем можно предполагать, что интенсивная дипломатическая деятельность была для Тютчева и своего рода спасением от скорби и отчаяния, порожденных тяжелейшей утратой.

Пятого октября 1838 года Тютчев направляет в Петербург пространное донесение, в котором он, в частности, основываясь на очередном послании Туринского архиепископа, раскрывает вредоносную роль политики иезуитов и папства вообще в судьбах Европы и мира, включая, разумеется, Россию (впоследствии Тютчев не раз будет говорить об этом и в

статьях, и в политических стихах). В донесении он призывает к тому, чтобы русская внешняя политика так или иначе противостояла претензиям Римской церкви управлять миром.

Более конкретный характер имеет тютчевское донесение от 23 ноября 1838 года, которое представляет собой результат внимательнейшего изучения внешнеполитических акций Сардинского королевства.

«Сардинский кабинет, — писал Тютчев, — доселе содержит в тайне конвенцию, которую он только что заключил с американским правительством. Вот, однако, что я узнал об этом; полагаю, что могу сообщить эти сведения как достоверные.

Американский агент предложил полную отмену в обеих странах дифференциальных пошлин на некоторые продукты... Таким образом, избрав путь на Сардинское государство и на Геную, американская торговля будет иметь возможность, не уплачивая транзитных пошлин, выбрасывать в центр Швейцарии и герцогства Пармского все свои товары, которые оттуда будут переправляться контрабандным путем в Германию, во Францию или в Ломбардию... Из всех этих подробностей, по-видимому, явствует, что цель, которую преследовали американцы, заключалась в том, чтобы прочно утвердиться в Средиземном море».

Далее Тютчев обращался к Нессельроде со следующим многозначительным пояснением: «Не без оснований почел я себя вправе подвергнуть Ваше Сиятельство скуке этого чтения. Я полагаю, что сделка, готовящаяся между сардинским правительством и Соединенными штатами, заслуживает внимания нашего двора не с одной коммерческой точки зрения. Действительно, одним из самых несомненных последствий этой сделки будет все большее и большее проникновение американского флота в Средиземное море... Между тем все, что может способствовать такой державе, как Соединенные штаты, к укреплению своего положения в Средиземном море и окончательному водворению там, не может, при настоящем положении вещей, не представлять значительного интереса для России».

Трудно переоценить политическую широту и прозорливость Тютчева. Он, конечно, не мог знать, к примеру, что еще за полтора десятка лет до его донесения, 1 июня 1822 года, один из влиятельнейших политических деятелей США, Томас Джефферсон, писал другому крупнейшему американскому деятелю, Джону Адамсу (оба успели побывать президентами США): «Создается впечатление, что европейские варвары вновь собираются истреблять друг друга. Русско-

турецкая война* напоминает схватку между коршуном и змеей: кто бы кого ни уничтожил, одним разрушителем в мире станет меньше... Истребление безумцев в одной части света способствует росту благосостояния в других его частях. Пусть это будет нашей заботой и давайте доить корову, пока русские держат ее за рога, а турки за хвост».

Из этого ясно, что руководители еще весьма молодого государства США — ему не исполнилось тогда и полувека — уже определяли основные принципы его мировой политики**. И Тютчев не только зорко разглядел тайные интриги в Сардинском королевстве, но и проник в самую суть политики США, сумел в незначительном, казалось бы, факте отмены торговых пошлин увидеть нечто неизмеримо более масштабное и имеющее прямое отношение к судьбам мира и России.

Однако Нессельроде или не смог, или не захотел понять и оценить деятельность Тютчева. Речь идет даже не о том, что цитированное донесение не имело никаких последствий. Речь идет о том, что на основе уже одного этого донесения вполне можно было прийти к выводу о высокой значительности Тютчева как дипломата и предоставить ему реальную и широкую возможность действовать.

Но произошло совсем иное: Тютчев был вообще отставлен от дипломатии. Нельзя не сказать о том, что Тютчев оказался на сравнительно ответственном посту поверенного в делах в Сардинском королевстве, по сути дела, случайно. Накануне его прибытия в Турин на должность старшего секретаря жена русского посланника А. М. Обрезкова явилась в королевский дворец в головном уборе, считавшемся особой привилегией королевы, и это привело к своего рода выговору посланнику от имени сардинского министра иностранных дел. Обрезков счел это оскорблением его как представителя великой державы и обратился к царю с просьбой об отставке. Николай I, хотя и посмеялся над этой историей, решил все-таки дать «урок» королевству: принять отставку Обрезкова и не удостаивать Турин новым посланником. Так

---

* Такая война в то время назревала, но не началась.

** Стоит напомнить, что через сто двадцать лет, 24 июня 1941 года, сенатор, будущий президент США Гарри Трумэн (тот самый, который четыре года спустя прикажет сбросить атомные бомбы на японские города), без обиняков заявил на страницах газеты «Нью-Йорк таймс» о начавшейся 22 июня великой битве: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше друг друга».

Тютчев и стал поверенным в делах; прислать в Турин другого человека в сложившихся условиях было невозможно.

Тютчев, как мы видели, оправдывал обещания, данные после его вступления в должность в письме замещавшему Нессельроде П. Г. Дивову, — «вносить в исполнение возложенных на меня обязанностей все рвение... и все разумение». Вполне естественно было бы предположить, что после года службы поверенным в делах Тютчев мог рассчитывать на повышение. Кстати сказать, еще во время встречи с Жуковским в октябре 1838 года он попытался воспользоваться знакомством с великим поэтом. Дело в том, что Жуковский сопровождал наследника престола, будущего Александра II, который инкогнито путешествовал по Италии. И благодаря посредству Жуковского Тютчев представился наследнику, надеясь на его поддержку в своей дипломатической карьере, и в самом деле получил от него «милостивые обещания». Но все оказалось напрасным.

Когда весной 1839 года в Турин назначили наконец посланника, Н. А. Кокошкина, Тютчев был как бы снова «понижен» в прежнюю свою должность старшего секретаря миссии. Трудно сомневаться, что Тютчев воспринял это весьма тяжело. Поприще самостоятельной дипломатической деятельности снова оказалось для него недоступным.

И 6 октября 1839 года Тютчев отправил Нессельроде просьбу освободить его от должности секретаря миссии и разрешить остаться пока для устройства личных дел за границей. 8 ноября 1839 года Тютчев был официально «отозван» из Турина «с оставлением до нового назначения в ведомстве Министерства иностранных дел».

Тютчев, поселившийся с женой в Мюнхене, 1 декабря сообщил родителям, что Нессельроде «очень учтиво ответил мне согласием на мою просьбу. Теперь вот каковы мои намерения. В будущем мае мы поедем в Петербург, как я обязался перед министерством, и, если только мне не предложат какого-либо поста положительно выгодного, какого-либо необычайного повышения — что мало вероятно — если, повторяю, не будет подобной счастливой случайности, я твердо решился оставить дипломатическое поприще и окончательно обосноваться в России».

Впрочем, Тютчев пока еще на что-то надеялся. Через два месяца, 20 января 1840 года, он пишет родителям о том, что «граф Нессельроде собирается приехать будущим летом в Германию, вероятно, на Богемские воды. Я очень желаю, чтобы это состоялось. Ибо все эти сильные мира более доступны и более покладисты за границей, нежели у себя до-

ма. Поэтому, как только я узнаю, что он в Карлсбаде, я к нему отправлюсь. Я еще не знаю в точности, о чем я буду его просить, но буду просить... Должность секретаря при миссии для меня не подходит. Я ни в коем случае не приму ее. Но еще вопрос, согласятся ли они... дать мне более или менее подходящее место... Недавно я получил значок за пятнадцать лет службы. Это довольно жалкое вознаграждение за пятнадцать лет жизни — и каких лет!».

Прошло еще около трех месяцев, и Тютчев вновь сообщает родителям (14 апреля 1840-го) о том, что его так волнует: «Великий князь Наследник... в Дармштадте, и в будущем месяце я рассчитываю поехать туда, чтобы представиться ему и при случае напомнить его милостивые обещания, данные в прошлом году. Я только что написал по этому поводу Жуковскому...» Но все это были заведомо напрасные надежды. И Тютчев, вероятно, чувствовал это; во всяком случае, о каких-либо его тогдашних действиях в этом направлении ничего не известно. К тому же его не могли не отвлекать заботы разрастающейся семьи. Эрнестина Федоровна фактически удочерила Анну, Дарью и Екатерину. «Утрата, понесенная ими, — писал Тютчев, — для них почти возмещена. Тотчас по приезде в Мюнхен мы взяли их к себе». В феврале 1840 года, как уже говорилось, Эрнестина Федоровна родила дочь Марию, а 14 июля 1841 года — сына Дмитрия.

Вместе с тем, живя в Мюнхене, Тютчев поддерживал самые тесные отношения с русской миссией и продолжал со всем вниманием следить за политической жизнью. Нет сомнений, что он имел еще твердое намерение вернуться к дипломатической службе. Но, не будучи уверен в том, что получит способное удовлетворить его назначение, все откладывал поездку в Петербург, ожидая, по-видимому, каких-то благоприятных обстоятельств. И в конце концов 30 июня 1841 года Тютчев за длительное «неприбытие из отпуска» был уволен из Министерства иностранных дел и лишен звания камергера. В документе об этом увольнении указано, в частности, что «местопребывание» Тютчева «в министерстве неизвестно»; эта фраза явно представляла собой чисто формальную отписку, так как посольство в Мюнхене знало о Тютчеве все подробности.

Более того, сообщение об увольнении Тютчева было направлено в Мюнхен, и тогдашний посланник Д. П. Северин писал Нессельроде «о глубоком чувстве горечи, с каким он (Тютчев. — *В. К.*) встретил объявленный ему приговор».

Впоследствии, уже после кончины Тютчева, были высказаны не имеющие сколько-нибудь достоверных подтвержде-

ний версии, согласно которым Тютчев был уволен из министерства за очень серьезное прегрешение: стремясь скорее совершить обряд бракосочетания и ради этого бросив на произвол судьбы посольство, он все же взял с собой дипломатические шифры, но «в суматохе свадьбы и путешествия» потерял их...

Однако никак невозможно поверить, что такой тяжкий проступок, как потеря шифров, оставался столь долго незамеченным, не нашел какого-либо отражения в документах и был «наказан» только через два года (Тютчев не мог совершить этого поступка позднее июля 1839 года, когда он вообще уехал из Турина, а увольнение его состоялось лишь 30 июня 1841 года). Между тем 22 августа 1839 года Тютчев получил «знак отличия за беспорочную службу», а в декабре того же года был произведен в коллежские советники (что соответствует чину полковника).

Словом, Тютчев был уволен из министерства и лишен звания камергера именно за «длительное неприбытие». При этом нет никаких сведений о его предварительном «розыске» (собственно, искать было и не нужно — многие русские дипломаты прекрасно знали, что Тютчев с 24 августа 1839 года живет со своей семьей в Мюнхене и постоянно бывает в русской миссии)*. И по меньшей мере странно, что Министерство иностранных дел попросту констатирует «неизвестность местопребывания» своего находящегося в столь высоком чине сотрудника.

Если мы вспомним, что незадолго до того, в 1838 году, Нессельроде уволил после более чем двадцатилетней службы крупнейшего дипломата века А. М. Горчакова (который вообще не имел собственно служебных прегрешений), становится ясно, что изгнание Тютчева было обусловлено неугодностью его политической позиции, а не какими-либо проступками. Конечно, неприбытие в Петербург было проявлением недисциплинированности. Но оно все же являлось только поводом, а не истинной причиной полного отлучения Тютчева от дипломатии. Сама формулировка «местопребывание неизвестно» как бы утверждала его дипломатическое небытие...

Но — и это особенно замечательно — именно после своего увольнения поэт занялся весьма активной внешнеполитической деятельностью. Увольнение в известной мере развязало ему руки...

---

* Достаточно сказать, что русский посланник в Мюнхене Северин был крестным отцом родившегося в 1841 году сына Тютчева Дмитрия.

Вскоре после получения известия о том, что он больше не состоит на службе в Министерстве иностранных дел, Тютчев приезжает в Прагу и встречается с одним из вождей чешского национального возрождения Вацлавом Ганкой (1791—1861).

Отношение Тютчева к чехам и вообще к славянам — это большая и очень сложная проблема, которую еще не раз придется затронуть. Сразу же следует сказать, что поэт, строго говоря, никогда не был славянофилом в том смысле, в каком этот термин употребляется при характеристике мировоззрения братьев Киреевских и Аксаковых, Хомякова и Самарина, — хотя у него и было немало близких славянофилам представлений; кроме того, Тютчев считал нужным или даже необходимым поддерживать славянофилов и опираться на их деятельность.

Но, не будучи славянофилом по основной сути своих воззрений, Тютчев все же с молодых лет видел в славянах (пусть даже нередко не без глубоких сомнений и колебаний), так сказать, естественных союзников России. Еще в 1831 году, когда русское славянофильство (в прямом, точном значении слова) даже не начинало складываться, он размышлял об исторической задаче России:

Славян родные поколенья
Под знамя русское собрать...

Но пока Тютчев служил под эгидой Нессельроде, он едва ли мог позволить себе какие-либо «славянские» акции. Ведь целый ряд славянских народов находился под владычеством Австрии, в соблюдении интересов которой Нессельроде видел свою неукоснительную цель. Поэтому любое обращение к славянам как самостоятельным нациям было недопустимым для русских дипломатов поведением.

Тютчев же встретился с Вацлавом Ганкой именно как с представителем одного из славянских народов. После дружественных бесед с Ганкой поэт 26 августа 1841 года записал в его альбом стихотворение, которое смог опубликовать лишь в 1858 году:

Вековать ли нам в разлуке?
Не пора ль очнуться нам
И подать друг другу руки,
Нашим кровным и друзьям?
. . . .
Вот среди сей ночи темной,
Здесь, на пражских высотах,
Доблий* муж рукою скромной

* Доблий *(ст.-рус.)* — доблестный.

Засветил маяк впотьмах.
О, какими вдруг лучами
Озарились все края!
Обличилась перед нами
Вся Славянская земля!
Горы, степи и поморья
День чудесный осиял,
От Невы до Черногорья,
От Карпатов за Урал.
Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил,
И с Москвой золотоглавой
Вышеград заговорил!..

Тютчев видел в единении всех славянских народов одно из условий того общечеловеческого порядка, того миростроя, который представлялся ему грядущим идеалом. Стихотворение кончается строками:

Наяву увидят внуки
То, что снилося отцам!

Знаменательно, что поэт включил в называемые им славянские святыни и Варшаву. За десять лет до того, как известно, русские войска подавили Польское восстание 1830 года, и отношение многих поляков к России было, вполне понятно, враждебным. Поскольку Тютчев не раз с глубоким вниманием обращался к «польскому вопросу», необходимо хотя бы кратко коснуться этой проблемы.

Многие полагают, что значительная часть польских земель была присоединена к Российской империи в результате так называемых разделов Польши (их было три) в конце XVIII века. На самом же деле в состав России вошли в то время почти исключительно только исконные белорусские и украинские земли (которые и сейчас входят в состав соответствующих республик), а собственно польские земли были тогда поделены между Австрией и Пруссией (которая еще ранее присоединила к себе западные области Польши).

Далее, в 1807—1809 годах Наполеон отнял часть польских земель у Пруссии и Австрии и образовал на них зависимое от Франции Варшавское герцогство, которое стало плацдармом для наполеоновского похода в Россию в 1812 году и приняло самое активное участие в этом походе. В качестве своего рода наказания за это часть Варшавского герцогства (включая Варшаву) была после разгрома Наполеона по решению общеевропейского Венского конгресса присоединена к России на правах относительно автономного Царства Польского.

Наполеон в 1807—1812 годах, стремясь целиком привлечь на свою сторону польское шляхетство, предоставил ему всякого рода привилегии. И варшавские аристократы после разгрома Наполеона вспоминали о своей дружбе с Парижем как об утраченном рае. На этих настроениях и выросло восстание.

В 1848 году Фридрих Энгельс дал вполне верную характеристику восстания: «Чего хотела польская аристократия в 1830 году? Отстоять приобретенные ею права от посягательств со стороны императора (российского. — *В. К.*). Она ограничивала восстание той небольшой областью, которую Венскому конгрессу угодно было назвать Королевством Польским; она сдерживала порыв в других польских землях*...

Скажем прямо: восстание 1830 года не было ни национальной революцией (оно оставило за бортом три четверти Польши), ни социальной или политической революцией; *оно ничего не изменяло во внутреннем положении народа;* это была консервативная революция»** (курсив мой. — *В. К.*).

И лучшие люди тогдашней России ясно видели, что речь идет не о коренных интересах польского народа, а главным образом о претензиях того шляхетства, которое даже не имело подлинного национального самосознания и хотело быть скорее чем-то вроде парижской знати. Не приходится уже говорить о том, что повстанцы требовали отдать им Белоруссию и Правобережную Украину, включая Киев...

Поэтому Пушкин и Боратынский, Чаадаев и Киреевский, Гоголь и Лермонтов отнеслись к Польскому восстанию недвусмысленно отрицательно. Точно так же восприняли его находившиеся уже пять лет в Сибири декабристы. Один из наиболее выдающихся и самых стойких представителей движения Михаил Лунин написал специальную работу «Взгляд на польские дела», в которой доказывал, что у участников восстания «глаза обращены к Франции, которая ради удовлетворения своих интересов... послала их соотечественников на гибель***; они хвалятся своей верностью деспоту, которого они называют героем века, и утверждают, что кровь поляков — его собственность. В варшавском восстании нельзя найти ни признаков, ни свидетельств народного движения... Оно не выдвинуло ни одной органической идеи, никакого общественного интереса...».

---

* Имеются в виду области, присоединенные к Пруссии и Австрии, где поляки, кстати сказать, подверглись мощной ассимиляции.

** *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 4. С. 492.

*** Имеется в виду, в частности, поход в Россию.

Широко известны стихотворения Пушкина «Бородинская годовщина» и «Клеветникам России» (о котором Чаадаев писал ему: «Стихотворение к врагам России особенно изумительно... Мне хочется сказать: вот, наконец, явился наш Дант») и Лермонтова «Опять народные витии...».

Совершенно независимо от Пушкина Тютчев в 1831 году создал в Мюнхене стихотворение «Как дочь родную на закланье...», в котором так обращался к Польше:

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер!
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, зародится в нем.

Это стихотворение, подобно пушкинским, обнажило всю трагедийную противоречивость события. Пушкин в иных поэтических образах говорил, в сущности, о том же:

Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Позднее, в 1834 году, Пушкин с глубокой горечью писал о своем недавнем близком друге, польском поэте Адаме Мицкевиче, эмигрировавшем во Францию:

Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он наполняет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. Боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром.

Стихи не были опубликованы, и Тютчев почти наверняка их не знал. Тем изумительнее тот факт, что уже после смерти Пушкина он прямо-таки продолжил эти стихи. В 1842 году Тютчев познакомился с записями части лекций об истории и культуре славянских народов, прочитанных тогда Мицкевичем в Париже, лекций, в которых польский поэт смог подняться над «злобой» и с глубоким уважением и даже любовью говорил о России (многие поляки обвиняли его в то время в предательстве Польши). И 16 сентября 1842 года Тютчев послал Мицкевичу следующее стихотворение:

Небесный Царь, благослови
Твои благие начинанья,
Муж несомненного призванья,
Муж примиряющей любви...

Недаром ветхие одежды
Ты быстро с плеч своих совлек.
Бог победил — прозрели вежды,
Ты был Поэт — ты стал Пророк...

Мы чуем приближенье Света —
И вдохновенный твой Глагол,
Как вестник Нового Завета,
Весь Мир Славянский обошел...

Мы чуем Свет — уж близко Время —
Последний сокрушен оплот —
Воспрянь, разрозненное племя,
Совокупись в один Народ —

Воспрянь — не Польша, не Россия —
Воспрянь Славянская Семья!
И, отряхнувши сон, впервые
Промолви слово: Это я! —

Ты ж, сверхъестественно сумевший
В себе вражду уврачевать —
Да над душою просветлевшей
Почиет Божья Благодать!

Мицкевич, хотя он впоследствии, подпав под чуждое влияние, снова изменил свою позицию в отношении России, хранил эти стихи до конца жизни.

Тютчевское стихотворение, обращенное к Адаму Мицкевичу, как бы стало в один ряд с написанным за год до того стихотворением к Вацлаву Ганке. И, как уже было сказано, идея единения славянских народов занимала очень важное место в политической философии — или, вернее, историософии — Тютчева.

Однако Тютчев все же не был славянофилом. Он, в частности, исходил в своей идее союза со славянами из совершенно иных предпосылок и соображений.

Уже в 1830-х годах Тютчев с поистине гениальной прозорливостью, можно прямо сказать — пророчески, понял, что впереди — неизбежная новая схватка с Западом. Когда Крымская война началась, Тютчев писал (1 и 23 ноября 1853 года) Эрнестине Федоровне: «Я был, кажется, одним из первых, предвидевших настоящий кризис... В сущности, для России опять начинается 1812 год...» Когда война была уже в разгаре, он писал жене (24 февраля 1854 года): «Ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, что я был одним из первых и

из самых первых, видевших приближение и рост этого страшного кризиса...» И уточнил в письме от 18 августа того же года: «Более пятнадцати лет я постоянно предвидел эту страшную катастрофу».

Более пятнадцати лет — это значит не позже чем с 1839 года. Но, по всей вероятности, Тютчев предвидел грядущую схватку с Западом еще ранее; он подразумевает здесь свои первые разговоры об этом с Эрнестиной Федоровной, на которой он женился именно в 1839 году. Кроме того, намек на это предвидение присутствует уже в созданном, вероятно, в 1832 году стихотворении о Наполеоне («Два демона ему служили...»), которое Пушкин включил в третий том «Современника»; стихотворение было тогда запрещено цензурой, так как оно-де «может вести к толкам весьма неопределенным».

Тютчев, при всей своей скромности, говорит в 1854 году, что он был «из самых первых», видевших, что России предстоит как бы новый 1812 год. Можно, пожалуй, утверждать, что Тютчев в данном отношении вообще был единственным *ясновидцем* (он говорил о себе: «...я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения»).

Правда, как писал Д. Д. Благой, другим таким ясновидцем следует, по-видимому, считать Пушкина. Речь идет об его последнем предсмертном стихотворении — «Была пора: наш праздник молодой...», созданном в октябре 1836 года.

«Стихотворение осталось незавершенным, — отмечал Д. Д. Благой. — Но сама его незавершенность в высшей степени знаменательна. Ощущением снова надвигающегося исторического “урагана”, нового столкновения между Россией и буржуазной Европой, тревогой перед неведомым и грозным грядущим проникнуты его последние строки:

И новый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлися новы тучи,
И ураган их...»

Разумеется, Тютчев, с 1822 года живший в центре Европы, имел гораздо больше возможностей предвидеть нарастающий «ураган». И к моменту своего увольнения из Министерства иностранных дел он уже, надо думать, весь проникся этим предвидением.

Восемнадцатого марта 1843 года Тютчев пишет родителям из Мюнхена: «Хоть я не привык жить в России, но думаю, что невозможно быть более привязанным к своей стране, нежели я, *более постоянно озабоченным тем, что до нее*

относится» (курсив мой. — *В. К.*). По всей вероятности, здесь подразумевалась именно постоянная озабоченность грядущим столкновением с Европой.

И обращения к идейным вождям славянских народов были для Тютчева, очевидно, прежде всего обращениями к естественным, как ему представлялось тогда, союзникам в грядущей схватке, — для чего, разумеется, необходимо было глубокое сознание единства славянских судеб.

Более сложной, даже отчасти загадочной была другая политическая акция Тютчева в тот же период его «частной жизни» в Мюнхене в 1842—1844 годах. Он вступил в самые тесные отношения с одним из известнейших тогдашних публицистов и историков Германии Якобом Фальмерайером (1790—1861). Воспитанник Баварского университета, он преподавал историю и философию, а затем посвятил себя изучению Востока. В 1827 году Фальмерайер опубликовал получивший высокое признание трактат «История Трапезундского царства».

Вскоре, в 1831 году, в Мюнхен прибыл А. И. Остерман-Толстой, решивший предпринять путешествие по Ближнему Востоку. По-видимому, не без посредства Тютчева его прославленный родственник пригласил Фальмерайера в качестве знатока Востока сопровождать его в этом длительном путешествии с обязанностями личного секретаря. Затем Фальмерайер уже сам совершил несколько путешествий на Восток, опубликовал целый ряд работ и вернулся летом 1842 года в Мюнхен как знаменитость и ученого, и политического мира Германии.

Фальмерайер постоянно публикует статьи о проблемах истории и политики Востока в издававшейся в Аугсбурге «Всеобщей газете», которую Тютчев определил как «первую германскую политическую трибуну» (вспомним, что тогда единая Германия только складывалась и газета как бы предвосхищала ее единство), и поддерживает отношения со многими видными политическими и идеологическими деятелями страны.

Тютчев после возвращения Фальмерайера многократно встречался с ним. 27 октября (то есть по европейскому стилю — 9 ноября) 1842 года Фальмерайер сделал запись в своем дневнике о встрече с Тютчевым, где привел его слова о себе: «Я один из всех публицистов Запада понимаю, что такое Москва, что — Византия; просвещенный разбор моих работ... Мы еще не расходились, когда принесли “Всеобщую

газету" с первым выпуском моей, отвергнутой академией, речи».

В этой речи, называвшейся «Политика Востока», Фальмерайер говорил о трех мировых городах, играющих судьбоносную роль в истории человечества, — Иерусалиме, Риме и Константинополе, сосредоточиваясь на последнем. Он утверждал, что наследие Византии живо, несмотря на турецкое завоевание, — живо и в самом Константинополе, под чисто внешними формами Османской монархии, и в России. К этому необходимо добавить, что Фальмерайер весьма отрицательно (если не сказать еще резче) оценивал в своей речи это наследие. Он рассуждал о «бездушной пустоте православной веры», об отрицании любых частных интересов людей, интересов, которые подавляет исключительная забота о целом, о создании материальной мощи и достижении посредством ее владычества над миром. Ради этого живет и развивается византийское наследие и, несмотря на все усилия Запада, не сворачивает со своего пути. И если германский дух не сможет проникнуть на Восток и преобразовать его, надо готовиться к смертельной битве с наследниками Византии. Единственный выход — победоносное проникновение германского и, шире, европейского духа на Восток. К этому Фальмерайер и призывал Германию в конце своей речи, напечатанной в трех номерах «Всеобщей газеты».

В ряде работ о Тютчеве, рассматривающих этот период его жизни, высказано предположение, что Тютчев намеревался, так сказать, перевоспитать Фальмерайера и из врага России (в которой тот видел верную наследницу византийского духа) превратить чуть ли не в ее горячего сторонника. А поскольку Фальмерайер позднее, в 1845 году, в своем двухтомном сочинении «Фрагменты из путешествия по Востоку» крайне резко писал о России, акция Тютчева истолковывается подчас как полная неудача, как его дипломатическое поражение.

Однако нет сколько-нибудь серьезных оснований предполагать, что Тютчев в самом деле — что было бы, скажем прямо, крайне наивно — надеялся «перевоспитать» Фальмерайера. Во-первых, Фальмерайер как враг России был, надо думать, не менее или даже более важен и нужен Тютчеву, чем как «союзник». Хорошо известно, что европейская дипломатия постоянно стремилась тогда создать видимость в целом мирного и доброжелательного отношения к России, за исключением, так сказать, отдельных вопросов, и на этой основе часто добивалась уступок, которые вели в конце концов к тотальному ослаблению политических позиций Рос-

сии, — что с такой страшной ясностью обнаружилось во время Крымской войны. А Нессельроде всячески поддерживал иллюзию европейского доброжелательства.

И сочинения Фальмерайера, без сомнения, привлекали Тютчева именно как откровенное и последовательное воплощение всецело враждебной России позиции. Притом было особенно существенно, что Фальмерайер придавал этой враждебности всеобщий и тысячелетний характер.

В высшей степени знаменательно, что враждебная России речь Фальмерайера была, как упомянуто выше, отвергнута Баварской академией наук, которая явно не желала обнажать эту враждебность. Кстати сказать, аугсбургская «Всеобщая газета» печатала эту речь, выражаясь современным языком, в дискуссионном порядке; в этой газете появлялись очень разные по духу материалы, — в том числе статьи самого Тютчева!

Словом, Тютчев обратился к Фальмерайеру прежде всего для того, чтобы, выявив его позиции перед лицом правящих кругов России, пробудить в этих кругах сознание той грозной опасности, которая уже давно вызывала у него сильную тревогу. Тютчев понимал, что его собственные предостережения не примут всерьез, — и вот он выдвигал фигуру германского идеолога (уже осенью 1843 года он докладывал о нем Николаю I через Бенкендорфа).

Если бы это было не так, если бы Тютчев в самом деле искал именно и только «союзника», он имел возможность обратиться ко многим немцам, гораздо более мирно и дружелюбно настроенным по отношению к России, — хотя бы к хорошо знакомому ему Фарнгагену фон Энзе. Утверждать, что Тютчев воспринял Фальмерайера как наиболее подходящего человека для роли «союзника» России, — значит изображать его безнадежным простаком...

Но дело было не только в этом. Работы Фальмерайера, несомненно, привлекали Тютчева не только как открытое выражение враждебности Запада, но и тем, что в них Россия представала как могучий *самостоятельный* мир, имеющий свои собственные интересы и цели (другое дело, что германский идеолог истолковывал их по-своему). Тютчев всегда с горечью или негодованием говорил о недостатке либо прямом отсутствии подлинного национально-исторического самосознания у правящих кругов России. И он не без оснований полагал, что идея «великой и самостоятельной Восточной Европы», так решительно выдвинутая в работах германского идеолога, произведет впечатление на русских правителей.

Такой подход к делу был весьма типичен для того времени. В 1846 году Чаадаев, направляя переведенную им на французский язык статью Хомякова «Мнение иностранцев о России» своему парижскому приятелю графу Сиркуру, просил его «пристроить» эту статью в одном из парижских периодических изданий: «Наилучший способ заставить нашу публику ценить произведения отечественной литературы, это — делать их достоянием широких слоев европейского общества... Среди нас еще преобладает старая привычка руководиться мнением вашей публики».

Еще ранее, в 1839 году, Иван Киреевский, рассуждая о самостоятельной природе Русской церкви, писал в заключение: «Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность... нашей церкви и написал об этом статью в журнале; чтобы немец... изучил нашу церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, что теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем».

Именно этими самыми соображениями руководствовался, без сомнения, и Тютчев, когда, говоря современным языком, пропагандировал взгляды Фальмерайера среди правящих кругов России. Более того, Тютчев всячески поощрял самого Фальмерайера, восхваляя его понимание самостоятельности России. Уже приводилась запись в дневнике последнего, воспроизводящая слова Тютчева: «Я один из всех публицистов Запада понимаю, что такое Москва...» и т. д.

Через четыре месяца, 28 февраля 1843 года, Фальмерайер записывает: «Обедал у Тютчева... г. Тютчев... проповедовал хвалы моему имени у сарматов; “на меня рассчитывают”. Введение в обращение идеи Восточной великой самостоятельной Европы — в противовес Западной — является, собственно говоря, моей заслугой».

Из записей Фальмерайера известно, что Тютчев убеждал его в мирном характере политики России (или, шире, Восточной Европы). «Мы хотим только существовать», — говорил Тютчев. Но еще более важно было то, что он внушал германскому идеологу мысль о бесполезности, даже бессмысленности борьбы Запада с Россией: «Европейский гнев, зависть к равному; однако все враждебные меры имели следствием только возвеличение и славу ненавистного соперника».

В этой постановке вопроса, кстати сказать, нельзя усматривать стремление превратить Фальмерайера в «союзника» России, — хотя именно так истолковывают тютчевские на-

мерения. Если уж говорить о союзе, к которому побуждал Тютчев Фальмерайера, — то это союз, так сказать, по предотвращению смертельной схватки России и Запада. Но мы хорошо знаем, что Тютчев понимал неизбежность «нового 1812 года». И поведение Тютчева было, без сомнения, сложной и продуманной дипломатической акцией, которую он отнюдь не проиграл (как утверждают писавшие об этом эпизоде).

И наконец, последнее, но далеко не последнее по важности. Близко познакомившись с Фальмерайером, Тютчев, без сомнения, понял, что перед ним — в высшей степени тщеславный, очень падкий и на лесть, и на всякого рода выгоды человек. Это совершенно ясно видно из дневников Фальмерайера. Вот хотя бы несколько его записей: «хорошее настроение... от того, что статья... стоит... с большой от всех похвалой на первом месте в фельетоне "Всеобщей газеты" и возбуждает много разговоров»; «душевное волнение по случаю блестящего эффекта большой статьи»; «просвещенные дамы буквально влюблены в статью... указывают ей высокое место среди продуктов человеческого духа».

Из записей тютчевских речей в дневнике Фальмерайера явствует, что Тютчев постоянно восхваляет его, и это встречается с самодовольным восторгом («я один из всех публицистов Запада...» и т. п.).

Знал Тютчев и о том, что Фальмерайер чрезвычайно охотно прислуживал влиятельным и богатым людям, в том числе тютчевскому родственнику Остерману-Толстому, которого он постоянно посещал, и в конечном счете добился награды — умирая, генерал завещал ему десять тысяч франков. При этом Фальмерайер был не очень разборчив: так, он сумел получить и стипендию от баварского кронпринца, и орден от турецкого султана, а его путешествия оплачивались австрийским князем Дитрихштейном...

Все это убеждает в том, что Тютчев рассчитывал вовсе не на «перевоспитание» Фальмерайера, а на его небескорыстную службу русскому правительству (вот в этом-то случае его репутация врага России была в высшей степени полезна). Правда, служба эта продолжалась недолго (мы еще увидим почему).

В июне 1843 года Тютчев наконец приехал на родину; как мы помним, он должен был это сделать еще весной 1840-го, но все откладывал поездку. Он, в частности, уже собрался совершить эту поездку осенью 1842 года, но, узнав,

что Амалия Крюднер намерена провести зиму за границей, решил отложить свой приезд в Петербург. Родителям он сообщил, что ему «необходимо» присутствие Амалии в Петербурге.

К тому времени Амалия Максимилиановна уже обладала огромным влиянием в высших русских сферах, и Тютчев вполне основательно надеялся на ее помощь. Знаменитая Александра Смирнова-Россет, друг Пушкина и Гоголя, а позднее и самого Тютчева, писала в своем дневнике 10 марта 1845 года о событиях зимы 1838 года: «Эта зима была одна из самых блистательных. Государыня была еще хороша, прекрасные ее плечи и руки были еще пышные и полные, и при свечах, на бале, танцуя, она еще затмевала первых красавиц. В Аничковском дворце танцевали всякую неделю в белой гостиной... Государь занимался в особенности баронессой Крюднер, но кокетствовал, как молоденькая бабенка, со всеми и радовался соперничеством Бутурлиной и Крюднер. Я была свободна, как птица, и смотрела на все эти проделки как на театральное представление, не подозревая, что тут развивалось драматическое чувство зависти, ненависти, неудовлетворенной страсти, которая не переступала из границ единственно от того, что было сознание в неискренности Государя. Он еще тогда так любил свою жену, что пересказывал ей все разговоры с дамами, которых обнадеживал и словами и взглядами, не всегда прилично красноречивыми. Однажды в конце бала... мы присели в уголке за камином с баронессой Крюднер... она была блистательно хороша, но не весела. Наискось в дверях стоял Царь с Е. М. Бутурлиной, которая беспечной своей веселостью более, чем красотой, всех привлекала... Я сказала госпоже Крюднер: “Вы ужинали с Государем, но последние почести сейчас для нее”. — “Он чудак, — сказала она, — нужно, однако, чем-нибудь кончить все это; но он никогда не дойдет до конца, — не хватит мужества; он придает странное значение верности. Все эти уловки с нею не приведут ни к чему”.

Всю эту зиму он ужинал между Крюднер и Мэри Пашковой, которой эта роль вовсе не нравилась... После покойный Бенкендорф заступил место Государя при Крюднерше. Государь нынешнюю зиму (то есть зиму 1845 года. — *В. К.*) мне сказал: “Я уступил свое место другому”».

Из этого рассказа нередко делают вывод, что Амалия Крюднер в конце концов стала любовницей Николая I, а затем Бенкендорфа, — что, конечно, весьма снижает ее образ. Но, во-первых, нельзя забывать следующего. Пушкин, который очень любил Александру Смирнову-Россет, подарил ей

в 1832 году альбом для ведения дневника. Он сам озаглавил его «Исторические записки А. О. С.» и предпослал ему стихотворный эпиграф, написанный как бы от имени самой Смирновой, — «В тревоге пестрой и бесплодной...». Но заканчивается это стихотворение так:

И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

В рассказе об Амалии Крюднер вполне можно видеть именно такую «шутку». К тому же из рассказа отнюдь не следует, что отношения царя с Амалией «дошли до конца». Вместе с тем совершенно очевидно, что Амалия Крюднер, сводная сестра самой царицы, смогла установить самые дружеские отношения и с Николаем I, и с Бенкендорфом. И это открывало перед ней громадные возможности.

В августе 1843 года опальный Тютчев, отставленный от службы и лишенный звания камергера, прибыл в Петербург. Он едва ли мог хоть чего-либо добиться от своего бывшего начальника Нессельроде. Но 7 сентября Амалия Крюднер устроила ему неофициальную встречу с Бенкендорфом.

После длительной беседы Бенкендорф пригласил Тютчева 9 сентября отправиться вместе с ним и супругами Крюднер погостить в его поместье Фаль около Ревеля (Таллина), — пригласил, как сообщил Тютчев жене, «с такой любезной настойчивостью... что отклонить его предложение было бы невежливо».

Совсем еще недавно было широко распространено мнение, что Бенкендорф (1783—1844) был безнадежно тупым и недальновидным бюрократом. Исследование историка И. В. Оржеховского о Третьем отделении — «Самодержавие против революционной России» (М., 1982), — исследование, опирающееся на громадные архивные разыскания, развеивает это штампованное представление.

Конечно, Бенкендорф стоял на страже «порядка» и с подозрением относился к любым «вольнодумным» началам, но в то же время он хорошо понимал, что именно в той среде, где рождаются эти начала, сосредоточены наиболее культурные и честные люди, которых он постоянно пытался привлечь на свою сторону. Как и множество офицеров 1812 года, Бенкендорф в первые годы после Отечественной войны принадлежал к ранней декабристской организации «Соединенных друзей» (в нее входили Пестель, Грибоедов, Чаадаев, Сергей Волконский, Матвей Муравьев-Апостол и др.) и состоял в товарищеских отношениях с целым рядом будущих виднейших участников движения.

В 1821 году Бенкендорф побывал во Франции, где его восхитила организация жандармерии. Он решил создать нечто подобное в России. И — хотя это может показаться в высшей степени странным — обратился за поддержкой не к кому иному, как... к декабристам. Виднейший деятель движения Сергей Волконский вспоминал в своих известных «Записках»: «Бенкендорф возвратился из Парижа при посольстве и, как человек мыслящий и впечатлительный, увидел, какую пользу оказывала жандармерия во Франции. Он полагал, что на честных началах, при избрании лиц честных, смышленых, введение этой отрасли соглядатаев может быть полезно и Царю, и Отечеству, приготовил проект о составлении этого управления и пригласил нас, многих своих товарищей, вступить в эту когорту, как он называл, добромыслящих, и меня в их числе; проект был представлен, но не утвержден...» После 14 декабря Бенкендорф представил новый проект, который Николай I вскоре утвердил... Уже 27 июля 1826 года Третье отделение в составе семнадцати сотрудников под руководством Бенкендорфа приступило к работе (в 1841 году количество сотрудников было увеличено до двадцати шести человек).

И надо сказать, что Бенкендорф постоянно стремился привлечь в свое учреждение, как он сам говорил, «людей честных и способных», — невзирая даже на все их «вольнодумство». Так, например, в 1829 году Бенкендорф пытался сделать сотрудником Третьего отделения самого Пушкина!

Вот почему не приходится удивляться тому, что Бенкендорф так внимательно отнесся к Тютчеву. Он принял его вначале, надо думать, только благодаря рекомендациям Амалии Крюднер. Но затем он пригласил Тютчева в свое поместье явно уже по личной инициативе, — поняв, что перед ним в высшей степени «честный и способный человек».

Но у Тютчева были собственные планы, и он блестяще использовал Бенкендорфа для их осуществления. Прежде всего стоит сказать о наиболее очевидном: отправившись 19 сентября прямо из поместья Бенкендорфа в Мюнхен, Тютчев за год покончил со своими делами в Германии и 20 сентября 1844 года высадился с корабля в Кронштадте, — что и было его окончательным возвращением на родину. Через полгода «по высочайшему повелению» он снова зачисляется на службу в Министерство иностранных дел и ему возвращается звание камергера.

Но Тютчев одержал и иную, более глубокую по смыслу победу. Высказав при первой же встрече с Бенкендорфом

свои мысли о соотношении России и Запада, он явно произвел очень сильное впечатление.

Тютчев писал родителям о Бенкендорфе из Ревеля: «Что мне особенно приятно, это его внимание к моим мыслям относительно известного вам проекта и та поспешная готовность, с которой он оказал им поддержку у Государя: потому что на другой же день нашего разговора он воспользовался последним своим свиданием с Государем перед отъездом, чтобы довести о них до его сведения. Он уверил меня, что мои мысли были приняты довольно благосклонно, и есть повод надеяться, что им будет дан ход».

О тютчевском «проекте» еще пойдет речь. Существенно само восприятие фигуры Бенкендорфа, о чем он поведал в письме жене от 29 сентября: «Бенкендорф, как ты, может быть, знаешь, один из самых влиятельных, самых высоко стоящих в государстве людей, пользующийся по самому свойству своей должности неограниченной властью, почти такой же неограниченной, по крайней мере, как власть его повелителя. Я это знал, и это, конечно, не могло меня расположить в его пользу».

До сих пор Тютчев имел дело лишь с одним из властителей — Нессельроде и не встретил даже тени поддержки или хотя бы понимания (на самом-то деле Нессельроде, очевидно, был враждебен всем убеждениям Тютчева). Поэтому отношение Бенкендорфа к его идеям прямо-таки поразило Тютчева, что ясно выражено в цитируемом письме: «Он (Бенкендорф. — *В. К.*) был необыкновенно любезен со мной, главным образом из-за госпожи Крюднер и отчасти из личной симпатии, но я не столько благодарен ему за прием, сколько за то, что он довел мой образ мыслей до Государя, который отнесся к ним внимательнее, чем я смел надеяться».

Об одной из главных «мыслей» Тютчева, внушенных им Бенкендорфу и через него царю, известный биограф поэта К. В. Пигарев писал: «Тютчев пришел к заключению, что Священный союз объединяет только правительства, государей Германии с Россией, но что со стороны печати, задающей тон общественному мнению, господствует "пламенное, слепое, неистовое, враждебное настроение" по отношению к России... Тютчев задается целью выступить в роли посредника между русским правительством и немецкой прессой. В этом и заключается тот "проект", о котором упоминает поэт в письме к родителям».

Тем самым Тютчев, по сути дела, разоблачал несостоятельную и в конце концов фальшивую в своей основе поли-

тику Нессельроде, который преподносил формальные дипломатические отношения европейских стран с Россией (особенно стран, входивших в созданную в 1815 году организацию «Священный союз») как выражение истинного отношения Запада к России. Тютчев, опираясь, в частности, на сочинения Фальмерайера, сумел в какой-то мере доказать Бенкендорфу (и через него — царю), что за успокаивающей дипломатической ширмой нарастает неистовая враждебность. Между прочим, К. В. Пигарев неточен, утверждая, что Тютчев принципиально разграничивал «правительства», «государей» и «общественное мнение», «печать». Тютчев не мог не знать, к примеру, что баварский кронпринц, будущий король Максимилиан, благоволил Фальмерайеру и в 1842 году назвал себя его «учеником». Уместно еще раз повторить, что Фальмерайер открыто и, так сказать, на высоком теоретическом уровне высказывал настроения, присущие Западу вообще.

«Проект», о котором упоминал Тютчев в письме родителям, едва ли сводился к взаимоотношениям с Фальмерайером. В этот проект входили конечно же и политические статьи самого Тютчева, которые начали появляться за рубежом с 1844 года, и, по всей вероятности, еще и другие планы.

В письме родителям из Ревеля Тютчев сообщал: «Мои мысли были приняты довольно благосклонно, и есть повод надеяться, что им будет дан ход». Если бы «мысли» целиком заключались в «использовании» Фальмерайера, Тютчев не писал бы, что им еще только «будет дан ход», так как Бенкендорф уже разрешил обратиться к германскому идеологу от его имени. Тютчев, несомненно, развернул целую программу действий. В письме жене (29 сентября) он говорит: «Теперь, благодаря данному мне безмолвному разрешению, можно будет попытаться начать нечто серьезное».

Что же касается Фальмерайера, то он записал в своем дневнике вскоре после возвращения Тютчева в Мюнхен, 29 сентября (11 октября) 1843 года: «Вечером пил у Тютчева чай, продолжительный *секретный* разговор и формальные предложения защищать пером ***дело* на Западе, то есть выдвигать правильную постановку восточного вопроса в противовес Западу, как и до сих пор, не насилуя своего убеждения. Бенкендорф *решит* в следующем году дальнейшее».

Трудно сомневаться в том, что Фальмерайер дал тогда вполне определенное согласие следовать указаниям Тютчева. Он явно излагает в дневнике тютчевские инструкции (в частности, именно Тютчеву принадлежат слова, призван-

ные, так сказать, успокоить совесть: «выдвигать... как и до сих пор, не насилуя своего убеждения») и даже зашифровывает звездочками определение к «делу»; по всей вероятности, имелось в виду «русское дело». Через месяц, 2(14) ноября, Фальмерайер наскоро записывает в дневнике: «Посетил вечером Тютчева и продолжительный разговор о галльском добродушии Гизо, также о судьбах византийских; тоже о записных книжках прусского короля; надежды с помощью туземных элементов создать галльско-восточное царство и отогнать Русь в Скифию...» и т. д.

Выяснить точный смысл всего этого нелегко; но несомненно, что речь идет опять-таки о тютчевских инструкциях, предлагающих вести полемику с различными (в том числе французскими) антирусскими тенденциями на Западе. Особенно многозначительна, конечно, запись: «Бенкендорф решит в следующем году дальнейшее». Фальмерайер явно подчиняет себя велениям Бенкендорфа...

Надо думать, и сам Тютчев возлагал тогда определенные надежды на поддержку Бенкендорфа, — уже хотя бы потому, что реакция последнего на тютчевские идеи так отличалась от реакции Нессельроде. Тютчев надеялся на какие-то изменения во внешней политике России.

Между прочим, на него не мог не произвести впечатление рассказ Бенкендорфа о его беседе с царем по поводу известной книги француза де Кюстина «Россия в 1839 году» (1843), которая только что дошла до Петербурга. Во время пятидневных бесед в поместье под Ревелем Бенкендорф, в частности, сообщил Тютчеву (который сам об этом рассказывал потом), что он заявил возмущенному книгой де Кюстина Николаю I: «Господин Кюстин только сформулировал те представления, которые давно имеет о нас весь свет и даже мы сами».

Не исключено, что Бенкендорф говорил об этом царю именно 7 сентября 1843 года, когда докладывал ему о своем разговоре с Тютчевым, как раз и побудившим его подобным образом взглянуть на книгу де Кюстина, кое в чем перекликавшуюся с сочинениями Фальмерайера.

Тютчев, между прочим, сообщил родителям о «вопросе», который он поставил перед Бенкендорфом и, через него, перед царем: «Минута для его возбуждения была пригодна». Возможно, почва в данном случае была подготовлена именно книгой де Кюстина, которую только что прочитали Николай I и Бенкендорф.

Словом, Тютчев в самом деле надеялся, что Бенкендорф сумеет как-то изменить внешнюю политику России. После

встречи под Ревелем он писал родителям о Бенкендорфе: «Я просил его предоставить мне эту зиму на подготовление путей и обещал, что непременно приеду к нему — сюда ли или куда бы то ни было — для окончательных распоряжений».

Собираясь после этой зимы в Россию, Тютчев постоянно думал о своем «проекте». 23 июля Эрнестина Федоровна писала из Франции, где находились тогда Тютчевы, своему брату Карлу в Мюнхен: «Напишите... останется ли госпожа Крюднер еще некоторое время в Германии, и что ей известно о Бенкендорфе. Все это очень интересует Тютчева».

...Поэт приехал в Петербург 20 сентября 1844 года, а через три дня Бенкендорф умер. Это, очевидно, помешало осуществлению планов Тютчева. С другой стороны, именно поэтому, надо думать, не состоялась карьера Фальмерайера в качестве исполнителя воли Тютчева. После смерти Бенкендорфа Тютчеву не на кого было опереться для обоснования «дальнейших» инструкций Фальмерайеру.

Исследовавшая эту историю Е. П. Казанович писала, что «вскоре по окончательном отъезде Тютчева из Мюнхена Фальмерайер сближается с кронпринцем Максом-Иосифом (с 1848 года — королем Максимилианом II Баварским), делается его частым гостем в замке Гогеншвенгау, получает от него стипендию для новой поездки на Восток и изготовляет по его поручению всякие мемории и доклады... по всем делам, касающимся Востока и России».

Короче говоря, Фальмерайер нашел другого покровителя... В 1845 году в предисловии к двухтомному собранию своих статей Фальмерайер как бы свел счеты с Тютчевым, который чуть было не увлек его на путь борца за русские интересы. По меткому предположению К. В. Пигарева, он подразумевал именно свои отношения с Тютчевым, когда писал здесь: «...Втянуть *эстетически-восприимчивые* германские племена в западню составляет душу и жизнь российства». Свое согласие выполнять указания Тютчева Фальмерайер, таким образом, стремился оправдать «эстетической восприимчивостью»...

Политическая неустойчивость Фальмерайера ясно выразилась в том, что позднее, в 1848 году, когда в Германии началась революция, он неожиданно покинул своего покровителя, уже ставшего королем Максимилианом II Баварским, стал высказывать весьма левые взгляды и даже был избран в республиканское Национальное собрание. После роспуска этого первого германского парламента карьера Фальмерайера окончательно потерпела крах; вернуться под крыло короля было уже немыслимо.

Эпизод с Фальмерайером сыграл немалую и многообразную роль в политической деятельности Тютчева. Он был своего рода последним звеном в пребывании Тютчева на грани Европы и России и началом возвращения на родину.

Смерть Бенкендорфа, очевидно, оборвала и осуществление всего тютчевского «проекта», имевшего в виду его деятельность на Западе. Ведь, выезжая в сентябре 1844 года в Россию, Тютчев еще отнюдь не был уверен, что ему не придется вернуться в Европу. Об этом свидетельствует его письмо к пятнадцатилетней дочери Анне, отправленное из Парижа в Мюнхен в июле 1844 года: «Мы совершенно определенно намерены ехать в этом году в Россию, и я бы не колеблясь взял тебя с собой, если бы думал, что мы останемся там навсегда; но ведь более чем вероятно, что этого не случится и что мы вернемся в Германию будущей весною».

Но Тютчев остался в России навсегда.

Начало творческой жизни Тютчева мы вправе отнести к 1815 году, когда он написал свое первое значительное стихотворение. И дата возвращения на родину —1844 год — как бы делит эту жизнь ровно пополам, ибо ему оставалось прожить двадцать девять лет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1844—1864

Глава седьмая

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...

Овстуг, 1849

В 1844 году Тютчев окончательно вернулся на родину. И за те почти тридцать лет, которые ему оставалось жить, он выезжал за границу, по тогдашним понятиям, очень редко и к тому же в большинстве случаев всего на два-три месяца, в качестве дипломатического курьера. Так, он побывал в Европе в июле—августе 1847-го и, через шесть лет, в июне—августе 1853 года; затем, опять-таки после шестилетнего перерыва, он в 1859—1865 годах предпринял с небольшими интервалами четыре заграничные поездки, — но это было обусловлено особыми обстоятельствами (о которых расскажем ниже), наконец, спустя еще шесть лет в 1870-м состоялось его последнее краткое (июль—август) путешествие — как бы прощание с Западом.

Как это ни странно, Тютчев, юношей поселившийся в Германии, которую можно бы даже назвать его второй родиной, и возвратившийся в Россию совершенно зрелым сорокалетним человеком, явно не страдал от разлуки со ставшей столь привычной ему европейской жизнью.

Много лет спустя после возвращения, уже как бы подводя итоги, Эрнестина Федоровна Тютчева писала своему брату Карлу Пфеффелю: «В ответ на одно место из Вашего последнего письма, где Вы намекаете на расположение князя Горчакова (который тогда уже был канцлером. — *В. К.*) к Тютчеву и на то, что последнему было бы не трудно воспользоваться этим расположением, чтобы получить должность за границей, я просто скажу Вам, что... мой муж не

может больше жить вне России; величайший интерес его ума и величайшая страсть его души — это следить день за днем, как развертывается духовная работа на его родине, и эта работа действительно такова, что может поглотить всецело внимание горячего патриота. Я даже не знаю, согласится ли он когда-нибудь совершить кратковременное путешествие за границу, настолько тяжелое у него осталось воспоминание о последнем пребывании вне России, так сильна была у него тоска по родине...»

Но, конечно, подлинное возвращение Тютчева на родину совершилось не столь уж просто и мгновенно. Уже говорилось, что с начала июля до середины сентября 1843 года он находился в России, как бы подготовляя свой окончательный приезд сюда. До нас дошел целый ряд сведений о том, что эти два с лишним месяца были чрезвычайно содержательны. Тютчев в самом широком смысле этого слова встретился с родиной.

Еще только собираясь в дорогу, он писал родителям (18 марта): «Немалым удовольствием будет для меня попасть в Москву, я не был в ней 18 лет, и мне будет приятно найти кое-какие жалкие остатки молодости, уже столь отдаленной».

Да, Тютчев последний раз был в своей родной Москве в 1825 году; во время своих отпусков 1830 и 1837 годов он жил в Петербурге, куда, специально для встречи с ним, приезжали родители. Теперь же он отправился прямо в Москву, которая произвела на него очень сильное впечатление. 14 июля он не без торжественности писал жене: «Вчера, 13-го, между 2 и 3 часами пополудни я дорого дал бы за то, чтобы ты оказалась возле меня. Я был в Кремле. Как бы ты восхитилась и прониклась тем, что открывалось моему взору в тот миг!.. Это единственное во всем мире зрелище... Если тебе нравится Прага, то что же сказала бы ты о Кремле!» В следующем письме, 26 июля, Тютчев писал: «Мне хотелось бы показать тебе самый город в его огромном разнообразии... Нечто мощное и невозмутимое разлито над этим городом».

Тютчев навестил дом в Армянском переулке, где прошли его отрочество и юность (родители еще в 1829 году продали это похожее на дворец здание церковным властям, и в нем помещался теперь Дом призрения вдов и сирот духовного звания).

Несколько раз поэт побывал на спектаклях Малого театра, где перед ним предстала «столь хорошая» труппа, что он

не мог не признаться: «Я был поражен. Исключая Париж, нигде за границей нет труппы, которая могла бы соперничать с нею». Речь шла о таких актерах Малого театра, как Щепкин, Мочалов и молодые Пров Садовский, Иван Самарин, Сергей Шумский и другие; Тютчев сразу сумел оценить всемирное достоинство их искусства.

Вскоре по приезде поэт встретился с Погодиным и Шевыревым; последний писал 19 июля: «Нам только приятно говорят люди европейские, как Тютчев. Так и должно». Снова возникает это определение «европейский» (подразумевающее — «всемирный»), о котором говорилось выше.

Двадцать пятого июля Тютчев посещает едва ли не главный тогда центр культурной жизни Москвы — дом Елагиных-Киреевских у Красных Ворот, где он встретился — очевидно, впервые — с Чаадаевым, Самариным, братьями Аксаковыми, а также со своими уже давними друзьями братьями Киреевскими, с Хомяковым и другими, о которых он на следующий день, 26 июля, писал жене в Мюнхен: «Встретил... несколько университетских товарищей, среди которых иные составили себе имя в литературе и стали действительно выдающимися людьми».

По всей вероятности, Тютчев встречался тогда в Москве и с рядом видных историков, таких как И. М. Снегирев (1793—1868) и О. М. Бодянский (1808—1877), с которыми он позднее будет тесно связан. Собственно говоря, и главные тогдашние интересы Чаадаева, братьев Киреевских и Аксаковых, Хомякова, Самарина, Погодина, Шевырева были сосредоточены в области русской и мировой истории в широком смысле этого слова; даже памятники древнерусской литературы, устное народное творчество и самый русский язык были для них прежде всего воплощениями исторического развития России.

Тютчев пробыл в Москве не так уж долго, но его несравненный дар мгновенно и во всем объеме схватывать все то, что глубоко его интересовало, позволил ему освоить выдающиеся достижения русской историографии после Карамзина.

На обратном пути в Мюнхен Тютчев посетил в Берлине известного писателя и публициста, дружественно относившегося к России, Карла Фарнгагена фон Энзе (1785—1858), который во время войны с Наполеоном сражался в русской армии. Тютчев был знаком с ним еще с конца 1820-х — начала 1830-х годов. В 1842 году Тютчев написал в честь этого видного писателя и публициста Германии стихотворение

«Знамя и Слово», в котором воспел и участие Фарнгагена фон Энзе в битвах русской армии, и его большие заслуги в приобщении немецких читателей к русской литературе:

В кровавую бурю, сквозь бранное пламя,
Предтеча спасенья — русское Знамя
К бессмертной победе тебя привело.
Так диво ль, что в память союза святого
За Знаменем русским и русское Слово
К тебе, как родное к родному, пришло?

Двадцать девятого сентября 1843 года Фарнгаген фон Энзе записал в своем дневнике: «С необычайным знанием рассказывал Тютчев об особенностях русских людей и вообще славян. Он... сообщил о новых открытиях в области русской средневековой литературы, особенно же в духовной; так же по части летописей, песен и былин. Все кажется новым, как было у нас с Нибелунгами*, миннезингерами и т. п.».

Важно отметить, что Фарнгаген фон Энзе был тогда едва ли не лучшим в Германии знатоком русской культуры (еще в 1838 году он опубликовал замечательную работу о Пушкине) и мог по достоинству оценить то, что сообщил ему вернувшийся из России Тютчев.

Было бы вместе с тем неправомерно полагать, что Тютчев освоил то, что историческое знание в России достигло со времени его отъезда в Германию, только летом 1843 года. Все дело в том, что до нас дошло крайне мало сведений (стоило бы даже сказать: вообще не дошло) о пребывании Тютчева в России в 1825, 1830 и 1837 годах, а также о его знакомстве в годы заграничной жизни с русскими книгами, о содержании его бесед с приезжавшими в Мюнхен соотечественниками и т. п.

Между тем можно с полным основанием сказать, что сама уже очевидная плодотворность тютчевских встреч в Москве в июле—августе 1843 года свидетельствует, так сказать, о подготовленности его восприятия.

Широко распространена версия, согласно которой Тютчев в долгие годы своей заграничной жизни был якобы вообще «оторван» от России и как бы даже не ведал о том, что в ней совершалось в 1820-х — начале 1840-х годов. Эту версию поддержал и Иван Аксаков в своей биографии поэта, где сказано, в частности: «Россия 1822 и Россия 1844 года — какой длинный путь пройден русскою мыслью! какое полное видоизменение в умственном строе русского общества!

---

* Этот германский эпос был впервые издан в 1757 году.

Во всем этом движении, этой борьбе Тютчев не имел ни заслуги, ни участия. Он оставался совершенно в стороне, и, к сожалению, у нас нет ни малейших данных, которые бы позволили судить, как отозвались в нем и внешние события, например, 14-е Декабря, и т. п., и явления духовной общественной жизни, отголосок которых все же мог иногда доходить и до Мюнхена. Уехав из России, когда еще не завершилось издание истории Карамзина, только что раздались звуки поэзии Пушкина... и о духовных правах русской народности почти не было и речи, — Тютчев возвращается в Россию, когда замолк и Пушкин, и другие его спутники поэты, когда Гоголь уже издал "Мертвые души"... и толки о народности, борьба не одних литературных, но и жизненных общественных направлений занимала все умы...»

Уже после того, как Иван Аксаков написал свою книгу, стали известны сохраненные Иваном Гагариным стихотворения Тютчева и о 14 декабря, и о Польском восстании, и о гибели Пушкина. Но дело, конечно, не только в этом, Тютчев, о чем подробно говорилось выше, развивался вместе со своим поколением — поколением любомудров — и даже имел более или менее прочные связи с его виднейшими представителями. Далее, Тютчев, без сомнения, создавал свою поэзию в глубокой внутренней соотнесенности с пушкинским творчеством (о чем также шла речь выше). Наконец, Тютчев, надо думать, постоянно стремился с наибольшей возможной полнотой воспринять «духовную работу» на его родине; как свидетельствовала его жена, это было «величайшим интересом его ума и величайшей страстью его души», и невозможно представить себе, что этот интерес и эта страсть родились в Тютчеве только на склоне лет. В 1844 году, еще до возвращения на родину, Тютчев писал в статье, предназначенной для аугсбургской «Всеобщей газеты», что он «русский сердцем и душою, глубоко преданный своей земле».

И в то же время было бы неверно не замечать или хотя бы приуменьшать трудность и даже в известном смысле мучительность тютчевского возвращения. Ведь поэту приходилось заново начинать жить в мире, который он покинул восемнадцатилетним. Нелегка была уже хотя бы... петербургская зима:

Глядел я, стоя над Невой,
Как Исаака-великана
Во мгле морозного тумана
Светился купол золотой.

Так писал Тютчев 21 ноября (по новому стилю — 3 декабря) 1844 года. Почти двадцать лет он не видел, как

Белела в мертвенном покое
Оледенелая река.

И, естественно:

Я вспомнил, грустно-молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенеет
Роскошный Генуи залив.
О Север, Север-чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?
О, если б мимолетный дух,
Во мгле вечерней тихо вея,
Меня унес скорей, скорее
Туда, туда, на теплый Юг...

Прошло всего два месяца, как поэт приехал в Петербург, — и уже родилось в нем это властное стремление на Юг. 7 декабря поэт сообщает родителям: «Я слишком хорошо ощущаю, что совершенно отвык от русской зимы. Это зима первая, которую я переношу с 1825 года».

Мотив противопоставления Севера и Юга не раз возникает в стихах Тютчева. Нередко его толковали как чуть ли не «антирусский»; мол, Север — это символ России, которую поэт еле-еле переносит... Но вдумчивый исследователь творчества поэта Н. В. Королева разоблачила несостоятельность этого толкования. Подчас истина лежит на поверхности, но как раз потому мы ее и не замечаем. В конце декабря 1837 года Тютчев также с глубокой грустью вспоминал о Генуе, где он недавно был:

Давно ль, давно ль, о Юг блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу...
. . . .
И я заслушивался пенья
Великих Средиземных волн.
. . . .
Но я, я с вами распростился —
Я вновь на Север увлечен...
Вновь надо мною опустился
Его свинцовый небосклон...
Здесь воздух колет. Снег обильный
На высотах и в глубине —
И холод, чародей всесильный,
Один здесь царствует вполне.

Эти, написанные семью годами ранее, стихи явно перекликаются с «Глядел я, стоя над Невой...», вплоть до слова

«чародей», не говоря уже о прямом противопоставлении Север — Юг. Однако стихи эти созданы не где-нибудь, а... в Турине, находящемся всего в ста километрах к северу от Генуи, но в предгорьях Альп.

Итак, в противопоставлении Север — Юг в поэзии Тютчева Север никак не может считаться неким синонимом России. Север-чародей или, в другом стихотворении, холод-чародей предстает в тютчевском мире как космическая стихия, могущая обрушиться на человека и на берегу Невы, и в предгорьях Альп.

Тютчев будет не раз горько сетовать — и в стихах, и в письмах — на холод, долгие месяцы властвующий на его родине и подчас делающий свой набег даже посредине лета. Так, он напишет жене 25 мая (по новому стилю — 6 июня) 1857 года из Петербурга: «Здесь самое выдающееся и преобладающее над всем событие — это отвратительная погода. Что за страна, Боже мой, что за страна! И не достойны ли презрения те, кто в ней остается...» (такой жесткий, даже жестокий юмор очень характерен для поэта).

Двадцать третьего июня 1862 года он пишет из Швейцарии: «Вдруг вспомнишь эту ужасную петербургскую зиму, от которой нас отделяют немногие месяцы, морозы или сырость, постоянную тьму — вспомнишь и содрогнешься...»

Но тем более восторженно и пронзительно воспринимает поэт те недолгие праздники природы, которые дарит подчас его земля.

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего? —

пишет он в августе 1854 года в стихах, а 6 июля 1858-го — в прозе: «Что это у нас происходит? В какую волшебную сказку мы нечаянно попали? Ясные, жаркие дни, теплые ночи, лед и резкий воздух исчезли, постоянное наслаждение и уверенность в завтрашнем дне. А кто знает, может быть, это продлится, и Господь Бог из соревнования решил отменить холод и дурную погоду, подобно тому, как Российский Император отменил крепостное право!..»

Эта шутливая параллель весьма характерна: из нее ясно, что Тютчев (сказавший ведь и о Турине как о царстве чародея-холода) не воспринимал холод как некую именно русскую стихию, как неотъемлемый характер его родины. Речь идет именно о космической стихии, которую Бог вроде мог бы и «отменить»...

Тютчевское ви́дение, тютчевский образ России как земли, как гётевского *Land*, имеет свое глубоко самобытное содержание; противопоставление Юга и Севера вообще лежит за пределами этого образа (о котором мы еще будем говорить подробно). В 1866 году поэт напишет о «небывалом сентябре» в Петербурге:

Блеск горячий солнце сеет
Вдоль по невской глубине —
Югом блещет, Югом веет,
И живется как во сне.

Итак, Юг возможен даже в сентябрьской России...

Действительная трудность тютчевского возвращения на родину выразилась не в том, что он сожалел о дальнем Юге, а в том, что поэт почти пять лет вообще ничего не писал. «Глядел я, стоя над Невой...» надолго стало не только первым, но и последним стихотворением, созданным в России. Поэт должен был пережить, очевидно, глубокое преобразование самого строя души, прежде чем в его творчестве начался — с 1849 года — новый расцвет. И стихи, которые он стал создавать, были в целом ряде отношений совершенно иными, чем прежние, написанные в конце 1820—1830-х годах.

Гораздо быстрее освоился Тютчев в политической жизни и в быту петербургского общества. Менее чем через два месяца после прибытия в Петербург, 13 ноября 1844 года, он пишет родителям, которые спрашивали его о возможностях дальнейшей дипломатической службы: «Как могли Вы подумать... чтобы я, как бы ни сложились обстоятельства, покинул Россию... Будь я назначен послом в Париж с условием немедленно выехать из России, и то я поколебался бы принять это назначение... А затем — почему бы не признаться в этом? — Петербург, в смысле общества, представляет, может статься, одно из наиболее приятных местожительств в Европе, а когда я говорю — Петербург, это — Россия, это — русский характер, это — русская общительность... Достигнув сорокалетнего возраста и никогда, в сущности, не живший среди русских, я очень рад, что нахожусь в русском обществе, и весьма приятно поражен высказываемой мне благожелательностью».

Тютчев в полном смысле слова покорил петербургское общество. Вяземский писал в январе 1845 года: «Тютчев — лев сезона». Это, на наш слух, несколько легковесно звуча-

щее определение тем не менее означало многое. Ведь речь шла о мало кому известном человеке, о совершенно «неудачливом», на сторонний взгляд, дипломате, который до приезда в Петербург пять лет вел как бы сугубо частную жизнь в одном из многочисленных германских королевств. И вот он неожиданно в центре общего внимания, его жаждут видеть в каждом причастном к политике и культуре петербургском доме.

Друг Пушкина Петр Плетнев, редактировавший после его гибели «Современник» и продолжавший в 1837—1840 годах печатать там тютчевские стихотворения, жаловался в письме Жуковскому, что вернувшегося в Петербург Тютчева «нет возможности поймать в квартире его, а еще мудренее заполучить к себе на квартиру». Сам поэт, через два с половиной месяца после приезда в Россию, 7 декабря, сообщает родителям: «Я редко возвращаюсь домой ранее двух часов утра, и однако до сих пор был только один бал; по большей части это просто вечера, посвященные беседе».

В то время очень немногие петербуржцы знали и тем более думали о Тютчеве как о поэте. Перед ними предстал человек, диалоги с которым в течение многих лет восхищали изощреннейших мыслителей и политиков Запада. И Тютчев в прямом смысле слова затмил всех глубокомысленных и остроумных людей петербургского общества. Известный писатель и не менее известный «светский человек» граф Владимир Соллогуб вспоминал позднее Тютчева, окруженного «очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моем веку разговаривать и слушать знаменитых рассказчиков, — писал Соллогуб, — но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст... Когда он начинал говорить, рассказывать, все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева... Главной прелестью Тютчева... было то, что... не было ничего приготовленного, выученного, придуманного».

Искусством вести захватывающий всех разговор Тютчев владел с молодых лет и притом не придавал самой этой своей способности никакого серьезного значения. Незадолго до смерти он встретился с одним зарубежным дипломатом, которого знал за три с лишним десятка лет до того в Мюнхене, и сообщал жене, что тот «поистине удивил чрезвычайной живостью своих воспоминаний. Можно было подумать, что еще только накануне мы встречались с ним... Он даже

припомнил кое-что, якобы сказанное мною некогда. По-видимому, я уже тогда произносил *словечки*»*.

Мы еще не говорили об этой черте Тютчева. Любой его разговор был сочетанием несравненного блеска и глубины. Приведенная автохарактеристика или, вернее, автокритика выражает только предельную скромность поэта. В искусстве разговора ему, по-видимому, просто не было равных в его время. Погодин вспоминал об этом так: кто-нибудь сообщает Тютчеву «новость, только что полученную, слово за слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация... вот он роняет, сам не примечая того, несколько выражений, запечатленных особенною силой ума, несколько острот едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шепотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что сказал вчера на бале у княгини Н.». Погодин даже высказал мысль, что эти речи Тютчева и составляли его «настоящую службу».

И в этом — немалая доля истины. Разговоры в том кругу, который был прямо и непосредственно связан с высшими сферами власти, а нередко и в присутствии самих представителей этих сфер, вне всякого сомнения, были частью — и немаловажной — политической деятельности Тютчева. Ту же цель преследовали и многие тютчевские письма влиятельным людям, письма, не менее блистательные и содержательные, чем речи.

Позднее, начиная со второй половины пятидесятых годов, тютчевские речи и письма явно оказывали очень значительное, не могущее быть переоцененным, воздействие на русскую внешнюю политику. В сороковые же годы Тютчев скорее завоевывал внимание и авторитет, чем реально влиял на политические дела, ибо всесильный Нессельроде не мог допустить какого-либо воздействия тютчевских идей на свой внешнеполитический курс.

Разумеется, и речи, и письма Тютчева были в подавляющем большинстве случаев французскими, притом чисто словесное его мастерство не раз приводило в восторг самих французов. Говоря по-русски, он не смог бы по-настоящему воздействовать на те круги, от которых зависела внешняя политика, ибо подавляющее большинство людей, принадле-

---

* Тютчев употребил французское «mot» («слово»), которое вернее всего будет перевести как «словцо», «словечко».

жавших к этим кругам, не только говорило, но и думало по-французски.

Тот факт, что Тютчев чаще всего говорил и писал по-французски, нередко рассматривается как недостаток, даже своего рода «ущербность». В самой поэтической деятельности Тютчева видят при этом трудное и, так сказать, не победившее до конца, не избежавшее определенных потерь преодоление его постоянной погруженности в чужой язык. Выше приводились слова самого Льва Толстого, признавшегося, что, не будучи еще лично знаком с Тютчевым, он питал предубеждение к поэту, который-де «говорил и писал по-французски свободнее, чем по-русски».

Русский поэт, постоянно пользующийся чужим языком, — это в самом деле легко представить как нечто противоестественное и заведомо мешающее поэтическому творчеству. Однако реальность жизни и поэзии всегда сложнее и неожиданнее любой предвзятой концепции. Пушкин еще в 1825 году писал о несомненном в его глазах последствии постоянного употребления французского языка «в образованном кругу наших обществ»: «Русский язык чрез то должен был сохранить драгоценную свежесть, простоту и, так сказать, чистосердечность выражений». И о правоте этого, кажущегося парадоксальным, утверждения ясно свидетельствуют и творчество самого Пушкина, и лирика Тютчева, как и его — пусть и немногочисленные — русские письма.

Говоря постоянно по-французски, Тютчев действительно сохранял для себя русскую речь во всей свежести, простоте и чистосердечности, почему и бессмысленно усматривать в его «двуязычии» некий недостаток...

Но вернемся к петербургским успехам Тютчева. Уже в самом начале его слово приобрело ту высшую авторитетность, которая впоследствии принесла свои весомые плоды. Помимо того, Тютчев очень быстро восстановил и свое официальное, служебное положение.

Есть все основания утверждать, что решающую роль в этом сыграли его описанные выше усилия, которые можно бы определить выражением «операция Бенкендорф». Сумев убедить начальника Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии в первостепенной важности своей внешнеполитической программы, Тютчев тем самым через голову Нессельроде заручился благоволением царя.

Легче всего «осудить» поэта за его, так сказать, сотрудничество с Бенкендорфом. Но, во-первых, у него не было иного выхода, — никто, кроме шефа Третьего отделения, не мог

бы нейтрализовать власть Нессельроде, который полностью отстранил Тютчева от дипломатии.

Нелишне будет напомнить, что сам Пушкин не раз прибегал к своего рода «помощи» Бенкендорфа. Так, в 1830 году, после появления в булгаринской газете «Северная пчела» издевательских статеек о нем, Пушкин писал Бенкендорфу: «Если Вы завтра не будете больше министром, послезавтра меня упрячут. Г-н Булгарин, утверждающий, что он пользуется некоторым влиянием на Вас, превратился в одного из моих самых яростных врагов... После той гнусной статьи, которую напечатал он обо мне, я считаю его способным на все. Я не могу не предупредить Вас о моих отношениях с этим человеком, так как он может причинить мне бесконечно много зла».

Бенкендорф не мог не довести до сведения царя это обращение Пушкина. И когда в «Северной пчеле» появился новый резкий выпад против поэта, Николай I написал Бенкендорфу: «В сегодняшнем номере “Пчелы” находится опять несправедливейшая и пошлейшая статья, направленная против Пушкина. Статья, наверное, будет продолжена. Поэтому предлагаю вам призвать Булгарина и запретить ему отныне печатать какие бы то ни было критики на литературные произведения, и, если можно, то и закрыть газету». Вполне естественно, что с тех пор Булгарин более не задевал Пушкина в печати.

Пушкин стремился «использовать» Бенкендорфа и в борьбе против гораздо более сильного своего врага — министра просвещения Уварова. Готовясь в 1835 году издавать газету (замысел в конце концов вылился в журнал «Современник»), Пушкин писал Бенкендорфу: «Я имел несчастье навлечь на себя неприязнь г. министра народного просвещения, так же, как князя Дондукова... Оба уже дали мне ее почувствовать довольно неприятным образом. Вступая на поприще, где я буду вполне от них зависеть, я пропаду без вашего непосредственного покровительства».

Разумеется, в такой «опоре» Пушкина на власть Бенкендорфа нет ровно ничего «предосудительного»; полным «оправданием» поэта могут послужить хотя бы изданные им тома «Современника». Уваров, если бы мог, не допустил бы этого; он открыто заявлял, что «Пушкин не сможет издавать хороший журнал».

Нельзя не видеть, что Тютчев, как и Пушкин, опирался на власть Бенкендорфа в борьбе вовсе не только за свои собственные интересы, но и за интересы России.

Об «операции Бенкендорф» уже было подробно рассказано. Стоит добавить только, что 14 августа 1843 года, всего за

три недели до своей встречи с начальником Третьего отделения, Тютчев писал жене из Петербурга: «Жить здесь, в ожидании чего-то, угодного судьбе, было бы так же бессмысленно, как серьезно рассчитывать на выигрыш в лотерее. Притом у меня нет ни средств, ни, главное, охоты увековечиваться здесь в ожидании этого чуда. Итак, я решил не извлекать из моего путешествия в Петербург иной выгоды, кроме попытки упорядочить мою отставку...» Встреча с Бенкендорфом самым решительным образом изменила положение Тютчева.

Несмотря на то, что начальник Третьего отделения умер сразу же после окончательного возвращения Тютчева в Россию, в сентябре 1844 года, результаты «операции» были поистине впечатляющими. Царь явно целиком доверился рекомендациям Бенкендорфа, и сам Нессельроде, надо думать, даже не решился разубеждать Николая I и сделал вид, что он будто бы самым положительным образом относится к Тютчеву.

Через месяц с небольшим после приезда в Петербург, 27 октября 1844 года, Тютчев писал родителям: «На прошлой неделе я виделся с вице-канцлером, и прием, оказанный им мне, намного превзошел все мои ожидания... Некоторые мои письма, относящиеся до вопросов дня, были представлены и ему, и Государю (письма эти Тютчев посылал, очевидно, на имя Бенкендорфа. — *В. К.*). И вот после четвертьчасовой беседы о том, что служило предметом переписки, он весьма любезно спросил меня, не соглашусь ли я вернуться на службу. Так как я уже давно предвидел этот вопрос, я сказал ему, что *да* и как я мыслю это возвращение... Одним словом... я был вполне удовлетворен этим свиданием, даже не столько из своих личных интересов, сколько в интересах дела, единственно меня затрагивающего».

Важно добавить к этому, что усилия Тютчева выразились не только в разговорах и переписке с Бенкендорфом. С разрешения последнего Тютчев опубликовал летом 1844 года в Мюнхене анонимную брошюру об отношениях России и Германии. Брошюра была представлена царю, который, как сообщал родителям Тютчев, «нашел в ней все свои мысли и будто бы поинтересовался, кто ее автор. Я, конечно, весьма польщен этим совпадением взглядов, но, смею сказать, — по причинам, не имеющим ничего личного». Из этого видно, что Тютчев в то время надеялся на чаемое им изменение внешней политики России.

Но надежда оказалась всецело иллюзорной, и во время Крымской войны Тютчев с беспощадной, крайней резкос-

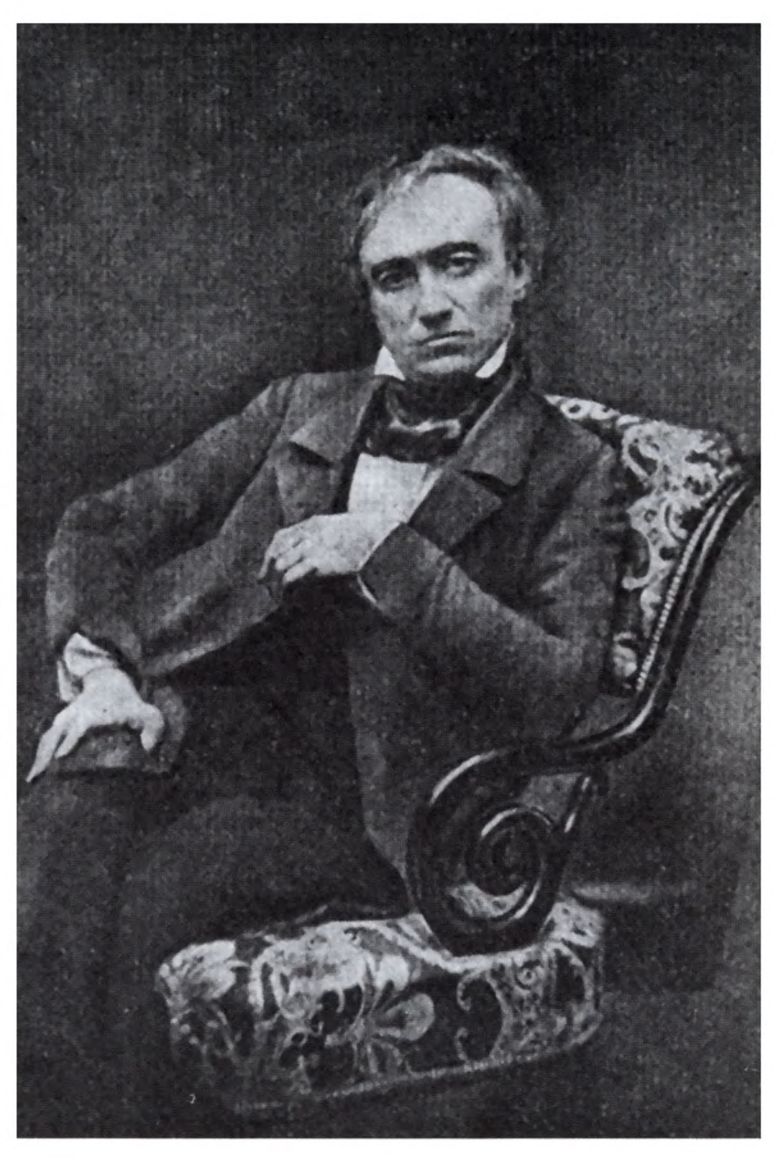
тью оценит и Николая I, и всех его сподвижников, в том числе и Бенкендорфа. Ибо ведь и его конечно же имел в виду Тютчев, когда писал (в мае 1855 года): «Подавление мысли было в течение многих лет руководящим принципом правительства. Следствия подобной системы не могли иметь предела или ограничения — ничто не было пощажено, все подверглось этому давлению, всё и все отупели».

Вместе с тем за десять лет до того Тютчев, по-видимому, питал немалые иллюзии, в том числе даже и в отношении самого Нессельроде. Не следует упускать из виду, что Тютчев двадцать с лишним лет не жил в России и, естественно, далеко не сразу мог разобраться в ситуации. Он склонен был даже приписывать все свои предшествующие неудачи именно долгой отдаленности от России. 13 ноября 1844 года он пишет родителям: «До сих пор моя карьера терпела неудачу именно вследствие постоянного моего отсутствия... Вице-канцлер выказывает мне внимание и, что еще важнее, интересуется также делом, — тем делом, которое я перед ним отстаиваю».

Внешне все вроде бы обстояло наилучшим образом. В марте 1845 года Тютчев был снова зачислен в Министерство иностранных дел; в апреле ему возвращается звание камергера. Жалованье ему пока не выплачивали, ибо конкретной должности он не занимал; считалось, что он ожидает достойной его вакансии. Так прошел почти год, и Тютчев был наконец назначен «чиновником особых поручений VI класса при государственном канцлере» (Нессельроде только что был произведен в этот высший чин). Но никаких ответственных «поручений» канцлер ему не находил. Лишь через полтора года, в конце июня 1847-го, Тютчев был отправлен дипломатическим курьером в Берлин и Цюрих. Он с явной иронией рассказывал в письме жене, как перед отбытием в Германию заехал «проститься с канцлером. Он меня тронул своим благодушием. Он меня сильно убеждал навестить его жену в Бадене лишь после того, как сдам экспедицию в Цюрихе. — “Так как она довольно спешна”, — прибавил он...».

Чтобы лучше понять ситуацию, перенесемся на шесть лет вперед, когда Нессельроде во второй раз послал Тютчева курьером в Европу. К этому времени поэт гораздо яснее видел истинную суть и Нессельроде, и его отношения к себе.

В письме жене от 18 февраля 1853 года Тютчев передает рассказ своего знакомого о том, как канцлер в очередной раз «сказал, что очень бы желал что-нибудь для меня сделать». В результате возникло предложение предоставить Тютчеву весьма незначительный пост генерального консула



Ф. И. Тютчев. *Санкт-Петербург, около 1850 г.*



Мураново. Анфилада комнат в усадебном доме

Флигель Эрнестины Тютчевой



Эрнестина Тютчева, вторая жена поэта



Одна из комнат в музее-усадьбе «Мураново»



Уголок кабинета Ф. И. Тютчева



Тютчев. *Шарж И. А. Всеволожского. 1860-е гг.*

Тютчев и цензор Е. Е. Комаровский. *Шарж П. Фредро. 1860-е гг.*

Два голоса.

1.

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна —
Над вами светила — молчат в вышине —
Под вами могилы — молчат и оне —

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги —
Бессмертье их чуждо труда и тревоги —
Тревога и труд лишь для смертных сердец —
Для них нет победы — для них есть конец

II.

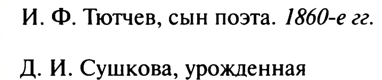
Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток — ни упорна борьба —
Над вами безмолвные звездные круги
Под вами немые глухие гроба.

Пусть Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец —
Кто ратуя пал — побежденный лишь Роком
Тот вырвал из рук их победный венец

Автограф в альбоме М. Ф. Тютчевой (Бирилевой), дочери поэта. *1850 г.*



А. Ф. Аксакова,
урожденная Тютчева,
старшая дочь поэта. *1860-е гг.*



И. Ф. Тютчев, сын поэта. *1860-е гг.*

Д. И. Сушкова, урожденная
Тютчева, сестра поэта







А. М. Горчаков



Е. Ф. Тютчева, дочь поэта

Эрн. Ф. Тютчева.
Санкт-Петербург, 1862 г.

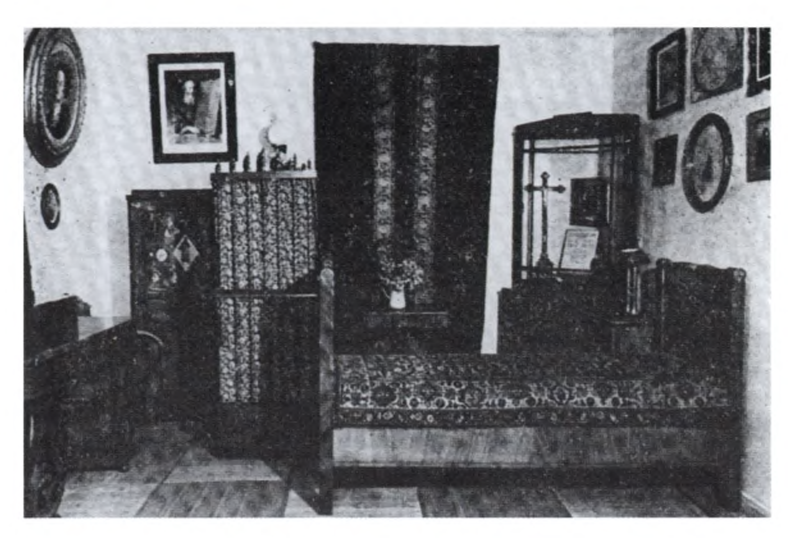


М. Ф. и Эрн. Ф. Тютчевы.
Санкт-Петербург, 1860 г.



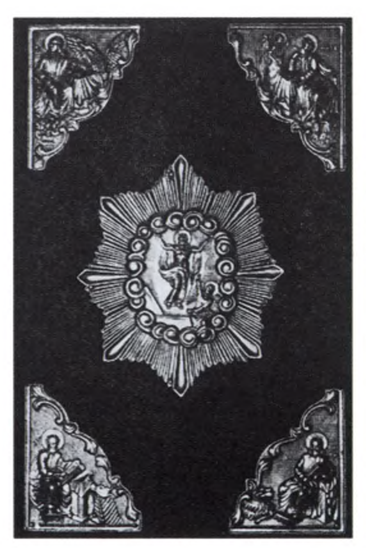
М. Ф. Бирилева,
урожденная Тютчева,
дочь поэта

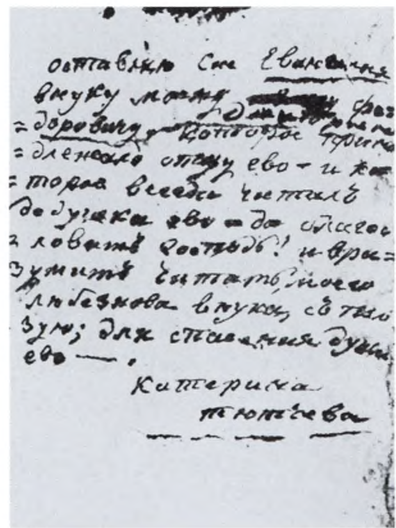
Н. А. Бирилев,
М. Ф. Бирилева
и Э. Ф. Тютчева



Музей-усадьба «Мураново».
Обстановка спальни Тютчева из его последней квартиры

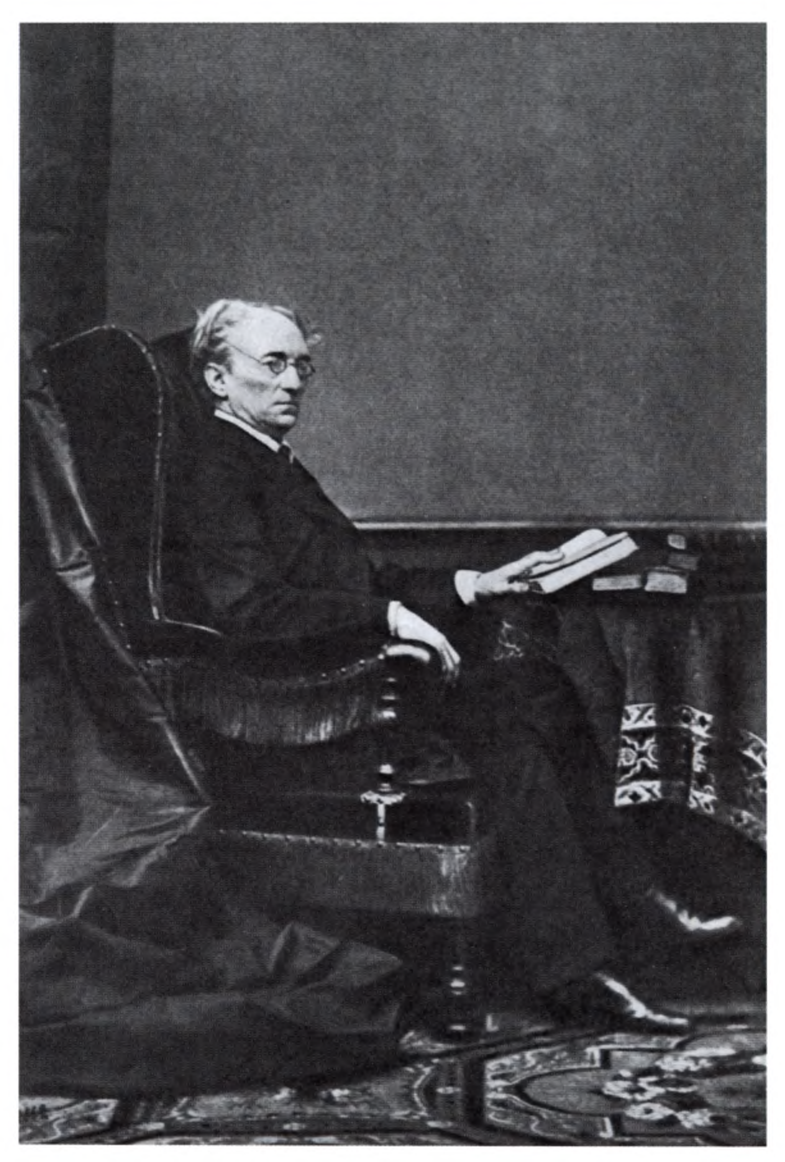
Евангелие, принадлежавшее Тютчеву. Переплет и форзац с надписью Е. Л. Тютчевой, матери поэта: «Оставляю сие Евангелие внуку моему Дмитрию Федоровичу, которое принадлежало отцу ево — и которое всегда читал дедушка ево — да благословит Господь! и вразумит читать моего любезнова внука, с пользою; для спасения души ево, Катерина Тютчева»





Оставляю сие Евангелие
внуку моему Дмитрию Фе=
=доровичу, которое принад=
=длежало отцу ево — и ко=
=торое всегда читал
дедушка ево — да благо=
=словит Господь! и вра=
=зумит читать моего
любезнова внука, с поль=
=зою; для спасения души
ево —.

Катерина
Тютчева



Ф. И. Тютчев. *Санкт-Петербург, 1862 г.*


Е. А. Денисьева.
1851 г.


Е. А. Денисьева
с дочерью Лёлей.
1862 или 1863 г.



Ф. И. Тютчев.
Париж, 1865 г.

в Лейпциге, поскольку занимавший его сравнительно молодой дипломат от него отказывался. Речь шла о человеке, который в 1838—1839 годах был подчиненным Тютчева в Турине... «Мне так все надоело, так все безразлично, — писал Тютчев, — что это дурацкое предложение меня даже не рассердило... Я попросил передать канцлеру просьбу, чтобы он сохранил добрые намерения в отношении меня на будущее, а сейчас разрешил бы мне поехать в мае с дипломатической почтой в Париж и дал бы мне возможность отсутствовать, сколько понадобится, сохранив мне жалованье... Вот уж что доставит ему большое удовольствие и очень расположит его ко мне. Аминь».

Итак, к этому времени Тютчев с полной ясностью понимал, что Нессельроде готов платить ему жалованье и предоставлять заграничные командировки, но с условием не вмешиваться всерьез в политические дела. Зная о внушенной царю Бенкендорфом «благожелательности» к Тютчеву, Нессельроде старался соблюдать в отношениях с ним формальный нейтралитет. И, как пишет Тютчев, с «большим удовольствием» воспринимал всякое проявление согласия с правилами этой игры.

Однако ошибочно было бы думать, что Тютчев не нарушал этих правил. Как уже отмечалось, сын Нессельроде передал хорошо знакомому ему брату жены поэта Карлу Пфеффелю, что канцлер возмущается «враждебными» ему «пылкими речами» Тютчева в петербургских салонах. Пфеффель призывал сестру убедить Тютчева «утихомириться». Важно добавить, что это заявление сына Нессельроде относится к началу 1853 года, то есть к тому самому времени, когда Тютчеву была предоставлена заграничная поездка; канцлер явно видел в этой командировке своего рода «подкуп»...

Но мы еще вернемся к отношениям Тютчева и Нессельроде, которые окончательно выявились накануне и во время Крымской войны. Сейчас необходимо только отчетливо увидеть, что Нессельроде, вынужденный снова принять Тютчева в свое министерство, в то же время не давал ему никакой возможности действительно участвовать в выработке внешней политики России.

И все же Тютчев именно в это время принимает очень весомое участие во внешнеполитических делах. В 1844—1850 годах он публикует за границей несколько глубоко содержательных и острых политических статей, которые вызвали чрезвычайно сильный резонанс. Статьи эти не раз пе-

репечатывались или излагались в разных изданиях. Современный английский исследователь русской литературы Рональд Лэйн выявил около полусотни откликов на тютчевские статьи в немецкой, французской, бельгийской, английской, итальянской печати (в том числе и целые книги). Особенно замечательно, что полемика вокруг этих статей продолжалась около трех десятилетий, даже и после кончины Тютчева...

Можно без всякого преувеличения сказать, что в статьях Тютчева Европа впервые непосредственно услышала голос России. Редактор влиятельнейшего тогдашнего французского журнала «Ревю де Дё Монд» Ф. Бюлоз писал, что Тютчев — «писатель с очень большим дарованием, владеющий с поразительной силой нашим языком». Бюлоз выражает «чувство восхищения, питаемого... к силе и точности его мысли» и надежду, что Тютчев «явится проводником в Западной Европе идей и настроений, одушевляющих его страну... и духовным посредником».

В полемике с Тютчевым приняли участие ряд виднейших политических и религиозных мыслителей тогдашнего Запада — Ж. Мишле, Э. Форкад, П. Лоренси, Ф. Йарке и др. Полемика была подчас крайне резкой, но большинство ее участников сочли нужным дать чрезвычайно высокие оценки Тютчеву как мыслителю и публицисту. О нем говорят как о человеке, «обнаруживающем многоопытный в государственных делах ум», сумевшем дать «глубоко справедливую оценку политического положения Европы» и т. п.

Статьи Тютчева публиковались без имени автора, с указанием, что их написал «русский человек» или же «русский дипломат». То, что статьи принадлежат Тютчеву, стало более или менее известно лишь перед началом Крымской войны. Любопытно, что одним из оппонентов поэта, притом очень резким, был известный нам Иван Гагарин (к тому времени давно ставший иезуитом), который, впрочем, не знал, с кем он так яростно спорит (авторство Тютчева стало известно в 1852 году, а статья Гагарина появилась в 1850-м).

Вообще, как убедительно доказывает уже упомянутый Р. Лэйн, статьи Тютчева были настоящей сенсацией на Западе.

Поэт начал свои выступления в европейской печати еще до возвращения в Россию, сразу после того, как он получил «разрешение» Бенкендорфа. Его первое предельно краткое письмо в уже известную нам аугсбургскую «Всеобщую газету», по сути дела, целиком посвящено смыслу русской победы над Наполеоном в 1812—1814 годах. Письмо это было вызвано издевательскими суждениями о русских солдатах, появившимися во «Всеобщей газете».

«Занятные вещи пишутся и печатаются в Германии!» — восклицал Тютчев о русских солдатах, которые «тридцать лет тому назад проливали кровь на полях сражений своей отчизны, дабы достигнуть освобождения Германии». Их кровь, писал Тютчев, «слилась с кровью ваших отцов и ваших братьев, смыла позор Германии и завоевала ей независимость и честь... После веков раздробленности и долгих лет политической смерти немцы смогли получить свою национальную независимость только благодаря великодушному содействию России».

Здесь же Тютчев создает своего рода гимн русскому солдату: «Если Вы встретите ветерана наполеоновской армии, напомните ему его славное прошлое и спросите, кто из противников, с которыми он воевал на полях Европы, был наиболее достоин уважения, кто после отдельных поражений держался гордо, — можно поставить десять против одного, что наполеоновский ветеран назовет Вам русского солдата. Пройдитесь по департаментам Франции, где вражеское вторжение 1814 года оставило свой след, и спросите жителей этих провинций, какой солдат из войск противника постоянно проявлял величайшую человечность, строжайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям, безоружным гражданам, — можно поставить сто против одного, что Вам назовут русского солдата».

Вскоре, летом 1844 года, Тютчев издал в Мюнхене брошюру, посвященную взаимоотношениям России и Германии. Но здесь он уже развертывает тему «Россия и Запад» во всем объеме.

Речь идет прежде всего о том, что Россия, освободившая тридцать лет назад Европу от наполеоновского господства, подвергается ныне постоянным враждебным нападкам в европейской печати. В результате, пишет Тютчев, ту державу, которую «поколение 1813 года приветствовало с благородным восторгом... удалось с помощью припева, постоянно повторяемого нынешнему поколению при его нарождении, почти удалось, говорю я, эту же самую державу преобразовать в чудовище для большинства людей нашего времени, и многие уже возмужалые умы не усомнились вернуться к простодушному ребячеству первого возраста, чтобы доставить себе наслаждение взирать на Россию как на какого-то людоеда XIX века».

Статьи Тютчева были вызваны пророческим предчувствием войны Запада против России, которая разразилась через десять лет. Между прочим, один из оппонентов Тютчева, влиятельный французский публицист Форкад, напишет

в апреле 1854 года, когда война началась, об уже давних тютчевских статьях: «Мы были поражены идеями русского дипломата о религиозных делах на Западе; но мы видели в них лишь парадокс и острый в своей основе тезис; мы не замечали, признаемся в том, за этим парадоксом европейскую войну».

Тютчев как раз с острой прозорливостью «замечал» эту войну задолго до ее реального начала. Но, оценивая тютчевские статьи сороковых годов, никак нельзя свести их к этому конкретному предвидению. Тютчев выразил в них, если угодно, целую философию истории. Он писал в начале своей брошюры о России и Германии: «Мое письмо не будет заключать в себе апологии России. Апология России... Боже мой! Эту задачу принял на себя мастер, который выше нас всех и который, мне кажется, выполнял ее до сих пор вполне успешно. Истинный защитник России — это *история;* ею в течение трех столетий неустанно разрешаются в пользу России все испытания, которым подвергает она свою таинственную судьбу...»

Уже не раз говорилось о глубочайшем внимании Тютчева к истории, о его, можно сказать, погруженности в историю — русскую и мировую — во всем ее тысячелетнем размахе. В приведенном только что высказывании Тютчев как бы ограничивает, вероятно для большей популярности, свою мысль рамками Нового времени («три столетия» — XVII, XVIII, XIX). Но на деле он всегда стремился обнять взглядом историю в целом.

Очень характерен его рассказ в письме жене о посещении в августе 1843 года церкви в Москве. Тютчев тогда уезжал (в последний раз перед окончательным возвращением на родину) в Германию и, по настоянию своей матери, исполнил положенные при прощании православные обряды:

«Утром в день моего отъезда, приходившийся на воскресенье, после обедни был отслужен обязательный молебен, после чего мы посетили собор и часовню, в коей находится чудотворный образ Иверской Божией Матери. Одним словом, все произошло по обрядам самого точного православия. И что же? Для того, кто приобщается к нему лишь мимоходом и кто воспринимает от него лишь поскольку это ему заблагорассудится...» (Здесь стоит прервать тютчевское письмо, дабы пояснить, что он имеет в виду таких людей, как он сам; мы еще будем говорить об очень сложном и противоречивом отношении поэта к церкви и религии, пока же достаточно сказать, что в зрелые свои годы Тютчев исполнял церковные обряды только в очень редких, особых случаях.)

Итак, для людей подобного рода «в этих обрядах, столь глубоко исторических, в этом русско-византийском мире, где жизнь и обрядность сливаются, и который столь древен, что даже сам Рим, сравнительно с ним, представляется нововведением, — во всем этом для тех, у кого есть чутье к подобным явлениям, открывается величие несравненной поэзии... Ибо к чувству столь древнего прошлого неизбежно присоединяется предчувствие неизмеримого будущего».

В высшей степени характерно, что Тютчева глубоко волнует в церковных обрядах та почти двухтысячелетняя история, в течение которой они непрерывно совершались (говоря о Риме как «нововведении», поэт имеет в виду, что Восточная церковь восходит прямо и непосредственно к изначальному христианству, а не к Римской церкви). Столь глубокая даль истории как бы позволяет так же далеко заглянуть в будущее... Уже приводились слова Тютчева, написанные около древнего Новгорода — в «краю», который есть «начало России»: «Нет ничего более человечного в человеке, чем потребность связывать прошлое с настоящим». Поэт сказал об этом и в более личностном плане: «Восстановить цепь времен» — вот что «составляет самую настоятельную потребность моего существа».

И статьи Тютчева, казалось бы, целиком обращенные к сегодняшней политической ситуации, вместе с тем проникнуты всеобъемлющим историческим сознанием. Конечно, тютчевский историзм в значительной степени был историзмом *поэта.* Он сам признался, что в Истории ему «открывается... величие несравненной поэзии».

Трудно сомневаться в том, что Тютчев знал мысль Наполеона, высказанную им в 1808 году во время встречи с Гёте, который затем изложил эту мысль в своей известной записке «Беседа с Наполеоном»: «Неодобрительно отозвался он и о драмах рока. Они — знамение темных времен. А что такое рок в наши дни? — добавил он. — Рок — это политика».

Тютчев, надо думать, согласился бы с этим высоким представлением о политике. Но он был Поэтом на все времена, и для него не была «устаревшей» трагическая идея рока, которая запечатлелась с такой мощью в его стихотворении «Два голоса», созданном, кстати сказать, одновременно с одной из важнейших тютчевских статей — «Папство и римский вопрос с русской точки зрения» (1850), где также речь шла о «роковых» противоречиях Истории.

Словом, Тютчев и в своих политических статьях в определенном смысле оставался поэтом, и это надо учитывать. Но ошибочно полагать, что поэтическое миропонимание

лишено объективной исторической правды. Историзм Шекспира и Гёте, Пушкина и Толстого — это, при всех возможных оговорках, вполне реальный историзм, без которого мы значительно беднее и поверхностнее воспринимали бы Историю. И это целиком относится к Тютчеву — и к его стихам, и к его статьям.

В статье о России и Германии поэт создает своего рода историософский образ тысячелетней державы: «О России много говорят, в наше время она служит предметом пламенного тревожного любопытства; очевидно, что она сделалась одною из главнейших забот нашего века... Современное настроение, детище Запада, чувствует себя в этом случае перед стихией если и не враждебной, то вполне ему чуждой, стихией, ему неподвластной, и оно как будто боится изменить самому себе, подвергнуть сомнению свою собственную законность, если оно признает вполне справедливым вопрос, ему предложенный... Что такое Россия? Каков смысл ее существования, ее исторический закон? Откуда явилась она? Куда стремится? Что выражает собою?.. Правда, что вселенная отвела ей видное место; но философия истории еще не соблаговолила признать его за нею. Некоторые редкие умы, два или три в Германии*, один или два во Франции, более дальновидные, чем остальная масса умственных сил, провидели разгадку задачи, приподняли было уголок этой завесы; но их слова до настоящей минуты мало понимались, или им не внимали!..

В течение целых столетий европейский Запад с полнейшим простодушием верил, что не было и не могло быть другой Европы, кроме его... Чтобы... существовала другая Европа, восточная Европа, законная сестра христианского Запада... чтобы существовал там целый *мир, единый* по своему началу, солидарный в своих частях, живущий своею собственною органическою, самобытною жизнью, — этого допустить было невозможно... Долгое время это заблуждение было извинительно; в продолжении целых веков созидающая сила оставалась как бы схороненной среди хаоса; ее действие было медленно, почти незаметно; густая завеса скрывала тихое созидание этого мира... Но, наконец, когда судьбы свершились, рука исполина сдернула эту завесу, и Европа Карла Великого очутилась лицом к лицу с Европой Петра Великого!»

Стоит сразу же обратить внимание на то, что поэт видит в Петре Великом высшее и подлинное воплощение России;

---

* Тютчев, очевидно, имеет здесь в виду прежде всего Гёте и Шеллинга.

это одно из его многих коренных расхождений со славянофилами (впрочем, это закономерно вытекает из того, что для Тютчева определяющее понятие — «держава», а не «община», как для славянофилов).

Далее Тютчев говорит, что в Германии есть люди, которые объясняют свою враждебность к России так: «Мы обязаны вас ненавидеть, ваше основное начало, самое начало вашей цивилизации внушает нам, немцам, западникам, отвращение; у вас не было ни *феодализма,* ни *папской иерархии;* вы не испытывали ни борьбы *религиозной,* ни войн *империи,* ни даже *инквизиции;* вы не принимали участия в крестовых походах, вы не знавали рыцарства; вы четыре столетия тому назад* достигли того единства, к которому мы еще теперь стремимся; ваше основное начало не уделяет достаточного простора личной свободе, оно не допускает возможности разъединения и раздробления». Приведя этот перечень «обвинений» в адрес России, Тютчев говорит:

«Все это так, но, по справедливости, воспрепятствовало ли все это нам искренне и мужественно пособлять вам при случае, когда требовалось отстоять, восстановить вашу политическую самостоятельность, вашу национальность?** И теперь вам не остается ничего другого, как признать нашу собственную.

Будемте говорить серьезно, потому что предмет этого заслуживает. Россия вполне готова уважать историческую законность народов Запада; тридцать лет тому назад она с вами вместе заботилась о ее восстановлении... Но и вы, со своей стороны, должны учиться уважать нас в нашем единении и нашей силе!

Но мне скажут, что несовершенство нашего общественного строя, недостатки нашей администрации... и пр., что все это в совокупности раздражает общее мнение против России.

Неужели? Возможно ли, чтобы мне, готовому жаловаться на избыток недоброжелательства, пришлось бы тогда протестовать против излишнего сочувствия?

Потому что, в конце концов, мы не одни на белом свете, и если уж вы обладаете таким чрезмерным запасом сочувствия к человечеству... то не сочли бы вы более справедливым разделить его между всеми народами земли? Все они заслуживают сожаления. Взгляните, например, на Англию! Что вы о ней скажете? Взгляните на ее фабричное население, на Ирландию; и если бы вам удалось вполне сознательно под-

---

* То есть еще в XV веке.

** Имеется в виду борьба с Наполеоном.

вести итоги в этих двух странах, если бы вы могли взвесить на правдивых весах злополучные последствия русского варварства и английского просвещения — быть может, вы признали бы более своеобразия, чем преувеличения, в заявлении того человека, который, будучи одинаково чуждым обеим странам и равно их изучившим*, утверждал с полнейшим убеждением, что в соединенном королевстве** существует по крайней мере миллион людей, которые много бы выиграли, если бы их сослали в Сибирь!»

Иван Аксаков писал, что «с появлением этой статьи Тютчева *впервые* раздался в Европе твердый и мужественный голос русского общественного мнения. Никто никогда... еще не осмеливался говорить прямо с Европою таким тоном, с таким достоинством и свободой».

Есть все основания утверждать, что тютчевские понятия о соотношении России и Запада начали складываться еще на рубеже 1820—1830-х годов, но он стал открыто высказывать их лишь в 1843—1844 годах, накануне своего возвращения на родину. Характерно его обращение к немцам в статье о России и Германии: «Я уже давно живу между вами...»

В 1849 году в Париже появляется в виде брошюры статья Тютчева о России и Революции, а в 1850-м, во влиятельнейшем парижском журнале «Ревю де Дё Монд» — статья «Папство и Римский вопрос». В это же время он работает над целым трактатом «Россия и Запад», который должен был состоять из девяти глав: 1. Общее положение дел. 2. Римский вопрос. 3. Италия. 4. Единство Германии. 5. Австрия. 6. Россия. 7. Россия и Наполеон. 8. Россия и Революция. 9. Будущность.

За исключением глав о Римском вопросе, о единстве Германии и о России и Революции, которые, по-видимому, и были опубликованы отдельно, остальные шесть глав остались в виде набросков. Но на их основе — особенно если учитывать еще целый ряд очень содержательных писем поэта — можно более или менее ясно представить себе его историософско-политическую концепцию.

Столь сложное, даже, пожалуй, громоздкое определение этой концепции вполне уместно. Тютчев в своих размышлениях никогда не упускает из виду современных, даже сегодняшних политических событий, и вместе с тем он столь же неукоснительно обращен к истории во всем ее «исполинском объеме и развитии» (как он сам говорил). При этом он

* Речь идет о маркизе де Кюстине, авторе упомянутой ранее весьма критической книги «Россия в 1839 году».

** То есть в Англии.

постоянно стремится, опираясь на понимание тысячелетнего прошлого, заглянуть в далекое будущее.

И, быть может, наиболее убедительное доказательство глубины и мощи историософского сознания поэта заключается в том, что ему удалось проницательно предвидеть многие отдаленные во времени плоды современного ему политического развития.

Так, еще в 1849 году он с полной убежденностью говорил о неотвратимом исчезновении Австрийской империи, бывшей тогда крупнейшим государством Европы, — исчезновении, которое действительно произошло через семьдесят лет. В набросках к трактату «Россия и Запад» он писал, в частности, что в Австрийской империи «немецкий гнет не только гнет политический, но во сто раз хуже. Ибо он исходит от той мысли немца, что его господство над славянином — это естественное право. Отсюда — неразрешимое недоразумение и вечная ненависть. Следовательно, невозможность искреннего равноправия... Австрийское господство, вместо того чтобы быть гарантией порядка, явится только закваскою для революции. Славянские племена вынуждены стать революционными, чтобы уберечь свою национальность от немецкого правительства».

Тютчев — и на это необходимо обратить особое внимание — вовсе не ограничивается (и в этом его решительное отличие от славянофилов) проблемой славян. Он говорит здесь же: «Венгрия, которая в славянской империи совершенно естественно согласилась бы на то подчиненное место, которое указывается самим ее положением, согласится ли она, лицом к лицу с Австрией, на условия, в которые та намеревается ее поставить?..»

И Тютчев в рубрике, озаглавленной словом «Племя», прямо выступает против идеи *панславизма**, утверждая, как будто бы даже парадоксально, что «литературные панслависты — это немецкие идеологи, такие же, как и прочие. Истинный панславизм — в массах. Он проявляется в общении русского солдата с первым встретившимся ему славянином из простонародья — словаком, сербом, болгарином и т. д., даже мадьяром. Все они солидарны между собой по отношению к немцу» (то есть Австрийской империи).

Тот факт, что Тютчев говорит не только о славянах, но и о мадьяре, о венгре, чрезвычайно многозначителен. И на той

---

* То есть идеи объединения всех славянских народов, так или иначе противопоставляемых другим народам Европы с «племенной» (и, значит, в конечном счете «расовой») точки зрения.

же странице есть недвусмысленное обобщение: «Вопрос племенной является лишь второстепенным или, точнее, не является принципом. Это один элемент».

Существует, как уже говорилось, совершенно ложная традиция видеть в самом Тютчеве «панслависта», то есть, в частности, приписывать ему «племенную», «расовую» идею. На деле Тютчев, размышляя о «второй», Восточной Европе, «душою и двигательною силою» которой служит, по его мнению, Россия, имел в виду вовсе не племенную, расовую, но духовно-историческую связь народов этой «второй Европы».

Как это ни покажется удивительным, Тютчев считал, что к этой связи принадлежат не только венгры, но и восточная часть германских народов. Он отрицал Австрийскую империю, прямо говоря, что «существование Австрии не имеет более смысла. Кто-то сказал: если бы Австрии не было, ее следовало бы придумать, — но для чего? Чтобы сделать ее оружием против России».

Между тем, утверждает здесь же Тютчев, «помощь, дружба, покровительство России являются для Австрии жизненно важным условием»; или, как он говорит ниже, «без помощи России она не смогла бы существовать».

В этом выражается глубокое противоречие, которое постоянно волновало Тютчева. Он полагал, что Россия призвана поддерживать австрийский народ, а не Австрийскую империю, поработившую значительную часть Восточной и Средней Европы. Между тем правительство России, вопреки этой истинной точке зрения, всячески поддерживало именно Австрийскую империю, против чего не раз решительно выступал Тютчев. В высшей степени закономерно, что Австрийская империя прекратила свое существование сразу же после Октябрьской революции — в 1918 году...

Другим поистине пророческим предвидением Тютчева были его размышления о Германии. Он писал в 1849 году, что совершился «взрыв Германии идеологов. Унитаристская идея — это ее собственное творение. Весь вопрос о единстве Германии сводится теперь к тому, чтоб узнать, захочет ли Германия смириться и стать Пруссией».

В то время еще никто не думал о всеевропейских и, более того, всемирных последствиях происходящих в Германии процессов. Да и сам Тютчев сильно сомневался в намеченном им ходе германской истории. Но все-таки говорил здесь же о прусском противостоянии Австрии, которое он называл «германским дуализмом»: «Россия... сделав их своими союзниками, усыпила антагонизм, но не уничтожила его. Стоит России устраниться, как возобновится война».

Эта война в самом деле разразилась, когда Россия «устранилась» от поддержки Австрии. Пруссия в две недели разгромила австрийскую армию, чтобы помешать империи влиять на германские дела. Но мысль Тютчева уже предвосхищала дальнейший ход событий. «Война только прервана, — писал он сразу после победы Пруссии. — То, что теперь окончилось, было лишь прелюдией великого побоища, великой борьбы между наполеоновской Францией и немцами». И в самом деле — через четыре года после этого тютчевского предвидения объединенная Пруссией Германия разгромила Францию Наполеона III.

И вскоре после этого Тютчев написал поразительные по своей пророческой мощи слова. Необходимо только, вдумываясь в них, помнить, что поэт написал их за три десятилетия до того, как начался XX век:

«Что меня наиболее поражает в современном состоянии умов в Европе, это недостаток разумной оценки некоторых наиважнейших явлений современной эпохи, — например, того, что творится теперь в Германии... Это дальнейшее выполнение все того же дела, обоготворения человека человеком*, — это все та же человеческая воля, возведенная в нечто абсолютное и державное, в закон верховный и безусловный. Таковою проявляется она в политических партиях, для которых личный их интерес и успех их замыслов несравненно выше всякого иного соображения. Таковою начинает она проявляться и в политике правительств, этой политике, доводимой до края во что бы то ни стало, которая, ради достижения своих целей, не стесняется никакою преградою, ничего не щадит и не пренебрегает никаким средством, способным привести ее к желанному результату... Отсюда этот характер варварства, которым запечатлены приемы последней войны, — что-то систематически беспощадное, что ужаснуло мир...

Как только надлежащим образом опознают присутствие этой стихии, так и увидят повод обратить более пристальное внимание на возможные последствия борьбы, завязавшейся теперь в Германии, — последствия, важность которых способна для всего мира достигнуть размеров неисследимых...»

И Тютчев заглядывает далеко в будущее, когда говорит, что все это может «повести Европу к состоянию варварства, не имеющему ничего себе подобного в истории мира, и в котором найдут себе оправдание всяческие иные угнетения.

---

* Речь идет о давно сложившейся мысли Тютчева — одной из центральных его идей, которую мы еще рассмотрим.

Вот те размышления, которые, казалось бы, чтение о том, что делается в Германии, должно вызывать в каждом мыслящем человеке...».

Итак, Тютчев с поражающей воображение проникновенностью сумел увидеть ростки того, что стало всемирной реальностью лишь в тридцатых-сороковых годах XX века. Это заставляет с глубочайшим уважением отнестись к самому, так сказать, методу исторического мышления поэта, — пусть даже многое в его суждениях может представиться ныне иллюзорным или чисто утопическим.

Уже говорилось, что Тютчев в своих политических статьях не переставал быть поэтом. Помимо этого, нельзя также не учитывать, что Тютчев, как и все его поколение, был весьма склонен к утопиям и своего рода фатализму. Любомудры, о чем шла речь выше, сложились в эпоху после поражения декабристов и, в сущности, не изведали реальной исторической деятельности; их «практика» была всецело духовной. С одной стороны, это способствовало объективному осознанию закономерного хода истории. Но в то же время эта «бездеятельность» нередко порождала веру в почти мистическое осуществление тех или иных идеалов, которые будто бы должны сбыться сами по себе, без видимых исторических причин.

Так, Тютчев не раз выражал свою веру в то, что в 1853 году, ровно через четыреста лет после завоевания турками Константинополя, произойдет своего рода чудо и древний Царьград опять станет столицей православия, одним из центров «Великой Греко-Российской Восточной Державы» (Тютчев употреблял обычно французское слово «Empire», но, как показал еще Иван Аксаков, «Империя» по-русски имеет иной, более узкий смысл; правильнее будет переводить словом «Держава»).

Тютчев, о чем в своем месте было сказано, так или иначе приобщился к этой идее, очевидно, еще в отроческие годы в разговорах со своим отцом — воспитанником Греческого корпуса, основанного Екатериной II именно в видах задуманного ею в пору громких побед над Турцией «освобождения» Константинополя. Уже в конце двадцатых годов Тютчев написал стихотворение «Олегов щит», свидетельствующее, что тема Константинополя глубоко его волнует.

Следует иметь в виду, что Тютчев вовсе не исходил из мысли о «завоевании» Константинополя; ему представлялось, что возрождение этого всемирного града в качестве православной столицы совершится именно как бы само собой. Он даже утверждал в набросках к трактату «Россия и

Запад», что турки «заняли православный Восток, чтобы упрятать его от западных народов». Иначе говоря, турки не столько завоеватели, сколько хранители, исполняющие мудрый замысел Истории.

Идея или, вернее, образ тысячелетней христианской Державы — это по сути дела историософское мифотворчество поэта. Создавая миф об этой Державе, Тютчев основывался на заведомо поэтическом представлении о ее постоянном, непреходящем, но, так сказать, не явленном для всех бытии в Истории.

Нередко эту тютчевскую мифологему истолковывали (и продолжают истолковывать) чуть ли не как экспансионистскую, даже империалистическую. Между тем, если объективно разобраться во всех материалах, выражающих соответствующие мысли поэта (статьях, стихах, набросках, письмах), становится неопровержимо ясно, что в глазах Тютчева всякое завоевательное действие как раз целиком разрушало бы самую основу чаемой им «Державы».

Так, он не раз говорил о том, что попытки осуществления этой Державы предпринимались Западом. Именно такие попытки он видел в империях, созданных в IX веке Карлом Великим, в XVI веке — Карлом V, в XVII веке — Людовиком XIV и в XIX веке — Наполеоном. «Но, — писал Тютчев, — Империя на Западе всегда была лишь узурпацией». И когда германский канцлер Бисмарк заявил, что единство наций достигается только «железом и кровью», Тютчев написал известные строки:

«Единство, — возвестил оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...

Эти строки можно скорее расценить как выражение прекраснодушной утопии, но уж во всяком случае нельзя усматривать в них экспансионизм. О самой истории роста России в течение веков Тютчев писал еще в ранней своей статье 1844 года, что в конце концов «не могла не уясниться действительная причина этих быстрых успехов, этого необычайного расширения России, поразивших вселенную изумлением: сделалось очевидным, что эти мнимые завоевания, эти мнимые насилия были делом самым органическим... какое когда-либо совершалось в истории; что состоялось просто громадное воссоединение». Здесь же он говорит, что в результате создался «целый *мир, единый* по своему началу, живущий своею собственною органическою, самобытною жизнью».

Можно, конечно, усмотреть в этих заключениях Тютчева известную долю идеализации; но в главном он прав, и современная историография трактует объединение целого ряда народов вокруг первоначальной Руси именно так*.

Между прочим, Герцен через тринадцать лет после Тютчева, в 1857 году, писал о том же: «Россия расширяется по другому закону, чем Америка; оттого, что она не колония, не наплыв, не нашествие, а самобытный мир, идущий во все стороны...»

И в тютчевской мифологеме «Державы» заключен, без сомнения, свой объективный смысл. Мы уже видели, что движение мысли Тютчева, совершавшееся именно в этой полупоэтической форме, было способно приносить ценнейшие плоды (хотя бы те удивительные предвидения, о которых шла речь выше).

Но в чем же Тютчев усматривал основное «начало» этого мира, этой «Державы»? Прежде всего — в глубокой и мощной способности подчинять частные, индивидуалистические, эгоистические интересы и стремления высшим интересам и стремлениям целого, общего, всенародного. Он писал о присущей этому миру «способности к самоотвержению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы», и утверждал, что на Западе, напротив, господствует совершенно иной строй жизни и сознания: «Человеческое я, желая зависеть лишь от самого себя, не признавая и не принимая другого закона, кроме собственного изволения, словом, человеческое я, заменяя собою Бога, конечно, не составляет еще чего-либо нового среди людей; но таковым сделалось человеческое я, возведенное в политическое и общественное право и стремящееся в силу этого права овладеть обществом». Ярчайшие выражения этого «принципа» поэт видел в фигурах Наполеона и, позднее, Луи Бонапарта (Наполеона III).

Для верного понимания воззрений Тютчева необходимо объективно охарактеризовать его отношение к революциям его времени. Тютчев выступал против главного, основного содержания революций 1789 и 1848 годов, — того содержания, которое в конечном счете как раз и приводило к власти «Бонапартов» (в этом поэт предвосхитил Достоевского и Толстого, в творчестве которых борьба с «наполеоновской»

---

* Ср. краткое, но очень содержательное изложение вопроса в кн.: *Нестеров Ф.* Связь времен. Опыт исторической публицистики. М., 1980 (глава «Многонациональная Россия», с. 87—118); книга эта открывается цитатой из статьи Тютчева 1844 года.

идеей занимает громадное место). При этом Тютчев всегда имел в виду не только революционные события как таковые; он глубоко осознавал их как выражение целостной сущности общественного развития и пророчески предвидел их далекие последствия, он писал, в частности: «Революция, если рассматривать ее с точки зрения самого ее существенного, самого первичного принципа, есть чистейший продукт, последнее слово, высшее выражение того, что... принято называть цивилизацией Запада. Это современная мысль во всей своей цельности... Мысль эта такова: человек, в конечном счете, зависит только от себя самого... Всякая власть исходит от человека; всякая власть, ссылающаяся на высшее законное право по отношению к человеку, является лишь иллюзией. Словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова. Таково для тех, кому оно известно, кредо революционной школы; но, говоря серьезно, разве у западного общества, у западной цивилизации есть иное кредо?» В другой статье он говорит: «Революция... есть не что иное, как апофеоз того же самого человеческого я, достигшего своего полнейшего расцвета».

Стоит сразу же отметить, что один из западных оппонентов Тютчева, знаменитый буржуазный историк Жюль Мишле, в 1851 году с гневом писал об этой его позиции: «Против кого направлен этот крестовый поход? Против демократического индивидуализма». И защищал этот индивидуализм так: «*Республиканское я* — беспокойное, подвижное... и это беспокойство плодотворно».

Но Тютчев как бы заранее отвечал на это возражение в своих набросках 1849 года: «Как же хотите вы, чтобы человеческое я, эта определяющая частица современной демократии, не избрало себя объектом самовозвеличения, и поскольку в конце концов оно не обязано признавать иную власть, кроме своей, кого же, по-вашему, оно должно было обожествлять, как не самого себя? Если б оно не делало этого, право, это было бы излишней скромностью с его стороны. Согласимся же, что Революция, разнообразная до бесконечности в своих степенях и проявлениях, едина и тождественна в своем принципе, и из этого именно принципа, надобно же в этом признаться, и вышла нынешняя цивилизация Запада».

Могут возразить, что и в 1848 году в европейских революциях так или иначе участвовали массы, боровшиеся не за индивидуалистические, а за народные идеалы. Но Тютчев судил о результатах революций 1789 и 1848 годов и о их победителях. Он утверждал, что во главе оказалось «меньшин-

ство западного общества», которое как раз, по его словам, «порвало с *исторической жизнью масс* (выделено мной. — *В. К.*) и отряхнуло от себя всякие положительные верования... Этот безымянный люд одинаков во всех странах. Это люд, которому свойствен индивидуализм, отрицание».

Во главе революций, писал далее Тютчев, оказывалось то, что «называли до сих пор представительством»; но последнее «не является, как бы об этом ни говорили, самим обществом, обществом с его интересами и верованиями, а чем-то абстрактным... называющимся публикой».

Очень важно напомнить здесь высказывания Тютчева о предвидимых им отдаленных последствиях того, что происходило в его время в Германии. Уже цитировались его слова о том, что все это способно «повести Европу к состоянию варварства, не имеющему ничего себе подобного в истории мира, и в котором найдут себе оправдание всяческие иные угнетения». Поэт объясняет там же: «Это дальнейшее выполнение все того же дела, обоготворения человека человеком, — это все та же человеческая воля, возведенная в нечто абсолютное и державное, в закон верховный и безусловный». При этом Тютчев специально подчеркивает, что эта варварская эгоистическая «воля» проявляется равным образом и в политических партиях, и в политике правительств.

Таким образом, если Жюль Мишле видел в том, что он называл «демократическим индивидуализмом», заведомо «плодотворное» начало, то Тютчев предрекал страшные последствия «апофеоза человеческого я».

Вот чему противопоставлял Тютчев Россию, в которой он не находил тогда сколько-нибудь развернутых явлений индивидуализма и социального эгоизма. И в сороковые годы это в определенной степени так и было. Позднее, в шестидесятых годах, поэт в полной мере открыл те же черты и в русской действительности и говорил о них, как мы еще увидим, со всей беспощадностью. Но так или иначе он был убежден, что в России имеется больше оснований для победы над гибельным индивидуализмом.

Поэт связывал это и с особенной природой восточного — православного христианства. Сама его идея «Державы» — это прежде всего идея «православной Державы».

Было бы совершенно ошибочным сделать из этого заключение о своего рода наивности или даже слепоте Тютчева, который-де не замечал, что именно в его время образованные люди России в своем большинстве начали все решительнее отходить от религии. Во-первых, поэт сам, как

уже говорилось, был в достаточно сложных отношениях с религией; если сказать об этом наиболее кратко, он жил на самой *грани* веры и безверия и уж во всяком случае — за пределами церкви. С другой стороны, он ясно видел, что молодые поколения неудержимо отстраняются от христианства. Так, в 1858 году поэт ради точного познания современной ситуации посещал в Петербургском университете лекции видного богослова В. П. Полисадова. «Он талантливый человек, говорящий замечательно хорошо, часто как оратор, и вместе с тем у него самое прекрасное лицо Христа, какое можно видеть, — рассказывал Тютчев в письме жене. — Тем не менее это невыполнимая задача, особенно в наше время, для священника преподавать христианское учение, христианскую философию слушателям, состоящим из молодых людей, увлекающихся более или менее правами разума, за которые они держатся тем более, чем менее ими пользуются...»

Почему же Тютчев все-таки связывал свою историософию с православием? Об одной стороне дела уже шла речь выше. Почти двухтысячелетнее непрерывное бытие христианства давало возможность мыслить на основе его истории в рамках поистине «Большого времени» (если воспользоваться термином М. М. Бахтина). А Тютчев и как поэт, и как мыслитель всегда стремился видеть все именно в таком свете. Выше уже приводился многозначительный рассказ Тютчева о посещении им московской церкви в 1843 году, которое захватило его именно чувством Истории.

Вместе с тем Тютчев опирался на православную этику, отвергающую ненавистный ему индивидуализм. Поэтому он и говорил, что Россия — прежде всего христианская Держава.

Притом Тютчев утверждал, что только православие является истинным христианством; в католицизме и протестантстве он видел искажение, извращение — и именно индивидуалистическое извращение — христианской этики, хотя и в существенно разных направлениях.

Протестантство Тютчев истолковывал как тот же самый «апофеоз человеческого *я*», который он считал основной чертой Запада. Протестанты, писал он в 1849 году, решили «апеллировать к суду личной совести, то есть сотворили себя судьями в своем собственном деле», между тем как «человеческое я, предоставленное самому себе, противно христианству по существу». Далее, само возникновение протестантства в XVI веке поэт рассматривал как прямое, закономерное следствие становления католицизма в XI веке: «Скоро исполняется восемь веков с того дня, как Рим разорвал последнее

звено, связывавшее его с православным преданием Вселенской церкви...* Рим, отделившись от единства, счел, что он имеет право в интересе, который он отождествил с интересом самого христианства, устроить это царство Христово как царство мира сего... Рим, конечно, поступил не так, как протестантство: он не упразднил христианского средоточия, которое есть церковь, в пользу человеческого, личного я; но зато он проглотил его в римском я...»

И далее Тютчев говорит о монашеском ордене иезуитов как ярчайшем воплощении католицизма: «Дух личного эгоизма, человеческого я обладает ими не как отдельными единицами, но ими как орденом, потому что они отождествили дело христианское со своим собственным, потому что собственное самоудовлетворение возвели в значение победы Божией, и в стяжание побед Господу Богу внесли всю страсть и неразборчивость личного эгоизма... Между иезуитами и Римом связь истинно органическая, кровная. Орден иезуитов концентрированное, но буквально верное выражение римского католицизма; одним словом, это сам римский католицизм, но на положении действующего и воинствующего».

Если кратко сформулировать суть всего хода мысли Тютчева, следовало бы сказать, что он ставит и решает вопрос об *этике, о нравственном смысле самой истории,* во всем ее тысячелетнем размахе. Но вместе с тем поэт весь устремлен к современности, к животрепещущей сути сегодняшних событий; а это значит, что он ставит и решает вопрос о *нравственном смысле политики, о государственной этике.*

В 1840-х годах Тютчеву представлялось, что в политике России, в противовес Западу, есть этический стержень. После Крымской войны поэт во многом отказался от этого убеждения. Так, в 1857 году, при первых известиях о грядущей реформе (1861 года), Тютчев писал: «С моей точки зрения, все будущее задуманной реформы сводится к одному вопросу: стоит ли власть, призванная ее осуществить, — власть, которая вследствие этой реформы сделается как бы верховным посредником между двумя классами, взаимоотношение коих ей надлежит упорядочить, — стоит ли она выше двух классов в нравственном отношении?.. Я говорю не о нравственности ее представителей... Я говорю о самой власти во всей сокровенности ее побуждений... Отвечает ли власть в России всем этим требованиям?.. Только намеренно закрывая глаза на очевидность... можно не замечать того,

* Шестнадцатого июля 1054 года произошел разрыв между константинопольским патриархом и римским папой.

что власть в России... не признает и не допускает иного права, кроме своего, что это право — не в обиду будь сказано официальной формуле* — исходит не от Бога, а от материальной силы самой власти, и что эта сила узаконена в ее глазах уверенностью в превосходстве своей весьма спорной просвещенности... Одним словом, власть в России на деле *безбожна...»*

В том же 1857 году Тютчев писал: «Следовало бы всем, как обществу, так и правительству, постоянно говорить и повторять себе, что судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, а лишь только одна *приливающая волна народной жизни* (выделено мной. — *В. К.*) в состоянии поднять его и пустить в ход».

Не следует ли на основе всего этого прийти к выводу, что тютчевские статьи сороковых годов были только порождением его иллюзорных понятий о нравственном смысле русской истории и политики? Казалось бы, дело обстоит именно так. Но только на первый взгляд. Ведь нельзя же не оценить самый тот факт, что русский поэт и мыслитель Тютчев с такой силой и глубиной выразил идею необходимости нравственного смысла в истории, в том числе и в современной политике!

Сами же сила и глубина тютчевской мысли (вспомним хотя бы о его предвидениях) являются залогом того, что перед нами не чисто субъективное устремление, но воплощение национального, народного идеала. Да, конечно, это был исторический и политический идеал, которому подчас жестоко противоречила реальность событий. Тютчев, как мы видели, был убежден, что для осуществления идеала необходима «приливающая волна народной жизни».

В 1854 году Тютчев писал, что его мысль об «извращении» сознания «относится лишь к накипи русского общества, которая мнит себя цивилизованной, к публике — ибо жизнь народная, жизнь историческая еще не проснулась в массах населения. Она ожидает своего часа, и, когда этот час пробьет, она откликнется на призыв и проявит себя вопреки всему и всем. Пока же для меня ясно, что мы еще на пороге разочарований и унижений всякого рода».

Из этого ясно, что Тютчев понимал выражаемую им идею о необходимом нравственном смысле истории и политики как народную идею России.

---

* Имеется в виду формула царских манифестов: «Мы, милостию Божией...»

Конечно, мы охарактеризовали только самые общие контуры историософско-политических взглядов поэта; для их всестороннего изложения потребовался бы целый трактат. И, конечно, наиболее важно для нас то, что непосредственно связано с поэтическим творчеством Тютчева. Много раз шла речь о погруженности поэта в историю. Это, казалось бы, не находит прямого подтверждения в тютчевском творчестве; в его поэтическом наследии очень мало собственно исторических деталей. Дело в том, однако, что Тютчев не просто думал об истории; она была в самой его крови, он жил ею.

И историософско-политические статьи Тютчева были не только своего рода продолжением, своеобразной формой его «дипломатической» деятельности, от которой его отлучили; они были и одним из действенных проявлений тютчевского возвращения на родину. Едва ли случайно он начал свою брошюру 1844 года о России и Германии настоятельным утверждением: «Я русский... русский сердцем и душою, глубоко преданный своей земле».

Более трудным было это возвращение в сфере поэзии. Уже отмечалось, что с 1840 по 1848 год Тютчев написал всего восемь стихотворений, притом большую часть из них составляли своего рода политические стихи, непосредственно примыкавшие к статьям (послания Ганке, Мицкевичу, Фарнгагену фон Энзе, «Море и утес» и др.).

Решительный перелом наступает летом 1849 года (Тютчев написал тогда двенадцать стихотворений, а в следующем году — девятнадцать; для него это очень много). И воскрешение поэта началось не где-нибудь, а в его родном Овстуге.

В 1847 году поэт в письме жене рассказал о встрече с Жуковским и чтении завершаемого им в то время перевода гомеровской «Одиссеи»: «Его "Одиссея" будет действительно величественным и прекрасным творением, и ему я обязан тем, что вновь обрел давно уже уснувшую во мне способность полного и искреннего приобщения к чисто литературному наслаждению».

И в самом деле: к этому моменту прошло уже три года с тех пор, как Тютчев написал последние поэтические строки. Не следует понимать слова Тютчева об «уснувшей способности» в том смысле, что он перестал следить за литературой, особенно русской литературой. Есть достаточно свидетельств, согласно которым поэт самым внимательным образом изучал все подлинно значительное, что публиковалось в России сороковых годов. Так, в конце 1844 года, вскоре после возвращения в Россию, он пишет Вяземскому, что решается «попросить... несколько русских книг, например: один или

два тома Гоголя, последнего издания, где находятся отдельные произведения, с которыми я еще не знаком. В каком положении ваша заметка о Крылове?» и т. д.

В апреле 1847 года Тютчев сообщает Чаадаеву, что «охотно поболтал бы... вволю о литературных и других наших занятиях прошедшей зимы, каковы “Переписка” Гоголя, ваш огромный “Московский сборник” и т. п.». Словом, говоря об «уснувшей способности», Тютчев явно имел в виду собственное творческое отношение к искусству слова. Эта способность в самом деле надолго уснула в нем.

В начале июня 1849 года поэт едет в Овстуг. По дороге, 6 июня, он пишет стихи с пометой «Гроза, дорогой»:

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.
Ветра теплого порывы,
Дальний гром и дождь порой...
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой...

Этюд — как бы проба пера, хотя две последние строки из приведенных поистине чудесны. А через семь дней, уже в Овстуге, Тютчев создаст напряженное, полное драматизма стихотворение «Итак, опять увиделся я с вами...».

Но прежде чем говорить об этих стихах, нужно вспомнить, что поэт впервые навестил оставленные в юности родные места тремя годами ранее, в августе 1846 года. Незадолго до того, 23 апреля, в Овстуге скончался Иван Николаевич Тютчев.

Приехав 26 августа в Овстуг, Тютчев через два дня писал матери: «Я пишу вам из его кабинета, в двух шагах от дивана*... окруженный вещами, которые ему принадлежали. На другой день нашего приезда был праздник Иоанна Постника. После обедни мы слушали панихиду на его могиле... Нечего говорить вам, как я был взволнован, очутившись здесь после двадцатишестилетнего отсутствия».

О том же — письмо жене: «Я пишу тебе в кабинете отца — в той самой комнате, где он скончался... Позади меня стоит угловой диван, — на него он лег, чтобы больше уже не встать. Стены увешаны старыми, с детства столь знакомыми портретами... Перед глазами у меня старая реликвия — дом, в котором мы некогда жили и от которого остался один

---

* Отточие Тютчева: речь идет о диване, на котором скончался Иван Николаевич.

лишь остов, благоговейно сохраненный отцом для того, чтобы со временем, по возвращении моем на родину, я мог бы найти хоть малый след, малый обломок нашей былой жизни... И правда, в первые мгновенья по приезде мне очень ярко вспомнился и как бы открылся зачарованный мир детства, так давно распавшийся и сгинувший... Но... обаяние не замедлило исчезнуть и волнение быстро потонуло в чувстве полнейшей и окончательной скуки».

Последние слова не раз оказывались своего рода камнем преткновения для тех, кто размышлял о Тютчеве. В самом деле: после более чем четвертьвековой разлуки поэт испытывает лишь краткое волнение при виде родной усадьбы и впадает в некую безнадежную отчужденность. В том же письме жене есть сложное объяснение его состояния: «Я чувствую себя как бы на самом дне бездны... А между тем я окружен вещами, которые являются для меня самыми старыми знакомыми в этом мире... значительно более давними, чем ты... Так вот, быть может, именно эта их давность сравнительно с тобою и вызывает во мне не особенно благожелательное отношение к ним. Только твое присутствие здесь могло бы оправдать их. Да, одно только твое присутствие способно заполнить пропасть и снова связать цепь».

«Связать цепь...» Тютчев вообще постоянно говорит об этой захватывающей его потребности «связывать прошлое с настоящим», в которой он видит «наиболее человечное в человеке»; «самая настоятельная потребность моего существа, — утверждает поэт, — восстановить цепь времен».

При этом необходимо осознать, что для Тютчева нет принципиального различия между цепью его личного и всеобщего, исторического времени. Ту же двухтысячелетнюю историю христианства, о которой он много размышлял, поэт явно воспринимал как нечто органически связанное с его личной судьбой в мире, не говоря уже об истории России (вспомним его переживания во время плавания по Волхову; о них говорилось выше).

Поэту вообще было присуще необычайно, можно даже сказать, сверхъестественно мощное и обостренное восприятие, чувство *времени* и — в той же степени — *пространства*. Он сам писал о себе так: «Никто, я думаю, не чувствовал себя ничтожнее меня перед лицом этих двух угнетателей и тиранов человечества: времени и пространства».

Он говорил своей дочери Анне в том самом 1846 году, незадолго до поездки в Овстуг: «Одно поколение следует за другим, не зная друг друга: ты не знала своего деда, как и я не знал моего. Ты и меня не знаешь, так как не знала меня

молодым. Теперь два мира разделяют нас. Тот, в котором живешь ты, не принадлежит мне. Нас разделяет такая же резкая разница, какая существует между зимой и летом». И далее поэт говорил о годах своей жизни с Элеонорой, матерью Анны: «Нам казалось, что они не кончатся никогда... Но годы промелькнули быстро, и все исчезло навеки. Теперь они образуют в моей жизни точку, которая все отдаляется и которую я не могу настигнуть...»

Удивительно близко этому тютчевское переживание пространственной дали: «Как мало реален человек, как легко он исчезает!.. Когда он далеко — он ничто. Его присутствие — не более как точка в пространстве, его отсутствие — все пространство».

Собственно говоря, даль времени и даль пространства — и их власть над человеком — как бы сливались в восприятии Тютчева: «Время идет своим путем, и его неуклонное течение вскоре разделяет то, что оно соединило, — и человек, покорный бичу невидимой власти, погружается печальный и одинокий в бесконечность пространства».

Причем все это отнюдь не было только отвлеченным, философским восприятием (хотя, конечно, Тютчев создал, если угодно, и свою самобытную философию времени и пространства); напротив, поэт постоянно со всей осязаемостью переживал власть этих «тиранов». «Как тяжко гнетет мое сознание мысль о страшном расстоянии, разделяющем нас! — писал он жене в 1843 году из Москвы в Мюнхен. — Мне кажется, будто для того, чтобы говорить с тобою, я должен приподнять на себе целый мир».

Было бы нелепым заблуждением понять эти духовные черты поэта как некую его «слабость», как его неспособность твердо противостоять давлению бытия. Тот, кто легко и беззаботно воспринимает власть времени и пространства, попросту не несет в своей душе глубины, остроты и — это особенно надо подчеркнуть — смелости, отваги переживания бытия.

Тютчев воспринимал непреодоленную власть пространства и времени как нечто близкое к смерти, к небытию. Он писал: «Я, конечно, один из людей, наименее способных по природе своей переносить разлуку, так как для меня это как бы сознающее само себя небытие».

Таким же «небытием» был для поэта любой разрыв «цепи времен», с чем он и столкнулся столь жестоко в Овстуге в 1846 году. Он чувствует себя «как бы на самом дне бездны», ему необходимо «заполнить пропасть и снова связать цепь», словно «приподнять на себе» все четверть века, прошедшие с тех пор, как он уехал из Овстуга...

Разрыв был слишком велик; Тютчев, по сути дела, бежал тогда из Овстуга. Он вернулся сюда через три года и создал стихотворение, которое вроде бы должен был написать в первый приезд: в нем есть строки, явно перекликающиеся с письмами из Овстуга трехлетней давности.

Стихотворение это чаще всего истолковывается как некое отвержение Овстуга. Между тем оно говорит прежде всего о разрыве цепи времени и являет собой своего рода поэтическое преодоление этого разрыва. Стихотворение написано поистине беспощадно:

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные...

Кто-то, по-видимому, Иван Тургенев, готовивший позднее эти стихи к печати, не выдержал этого «отрицания родины» и изменил строку:

Места печальные, хоть и родные...

Так она и публиковалась вплоть до нашего времени. Но вглядимся в дальнейшее:

Где мыслил я и чувствовал впервые
И где теперь туманными очами,
При свете вечереющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.
О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!

Цепь времен разорвана; прошлое — только призрак:

О, как теперь без веры и участья
Смотрю я на тебя, мой гость минутный,
Куда как чужд ты стал в моих глазах,
Как брат меньшой, умерший в пеленах...

Речь идет, по всей вероятности, о брате Васе, умершем младенцем в 1812 году. И поэт говорит о том времени и том пространстве, которые оторвали его от Овстуга:

Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем —
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной.
Ах, и не в эту землю я сложил
Все, чем я жил и чем я дорожил!

Последней строки Тургенев опять-таки не вынес и заменил «всё» на более ограниченное «то». Но это «смягчение», как и первое, в сущности, сделало невозможным понимание

истинного смысла стихотворения. Суть его именно в *беспощадности,* в безбоязненном взгляде поэта, для которого Овстуг стал за четверть века небытием, умер — как «брат меньшой»...

Но как раз этой беспощадностью преодолевается «пропасть» разрыва. И если мы не будем застревать на внешнем, поверхностном впечатлении, сводящемся к тому, что поэт «отвергает» свой Овстуг, мы услышим вплетающуюся в это беспощадное стихотворение покаянную мелодию, особенно внятную в строках:

О бедный призрак, немощный и смутный...
О, как теперь без веры и участья...
Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный...
Ах, и не в эту землю я сложил...

Разумеется, никакой реальной «вины» перед родиной у поэта не было. Не капризное своеволие, а имеющая глубокий смысл (вернее, даже ряд смыслов, о чем шла речь выше) судьба определила расцвести «великому празднику» его молодости в чужом краю. Но тем значительнее эта покаянная музыка, этот вечный мотив блудного сына, это беспощадное суждение о самом себе, кому стал чужд «брат меньшой».

Одно уж сравнение давнего овстугского бытия с «братом меньшим, умершим в пеленах», — как бы преданным самим фактом забвения, — многого стоит.

В письме 1846 года Эрнестине Федоровне Тютчев говорил: «Одно только твое присутствие способно заполнить пропасть и снова связать цепь». Во второй раз поэт приехал в Овстуг вместе с ней, и вполне закономерно, что в стихотворении речь идет не о ней, а о первой жене, которая лежит «не в этой земле», а в окрестностях Турина. Поэту необходимо было связать всю цепь — от времени, когда он покинул Овстуг.

Стихотворение «Итак, опять увиделся я с вами», как и многие другие тютчевские стихи, или, вернее, как подавляющее большинство его творений, было, в сущности, не просто «самовыражением», но жизненным действием, актом бытия. Пережив в нем разрыв цепи времен, поэт тем самым в той или иной мере преодолел его реально. Об этом достаточно убедительно свидетельствует великолепное стихотворение, созданное в Овстуге всего через несколько недель после предыдущего:

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...

Усыпительно безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной.

О смысле этого проникновенного гимна родине с замечательной верностью писал Наум Берковский: «Стихотворение это на первый взгляд кажется непритязательным описанием... Между тем оно полно мысли, и мысль здесь скромно скрывается, соответственно описанной и рассказанной здесь жизни — неяркой, неброской, утаенной и в высокой степени значительной*. Стихотворение держится на глаголах: рдеют — зреют — блестят. Дается как будто бы неподвижная картина полевой июльской ночи, а в ней, однако, мерным пульсом бьются глагольные слова, и они главные. Передано тихое действование жизни... От крестьянского трудового хлеба в полях Тютчев восходит к небу, луне и звездам, свет их он связывает в одно с зреющими нивами... Жизнь хлебов, насущная жизнь мира, совершается в глубоком молчании. Для описания взят ночной час, когда жизнь эта полностью предоставлена самой себе и когда только она и может быть услышана. Ночной час выражает и то, насколько велика эта жизнь, — она никогда не останавливается, она идет днем, она идет и ночью, бессменно...»

А за этими стихами последует целый ряд стихотворений, родившихся в Овстуге и его окрестностях, и каждое будет полно глубокой значительности. Но о них речь пойдет далее. Сейчас же важно напомнить, что по дороге в Овстуг 6 июня 1849 года Тютчев написал своего рода этюд грозы (начало стихотворения приводилось) через несколько дней по приезде, 13 июня, беспощадно-покаянное «Итак, опять увиделся я с вами...», а 23 июля — эту песнь о ночной родине.

Можно бы сказать, что этим стихотворением Тютчев окончательно возвратился на родину. И вместе с тем он вообще начал жизнь заново — и как поэт, и как человек.

Еще 17 июля 1847 года он писал жене: «Хочешь ли ты знать, что составляет сущность моего теперешнего настроения?.. Убеждение, ясное для меня из всего, что я отжил свой век и что у меня ничего нет в настоящем».

В 1849 году начинается новый расцвет творчества поэта, продолжавшийся более полутора десятилетий. В том же году он приступает к работе над трактатом «Россия и Запад». В следующем, 1850 году началась наиболее глубокая и захватывающая любовь поэта.

---

* Это стало как бы основным принципом воссоздания образа России в поздней поэзии Тютчева (о чем мы еще будем говорить).

Рассказать об этом — чрезвычайно сложная и трудная задача. Проще было объяснить рождение любви поэта к Эрнестине Федоровне, ибо первый его брак, как уже говорилось, имел отчасти случайный характер. Но отношения Тютчева со второй его женой были поистине близки к идеальным.

Потомок и биограф поэта К. В. Пигарев, говоря о последней его любви, заметил: «С семьей Тютчев не “порывал” и никогда не смог бы решиться на это. Он не был однолюбом. Подобно тому, как раньше любовь к первой жене жила в нем рядом со страстной влюбленностью в Э. Дёрнберг, так теперь привязанность к ней, его второй жене, совмещалась с любовью к Денисьевой, и это вносило в его отношения к обеим женщинам мучительную раздвоенность».

Это едва ли точное объяснение. Во-первых, суть дела, очевидно, не в том, что Тютчев не мог ограничиваться одной любовью, но в том, что он, полюбив, не мог, не умел разлюбить. Не менее важно и другое. Эрнестина Федоровна была для Тютчева поистине единственным, абсолютно незаменимым человеком. Достаточно сказать, что он, с таким трудом писавший письма, писал ей постоянно во время любой, даже недолгой разлуки. Он послал ей 675 писем* — значительно более половины всех известных нам его писем и кратких записок вообще.

Тридцать первого июля 1851 года, через год после начала его новой любви, Тютчев писал Эрнестине Федоровне из Петербурга в Овстуг, где она тогда жила: «Я решительно возражаю против твоего отсутствия. Я не желаю и не могу его выносить... С твоим исчезновением моя жизнь лишается всякой последовательности, всякой связности...

Нет на свете существа умнее тебя. Сейчас я слишком хорошо это сознаю. Мне не с кем поговорить... мне, говорящему со всеми...»

Через месяц он пишет: «Ты... самое лучшее из всего, что известно мне в мире...»

Такие признания можно найти в десятках тютчевских писем того времени, и нет ровно никаких оснований усомниться в полной искренности поэта. И позволительно высказать предположение, что, не будь его отношения с женой столь идеальными, он все же «порвал» бы с ней ради другой.

К 1850 году прошло уже семнадцать лет со времени его встречи с Эрнестиной Федоровной и одиннадцать лет с начала их совместной жизни. Выросла большая и, при всех возможных сложностях взаимоотношений, замечательная

---

* Сто девяносто одно из них, написанное до брака, она сожгла.

семья, в которой вполне соединились дочери от первого брака — Анна, Дарья и Екатерина — и дети Эрнестины Федоровны — Мария, Дмитрий и Иван (родившийся в 1846 году).

К 1850 году Анне был двадцать один год, Дарье — шестнадцать, Екатерине — пятнадцать. Начав свою жизнь в Германии, в среде тамошних родственников, они сумели потом стать русскими людьми. Возможно, именно этот сужденный им в отрочестве переход из одного мира в другой расширил их души, и из них выросли незаурядные, можно даже сказать, выдающиеся личности. Уже в юные годы началось их самое серьезное, самое глубокое общение с отцом, о чем свидетельствуют многочисленные письма поэта ко всем трем дочерям (144 письма к Анне, 58 — к Екатерине, 52 — к Дарье).

В 1845—1851 годах Дарья и Екатерина учились в знаменитом Смольном институте благородных девиц, основанном в 1764 году (Анна получила образование еще в Мюнхене, окончив там в 1845 году Королевский институт; в 1852 году она была назначена, вместе с дочерью Пушкина Марией и дочерью Смирновой-Россет Ольгой, фрейлиной при будущей императрице).

Большое участие в судьбе Дарьи и Екатерины приняла инспектриса института А. Д. Денисьева, которая поначалу (затем ему пришлось изменить свое мнение) очень понравилась Тютчеву. «Госпожа Денисьева, по-видимому, прекрасная особа», — сообщил он родителям в письме, рассказывавшем о поступлении дочерей 21 ноября 1845 года в Смольный. Тютчев постоянно, часто вместе со старшей дочерью Анной, навещал Дарью и Екатерину в институте и сблизился таким образом с А. Д. Денисьевой.

Смольный заканчивала тогда ее племянница Елена. Она была намного старше Дарьи и Екатерины (первой — на восемь, второй — на девять лет), но дружески покровительствовала девочкам. Сближению способствовало то, что в одном классе с Дарьей и Екатериной учились младшие сестры Елены Денисьевой, Мария и Анна. Позднее Елена сдружилась с Анной Тютчевой, которая была моложе ее всего на три года. Естественно, познакомился с Еленой Денисьевой и сам Тютчев.

Когда поэт впервые увидел Елену Денисьеву, ей было двадцать лет, ему — сорок два года. В течение последующих четырех лет они встречались достаточно часто, но отношения их не шли дальше взаимной симпатии.

Есть все основания полагать, что Елена Денисьева долго оставалась для Тютчева не вполне понятной, даже загадочной девушкой. Из подробных воспоминаний, написанных

мужем ее сестры Марии А. И. Георгиевским, ясно, что Елена была как бы вся соткана из противоречий. Исключительная живость и свобода характера — подчас даже чрезмерная свобода — сочетались в ней с глубокой и твердой религиозностью; высокая культура поведения и сознания, изящная отточенность жестов и слов вдруг разрывалась резкими, даже буйными, вспышками веселья или гнева. Георгиевский рассказывает, например, что однажды (было это уже через много лет после начала тютчевской любви), разгневавшись на поэта, «эта любящая, обожающая его и вообще добрейшая Леля пришла в такое неистовство, что схватила со стола первую попавшуюся ей под руку бронзовую собаку на малахите и изо всей мочи бросила ее в Федора Ивановича, но, по счастью, не попала в него, а в угол печки и отбила в ней большой кусок изразца; раскаянию, слезам и рыданиям Лели после того не было конца... Сам Федор Иванович относился очень добродушно к ее слабости впадать в такое исступление... Я никак бы не ожидал ничего подобного от такой милой, доброй, образованной, изящной и высококультурной женщины, как Леля, но Федор Иванович... удостоверял только, что Леля вообще была буйного и в высшей степени вспыльчивого характера».

Не следует забывать, что Тютчев узнал Елену Денисьеву после двадцати с лишним лет жизни на Западе, где он попросту не видел русских женщин, кроме разве европейски отшлифованных жен и дочерей дипломатов.

Елена Денисьева, несмотря на строгий режим Смольного института, сохранила полную непосредственность душевных движений. Этому способствовали сами обстоятельства — она была племянницей инспектрисы, жила в ее квартире при институте, а не в дортуаре для воспитанниц.

Родилась Елена Александровна Денисьева в 1826 году в семье родовитого, но обедневшего дворянина А. Д. Денисьева — майора, участника Отечественной войны. Мать ее рано умерла, отец вскоре женился на другой (младшие сестры Елены, также учившиеся в Смольном, были сводные от второго брака), и сироту взяла к себе сестра отца. Тетка ни в чем не стесняла племянницу, с юных ее лет брала с собой в славившиеся балами, развлечениями и светскими вольностями петербургские дома, где Елена даже надолго оставалась одна в качестве гостьи. Еще до Тютчева у Елены было немало блестящих поклонников и в том числе знаменитый тогда писатель граф Соллогуб.

Но жизнь в таких условиях не разрушила глубокую и страстную натуру, а только развила в Елене вольный артис-

тизм, остроту в общении, придала внешний блеск ее манерам и разговору.

Среди многих своих поклонников, которые с разных точек зрения были гораздо предпочтительнее немолодого отца семейства Тютчева, она все же избрала его.

Первое объяснение произошло 15 июля 1850 года. Ровно через пятнадцать лет Тютчев напишет об этом «блаженно-роковом дне»: «Как душу всю свою она вдохнула, / Как всю себя перелила в меня».

Четвертого августа поэт вместе с Еленой и старшей своей дочерью Анной (еще не знавшей тогда о любви подруги к отцу) отправился в шестидневное путешествие на пароходе по Неве и Ладожскому озеру до острова Валаам, славного своими древними святынями.

«Наше ночное плавание по Ладожскому озеру было чудесно... — писала тогда же Анна своей тетке Дарье. — В понедельник утром (7 августа) мы прибыли на Коневец; я гуляла с папой в лесу при восходе солнца, затем мы побывали на Конь-камне... Это огромная глыба скалы, находящаяся в пропасти, где язычники когда-то приносили жертвы. Теперь там строят часовню. В пять часов я была на ранней обедне в монастыре... Монахи нас приняли с большим гостеприимством. Нам предоставили две кельи, весьма опрятные. Мы поели, как схимники, ухи и так как чувствовали себя смертельно усталыми, легли спать. На следующий день, во вторник (8 августа), прослушали обедню и гуляли по острову, очень живописному. Мы познакомились с настоятелем монастыря, очень праведным человеком... Мы, Лелинька* и я, ходили смотреть на юродивого. Вечером того же дня возвратились на Коневец и простояли там всю ночь. Это была еще одна чудесная ночь...»

По возвращении в Петербург Тютчев записал стихотворение, могущее считаться одним из первых среди тех трех десятков, которые он посвятил своей последней любви. В стихотворении, как и в рассказе Анны, ничего не сказано об этой любви, но все же оно кажется проникнутым ею:

Под дыханьем непогоды,
Вздувшись, потемнели воды
И подернулись свинцом —
И сквозь глянец их суровый
Вечер пасмурно-багровый
Светит радужным лучом,

* Елена Денисьева.

Сыплет искры золотые,
Сеет розы огневые
И уносит их поток...

Над волной темно-лазурной
Вечер пламенный и бурный
Обрывает свой венок...

Рождение любви поэта к Елене Денисьевой, очевидно, также имело глубокую внутреннюю связь с его возвращением на родину. Но любовь эта раскрылась во всей своей роковой силе позднее.

Глава восьмая
КРЫМСКАЯ КАТАСТРОФА

Ложь воплотилася в булат;
Каким-то Божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем...

Петербург, 1854

Вскоре после возвращения в Россию Тютчев, как уже говорилось, вошел в высшие круги петербургского общества. Пока в Министерстве иностранных дел владычествовал Нессельроде, поэт не мог сколько-нибудь существенно воздействовать на внешнюю политику, но он имел возможность узнавать о ее ходе во всех подробностях. А это стало для него поистине необходимым. Он поддерживал постоянные и внешне почти дружеские отношения со многими влиятельнейшими людьми, причем это были для него в большинстве случаев чисто «практические» связи, лишенные духовной и душевной близости.

Настоящими его друзьями тогда были прежде всего те, кто ранее был друзьями Пушкина, — Жуковский, Чаадаев, Вяземский. С двумя последними он постоянно и подчас очень горячо спорил, но была между ними прочная общая основа, которая обеспечивала не могущее быть нарушенным единство. О Чаадаеве, с которым поэт категорически расходился хотя бы уже в оценке католицизма, он говорил так: «Человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было и которого, однако, я люблю больше всех». И назвал Чаадаева «одним из лучших умов нашего времени».

Это, впрочем, нисколько не мешало взаимной резкости в спорах. Племянник Чаадаева Жихарев вспоминал о его по-

лемике с Тютчевым: «Их споры между собою доходили до невероятных крайностей. Раз среди английского клуба оба приятеля подняли такой шум, что клубный швейцар, от них в довольно почтенном расстоянии находившийся, серьезно подумал и благим матом* прибежал посмотреть, не произошло ли в клубе небывалого явления рукопашной схватки и не пришлось бы разнимать драку...»

В своем месте говорилось о том, что в годы юности Тютчева, как и всех людей поколения любомудров, отличала принципиальная сдержанность поведения и речи. Как ни странно, в зрелости — это ясно уже из приведенного отрывка воспоминаний — поэт был более экспансивен, чем в юности. Один из современников вспоминал о спорах Тютчева с Вяземским: «Тютчев с своими белыми волосами, развевавшимися по ветру, казался старше князя Вяземского... но... он казался юношей по темпераменту... Князь Вяземский сидит прямо в своем кресле, покуривая трубку, и Тютчев начинает волноваться и громить своим протяжным и в то же время отчеканивающим каждое слово языком в области внешней или внутренней политики... Нетерпимость была отличительною чертою... Тютчева».

Нельзя не сказать и о том, что в зрелые годы поэт подчас совершал неожиданные, прямо-таки озорные поступки. В 1847 году Чаадаев прислал ему в подарок свой портрет, чем Тютчев, по-видимому, был доволен. Но через два года Чаадаев, который проявлял подчас склонность к честолюбивым притязаниям, стал рассылать свои литографированные изображения, заказанные им лично в Париже. Десяток этих литографий был передан от Чаадаева Тютчеву с целью «распространения».

Тютчев, надписав на одной из литографий иронические стихи как бы от имени Чаадаева, отправил ее в подарок чуждому им обоим человеку — Филиппу Вигелю, в день его именин.

Прими как дар любви мое изображенье,
Конечно, ты его оценишь и поймешь, —

заведомо неуместно начертал Тютчев на портрете.

В ответ Вигель написал Чаадаеву благодарное, но явно недоуменное письмо. Весьма встревоженный, Чаадаев сообщил Владимиру Одоевскому: «Какой-то глупый шутник вздумал послать ему (Вигелю. — *В. К.*) на именины мой литографированный портрет, сопроводив его русскими стихами, авторство которых он приписывает мне... Необходимо

* Во всю прыть (*устар.*).

возможно скорее предотвратить возможные последствия...» К счастью, Чаадаев не узнал, кто именно над ним подшутил, и его отношения с Тютчевым не обострились.

Тютчев и позднее продолжал потешаться над литографиями Чаадаева. Так, он взывал в 1850 году к его близкому знакомому Николаю Сушкову (мужу своей сестры Дарьи): «Да скажите же Чаадаеву, чтобы он заказал новые оттиски своих литографий. Все лавки, торгующие гравюрами, осаждаются толпой, а по нынешним временам дальнейшее промедление может послужить к какому-либо волнению в массах, а этого лучше было бы избежать...»

Блестящее остроумие поэта широко известно, но его представляют себе обычно только в форме многозначительных иронических афоризмов. Между тем Тютчев уже на склоне лет — как это ни неожиданно — не чуждался своего рода озорства... В этом свете по-иному должны восприниматься и дошедшие до нас остроты поэта. Многие из них были, очевидно, не просто игрой ума, но не лишенными дерзости общественными поступками.

Разумеется, не следует делать из этого рассказа вывод о какой-либо неприязни Тютчева к Чаадаеву. Несмотря на все расхождения между ними, поэт и мыслитель были близки в своих самых глубоких и общих представлениях. Так, для них, как и для Пушкина, первостепенное значение имела государственная, державная идея, неразрывно связанная со всемирной ролью России, что решительно отделяло их от славянофилов (как и от многих западников).

Целесообразно именно в данном месте нашего жизнеописания осветить вопрос о соотношении Тютчева и славянофилов, поскольку их расхождение наиболее явно обозначилось, пожалуй, накануне и во время Крымской войны. Существует очень широко распространенное представление, согласно которому поэт, несмотря на те или иные — пусть даже существенные — разногласия с основными представителями славянофильства, все же примыкал к этому общественному направлению. Между тем дело обстояло скорее противоположным образом: Тютчев был близок славянофилам как раз в отдельных — хотя и существенных — моментах своего отношения к миру, но он расходился с ними в основном и главном.

Но прежде чем обсуждать этот вопрос, необходимо осветить другой (хотя и взаимосвязанный с ним) аспект проблемы. Тютчева, пожалуй, чаще называют даже и не славянофилом, а *панславистом:* это определение можно встретить, к сожалению, и в новых работах о поэте.

Между тем само понятие «панславизм» представляет собой, по сути дела, тенденциозный политический миф. Виднейший специалист в этой области В. К. Волков писал: «Возникший в Венгрии и сразу же распространившийся в Германии термин “панславизм” был подхвачен всей европейской прессой и публицистикой... Термин “панславизм” служил не столько для обозначения политической программы национального движения славянских народов... сколько для обозначения предполагаемой опасности... В понятии “панславизм” отразилось не только отношение к национальному движению славянских народов, но и отношение западноевропейских наблюдателей к России... Оно как бы впитало в себя... опасение, как бы она не воспользовалась в своих целях развивавшимся национально-освободительным движением славянских народов, нередко проявлявших к ней явные симпатии».

Таково было происхождение понятия. И в результате «в Западной Европе сложился тот традиционный стереотип, который стал характерен для враждебного отношения к России на протяжении всего XIX в. и отдельные элементы которого пытались оживить в более поздние времена... Усиление политического влияния России в европейских и мировых делах с самого начала XIX в. сопровождалось не только дипломатической и военной, но и идейной борьбой против нее. Одним из видов этой борьбы стало распространение домыслов, которые получили широкое хождение и которым нередко верили, будто Россия готовится к завоеванию Европы».

Ради этого, мол, она и стремится объединить вокруг себя славян. Все это совершенно не соответствовало исторической действительности, точнее, прямо противоречило ей. Ибо на деле как раз славянские народы были завоеваны Австро-Венгерской, Германской и Турецкой империями и стремились освободиться от их господства, а Россия в той или иной форме поддерживала их справедливую борьбу. Невозможно привести ни единого факта завоевательных акций России и славянских народов в отношении Западной Европы; таких фактов попросту не было. И «панславизм» — это не более чем идеологический миф, который, как подчеркивает В. К. Волков, нередко распространялся «в пропагандистских целях правящими кругами тех стран, которые сами имели агрессивные намерения в отношении России».

Еще в 1913 году В. И. Ленин, который ни в коей мере не был радетелем славян, все же обоснованно разоблачал использование этого мифа агрессивными деятелями Германии:

«Чтобы оправдать новые вооружения, стараются, как водится, намалевать картину опасностей, угрожающих "отечеству". Германский канцлер пугает, между прочим, немецкого филистера славянской опасностью... Панславизм, идея объединения всех славян против немцев, — вот опасность, уверяет канцлер юнкеров».

Как это ни странно (и как это ни прискорбно!), историки и публицисты «западнического», антипатриотического склада в самой России сумели в течение долгого времени поддерживать этот западноевропейский миф, уверяя, что те или иные выдающиеся русские люди — и в их числе Тютчев! — будто бы являются «панславистами», то есть стремятся объединить славянские народы под эгидой России и завоевать или хотя бы, как говорится, прижать к стене Европу.

Тютчев же, предпослав своему стихотворению «Славянам» (1867) наглые слова австрийского министра иностранных дел Бейста «Славян нужно прижать к стене», писал:

Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..

Те, кто так или иначе пытается приклеить Тютчеву ярлык «панслависта», перевертывают реальное положение вещей, ибо, как уже сказано, история не знает ни одного факта агрессии славян против западноевропейских народов, а факты обратной агрессии поистине бесчисленны.

Разумеется, не только Тютчев, но и, скажем, славянофилы отнюдь не были панславистами. Да и не могли ими быть, поскольку панславизм по самой своей сути являл собой — о чем столь недвусмысленно писал В. И. Ленин — «намалеванную» агрессивными западноевропейскими силами «картину славянской опасности».

Даже в сложившихся в последней трети XIX века умозрительных концепциях (например, концепции Н. Я. Данилевского), пророчащих эру расцвета «славянского мира», идущую на смену «романской» и «германской» эрам, все же не было того захватнического пафоса, который вкладывали в сконструированный ими же образ чудовища по имени «панславизм» западноевропейские политиканы.

Но вернемся к вопросу о взаимоотношениях Тютчева и славянофилов. Попытки всемерно сблизить поэта с идеологами славянофильства, казалось бы, имеют свое прочное основание в очевидном факте: ведь ведущие, «старшие» славянофилы — братья Киреевские, Хомяков, Кошелев — вышли

из той же среды любомудров, что и Тютчев. Выше подробно говорилось о тесной близости поэта и любомудров. Однако позднейшее развитие мировоззрения Тютчева и, с другой стороны, основоположников славянофильства шло разными путями.

В высшей степени характерно, что поэт почти не спорил со славянофилами, — как он, например, спорил с Чаадаевым. И это отнюдь не означало внутреннего согласия. Скорее можно сделать вывод, что им как бы не о чем было спорить...

Нет сомнения, что Тютчев всегда относился к бывшим любомудрам с глубоким уважением и симпатией. Известно, что он со скорбной потрясенностью воспринял в 1856 году известие о смерти Ивана Киреевского. О смерти Хомякова в 1860 году он сказал, что испытывает такое ощущение, как будто «потерял какой-либо орган».

Но в то же время не менее хорошо известно, что вернувшийся в Россию Тютчев после первых, вероятно, дорогих ему, встреч со славянофилами, с этими своими «университетскими товарищами» (как он их сам назвал) явно не стремился к широкому общению с ними. Могут возразить, что поэт жил в Петербурге, а славянофилы — это было для них непреложным и принципиальным — пребывали в Москве. Однако Тютчев — чему есть немало свидетельств — горячо любил Москву (он писал, например: «Москва, летняя Москва, — лучшее, что есть в России») и так или иначе находил возможность посещать ее почти каждый год, а иногда даже и дважды за год. В 1845—1871 годах (то есть до начала предсмертной болезни) он приезжал в Москву около тридцати раз; вместе с тем поэт, если угодно, принципиально (как и Достоевский) жил именно в Петербурге, где решались политические судьбы родины, — и в этом, казалось бы, внешнем обстоятельстве также выразилось со всей рельефностью его глубокое отличие от славянофилов.

Мы знаем, что Тютчев, приезжая в Москву, постоянно встречался с профессиональными историками, беседы и споры с которыми его необычайно увлекали. Сестра поэта Дарья сообщила в 1857 году, что Тютчев целый день вел в ее доме «большой разговор и пререкания с Бодянским, Бартеневым... Снегиревым...* все они так кричали и курили, что я и десяти минут не выдержала после обеда».

Итак, Тютчев, конечно, вполне мог бы достаточно часто встречаться и со славянофилами, но этого не было. В его

---

* Видные московские историки.

рассказах о редких таких встречах, как правило, есть ноты отчужденности и даже насмешки.

Пятого июля 1858 года он писал жене: «Я только что расстался с обществом очень умных и особенно очень многоречивых людей, собравшихся у Хомякова. Это все повторение одного и того же...»

Через год, 27 апреля 1859 года, он пишет Эрнестине Федоровне о заседании Общества любителей российской словесности при Московском университете, членом-сотрудником которого он был избран, как мы помним, еще в четырнадцатилетнем возрасте, сорок с лишним лет назад; в конце пятидесятых годов общество возобновило свою деятельность под руководством славянофилов: «Председатель *Хомяков* на сей раз был во фраке и, скорчившись на своем кресле, представлял самую забавную из когда-либо виденных мною фигур председателей. Он открыл заседание чтением весьма остроумной речи, написанной прекрасным языком, на вечную тему о значении Москвы и Петербурга... Все вместе взятое носило отпечаток безмятежной торжественности, слегка умерявшейся чуть приметным оттенком смешного... Я был бы не в состоянии жить здесь, в этой среде, столь мнящей о себе и чуждой всем отголоскам извне. Так, например, я не уверен, чтобы ребяческий интерес к вчерашнему заседанию не преобладал в мыслях здешней публики над интересом к грозным событиям, готовящимся за рубежом» (речь шла о назревшей войне между Францией и Австрией, войне, в которой России предстояло сделать очень важный выбор).

Уже из этих кратких суждений можно понять, что именно так решительно разделяло Тютчева и славянофилов. Но прежде необходимо со всей определенностью сказать о том, что Тютчев отлично знал цену духовному творчеству славянофилов, и в том числе Хомякова, о котором он достаточно едко говорит в цитированных письмах. Когда позднее было запрещено распространение в России тома сочинений Хомякова, изданного в Праге, поэт принял самое горячее участие в борьбе с этим запретом; незадолго до своей кончины Тютчев прилагал усилия для того, чтобы добиться публикации фрагментов из основных работ Хомякова в германской прессе и т. п.

Поэт был убежден — и с полным основанием, — что Хомяков, братья Киреевские и Аксаковы, Юрий Самарин являют собой выдающихся мыслителей, чье духовное творчество имеет не только национальное, но и мировое значение, что их философские, историософские, нравственные, эсте-

тические, филологические идеи войдут как ценнейший вклад в отечественную и общечеловеческую культуру.

Но одновременно Тютчев никак не мог примириться с тем, что славянофилы в 1840—1850-х годах (позднее положение изменилось, о чем еще пойдет речь) жили как бы исключительно в мире своих идей и идеалов, словно отворачиваясь от реальной жизни сегодняшней России во всех ее многообразнейших проявлениях. Об этом прежде всего и говорится в цитированных письмах поэта (ср. его слова о «повторении одного и того же», «вечной теме о значении Москвы и Петербурга», «безмятежной торжественности», «оттенке смешного», «среде, столь мнящей о себе и чуждой всем отголоскам извне», отсутствии интереса к сегодняшним «грозным событиям» и т. д.).

Весьма резко говорит здесь Тютчев о «ребяческом интересе», но и в этом есть своя правда. Погружаясь всецело в царство своих идей или, вернее будет сказать, своих идеалов, славянофилы подчас как бы утрачивали чувство личной ответственности за то, что совершалось сегодня в России и мире вообще, чувство, которое переполняло и мучило Тютчева. Это с разительной ясностью обнаружилось во время Крымской войны. Живя в мире идей — пусть и прекрасных, и истинно глубоких, — славянофилы словно со стороны и свысока смотрели на то, что происходило, что делалось в реальном современном мире во всем его многостороннем содержании — от политики и до поэзии...

Вскоре после того, как Тютчев написал цитированные выше письма, Достоевский, невольно перекликаясь с ним, так обращался к славянофилам: «Читаешь иные ваши мнения и, наконец, поневоле придешь к заключению, что вы решительно в стороне себя поставили, смотрите на нас, как на чуждое племя, точно с луны к нам приехали, точно не в нашем царстве живете, не в наши годы, не ту же жизнь переживаете!.. Да ведь это ваша же литература, ваша, русская! Что же вы свысока-то на нее смотрите, как козявку ее разбираете?.. Бросьте ваш тон свысока и вспомните, что вы сами русские и принадлежите к тому же самому обществу, один фатализм нас связал, и свысока, со стороны вы судить не можете, себя выгораживая».

Примерно то же самое писал тогда о славянофильстве и Аполлон Григорьев: «Вся жизнь наша, сложившаяся в новой истории, для него — ложь; вся наша литература, — кроме Аксакова и Гоголя, — вздор. К Пушкину оно равнодушно, Островского не видит... Собственно, и “Семейную хронику”, и лучшие вещи Гоголя оттягает у славянофильства рус-

ская литература...» К этому нужно добавить, что славянофилы долго, слишком долго, не умели разглядеть величие Лермонтова, Достоевского, Толстого, Лескова, поскольку не находили в их творчестве воплощения своих идеалов.

Было бы непростительной ошибкой прийти на основе приведенных суждений к выводу о том, что Достоевский и Григорьев отрицательно оценивали деятельность славянофилов в целом. Напротив, они, подобно Тютчеву, чрезвычайно высоко ценили лучшие идеи и верования Хомякова, Киреевских, Аксаковых. По мнению Достоевского, «славянофильство... означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия скажет... всему миру... свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом... Вот к этому-то отделу убежденных и верующих, — заключал Достоевский, — принадлежу и я». Исходя из этого, он даже заявил здесь же: «Я во многом убеждений чисто славянофильских».

Совершенно независимо от Достоевского о том же самом писал и Аполлон Григорьев, ссылаясь на сочинения Хомякова и утверждая веру в «стихийно-историческое начало, которому суждено еще жить и дать новые формы жизни, искусства... Это начало на почве ...великорусского славянства, с широтою его нравственного захвата, должно обновить мир, — вот что стало для меня уже не смутным, а простым верованием».

Но Достоевский и Григорьев, как и Тютчев, решительно не могли согласиться со славянофильским отношением к *современному* бытию России во всем его объеме — от искусства до политики.

Хомяков недвусмысленно писал в 1860 году, когда русская культура уже достаточно выявила всю свою всемирную мощь и глубину: «Ни искусство слова, ни искусство звука, ни пластика в России не выражают еще нисколько внутреннего содержания русской жизни, не знают еще ничего про русские идеалы».

Это было сказано тогда, когда миру уже было явлено творчество Пушкина, Глинки, Боратынского, Венецианова, Кольцова, Александра Иванова, Лермонтова, когда уже достаточно весомо утвердили себя в искусстве Достоевский, Толстой, Островский, Даргомыжский, Саврасов, Гончаров, Тургенев...

В том же 1860 году Хомяков писал Ивану Аксакову, что в творчестве Пушкина нет истинной духовной мощи, отсут-

ствует, как он выразился, «звук басовой струны», причем «способности к басовым аккордам недоставало не в голове Пушкина и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой, или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения. Пушкин измельчался не в разврате, а в салоне. От этого-то вы можете им восхищаться... но не можете благоговейно кланяться». В дальнейшем мы увидим, что почти точно так же истолковал Иван Аксаков «недостаточность» Тютчева...

Славянофилы, по сути дела, признавали в искусстве лишь то, что представлялось им прямым и непосредственным выражением их идеалов. В 1859 году Иван Аксаков недвусмысленно заявил о своих редакторских «принципах»: «Если бы Пушкин, Гоголь и проч. дали бы мне в "Парус" (газета, которую он тогда издавал. — *В. К.*) свои произведения, несогласные с духом газеты... так я бы не поместил» (позднее Иван Аксаков отказался от столь жесткого догматизма).

И вполне закономерно, что славянофилы не смогли понять и оценить и гениальную лирику вроде бы близкого им Тютчева...

В конце 1840-х годов Константин Аксаков написал статью о русской литературе тридцатых годов, где упомянул и о Тютчеве. Но как упомянул! Он перечислил «более или менее талантливых», по его мнению, поэтов тех лет — «Веневитинова, Дельвига, Тютчева, Подолинского и др.»...

Правда, хорошо известны суждения Хомякова, который писал в январе 1850 года историку А. Н. Попову (1821—1877), жившему в Петербурге: «Видите ли Ф. И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него... Не стыдно ли молчать, когда Бог дал такой голос? Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью... Он же насквозь поэт... В нем, как в Пушкине, как в Языкове, натура античная в отношении к художеству».

Казалось бы, надо сделать вывод, что славянофилы устами Хомякова вполне оценили Тютчева, пусть в частном письме, которое адресат должен был пересказать поэту. Смущает, правда, сопоставление с Языковым — поэтом гораздо менее значительным и явившимся здесь, надо думать, лишь потому, что в последние свои годы он был правоверным славянофилом. С другой стороны, как-то странно, что Хомяков, знавший Тютчева уже лет тридцать, написал не ему лично, а общему знакомому.

Но, по-видимому, именно в этом косвенном, непрямом обращении выразилась — разумеется, бессознательно для Хомякова — определенная неловкость, даже, если сказать резко, «стыдность» сложившейся ситуации. В письме говорится, что Тютчеву «стыдно» молчать, но гораздо уместнее будет сказать обратное: именно Хомякову и его друзьям должно было бы быть стыдно, что они молчали до сих пор о тютчевской поэзии...

Ведь все дело в том, что Хомяков «вспомнил» и заговорил о поэзии Тютчева лишь потому и тогда, когда в первом номере журнала «Современник» за 1850 год Некрасов опубликовал восторженную статью о тютчевских стихотворениях, которые почти полтора десятилетия назад начали появляться в том же «Современнике». Более того, Некрасов полностью привел двадцать четыре стихотворения Тютчева. Нередко полагают, что он просто автоматически перепечатал пушкинскую публикацию стихов Тютчева (ведь и тогда появилось как раз двадцать четыре стихотворения). Но на самом деле Некрасов внимательно просмотрел все тома «Современника» за 1836—1840 годы (уже после гибели Пушкина в разных томах журнала было опубликовано еще пятнадцать тютчевских стихотворений) и отобрал, за немногими исключениями, наиболее замечательные творения поэта (двадцать четыре из тридцати девяти).

Славянофилы были убеждены, что они, и только они, являются истинными представителями русской культуры в ее высших выражениях; Некрасов в их глазах был заведомо ложно направленным литературным деятелем (хотя позднее они и признавали значительность некоторых его произведений). И поистине есть нечто «стыдное» в том, что славянофилы полтора десятилетия хранили молчание о творчестве Тютчева... Они «вспомнили» о нем лишь благодаря некрасовской статье, где говорилось, в частности, о тютчевских стихотворениях, которые «принадлежат к немногим блестящим явлениям в области русской поэзии»; в них, писал Некрасов, «было столько оригинальности мысли и прелести изложения, столько, одним словом, поэзии, что, казалось, только сам же издатель журнала мог быть автором их. Но под ними весьма четко выставлены были буквы “Ф. Т.”...».

Таким образом, ставя Тютчева в один ряд с Пушкиным, Хомяков даже и в этом только вторил Некрасову... И лишь после появления некрасовской статьи стихи Тютчева начинают публиковаться в славянофильских изданиях; впрочем, никакого по-настоящему серьезного печатного отклика тют-

чевская поэзия в среде славянофилов так и не породила вплоть до самой его кончины — до книги Ивана Аксакова (1874).

Следует сказать, что было бы совершенно безосновательным находить в этом молчании славянофилов некую — пусть хотя бы второстепенную и подспудную — причину холодности Тютчева по отношению к ним. Поэт был заведомо выше любых подобных соображений. Его не устраивало отношение славянофилов не к поэзии (в том числе его собственной), но к России. Да и, в конце концов, славянофильское восприятие русской литературы было только одним из закономерных следствий их восприятия современной России в целом.

Единственный из ведущих славянофилов, оставивший нам воспоминания, Александр Кошелев, откровенно рассказал о их отношении к Крымской войне. Возмущенно вспоминая о том, что как раз накануне войны особенно жестокая в то время цензура, по сути дела, лишила славянофилов всякой возможности публиковать свои сочинения, Кошелев писал: «Высадка союзников в Крым в 1854 году, последовавшие затем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили, ибо мы были убеждены, что даже поражения России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время... Падение Севастополя, разные другие поражения и дипломатические переговоры хотя нас и огорчали, однако мы не унывали... Мы даже настолько ожили, что осенью 1855 года* приступили к положительным переговорам об издании журнала, что всегда составляло нашу любимую, самую пламенную мечту».

Между тем Тютчев писал еще задолго до падения Севастополя, 9 июня 1854 года: «Мы накануне какого-то ужасного позора, одного из тех непоправимых и небывало постыдных актов, которые открывают для народов эру их окончательного упадка». И добавлял через несколько дней: «Весь Запад пришел выказать свое отрицание России и преградить ей путь к будущему...»

Можно, разумеется, оспаривать тютчевский «диагноз», но, так или иначе, совершенно ясно, что радость славянофилов, получивших, наконец, — после падения Севастополя — возможность издавать свой журнал, была в глазах поэта совершенно «ребяческой»...

Признания Александра Кошелева не означают, конечно,

* Севастополь пал 27 августа 1855 года.

что славянофилы вообще спокойно воспринимали поражения в Крымской войне. Нет, они — особенно семья Аксаковых — и волновались, и подчас страдали от этих поражений, а некоторые из славянофилов даже собирались принять участие в боях с врагом. Речь идет о другом — о недостаточно развитой личной ответственности за современные судьбы страны, об абсолютизации своих идей и идеалов, которые ставятся превыше всего (отсюда и вытекает возможность «утешиться» перед лицом национальной катастрофы изданием «своего» журнала).

Этот недостаток ответственности делал неизбежным присущее славянофилам слабое понимание политического положения России. Чуть ли не весь смысл грандиозной схватки России с Европой славянофилы, в соответствии со своей доктриной, сводили к вопросу о помощи балканским славянам... Так, 12 апреля 1854 года, когда смертельная опасность, казалось бы, уже предстала в своей грозной очевидности, Константин Аксаков радостно писал своему брату Ивану: «Мы перешли Дунай, слава Богу, и уже посылаются болгарам колокола для церквей». Более того, как ни удивительно, даже и в феврале 1855 года, когда война была в самом разгаре, Константин послал близко знакомому ему члену Государственного совета и сенатору князю Д. А. Оболенскому письмо, в котором призывал его убедить царя в необходимости немедленно взять Константинополь и поднять балканских славян на восстание, как будто бы дело шло всего лишь о войне с Турцией... Это была уже поистине «ребяческая» наивность.

Слово «ребяческий» в данном случае нисколько не преувеличенное. 10 апреля 1855 года сестра Константина и Ивана Вера Аксакова писала в дневнике: «Иван сообщает также слухи о том, что Государь... желает дать камергерам и камер-юнкерам вместо мундиров... народные кафтаны и даже говорит, будто они будут переименованы в стольников и ключников... В петербургском обществе толкуют уже о сарафанах... Хорошо, если б это была правда!» Осенью 1855 года Юрий Самарин записался в ополчение и мотивировал это, в частности, тем, что «по окончании войны офицерам, служившим в ополчении, можно будет носить бороду...».

Разумеется, славянофилы не ограничивались подобного рода устремлениями и интересами, но само их наличие ясно свидетельствует, сколь далеки были их носители от истинного смысла переживаемых Россией событий.

Откровеннее и определеннее всех выразил, пожалуй, отношение славянофилов к этим грозным событиям Алексей

Хомяков. В начале 1854 года, когда Тютчев уже с полнейшей ясностью представлял себе всю политическую катастрофу, Хомяков иронически восклицал: «Сколько на свете понаделалось дел! да каких важных!.. Я все-таки еще ничего не понимаю, из чего это делается... Да из чего же так Европа расхлопоталась? из чего она так к нам не благоволит? из чего флоты посылает? Никак в ум не возьму... В Петербурге, вероятно, все это ясно, а нам в глуши совершенно недоступно». Впрочем, Хомяков был настроен весьма и весьма оптимистически. «Ничего не знаешь, не понимаешь, — продолжал он, — а чего-то крупного ждешь и должен ждать. Ведь недаром же у Босфора такой съезд всех возможных флагов... В моих глазах это возвышает самый Царьград... Не на похороны ли Турции такой съезд?.. Я уверен, что все кончится в пользу нашей задунайской братии* и в урок многим. Узнают, между прочим, что славянофильство... было... верным предчувствием и ясным пониманием... Полагаю, что и теперь уж начинают это смекать, хоть, разумеется, и не признаются.

Но в сторону эти политические дела, — заключал Хомяков, — которые очень удобно без меня обойдутся...»

Тютчеву эта позиция «в стороне» была глубоко чужда. В это самое время он писал, как бы прямо опровергая Хомякова: «Борьба, которая разразится сейчас, на днях, на наших глазах... это борьба, в этом нельзя себя обманывать, в которой все замешано: частные интересы так же, как и вся будущность, и даже самое существование России...»

Говоря о принципиальных расхождениях Тютчева со славянофилами, необходимо, впрочем, сознавать, что расхождения эти коренились и в глубоком различии самой точки зрения. Если Тютчев смотрел на мир прежде всего с точки зрения внешней политики России — в конечном счете мировой политической жизни, — то славянофилы были погружены главным образом в проблемы внутренней, так сказать, «домашней» русской жизни. Это выражалось уже хотя бы в том, что для поэта своего рода ключевым словом было слово «держава», а для славянофилов — «община». Поэтому мысль Тютчева и мысль славянофилов не только «противостояли», но и в известном смысле дополняли друг друга.

Мы еще будем говорить о взаимоотношениях Тютчева и славянофилов. Однако нельзя не упомянуть здесь о том, что впоследствии, особенно во второй половине шестидесятых годов, поэт обрел самую тесную связь с младшими предста-

---

* То есть южных славян.

вителями славянофильства — прежде всего с Иваном Аксаковым и Юрием Самариным. Это объяснялось главным образом тем, что их позиции к тому времени существенно изменились в сравнении со славянофильством сороковых-пятидесятых годов, и изменились, надо думать, не без энергичного воздействия самого Тютчева. В частности, в поздние свои годы Иван Аксаков и Самарин уже не полагали, как Хомяков в 1860 году, что русская литература-де «еще нисколько» не выразила «содержание русской жизни» и «еще ничего» не знает про русские идеалы.

Кроме того, с одним из молодых славянофилов, отличавшимся гораздо более развитым политическим мышлением, Тютчев сдружился еще в 1850-х годах. Это был Александр Федорович Гильфердинг (1831—1872), человек, которому Россия навсегда обязана тем, что он превосходно осуществил запись ценнейших образцов русского былинного эпоса, составивших три тома его «Онежских былин». Без записанных Гильфердингом 318 текстов наше представление о былинном наследии было бы неизмеримо более ограниченным. При этом нельзя не сказать, что Александр Гильфердинг погиб во время второго путешествия за былинами по глухому Олонецкому краю, погиб поистине как воин на посту. Тютчев исключительно высоко ценил Гильфердинга и посвятил ему два стихотворения. Второе из них (собственно, не стихотворение, а кое-как зарифмованное выражение чувств) было, между прочим, последним стихотворением поэта, написанным 5 мая 1873 года — уже на самом пороге смерти:

Хоть родом он был не славянин,
Но был славянством всем усвоен.
И честно он всю жизнь ему служил,
Он много действовал, хоть мало жил.
И многого ему принадлежит почин —
И делом доказал, что в поле и один
Быть может доблестный и храбрый воин.

Судьба Гильфердинга была необычна. Он происходил из рода немецких — саксонских — евреев. Отец его, Ф. И. Гильфердинг, был тесно связан с Нессельроде, также выходцем из Саксонии. По-видимому, не без участия последнего он оказался на русской службе, был директором дипломатической канцелярии в Варшаве (где и родился Александр), а затем занял весьма важный пост директора департамента внутренних сношений Министерства иностранных дел и архива этого министерства.

В 1848 году семнадцатилетний Александр Гильфердинг приехал из Варшавы в Москву, поступил на историко-фило-

логический факультет университета и здесь всем своим существом приобщился к русской культуре. Выдающийся славист самого широкого профиля (историк, филолог, этнограф, фольклорист и т. д.), он, как и Тютчев, со всей страстью и ответственностью отдавался в то же время политике. Само славяноведение было для него не царством идей, в той или иной мере оторванных от современной жизни, но неразрывно связывалось с сегодняшней и грядущей политической реальностью России и Европы.

Несмотря на то, что Гильфердинг был почти на тридцать лет моложе Тютчева, поэт общался с ним как с равным и часто принимал его в своем доме, где бывали сравнительно немногие люди. Так, дочь поэта Мария записала в своем дневнике, что 14 марта 1859 года у Тютчева провели вечер Александр Гильфердинг и Петр Плетнев, а 4 апреля и 23 ноября того же года Гильфердинг обедал у поэта.

Во время Польского восстания 1863 года, когда на Западе началась бешеная кампания против России, к Тютчеву обратилась известная тогда своими выступлениями в английской печати публицистка Ольга Новикова, долгое время жившая в Лондоне. Она просила поэта предоставить ей его политические стихи для распространения в Англии. Тютчев отвечал ей: «Позвольте мне лучше предложить вам нечто гораздо более достойное... Это большая статья Гильфердинга о Польше, напечатанная в “Инвалиде”. Вот это нечто очень значительное. Прочтите ее, сударыня, и посоветуйте прочесть ее нашим европейским друзьям. Вы им окажете услугу».

В статье Гильфердинга, которую столь высоко ценил Тютчев, речь шла о том, что восстание 1863 года было, по сути дела, чисто дворянским, шляхетским. Следует иметь в виду, что к шестидесятым годам XIX века польское шляхетство совершенно непомерно, даже фантастически, разрослось. Из шести миллионов поляков, живших в пределах Российской империи, потомственных дворян было около пятисот тысяч человек (для сравнения следует напомнить, что на пятьдесят миллионов остального населения европейской части империи приходилось всего лишь двести пятьдесят с лишним тысяч потомственных дворян...).

Это беспрецедентно гипертрофированное шляхетское сословие, которое не могло прокормиться на собственно польской земле, требовало отдать в его безраздельное господство Украину и Белоруссию.

А. Ф. Гильфердинг писал, что это шляхетство представляет собой «класс людей, поглотивших в себе всю историче-

скую жизнь польского народа», притом класс, «уже неспособный к новому развитию», и видел выход в том, чтобы «поднять польское крестьянство, дать ему независимость материальную наделением землею не только хозяев, но всех без исключения земледельцев (батраков и т. п.) и открыть крестьянству самостоятельное участие в общественной жизни страны».

Тютчев был в этом вопросе целиком на стороне Гильфердинга.

Но мы, как говорится, слишком забежали вперед. Обратимся к историческому событию, которое, наряду с Отечественной войной 1812—1815 годов, имело решающее значение для миропонимания и мироощущения (вполне уместно как-то разделить мышление и сферу душевных состояний, предчувствий, настроений) Тютчева. Речь идет, разумеется, о Крымской войне 1853—1856 годов.

Поэт был мальчиком в 1812—1815 годах, и все же именно героическая эпопея тех лет определила его духовное и творческое становление, — как, впрочем, и становление великой русской культуры двадцатых-тридцатых годов в целом.

Но, как уже подробно говорилось, Тютчев с конца тридцатых годов жил в предчувствии и даже в прямом сознательном предвидении нового грандиозного столкновения с Западом. За десять лет до Крымской войны он уже начал самым решительным образом действовать — не столько для того, чтобы предотвратить эту войну (хотя у него были и такие надежды), сколько для того, чтобы предотвратить поражение России, которое ей — это он опять-таки очень рано понял — угрожало.

Как известно, Крымской войне предшествовало столкновение России с Турцией, начавшееся летом 1853 года. Само по себе оно было только еще одним звеном в многовековой цепи столкновений, которые начались в XV веке, когда образовалась Турецкая империя, поработившая целый ряд православных народов на Балканах и Кавказе и не раз захватывавшая те или иные южные области России*. Но на сей раз Запад воспользовался этой — в сущности, имевшей локальный смысл — войной, чтобы обрушить на Россию все свои силы.

---

* Накануне Крымской войны православное население Турецкой империи составляло свыше двенадцати миллионов человек — половину всего ее населения.

Незадолго до начала войны, 13 июня 1853 года, Тютчев выехал через Берлин в Париж в качестве дипломатического курьера (он вез с собой министерский циркуляр). Как уже говорилось, Нессельроде, дабы «задобрить» поэта, дважды предоставлял ему малосущественные командировки в Европу. Насколько незначительной была поездка 1853 года, ясно свидетельствует рассказ Тютчева о его «отчете» перед канцлером. 14 сентября он писал Эрнестине Федоровне о том, как на обратном пути из Парижа два с половиной дня дожидался в Ковне (Каунасе) «проезда графа Нессельроде», направляющегося в Варшаву. «Это ожидание, — иронически заметил поэт, — не было тщетным, и мне удалось повидать канцлера в течение пяти минут в его карете. Этого было как раз достаточно, чтобы обменяться тем, что мы имели сказать друг другу».

Но в действительности Тютчев, находясь в Париже, предпринял свою собственную дипломатическую акцию, пусть и не имевшую больших последствий. В частности, он посетил здесь Генриха Гейне, с которым расстался около четверти века назад.

Через три недели после отъезда Тютчева из Петербурга, 3 июля 1853 года, французский посол в России Кастельбажак писал в Париж: «Русскому правительству необходимо сейчас опровергнуть мнение английской, французской и германской прессы, обрушившей на него единодушное осуждение!* Для этого оно... направило в Париж г-на Тютчева... с заданием “обработать” французских журналистов!.. Он поддерживает отношения с некоторыми нашими писателями и журналистами, настроенными непростительно благосклонно к загранице и враждебно к правительству нашей родины... Его необходимо взять под наблюдение!»

Двадцатого июля руководитель восточного отдела министерства иностранных дел Франции Тувнель известил посла: «Я взял на заметку г-на Тютчева... и завтра же передам его под надзор полиции».

На другой день после донесения Кастельбажака, 4 июля, английский посол в Петербурге Сеймур сообщал своему министру Кларендону: «Тютчев, бывший секретарь дипломатической русской миссии, но потом впавший в немилость, выехал, как стало известно, из Санкт-Петербурга три или четыре недели назад, чтобы проследовать в Париж. Я только что узнал, что он был послан туда правительством... Тютчев — человек, наделенный способностями, автор статьи в

---

* Осуждение за мнимую агрессию против Турции.

“Ревю де Дё Монд”... вызвавшей много споров. Создается впечатление, что в настоящий момент русское правительство прилагает большие усилия, чтобы оказать влияние на общественную прессу иностранных государств, и, как стало известно, израсходовало на это значительные средства».

Все, что мы знаем об отношениях Тютчева с тогдашним Министерством иностранных дел, свидетельствует об ошибочности версии двух послов. Едва ли есть какие-либо основания полагать, что Тютчев в 1853 году получил столь ответственное поручение. Пятиминутный «отчет» Тютчева о его поездке в карете Нессельроде ясно говорит о том, что его командировка не была связана со сколько-нибудь серьезными задачами.

Все дело, по-видимому, в том, что сам Тютчев перед отъездом делился с кем-либо своими чисто личными дипломатическими замыслами, и это дошло в конце концов — через три недели после отъезда Тютчева — до посольских ушей.

Нам известен только один писатель, которого посетил тогда Тютчев в Париже, — Гейне. Несмотря на то, что отношения между ними были прерваны еще в 1830 году, Тютчев счет нужным встретиться с Гейне, который не раз выполнял в своей публицистике заказы французского правительства при короле Луи Филиппе и явно не прочь был послужить и русскому правительству. Собственно, он был готов к этому еще до своей эмиграции во Францию. В 1828 году в своих известных «Путевых картинах» Гейне писал, что «самый пылкий друг революции видит спасение мира только в победе России и даже смотрит на императора Николая как на гонфалоньера* свободы... Те принципы, из которых возникла русская свобода... это — либеральные идеи новейшего времени, русское правительство проникнуто этими идеями, неограниченный абсолютизм является скорее диктатурой, направленной к тому, чтобы внедрять эти идеи непосредственно в жизнь... Россия — демократическое государство».

Существует мнение, что Гейне будто бы заимствовал это представление о николаевской России у Тютчева. Но такое мнение совершенно безосновательно, ибо всего за два года до выхода гейневских «Путевых картин», в 1821 году, Тютчев писал о тщетной надежде декабристов их «скудной кровью» «вечный полюс растопить».

Если Гейне и почерпнул общую идею своей парадоксальной «апологии» России у кого-либо из русских, живших в 1828 году в Мюнхене, то уж во всяком случае не у Тютчева.

---

* Знаменосца (*ит.*).

Нет сомнения, что и в 1853 году Тютчев стремился внушить Гейне отнюдь не представление о Николае I как о знаменосце свободы, но, по всей вероятности, мысль о том, что Европа должна уважать самостоятельную жизнь России, которая ничем не угрожает Западу.

Визит Тютчева к Гейне был по-своему подготовлен. Официальный пропагандист политики Николая I за рубежом Николай Греч в течение предшествующих десяти лет не раз встречался с Гейне и начиная с 1848 года (когда пало правительство Луи Филиппа, финансировавшее Гейне) передавал ему деньги; обо всем этом свидетельствует целый ряд гейневских писем (от 3 декабря 1848-го, 3 мая 1849-го, 8 января и 22 марта 1850 года и др.).

Тютчев был близко знаком с Гречем (еще с 1837 года) и, надо думать, посвящен в его отношения с Гейне. В мае 1853 года, за полтора-два месяца до приезда Тютчева в Париж, Греч в очередной раз побывал у Гейне и, очевидно, подготовил почву для появления Тютчева.

Обо всем этом писал недавно английский исследователь жизни и творчества Тютчева Рональд Лэйн (уже упоминавшийся ранее), но он безосновательно присоединяется к убеждению французского и английского послов того времени, которые полагали, что Тютчев, встречаясь с Гейне, выполнял задание правительства. Не может быть сомнений, что Тютчев действовал по собственной инициативе, стремясь через Гейне и, возможно, других влиятельных писателей воздействовать на общественное мнение Запада ввиду надвигающейся войны.

Но война началась как раз во время пребывания Тютчева в Европе, хотя на первых порах это была война с Турцией.

По дороге на родину, ожидая с 5 по 7 октября в Ковно едущего навстречу, в Варшаву, Нессельроде, Тютчев вспоминал о начавшемся именно здесь вторжении армий Наполеона в Россию (в Каунасе и сегодня показывают тот холм на берегу Немана, с которого французский император наблюдал переправу своих войск). Вспоминая о прошлом, поэт не мог не думать о надвигающемся — и давно предвиденном им — новом вторжении с Запада. Он создает здесь замечательное стихотворение (оно приводилось выше) «Неман», помеченное словами «проезжая через Ковно». В феврале 1854 года это имевшее остросовременное звучание стихотворение было опубликовано в альманахе «Раут».

А в марте Франция и Англия (к ним вскоре присоединилась и Италия) объявили войну России.

Уже говорилось, что Крымская война была для Тютчева своего рода центральным историческим событием, определившим самые существенные основы его мировосприятия. Поэт предвидел, предчувствовал это событие еще с 1830-х годов, исключительно драматически и остро пережил его, а в последующие десятилетия как бы направлял свои главные усилия к преодолению его последствий.

Поэтому для действительного понимания Тютчева как поэта, человека, гражданина необходимо с должной широтой и ясностью представить суть и значение Крымской войны в истории и политике России и целого мира.

Ход и характер этой войны обстоятельно исследован в двухтомном трактате Е. В. Тарле «Крымская война». Знаменитый историк подробно показывает, в частности, как Англия и Франция всячески подталкивали и подстрекали Турцию, обещая ей безусловную мощную поддержку. В результате, писал Е. В. Тарле, «турецкое правительство охотно пошло на развязывание войны, преследуя определенные агрессивные реваншистские цели — возвращение северного побережья Черного моря, Кубани, Крыма».

Но военные действия между Россией и Турцией были всего лишь поводом к войне всего объединенного Запада против России, Запада, который сделал вид, что защищает мирную Турцию от русской агрессии. Как показал Е. В. Тарле, расчеты тогдашних «поджигателей войны» строились на том, что Англия «вызовет сначала русско-турецкую войну, а потом вступит в эту войну, имея на своей стороне и Францию, и Австрию» (и также еще Италию).

Необходимо сказать о том, что наиболее объективные западноевропейские историки сравнительно давно признали всю лживость тогдашних официальных заявлений Запада. В соответствующем томе фундаментальной «Оксфордской истории Новейшего времени», принадлежащем видному английскому историку Алану Тэйлору, — томе, называющемся «Борьба за господство в Европе» (издан в Оксфорде в 1954-м, а на русском языке — в Москве в 1958 году), — недвусмысленно рассказано о том, как «возник миф, будто Россия стремится к расчленению Турецкой империи. Это было неверно... Крымская война... велась против России, а не за Турцию... Они (Англия и Франция. — *В. К.*) были озлоблены преобладанием России... Целью войны для нее, — говорит Алан Тэйлор о своей стране, — было уничтожение превосходства России». Дело шло, понятно, о «превосходстве», завоеванном в 1812—1815 годах.

Особенно выразительно одно соображение Алана Тэйло-

ра. Прямым поводом для войны Запада против России, как известно, был тот факт, что русские войска вступили в принадлежавшие тогда Турецкой империи дунайские княжества — Молдавию и Валахию. Но в августе 1854 года, в какой-то мере осознав наконец, что России угрожает нашествие всего Запада, Николай I вывел войска из этих княжеств. «Уход России оставил союзников в проигрыше, — не без иронии пишет Алан Тэйлор. — Они начали войну для того, чтобы помешать агрессии России против Турции, а... Россия, покинув княжества, лишила союзников повода напасть на нее». Но, резюмирует историк, «поскольку союзники объявили войну, надо было начинать воевать». Известны, кстати сказать, слова французского императора Наполеона III, произнесенные еще до начала военных действий: «Мне все равно, желает ли Россия очистить княжества или нет, но я хочу ослабить ее и не заключу мира, пока не достигну своей цели».

Иначе говоря, Крымская война даже и с чисто формальной точки зрения была агрессией Запада против России. Английский историк так и заключает свой рассказ о ней: «Крымская война... стоила жизни почти полумиллиона человек, и общее число потерь превысило потери, понесенные в результате любой войны из тех, что велись в Европе на протяжении ста лет после Венского конгресса...* Каково бы ни было ее происхождение, эта война была по существу вторжением в Россию с Запада. Из пяти вторжений в Россию, совершенных в современную эпоху (вторжение Наполеона в 1812 г., Англии и Франции — в 1854 г., Германии — в 1916—1918 гг., держав Антанты — в 1919—1920 гг., Гитлера — в 1941 г.), это было, безусловно, самое успешное. После 1856 года Россия оказывала на европейские дела меньшее влияние, чем в любой период по окончании Великой северной войны в 1721 году, и так и не добилась того преобладания, каким она пользовалась до 1854 года».

Так пишет английский историк ровно через сто лет после Крымской войны. Тютчев ясно понимал все это еще до ее начала. Западные державы объявили войну России 15—16 марта 1854 года, 30 марта им выразили свою поддержку Австрия и Пруссия. Прямые боевые действия открылись лишь летом этого года. Но еще 23 ноября 1853 года Тютчев писал:

«В сущности, для России опять начинается 1812 год; может быть, общее нападение на нее не менее страшно теперь, чем в первый раз... И нашу слабость в этом положении со-

* То есть с 1815 по 1914 год.

ставляет непостижимое самодовольство официальной России, до такой степени утратившей смысл и чувство своей исторической традиции, что она не только не видела в Западе своего естественного и необходимого противника, но старалась только служить ему подкладкой*. Но чтобы ясно выразить эти мысли, понадобилось бы исписать целые томы».

Мы знаем, что за четыре года до того Тютчев начал работу над трактатом «Россия и Запад», но так и не написал его. В одном из более поздних писем (от 21 апреля 1854 года) он следующим образом объяснял причины своего молчания: «Конечно, не в желании говорить у меня недостаток, но желание это постоянно сдавливается убеждением, с каждым днем укореняющимся, в бессилии, в совершенной бесполезности слова... Тщетно и немощно слово в настоящую минуту, как никогда не бывало. К тому же — с кем говорить? С здешними — излишне, если бы и было возможно**. С внешними — невозможно по другой причине. Слово, мысль, рассуждение, все это предполагает какую-нибудь нейтральную почву, а между нами и ими нет уже ничего нейтрального».

Через несколько месяцев Тютчев пишет: «Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения... Более пятнадцати лет я постоянно предчувствовал эту страшную катастрофу, — к ней неизбежно должны были привести вся эта глупость и все это недомыслие. И одна лишь чрезмерность катастрофы минутами заставляла меня сомневаться в том, что мы осуждены видеть ее осуществление».

Тютчев нисколько не преувеличивал свои способности к предвидению. Еще за шесть лет до настоящего начала войны, 14 марта 1848 года, он ставил вопрос о том, сумеет ли враждебная России сила создать «вооруженный и дисциплинированный крестовый поход против нас и бросит ли вновь, как в 1812 году, весь Запад против нас — вот вопрос, который должен обнаружиться». Именно с этим сознанием Тютчев начал работу над трактатом «Россия и Запад», но так и не закончил, ибо увидел со всей ясностью, что никто не способен будет понять его предвидения...

Первые годы по возвращении в Россию поэт еще надеялся, что ему удастся убедить правящие круги России и в конечном счете самого царя в том, в чем он был давно убежден. Но уже к началу пятидесятых годов он ясно увидел

---

* Весьма примечательно, что Алан Тэйлор пишет о том же через сто лет: «До 1854 года Россия, быть может, пренебрегала своими национальными интересами ради всеобщих европейских дел».

** Тютчев имеет в виду цензурные запреты.

всю тщетность своих усилий. И за полтора месяца до того, как Англия и Франция объявили войну России, 2 февраля 1854 года поэт писал:

«Перед Россией встает нечто еще более грозное, чем 1812 год... Россия опять одна против всей враждебной Европы, потому что мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии есть только переходная ступень к открытой вражде. Иначе и не могло быть; только глупцы и изменники этого не предвидели».

Но это ведь значит, что, по мнению Тютчева, именно глупцы и изменники руководят внешней политикой России! Через два с половиной года, уже после падения Севастополя, поэт скажет о Николае I:

«Для того чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах».

Узнав об этой тютчевской оценке царя, брат жены поэта, баварский публицист Карл Пфеффель писал: «Я протестую против суждения об императоре Николае. Верьте мне, друзья мои, это был великий человек, которому не хватало только лучших и, возможно, более неподкупных исполнителей для осуществления судеб России».

Возражение это конечно же совершенно несостоятельно, ибо едва ли не основная задача любого главы государства как раз и состоит в том, чтобы подобрать лучших и, разумеется, неподкупных исполнителей государственной воли, особенно если дело идет о внешней политике.

Еще в 1848 году К. Маркс и Ф. Энгельс многозначительно писали, что «вся русская политика и дипломатия осуществляется, за немногими исключениями, руками немцев или русских немцев... Тут на первом месте граф Нессельроде — немецкий еврей; затем барон фон Мейендорф, посланник в Берлине, из Эстляндии... В Австрии работает граф Медем, курляндец, с несколькими помощниками, в их числе некий г-н фон Фотон, — все немцы. Барон фон Бруннов, русский посланник в Лондоне, тоже курляндец... Наконец, во Франкфурте в качестве русского поверенного в делах действует барон фон Будберг, лифляндец. Это лишь немногие примеры. Мы могли бы привести еще несколько дюжин таких примеров...»*.

---

* *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. 6. С. 156.

Едва ли не решающая причина этого положения заключалась в том, что Николай I после восстания декабристов не доверял русским дворянам. Как писал В. О. Ключевский, 14 декабря «кончается политическая роль русского дворянства... В этом заключается, по моему мнению, самое важное последствие 14 декабря».

Конечно, это только кое-что объясняет, но ни в малейшей мере не оправдывает царя. Нессельроде, вполне возможно, именно потому и сумел в течение многих лет преграждать дипломатический путь и Горчакова, и Тютчева, что они были русскими дворянами. При этом, как мы знаем, многие тютчевские родственники были декабристами, а Горчаков дружил с Пущиным и на другой день после 14 декабря даже предлагал ему заграничный паспорт (Пущин не захотел им воспользоваться).

Необходимо со всей ясностью оговорить, что речь идет отнюдь не о самом факте участия людей иностранного происхождения в государственной жизни России. Мы знаем множество славных имен людей самого разного происхождения, ставших выдающимися гражданами России и ее подлинными патриотами*. Речь идет лишь о непомерном засилье таких людей на дипломатических постах при Николае I. Притом людей, явно не обретших патриотического сознания и к тому же представлявших собой послушных исполнителей велений Нессельроде, который, между прочим, прожив в России более полувека, даже не пытался овладеть русским языком.

И сам Николай I, который создал это засилье иностранцев в государственном аппарате, в конце концов осознал, что дело обстоит неладно.

Как уже говорилось, летом 1854 года царь наконец назначил Горчакова на очень важный пост посла в Вене, заявив резко возражавшему против этого назначения Нессельроде: «Я назначил его потому, что он русский». Ранее Николай из этих же соображений отправил чрезвычайным послом в Константинополь морского министра А. С. Меншикова — именно как «чисто русского человека».

Но было уже поздно, уже ничего нельзя было переделать и изменить. Не забудем, что Нессельроде к тому моменту в течение тридцати с лишним лет стоял во главе Министерства иностранных дел и созданная им машина работала безотказно.

---

* О многих таких людях — от Остермана до Гильфердинга — говорится и в этой книге.

Тютчев пытался сопротивляться этой машине. Все, что он выразил в своих частных письмах, поэт безбоязненно провозглашал тогда в любом петербургском доме и самом царском дворце. Но ему-то, конечно, никто из имеющих власть не внимал.

Еще в 1850 году поэт написал разошедшийся в рукописях памфлет на Нессельроде: «Нет, карлик мой! трус беспримерный!..» И Нессельроде (о чем уже шла речь) был хорошо осведомлен о тютчевских выступлениях против него и пытался как угрожать поэту, так и задабривать его. После трехлетних «поисков» должности для Тютчева Нессельроде в 1848 году дал ему малозначительный пост: поэт стал одним из цензоров при Министерстве иностранных дел, обязанностью которых был просмотр газетных материалов, посвященных вопросам внешней политики. В этой должности поэт и служил следующие десять лет. Вполне понятно, что возможность воздействия на политику была здесь минимальной. Тем не менее Тютчев и на этом посту вызвал резкое недовольство клики Нессельроде. 23 июля 1854 года поэт сообщил жене: «Намедни у меня были кое-какие неприятности в министерстве из-за этой злосчастной цензуры... Если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов... Что за отродье, великий Боже!..» (выше цитировалось письмо поэта, в котором «отродьем» назван Нессельроде).

Поистине невозможно переоценить политическую и историческую прозорливость Тютчева, явленную накануне и во время Крымской войны. Многое из того, что ясно видел тогда поэт, по-настоящему раскрыто нашей историографией лишь в самое последнее время. Еще совсем недавно историки не были способны осознать истинные причины нашествия Запада на Россию. В одном из исследований вопроса — книге видного современного историка В. Н. Виноградова «Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны» (1985) — отметаются ложные посылки, которых, увы, придерживались многие не только зарубежные, но даже и отечественные историки: «В западной литературе и поныне встречаются утверждения о грандиозных завоевательных замыслах царизма в 1853 г. ...Обращение к источникам приводит к выводу, что требования... даже в их первоначальном виде не означали ничего подобного». Подлинной причиной войны была отнюдь не мнимая агрессия России против Османской империи. «Потребовались большие усилия мастеров по дезориентации документов, — пи-

шет В. Н. Виноградов, — чтобы усмотреть “угрозу” независимости Порты и чуть ли не существованию Турецкого государства». Между тем «под удобнейшим предлогом “спасения” Османской империи исподволь готовилось вытеснение царизма с Ближнего Востока и Балкан и утверждение здесь преобладающего британского влияния. Для этого создавалась уникально благоприятная ситуация... Никто не заикался о том, что готовилась акция по увековечению угнетения балканских и ближневосточных народов и установлению британской гегемонии на Востоке... Грязная война, — резюмирует В. Н. Виноградов, — имела все шансы стать популярной... Открывалась возможность в первый и последний раз в XIX веке нанести России удар неслыханной силы, отбросить ее назад на сто лет».

Выводы современного историка совпадают с той оценкой положения, которую дал Тютчев еще до начала Крымской войны!

В. Н. Виноградов пишет далее: «Крымская война была проиграна до того, как раздался первый выстрел: Россия оказалась в полнейшей изоляции перед лицом могущественной коалиции держав». Все развивалось по «планам “маленького Бонапарта” (Наполеона III. — *В. К.*), мечтавшего укрепить трон с помощью реванша за 1812 г., и лондонских правителей, не желавших упускать уникальный случай для... утверждения в громадном регионе своего преобладания и серьезного ущемления государственных интересов России». Одновременно «под флагом “обороны” от русского экспансионизма шло подчинение Османской империи Лондону».

Что же касается России, то «...“великая идея” друзей Турции, — доказывает В. Н. Виноградов, — состояла в том, чтобы загнать русских в глубь лесов и степей... Здесь речь шла... о попрании национальных и государственных интересов России и возвращении ее ко временам царя Алексея Михайловича».

Это вызывало радость у всех врагов России. «Немецкие либералы, — отмечает В. Н. Виноградов, — назвавшие в 1850 г. царизм “жандармом Европы”, через несколько лет объявили его “колоссом на глиняных ногах”...»

Современный историк говорит и о малоизвестном до сих пор факте поистине подрывной акции Нессельроде. Для начала войны все же нужен был некий прямой повод, предлог, хотя бы для того, чтобы успокоить общественное мнение западных держав.

«Дал его не кто иной, как Нессельроде, который совершил необъяснимый и недопустимый для дипломата промах,

сообщив пруссакам замечания, сделанные в МИДе... — пишет В. Н. Виноградов. — Эта конфиденциальная информация "для друзей" немедленно была разглашена по всему свету. "Как мог такой старый дипломатический лис совершить подобную оплошность — выше моего понимания", — изумлялся Кларендон» (тогдашний министр иностранных дел Англии)...

Тютчев, без сомнения, со всей ясностью понимал, что Крымская война была проиграна до ее начала. 24 февраля 1854 года, то есть еще до объявления войны Англией и Францией, он писал, что Россия «вступит в схватку с целой Европой. Каким образом это случилось? Каким образом империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих*, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако же, это было неизбежным».

И Тютчев видит едва ли не главных врагов не на Западе, а в самой России. После того как 18 ноября 1853 года адмирал Нахимов добился беспримерной победы, уничтожив турецкий флот в его собственном порту Синопе, а генерал Бебутов** на следующий день разгромил армию турок недалеко от Карса (при Башкадыкларе), поэт с горчайшей иронией писал об Англии и Франции (24 ноября): «Пусть наши враги успокоятся. Наши последние успехи могли быть очень обидными для них, но они останутся бесплодными для нас. Здесь так много людей, которые готовы дать им полное удовлетворение в этом отношении и... могут ей (России. — *В. К.*) сделать гораздо больше вреда благодаря своему положению... Это как бы заколдованный круг, в который вот уже в течение двух поколений мы заключили национальное самосознание России и понадобилось бы действительно, чтобы Господь удостоил нас сам здорового пинка, чтобы мы разорвали этот круг и стали бы опять на свой путь».

По мере развития событий поэт все отчетливее и резче говорил о том, что самые опасные враги — внутри страны. Он пишет 9 июля 1854 года, что все известное ему «о направлении умов в министерстве***, а может быть, даже и выше, — вся эта подлость, глупость, низость и нелепость, — все это возмущает душу более, чем способно выразить человеческое слово... Мы накануне какого-то ужасного позо-

---

* Выше приводилась вполне аналогичная характеристика, данная через столетие Тэйлором.

** *Василий Осипович Бебутов* (1791—1858) — князь, представитель древнего армянского рода, герой Отечественной войны 1812 года.

*** Министерство иностранных дел.

ра...». 23 июля он многозначительно говорит о тех же деятелях Министерства иностранных дел: «Когда видишь, до какой степени эти люди лишены всякой мысли и соображения, а следственно, и всякой инициативы, то невозможно приписывать им хотя бы малейшую долю участия в чем бы то ни было и видеть в них нечто большее, нежели пассивные орудия, движимые невидимой рукой».

Движения этой «невидимой руки» достаточно ясно очерчены в уже упомянутом трактате Е. В. Тарле, который опирался на анализ дипломатической документации Нессельроде и его сподвижников.

Уместно начать с «Всеподданнейшего отчета государственного канцлера за 1852 г.», то есть последнего ежегодного отчета Нессельроде перед началом Крымской войны. «Этот отчет составлялся весной 1853 г., — пишет Е. В. Тарле, — когда... уже был совершен ряд гибельных ошибок, но когда все-таки еще было время приостановиться... Ложь и лесть, притворный беспредельный оптимизм, умышленное закрывание глаз на все неприятное и опасное, бессовестное одурачивание царя... — вот что характеризует этот последний "благополучный" отчет... Когда Николай Павлович читал эту французскую прозу своего канцлера, кончавшуюся выводом о мировом, державном первенстве русского царя, французский флот уже подошел к Саламинской бухте, Стрэтфорд-Рэдклиф уже овладел окончательно Абдул-Меджидом...*, а в Вене как дипломатическое, так и военное окружение Франца-Иосифа ежедневно твердило... что необходимо занять немедленно враждебную России позицию... Это глубоко лживое по существу и роковое... затушевывание истины пронизывает весь доклад Нессельроде».

И далее Е. В. Тарле так ставит вопрос о Нессельроде: «В самом ли деле он до такой уж степени ровно ничего не понимал в происходящих событиях, в наступающих крутых переменах? Себя ли самого убаюкивал лживый и льстивый раб своими умильными речами или сознательно обманывал властелина?..»

Стремясь говорить только о том, что известно ему абсолютно достоверно, по документам, Е. В. Тарле дает четкий ответ на эти вопросы только по ряду отдельных пунктов. Так, например, одним из поводов войны был «вопрос о святых местах», о том, кто должен занимать преобладающее место в Иерусалиме — православные (то есть, в частности,

* Речь идет об английском посланце в Константинополь, к султану, натравившем Турецкую империю на Россию.

Россия) или католики (на что претендовала Франция). Тарле пишет в связи с этим о Нессельроде: «Мы знаем из позднейших свидетельств, что он понимал зловещий смысл искусственного раздувания со стороны Наполеона III этого выдуманного "вопроса" и догадывался об опасности системы ответных провокаций со стороны Николая». Понимал, но ничего не сделал для предотвращения катастрофы.

Тарле подробно рассматривает деятельность основных послов России, ясно выразившуюся в их донесениях в Петербург. Такие послы, пишет историк, как «барон Бруннов в Лондоне, Мейендорф в Вене, даже Будберг в Берлине... следовали указаниям своего шефа-канцлера... и писали иной раз вовсе не то, что видели их глаза и слышали их уши». А, в свою очередь, «Нессельроде собирал эти лживые сообщения и подносил Николаю».

В результате вплоть до самой катастрофы царь был уверен в следующем: во-первых, ни Англия, ни Франция не собираются-де реально «вступиться» за Турцию; во-вторых, эти державы, в силу своего якобы непримиримого антагонизма, не смогут объединиться для войны против России; в-третьих, Австрия и Пруссия при всех условиях останутся верными русскими союзниками. И все это было абсолютной, стопроцентной ложью...

Восьмого апреля 1854 года Тютчев писал: «Ну вот, мы в схватке со всею Европой, соединившейся против нас общим союзом. Союз, впрочем, не верное выражение, настоящее слово: з а г о в о р... Нет ничего нового под солнцем, однако же едва ли не справедливо, что в истории не бывало примеров гнусности, замышленной и совершенной в таком объеме...»

Вражеские эскадры вошли в Черное, Баренцево, Белое, Берингово моря и Финский залив и атаковали Одессу, Севастополь, Керчь, Колу, Соловки, Петропавловск-на-Камчатке, Свеаборг и Кронштадт...

Тютчев писал жене еще 10 марта 1854 года о том, что ожидает «прибытия в Кронштадт наших милых бывших союзников и друзей, англичан и французов, с их четырьмя тысячами артиллерийских орудий и всеми новейшими изобретениями современной филантропии, каковы удушливые бомбы и прочие заманчивые вещи...». А 19 июня того же года он уже пишет: «На петергофском молу, смотря в сторону заходящего солнца, я сказал себе, что там, за этой светящейся мглой, в 15 верстах от дворца русского императора, стоит самый могущественно снаряженный флот, когда-либо появлявшийся на морях, что это весь Запад пришел выказать свое отрицание России и преградить ей путь к будущему...»

Заставив приковать основные русские силы к Петербургу под угрозой мощного нападения на него, союзники обрушили главный свой удар на Крым. Если бы существовала железная дорога Петербург — Севастополь, армия имела бы возможность маневра. Но всесильный, как и Нессельроде, министр финансов Канкрин сумел убедить царя, что железные дороги, которыми с середины 1820-х годов начала покрываться Европа, — это только развлечение для бездельников. Как бы в доказательство этого в 1836 году была построена «увеселительная» железнодорожная линия из Петербурга в Царское Село. За последующие полтора десятилетия, в продолжение которых стремительно разрасталась железнодорожная сеть на Западе, в России не была открыта ни одна дорога... Славившийся своим умом и проницательностью, Канкрин до самой смерти непримиримо противостоял железнодорожному строительству. И лишь после Крымской войны в России широко развернулось это строительство: через полтора десятилетия длина железнодорожных линий уже превышала десять тысяч километров.

Е. В. Тарле в своем трактате доказал, что вся Крымская война в целом была поистине катастрофической неожиданностью для Николая I. Чтобы ясно увидеть, каким образом так получилось, проследим одну, но очень важную линию дипломатической деятельности (в данном случае стоило бы поставить два последних слова в кавычки) — линию посла России в Лондоне с 1840 года Бруннова.

Бруннов (о нем уже шла речь как о вероятном изготовителе пасквильного «диплома», приведшего в конечном счете к гибели Пушкина) был, без сомнения, в высшей степени осведомленным и весьма способным к политическому предвидению дипломатом. Е. В. Тарле так характеризует одно из его донесений, посвященное в основном характеристике французского императора Наполеона III: «Замечательно, что в этой бумаге, помеченной и написанной 3 февраля 1853 г., мы находим правильно словленными в самом деле главные моменты грядущей внешней политики почти всего царствования Наполеона III... Бруннов верно предсказывает тут и завоевание Савойи в 1859 г., и мексиканскую экспедицию 1862—1866 гг., и прорытие Суэцкого канала, и переговоры Наполеона III с Бисмарком в 1865—1866 гг. о Бельгии и Люксембурге».

Однако так поразительно точно и так далеко предвидя политику французского императора, Бруннов вместе с тем постоянно утверждал, что Наполеон III никогда не вступит в союз с Англией против России. Утверждал даже в то вре-

мя, когда этот союз, этот заговор, стал несомненной очевидностью...

Е. В. Тарле пишет: «Нессельроде знал, что... все расчеты Николая зиждутся на предположении, что никакого настоящего, прочного сближения между Англией и Францией нет и не будет никогда... В Англии знали об этом ошибочном мнении царя... и очень хорошо понимали, до какой степени опасна для царя эта ошибка, и делали все от них зависящее, чтобы... утвердить Николая в этом заблуждении и провоцировать его на самые рискованные действия».

Но Бруннов, пожалуй, делал для этого гораздо больше, чем все английские политики вместе взятые. «Огромное впечатление, — пишет, в частности, Е. В. Тарле, — произвела на Наполеона III внушительнейшая дружественная манифестация крупной английской буржуазии... в середине марта 1853 г. ...Бруннов спешит успокоить царя: ничего тут важного нет, просто английские негоцианты хотели успокоить тревогу англичан перед возможностью разрыва между Англией и Францией. "Британское правительство, нисколько не поощряя этой необычайной манифестации, держалось совершенно в стороне". — Так старательно затушевывал и искажал правду и закрывал глаза на серьезнейшие симптомы русский посол», — заключает историк.

О другом донесении того же времени Е. В. Тарле пишет, что «это длиннейшее донесение... Бруннова объективно именно и делало то дело, которое было так желательно Наполеону III в Париже, Пальмерстону в Лондоне, Стрэтфорду-Рэдклифу в Константинополе... (речь идет, так сказать, о главных поджигателях войны. — *В. К.*)... Роковая роль, которую... играл Бруннов, становилась все пагубнее и пагубнее с каждым днем...».

Разумеется, Бруннов был только исполнителем воли Нессельроде (выше приводились слова Тарле о том, что посол во всем «следовал указаниям своего шефа-канцлера»). Этот способный дипломат попросту не имел своей собственной политической воли. Когда Нессельроде был отставлен от поста министра и его место занял патриотически настроенный Горчаков, Бруннов начал послушно и не без успеха исполнять его волю, как раньше он делал это в отношении Нессельроде...

Карл Нессельроде (1780—1862) — поистине загадочная фигура. Уже его отец, выходец из Саксонии, служил поочередно в дипломатических ведомствах Австрии, затем Голландии, Франции, Пруссии и, наконец, перешел на русскую службу. В момент рождения сына он был посланником России в Португалии. Из известного трактата Г. В. Вернадского о масонстве, изданного в 1917 году в Петрограде, явствует,

что Нессельроде-отец был причастен к западноевропейскому масонству, а эта принадлежность обычно передавалась «по наследству»... Сын его родился в лисабонском порту на английском корабле и там же был окрещен в англиканскую веру, в которой и оставался до конца дней.

Нессельроде-сын быстро сделал блистательную карьеру; уже в 1816 году он стал одним из руководителей внешней политики России, а с конца 1822 года — ее безраздельным хозяином. Ему прежде всего помогли, несомненно, его огромные международные связи. Мы видели, как его ближайший сподвижник Бруннов мог, когда он этого хотел, точно предсказывать ход политических событий на десять с лишним лет вперед. Умел это делать, когда ему было нужно завоевать доверие Александра I, а затем Николая I, и Нессельроде. Кроме того, он был сверхъестественно ловким царедворцем.

Но роль его во внешнеполитических делах была, прямо скажем, зловещей. Выше шла речь о причастности Нессельроде к гибели Пушкина, который в тридцатых годах обретал все более весомое влияние на ход государственных дел в России. Между прочим, как достаточно хорошо известно, Геккерн был не столько голландским дипломатом, сколько агентом Нессельроде. И едва ли не с его помощью Геккерн через несколько лет после своего позорного изгнания из России вернулся в дипломатию.

Е. В. Тарле писал, что когда Франция в канун Крымской войны поставила цель «вооружать Австрию против России... очень враждебную России роль в этих франко-австрийских секретных переговорах играл старый барон Геккерн... Геккерн был в 1853 г. голландским посланником в Вене, а Дантес, “усыновленный” им и тоже носивший его фамилию, делал карьеру во Франции... Старый барон Геккерн, служа голландским послом в Вене и имея постоянные сношения с французским правительством через Дантеса-Геккерна, проживавшего в Париже, старался заслужить милость Наполеона III, исполняя его волю».

Нельзя не упомянуть и о том, что Наполеон III, придя к власти, сразу же назначил Дантеса сенатором, а вскоре поручил ему вести дипломатические козни против России. Историк В. Дмитриев писал об этом: «В Петербург Дантес не поехал, так как Николай I отказался принять его официально, но встреча его с русским царем все же состоялась 22 мая 1852 года в Берлине. Царь дал понять, что не будет возражать против честолюбивых замыслов племянника Наполеона I (плодом этой недальновидной политики оказалась начавшаяся меньше чем через два года Крымская война)».

Так выявляются тайные международные связи (Нессельроде — Геккерн — Дантес — Наполеон III и т. д.), непосредственно причастные к Крымской войне. Конечно, многое здесь еще ждет исследователя. Но вполне ясно и в высшей степени закономерно, что у Пушкина и Тютчева были одни и те же враги...

Тютчев, вероятно, не мог знать все закулисные обстоятельства подготовки Крымской войны, даже и в том их объеме, который известен теперешним историографам, изучавшим всю совокупность дипломатических документов 1830—1850-х годов. Но все же поэт прямо сказал, что только «глупцы и изменники» не предвидели катастрофу, и ясно понимал, что война была проиграна до начала боевых действий. 20 июня 1855 года Тютчев (вспомним, что он служил в это время цензором при Министерстве иностранных дел) писал о статье одного из любомудров, члена Совета Министерства иностранных дел Ивана Мальцова: «Бедный Мальцов вообразил, будто ему будет дозволено... сказать, что англичане ведут пиратскую войну у наших берегов... Канцлер заставил его вычеркнуть это выражение как слишком оскорбительное... Вот какие люди управляют судьбами России!..» Именно в этом письме Тютчев назвал Нессельроде «отродьем» и привел слова выдающегося германского политика Штейна, писавшего о Нессельроде как о «жалком негодяе».

Впрочем, и значительно ранее Тютчев ясно видел всю суть происходящего, хотя и не употреблял столь резких выражений по адресу канцлера. Еще 21 апреля 1854 года, когда Англия и Франция только готовились атаковать русские порты, поэт писал:

«Давно уже можно было предугадывать (вспомним, что сам Тютчев предугадал все в тридцатых годах. — *В. К.*), что эта бешеная ненависть... которая тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал...» России, утверждал поэт, просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественное признание, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления.

Через несколько месяцев, 19 июня, Тютчев говорит: «Правда, ничто из того, что происходит, не должно меня удивлять, — до такой степени совершающиеся действия точно соответствуют моему давнишнему представлению о действующих лицах. Но когда стоишь лицом к лицу с действи-

тельностью, оскорбляющей и сокрушающей все твое нравственное существо, разве достанет силы, чтобы не отвратить порою взора и не одурманить голову иллюзией...»

И действительно, в некоторых тютчевских письмах того времени проскальзывают утопические мечтания. Биограф поэта К. В. Пигарев писал по этому поводу: «На первых порах Тютчев окрылен надеждами. Он мечтает о "великих и прекрасных событиях"... Севастопольская катастрофа и Парижский мир 1856 года... нанесли жесточайший удар всей политической концепции Тютчева».

С этим невозможно согласиться. Во-первых, Тютчев, как ясно из только что приведенных его слов, сам сознавал иллюзорность тех или иных своих «мечтаний». Вообще в его мироощущении, как и в любом сложном живом организме, не было однозначной прямолинейности. Но главное даже в другом.

Поэт пережил Крымскую войну мучительно и поистине трагически. Когда она уже близилась к концу, он писал о невыносимости «этой ужасной бессмыслицы, ужасной и шутовской вместе, этого заставляющего то смеяться, то скрежетать зубами противоречия между людьми и делом, между тем, что есть и что должно бы быть...». Крайне тяжело воспринял поэт поражения русской армии и в особенности падение Севастополя. Несмотря на ясное предвидение всего хода событий, он все же пережил, по его собственным словам, «подавляющее и ошеломляющее впечатление севастопольской катастрофы».

И все же Тютчев ни в коей мере не был сломлен. Он только избавился от многих иллюзий и потому вернее и глубже видел теперь лик России, что выразилось и в его поэзии середины пятидесятых годов. И у него не было сомнений в величии судеб родины.

Семнадцатого сентября 1855 года, уже после падения Севастополя, он писал: «Наш ум, наш бедный человеческий ум, захлебывается и тонет в потоках крови, по-видимому, — по крайней мере так кажется, — столь бесполезно пролитой... Никогда еще, быть может, не происходило ничего подобного в истории мира: держава, великая как мир, имеющая так мало средств защиты и лишенная всякой надежды...

Возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями. Что же касается конечного исхода борьбы в пользу России, то, мне кажется, он сомнителен менее, чем когда-либо».

В последующие годы Тютчев предпринял многообразные усилия, направленные к тому, чтобы так или иначе состоялось это «возвращение на верный путь».

Глава девятая

ПОЭЗИЯ, ЛЮБОВЬ, ПОЛИТИКА

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!..

Петербург, 1850

Поэзия и любовь — это понятно, но при чем тут политика? Так могут подумать многие. Однако для Тютчева — и в этом он в самом деле принадлежит к очень немногим (другой величайший русский писатель такого же склада — Достоевский) — политика естественно врастала в наиболее захватывающую и сокровенную глубь переживаний. Так было уже хотя бы потому, что поэт видел в любом существенном политическом событии новое, современное, сегодняшнее звено Истории во всем ее размахе.

До нас дошла замечательная тютчевская фотография начала 1850-х годов. Перед нами лицо, или, пожалуй, уместнее будет сказать, лик поэта-мыслителя, покоряющий зримо запечатленной на нем глубиной и высотой духа. Вместе с тем перед нами прекрасное, исполненное спокойной силы лицо мужчины, мужа в жизненном расцвете (хотя Тютчеву было уже около пятидесяти лет); вглядываясь в него, понимаешь, сколь естественна была вспыхнувшая незадолго до того беспредельная любовь Елены Денисьевой к этому, бывшему в два раза ее старше, человеку. Все более ранние изображения Тютчева явно уступают данной фотографии даже и с точки зрения того, что называется мужской красотой.

Но вглядимся в одну деталь портрета, которую трудно заметить сразу, ибо лицо властно притягивает к себе все внимание. В правой руке поэта — газета, от которой он явно только что поднял глаза. Известны стихи Марины Цветаевой, саркастически клеймящие «читателей газет» вообще; поэтесса упустила, что такие люди, как Тютчев или Достоевский, поистине не могли жить без газет, ибо должны были повседневно слушать бьющийся в них живой пульс мировой истории. И, как мы увидим, политика (и в том числе газеты как таковые) неотделима и от поэзии Тютчева, и даже от самой его любви...

Уже говорилось, что в 1849 году, после окончательного возвращения поэта на родину, наступил новый расцвет его творчества. В течение предшествующих десяти лет он почти ничего не написал, и вот для него словно началась вторая молодость. Более того, в 1849—1852 годах его творческое на-

пряжение, пожалуй, было более значительным, чем в конце двадцатых — начале тридцатых. К тому же новый период в развитии поэта коренным образом отличался от прежнего.

Отличие это — очень сложное и многозначное, но нельзя не охарактеризовать его здесь хотя бы в самых основных чертах, ибо в нем воплотилось целостное развитие Тютчева как человека, мыслителя, гражданина.

Если попытаться сказать о различии ранней и поздней поэзии Тютчева наиболее кратко, можно сформулировать ее суть так: раннее творчество поэта проникнуто мировым, космическим, вселенским духом, а в поздний период на первый план выходят стихии человечности и народности (хотя в то же время тютчевская поэзия вовсе не утрачивает своей всемирности).

В порядке первого приближения к сути дела такое разграничение уместно. Оно, это разграничение, может быть отчетливо подтверждено тютчевским стихотворением, написанным 28 июля 1852 года и обращенным к Елене Денисьевой:

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.
Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен...

Строфы эти явно перекликаются с целым рядом стихотворений конца двадцатых — тридцатых годов, утверждавших всецело одухотворенное бытие Природы, — «Весенняя гроза», «Снежные горы», «Успокоение», «Полдень», «Над виноградными холмами...», «Летний вечер», «Нет, моего к тебе пристрастья...», «Весна» и др. Выше шла речь о своего рода полемическом гимне — «Не то, что мните вы...», где о природе сказано:

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Самый смысл человеческого бытия поэт в императивной форме определял так (стихи 1839 года):

...ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

Казалось бы, в стихотворении «Сияет солнце...», написанном через тринадцать лет, опять-таки воспет «сей животворный океан» — «цветущий мир природы», упоенный «избытком жизни». Однако третья, последняя строфа говорит совсем иное:

Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей...

Оказывается, одна умиленная улыбка одного человека перевешивает весь этот «цветущий мир природы», в котором — «на всем улыбка»... Стихотворение словно прямо противопоставлено одному из самых основных мотивов раннего творчества поэта.

Можно бы предположить, что столь кардинальное преобразование в сфере ценностей определила последняя любовь поэта, ибо стихотворение — о ней. Но это не так. Глубокий переворот в творчестве Тютчева совершился несколько раньше. В свете всего позднего творчества поэта начало этого переворота можно увидеть уже в стихотворении об Овстуге — «Итак, опять увиделся я с вами...», о котором мы подробно говорили. Смысл стихотворения еще двойствен; восклицая:

Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем —
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной, —

поэт утверждает тот «великий праздник» как ценность, которой вроде бы нечего противопоставить. И все же в движении, в самой мелодике стиха таится неотвратимое вопрошание — а как же быть с «краем безлюдным»?

Стихотворение было создано 13 июня 1849 года в Овстуге — на седьмой день после приезда в родную усадьбу. Тютчев в то лето долго не мог расстаться с Овстугом, что было для него необычно. Многое раскрывает письмо Эрнестины Федоровны брату, написанное в Овстуге через месяц, 13 июля: «Мы находимся здесь с 7/19 июня и в полной мере наслаждаемся жизнью среди полей и лесов... Ничто не мешает нам чувствовать себя обитателями некой печальной планеты, которая вам, прочим обитателям Земли, неизвестна. И самое невероятное, что вот уже пять недель мой несчастный муж прозябает на этой мирной и тусклой планете, — это он-то, столь страстный любитель

газет, новостей и треволнений! Что Вы думаете об этой аномалии?»

Трудно переоценить значение тогдашнего пребывания в Овстуге для духовной жизни поэта. Именно там, по-видимому, он написал стихотворение «Русской женщине», названное при первой его, анонимной, публикации (апрель 1850 года) «Моей землячке». Стихотворение это нередко толкуется только как своего рода «разоблачение»; но надо все же вслушаться в высшую, несказанную красоту поэтического слова и ритма, особенно во второй строфе:

Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои...

И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле.

Первая строфа говорит о том, что не будет «великого праздника» с его солнцем, пышной природой, светским блеском, искусством, цветущей жизнью и любовью... Но во второй строфе — о жизни, которая пройдет незрима в краю безлюдном, — уже отчетливо проступает иное начало, нашедшее свое полное воплощение позднее, в тютчевском стихотворении 1861 года, в сущности, заново претворяющем ту же поэтическую тему, но раскрывающем ее уже как подлинное средоточие высшей ценности:

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года,
Как перед утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в небе голубом...

И все еще была она
Той свежей прелести полна,
Той дорассветной темноты,
Когда незрима, неслышна
Роса ложится на цветы...

Вся жизнь ее тогда была
Так совершенна, так цела
И так среде земной чужда,
Что, мнится, и она ушла
И скрылась в небе, как звезда.

(Ср.: «И жизнь твоя пройдет незрима... Как исчезает облак дыма...»; только «облак» претворился теперь в утреннюю звезду.)

В стихотворении «Сияет солнце, воды блещут...» уже было дано противопоставление великому празднику природы, который «избытком жизни упоен»:

Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья...

Иерархия ценностей принципиально изменилась; в мире есть, оказывается, нечто безусловно высшее, чем *праздник*...

Тютчевская поэзия тридцатых годов вся была, если угодно, праздничка — праздничка и в ее самых драматических, даже трагедийных проявлениях:

Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..

Раннее творчество поэта утверждает это праздничное величие человека, открыто соотнесенного с целой Вселенной:

По высям творенья, как бог, я шагал...

И легко может показаться, что в поздней тютчевской поэзии человек решительно сведен с этих высей. Он предстает в ней как явно не всесильный, как заведомо смертный. И столь же легко прийти к выводу, что жизнь-де сломила поэта и он, мол, уже неспособен причаститься «животворному океану» Вселенной, не может гордо и радостно возгласить:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Так говорил поэт около 1830 года. Через двадцать лет, в 1850 году, он создает одно из величайших своих — и общечеловеческих — творений — «Два голоса»:

I

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно.
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

Поэт как бы прямо возражает самому себе; оказывается, человеку и невозможно, и незачем идти на пир к олимпийцам. Тем более что о том же самом говорит не только первый, но и второй «голос» стихотворения:

II

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба...

Но прежде чем вслушаться в последнюю строфу, вернемся к стихотворению «Цицерон» («Счастлив, кто посетил сей мир...»). Что оно воспело? Оно утверждало великий «праздник» человека, *призванного* самими олимпийцами на пир, ставшего зрителем их высоких зрелищ, *допущенного* в *их* совет и даже, как небожитель, пившего бессмертие из *их* чаши.

В последней строфе стихотворения 1850 года все проникновенно преображено: теперь как раз олимпийцы становятся *зрителями,* а человек, никем не призванный и не допущенный, сам по себе (а не играя чужую роль, — «как небожитель») пьет роковую, жестокую, но свою чашу и «вырывает», а не получает в виде поощрения венец победы:

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец,
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Много позже поэт в стихотворении на смерть Елены Денисьевой увидит в судьбе этой женщины то же самое величие и скажет о своей «муке вспоминанья»:

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить...

Это, разумеется, вовсе не значит, что стихотворение «Два голоса» перечеркнуло, отменило раннее — «Счастлив, кто посетил сей мир...»; в конце концов можно бы утверждать, что есть *два* Тютчева. (Второй начался в стихах 1849 года «Итак, опять увиделся я с вами...», где поэт не столько отверг Овстуг, сколько простился с «великим праздником молодости чудной...».) И оба Тютчева по-своему прекрасны.

Первый из них — поэт цветущей молодости, которая чувствует себя призванной на пир богов и верит в свое бессмертие. В ранней тютчевской поэзии в самом деле почти отсутствует тема смерти, есть лишь мотив растворения в бессмертном мире природы, слияния с «беспредельным», смешения с «миром дремлющим».

Но в глазах зрелости — той подлинной, высочайшей человеческой зрелости, которая предстает в поздней поэзии Тютчева, — эта молодая вера показалась бы своего рода похмельем на чужом пиру. В стихотворении «Два голоса», если вдуматься, утверждено несравненно более высокое самосознание. Ведь в стихах «Счастлив, кто посетил сей мир...» человек — только «допущенный» на совет богов, которые милостиво позволяют ему пить из их чаши. Между тем в стихотворении «Два голоса» человек по-своему равен олимпийцам; более того, они, счастливцы, блаженствующие в своем бессмертии, глядят «завистливым оком» на борьбу смертных, но непреклонных сердец.

Жених, самозабвенно венчающийся с целым миром, и *муж* (оба «голоса» начинают именно словом *«мужайтесь»*), с ясным и полным сознанием *«конца»* ведущий свой жестокий бой, — таковы два лика, предстающих перед нами в ранней и поздней поэзии Тютчева. Поэзия праздника и поэзия человеческого *подвига...*

Но вернемся к стихотворению «Русской женщине», где тема человека сливается с темой родины. Оно находится в ряду характернейших поздних стихотворений — «Итак, опять увиделся я с вами...», «Тихой ночью, поздним летом...», «Слезы людские...», «Кончен пир, умолкли хоры...», «Святая ночь на небосклон взошла...», «Пошли, Господь, свою отраду...», «Не рассуждай, не хлопочи!..» и т. п. — вплоть до созданного в 1855 году, накануне падения Севастополя, несравненного по своему духовно-историческому значению «Эти бедные селенья...» — стихотворения, которым равно восторгались столь разные люди, как Достоевский и Чернышевский.

Все названные стихотворения так или иначе проникнуты стремлением понять,

> Что сквозит и тайно светит
> В наготе своей смиренной...

Это относится ко всему на родине, начиная с ландшафта, с пейзажа. Правда, еще будут отдельные наплывы ушедшего, казалось бы, в прошлое восприятия. В 1859 году, по дороге из Южной Европы в Россию, поэт создаст диптих

«На возвратном пути», где противопоставит «чудный вид и чудный край» Швейцарии «безлюдному краю» (опять это определение!) родины, где уже не верится,

> Что есть края, где радужные горы
> В лазурные глядятся озера.

Но еще через несколько лет Тютчев напишет дочери Дарье, находившейся тогда в Швейцарии: «Я обращался к воспоминаниям и силой воображения старался, насколько это возможно, разделить твои восторги от окружающих тебя несравненных красот природы... Все это великолепие... кажется мне слишком ярким, слишком кричащим, и пейзажи, которые были у меня перед глазами, пусть скромные и непритязательные, были мне более по душе».

К этому времени Тютчев уже создал многие свои проникновенные русские «пейзажи» — «Тихой ночью, поздним летом...», «Обвеян вещею дремотой...», «Первый лист», «Не остывшая от зною...», «Как весел грохот летних бурь...», «Чародейкою зимою...», «Лето 1854», «Есть в осени первоначальной...», «Смотри, как роща зеленеет...», «Осенней позднею порою...», «Декабрьское утро» — «пейзажи», которые и невозможно было бы создать без пережитого поэтом духовного переворота.

То, о чем столь определенно сказано в письме дочери, созрело в творческом сознании поэта много раньше. Еще 25 февраля 1853 года он писал о родных — орловско-брянских — местах, что «прекрасное... интимная поэзия природы... не выступает явно... в наших краях, с их грустной и неяркой красотой».

Но дело отнюдь не только в «пейзаже». Для Тютчева все подлинное бытие России вообще совершалось как бы на глубине, не доступной поверхностному взгляду. Истинный смысл этого бытия и его высшие ценности не могли — уже хотя бы из-за своего беспредельного духовного размаха — обрести предметное, очевидное для всех воплощение.

Вскоре после своего окончательного приезда в Россию, 1 октября 1844 года, Тютчев говорил Вяземскому, что «по возвращении его из-за границы более всего поражает его: отсутствие России в России». Это на первый взгляд странное утверждение глубоко содержательно. «За границей, — сказал тогда Тютчев, — всякий серьезный спор, политические дебаты и вопросы о будущем неминуемо приводят к вопросу о России. О ней говорят беспрестанно, ее видят всюду. Приехав в Россию, вы ее больше не видите. Она совершенно исчезает из кругозора» (вскоре поэт скажет в стихах — и будет не раз повторять — о «крае безлюдном»).

Мысль эта уже не покинет Тютчева. 5 декабря 1870 года он напишет: «Пора бы наконец понять, что в России всерьез можно принимать только самое Россию», то есть целостную суть ее бытия, а не какие-либо внешние проявления этого бытия.

Тютчев не был одинок в этом ви́дении родины. Другой величайший художник того же поколения, Гоголь, писал в 1841 году в Италии: «Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными, высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные дерева и плющи, вросшие в домы... Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора».

И сразу же после этих слов (явно перекликающихся с тютчевским «Эти бедные селенья, эта скудная природа») Гоголь говорит, в сущности, о том же, о чем сказано тютчевским «сквозит и тайно светит»:

«Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?.. Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце?.. Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца?.. У! какая сверкающая, чудная, незнакомая* земле даль! Русь!..»

В тютчевских стихах, как мы видели, не раз возникают своего рода ключевые слова — «незрима» и «край безлюдный». Они, конечно, имеют в виду сопоставление с Западом, смысл бытия которого всецело воплощен предметно — в разнообразных вещах и явлениях, ярких эффектных событиях и, разумеется, в самих людях, вернее, в многолюдье, притом опять-таки ярком и четко оформленном.

В тютчевских стихотворениях, созданных в Германии, при всей их лирической углубленности, которая как бы не оставляет места для предметных образов, так или иначе запечатлено это праздничное «многолюдье»:

Еще шумел веселый день,
Толпами улица блистала...

В толпе людей, в нескромном шуме дня...

Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет...

---

* Ср. тютчевское «на незамеченной земле».

А в уже упомянутом двучастном стихотворении «На возвратном пути» поэт говорит о «родном ландшафте»:

Месяц встал — и из тумана
Осветил безлюдный край...
. . . .
Все голо так — и пусто-необъятно
. . . .
Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья...

Русское бытие представало как не обладающее красочной пластичностью, не имеющее законченных, чеканных форм. Оно представало скорее как стихия, некое излучение, *свечение,* нежели как предметная реальность, «вещество». И эту стихию надо было словно схватывать на лету.

Имеет смысл отметить здесь, что тютчевское поэтическое освоение России во многом противоречило художественной программе славянофильства. Все русское искусство слова не удовлетворяло славянофилов 1840—1850-х годов, поскольку они не находили в нем ясных, предметных, пластических образов национального бытия в его положительной, в пределе — прекрасной, идеальной — сущности. С этой точки зрения славянофилы, между прочим, не раз указывали на искусство стран Запада, которые создали богатейшую галерею таких предметных образов. Русское же искусство, утверждали славянофилы, в силу своей печальной оторванности (начавшейся в эпоху Петра) от народно-национальных начал, пока, так сказать, не научилось воплощать самобытное содержание русской жизни. И тютчевский образ России долго представлялся славянофилам слишком расплывчатым и малосущественным. Между тем для постижения глубочайшего смысла русского бытия необходимо было не четкое предметное воплощение, но своего рода прозрение.

В высшей степени характерно, что многие стихотворения Тютчева о России созданы в дороге (или, как он сам нередко помечал в автографах, — «дорогой»), то есть не на основе долгого и последовательного вчувствования и размышления, но в результате мгновенного, даже как бы неожиданного откровения. Так, по дороге из Москвы в Овстуг, 13 августа 1855 года, было написано великое стихотворение «Эти бедные селенья...». Через два года (22 августа 1857-го), «в коляске на третий день нашего путешествия» из Овстуга в Москву — по записи дочери поэта Марии — он создал «Есть в осени первоначальной...».

Вообще с полной достоверностью известно, что более двух десятков значительнейших поздних тютчевских стихотворений создано в дороге, и есть все основания полагать,

что на самом деле их было гораздо больше (об обстоятельствах создания подавляющей части стихотворений поэта мы ничего не знаем).

Уже говорилось, что творчество было для Тютчева не столько самовыражением, сколько актом бытия, своего рода преодолением, разрешением той или иной реальной жизненной ситуации. И творчество как особое самостоятельное дело, которым занимаются, специально выбрав время, в рабочем кабинете, вовсе не характерно для поэта. И тот факт, что многие стихи написаны в дороге, — лишнее свидетельство в пользу этого.

Творчество предстает в этом случае не как осуществление заранее намеченного замысла, но как прямое продолжение жизни в поэтическом слове. И такие стихи, не переставая быть созданиями искусства, в то же время являют собой, в сущности, вполне реальные события жизни поэта (а не позднейшие воспроизведения этих событий).

Нельзя не заметить, что поэтическое открытие России, воплощенное в тютчевских стихотворениях самого конца 1840—1850-х годов, явно связано с его частыми в то время поездками в Овстуг. Он хоть ненадолго приезжал в Овстуг в 1849, 1852, 1853, 1855 и 1857 годах. И чуть ли не каждая поездка порождала стихотворения о родине.

Нельзя не сказать о том, что новый расцвет тютчевского творчества начался именно тогда, когда в русской литературе в целом начиналась новая — после пушкинской — поэтическая эпоха. Уже шла речь о том, что к середине 1830-х годов поэзия всецело отошла на второй план литературы, уступив место прозе и публицистике; это ясно выразилось даже и в деятельности самого Пушкина в последние годы его жизни.

И вот в январском номере «Современника» за 1850 год Некрасов в полном смысле слова воскрешает Тютчева, не без недоумения отметив, что в тридцатые годы «ни один журнал не обратил на него ни малейшего внимания».

Статья Некрасова, по сути дела, провозгласила начало новой поэтической эпохи, или, вернее, предчувствие этого начала. Между тем Некрасов, без сомнения, не имел никакого представления о том, что как раз в предыдущем, 1849 году Тютчев после десятилетнего перерыва переживает новый творческий расцвет. Перед нами лишнее доказательство того, что развитие поэзии (в данном случае русской поэзии), казалось бы, не подчиняющееся каким-либо законам, на

самом деле обладает единой внутренней устремленностью, в силу которой Тютчев, ничего не зная о замысле некрасовской статьи, как бы подтверждал ее своей творческой деятельностью.

Но еще более замечательным был тот факт, что Некрасов словно угадывал и новую направленность тютчевского творчества. В его статье, пожалуй, наиболее высоко было оценено созданное в 1830 году в России стихотворение Тютчева «Осенний вечер» («Есть в светлости осенних вечеров...»), которое было разобрано выше, — стихотворение, явно предвосхищавшее позднее творчество поэта:

...Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

Столь же выразительна и другая черта некрасовской статьи: в ней были оценены как «сравнительно слабейшие» такие наиболее «космические» по своему духу стихи молодого Тютчева, как «Сон на море» и «День и ночь».

Некрасов не перепечатал ни названные, ни стихотворение «Цицерон» (с его «Счастлив, кто посетил сей мир...»).

Некрасов словно бы знал, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших появлению его статьи, Тютчев создал совсем иные стихи — «Тихой ночью, поздним летом...», «Слезы людские, о слезы людские...», «Русской женщине», а в последующие месяцы напишет «Пошли, Господь, свою отраду...», «Обвеян вещею дремотой...», «Два голоса» и т. п.

Обратившись к поэзии Тютчева, Некрасов проявил, таким образом, удивительную чуткость, ибо вскоре стали публиковаться новые тютчевские стихи, оказавшие прямое и глубокое воздействие на творчество самого Некрасова (не будем забывать, что в 1850 году он, как поэт, еще находился в процессе становления, и первая некрасовская книга — не считая сожженного им в 1840 году юношеского сборника «Мечты и звуки» — вышла лишь в 1856 году). Громадное вдохновляющее значение имели для Некрасова и тютчевские стихи, так или иначе связанные с темой России, и его интимная лирика.

Подчас Некрасов совершенно явно развивает тютчевские мотивы, — как, скажем, в этом своем знаменитом стихотворении 1857 года:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России, —
Там вековая тишина...

Некрасовская статья решительно изменила отношение к тютчевской поэзии, между прочим, и в среде славянофилов. В течение 1850—1852 годов было опубликовано около тридцати стихотворений поэта (большинство — в журнале «Москвитянин»); вспомним, что в 1842—1849 годах не появилось ни одного стихотворения Тютчева.

Литератор Николай Сушков, муж сестры Тютчева Дарьи, решил, как бы исполняя пожелание, высказанное в некрасовской статье, издать книгу поэта. Но он не смог довести дело до конца; нужна была, очевидно, более действенная и серьезная воля. Книгу издал сам Некрасов, хотя ее подготовку к печати осуществил главным образом его тогдашний ближайший друг Иван Тургенев, который явился своего рода посредником между Некрасовым и Тютчевым.

Тютчев к тому времени уже хорошо знал и высоко ценил творчество Тургенева. Еще в ноябре 1849 года он участвовал в литературном вечере у Владимира Одоевского, вечере, на котором сам Щепкин превосходно прочитал тургеневскую драму «Нахлебник» (автор в то время жил за границей). Тютчев увидел в драме «захватывающую и подлинно трагическую правду». В 1852 году вышли в свет «Записки охотника», которые поэт воспринял с еще большим восхищением. После этого знакомство Тютчева с Тургеневым, состоявшееся, по-видимому, в 1850 или 1851 году, перешло в тесные дружеские отношения (которые, правда, осложнились позднее, после появления тургеневского романа «Дым» в 1867 году).

Поэзию же Некрасова Тютчев, естественно, узнал позже. Нам неизвестно, знакомился ли он с первой его книгой 1856 года, но следующее, более полное издание стихотворений и поэм Некрасова, вышедшее в конце 1861 года, Тютчев, надо думать, оценил по заслугам. Его дочь Мария записала в своем дневнике 14 марта 1862 года: «Папа читал мне вслух стихи Некрасова».

Между тем в начале пятидесятых годов Тютчев наверняка воспринимал Некрасова только как издателя журнала «Современник», выразившего преклонение перед стихами никому не ведомого «Ф. Т-ва». Весь душевный строй Тютчева — особенно в поздние его годы — препятствовал тому, чтобы вступить в какие-либо прямые отношения с Некрасовым. Афанасий Фет свидетельствовал, что Тютчев «тщательно избегал не только разговоров, но даже намеков на его стихотворную деятельность». Между тем общение с Некрасовым, «воскресившим» тютчевскую поэзию, неизбежно означало бы именно такой разговор. Не надо забывать, что не-

красовская статья была вообще первой статьей о поэзии Тютчева и сразу же ставила ее в один ряд с пушкинской.

К счастью, нашелся удачный посредник — Тургенев, с которым Тютчев, несомненно, гораздо больше говорил о «Записках охотника», чем о своих собственных стихотворениях. И, как вспоминал Фет, «Тургеневу стоило большого труда выпросить у Тютчева тетрадку его стихотворений для “Современника”...», то есть для издателя этого журнала — Некрасова. Тургенев сам признавался, что он «заставил» Тютчева согласиться на это издание его стихотворений.

Книга поэта вышла бы, по всей вероятности, намного раньше, если бы Тургенев за «крамольный» некролог о Гоголе не был сослан в мае 1852 года в свое имение Спасское-Лутовиново. Он вернулся в Петербург лишь 9 декабря следующего года, сразу же сблизился с Тютчевым и начал свои уговоры.

И в февральском номере «Современника» за 1854 год Некрасов со сдержанной гордостью писал в помещенном на отдельном листе журнала объявлении: «Несколько лет тому назад редакция “Современника” имела случай заметить, что автор стихотворений, которые помещал Пушкин в своем “Современнике”... принадлежит несомненно к замечательнейшим русским поэтам, и изъявляла сожаление, что произведения его не собраны и не изданы в одной книге... Теперь нам приятно уведомить читателей, что автор (Федор Иванович Тютчев) предоставил нам право напечатать все его стихотворения, как прежде напечатанные, так и новые, что мы и исполним в следующей книжке “Современника”... Мы поместим их в начале III книжки “Современника” с отдельной нумерацией, заглавным листом и оглавлением, чтобы желающие могли переплести стихотворения Ф. Тютчева в отдельную книгу...»

Мартовский номер «Современника» открывался «сборником» из девяноста двух тютчевских стихотворений, который многие подписчики в самом деле переплели как книгу. В апрельском номере журнала появились еще девятнадцать стихотворений поэта. А еще через два месяца, убедившись в серьезном успехе тютчевской поэзии, Некрасов издал уже «настоящую» книгу — «Стихотворения Ф. Тютчева. Санкт-Петербург, 1854».

Таким образом, Некрасов осуществил то дело, которое начал, но не смог завершить Пушкин семнадцать с лишним лет назад (большую роль в подготовке издания сыграл и Тургенев, но главная, исходная заслуга принадлежит, конечно, Некрасову).

Общий тираж журнала «Современник» достигал тогда около четырех тысяч экземпляров (подписчиков было три тысячи); не менее трех тысяч составлял, по-видимому, и тираж книги «Стихотворения Ф. Тютчева». Для тех времен это был по-своему «массовый» тираж; следует учитывать, что тогдашние семьи были гораздо больше нынешних (в среднем — десять человек), и семитысячный тираж попадал, таким образом, в руки семидесяти тысяч читателей.

Журнал, естественно, разошелся сразу; книга была целиком распродана к 1860 году. 5 марта Эрнестина Федоровна писала дочери поэта Дарье: «Я сейчас послала за экземпляром маленького сборника стихов папы — это последний, еще имеющийся в продаже».

А через два года Чернышевский в записке своему двоюродному брату А. Н. Пыпину из Петропавловской крепости, перечисляя книги, которые ему хотелось бы иметь при себе, уже напишет: «Тютчев (если можно достать)...»

В книге — вернее, в вышедших одна за другой двух книгах Тютчева — были достаточно полно представлены и его стихи конца 1820—1830-х годов (их было более шестидесяти), и новые, созданные в 1849—1853 годах произведения (около пятидесяти). И книга эта не только сделала наконец тютчевскую поэзию реальным, осязаемым явлением литературы, но и сыграла громадную, не могущую быть переоцененной роль в дальнейшем развитии русской литературы в целом.

Речь идет не о внешнем, очевидном успехе книги; он был не так уж громок и длителен. Правда, книга (считая и ее журнальный вариант) вызвала около двадцати печатных откликов, среди которых были и отрицательные, что, впрочем, как бы необходимо для успеха, всегда подразумевающего полемический накал. Книга постоянно возникала в разговорах и письмах многих современников, следивших за литературой. На некоторое время Тютчев стал в прямом смысле слова «знаменитостью». Писемский, живший тогда в глухой провинции, в Чухломском уезде Костромской губернии, писал, что критика «кричит в пользу» Тютчева, — такое создавалось в тот момент впечатление. Через много лет Лев Толстой, вспоминая о том, как поэт навестил его в конце 1855-го — начале 1856 года, отметил: «Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне».

Здесь точно сказано — «тогда знаменитый», ибо Тютчев был в центре внимания всего лишь несколько лет, до начала шестидесятых годов; потом его, как свидетельствовал тот

же Толстой, «вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел...».

Но если иметь в виду не внешнее, шумное признание, не «популярность», тютчевская поэзия вовсе не была забыта. И об этом ясно говорит уже хотя бы отношение к ней самого Толстого, который на протяжении всей своей жизни в различных выражениях повторял мысль о том, что «без Тютчева нельзя жить».

Глубокое — подчас почти не заметное на поверхности — воздействие тютчевской поэзии было исключительно мощным и многосторонним.

Прежде всего книга Тютчева, вышедшая в 1854 году, в полном смысле слова открыла новую поэтическую эпоху. Здесь, в жизнеописании поэта, невозможно подробно рассматривать сложные историко-литературные проблемы, связанные с этой эпохой*. Наметим лишь основные моменты.

Во-первых, книга Тютчева оказала вдохновляющее воздействие на творчество целой группы поэтов старшего поколения, которых уместно назвать «тютчевской плеядой». Речь идет как о поэтах, вышедших из круга любомудров, — Хомякове и Шевыреве, так и о Федоре Глинке, Вяземском, Бенедиктове и др. Их книги — в большинстве случаев первые книги, хотя они начали свой путь давно, — вышли вслед за тютчевской, во второй половине 1850-х — начале 1860-х годов, и вместе с ней как бы представили своеобразную и очень ценную область в мире русской поэзии.

С другой стороны, книга Тютчева сыграла первостепенную роль в окончательном становлении поэтов младшего поколения, вступивших в литературу в столь неблагоприятные для поэзии сороковые годы, — Некрасова, Фета, Полонского, Алексея Толстого, Майкова и др.

Но главное даже не в этом. Воздействие тютчевской поэзии имело плодотворнейшее значение для развития русской литературы в целом и прежде всего — центрального ее жанра, достигшего высшего, всемирно значимого расцвета в конце 1850-х — начале 1880-х годов, — романа.

После явления «Евгения Онегина», «Героя нашего времени» и «Мертвых душ» надолго, почти на два десятилетия, развитие романа, по сути дела, прекратилось. В деятельности так называемой натуральной школы (1840-е годы) и писателей 1850-х годов господствующей формой были различные жанры очеркового — в том числе и «документального» —

---

* См. об этом: *Кожинов В.* Книга о русской лирической поэзии XIX века. М., 1978.

характера; слово «очерк» — вообще ключевое для литературы данного периода. Искусство слова в то время шло как бы исключительно вширь, стремясь всесторонне освоить социальную жизнь страны, проникнуть во все ее сферы и слои. И это было совершенно необходимо для дальнейшего развития отечественной культуры.

Центральными произведениями русской литературы в то время, когда вышла книга Тютчева, были произведения именно очеркового типа — «Записки охотника» Тургенева, кавказские и севастопольские «рассказы» (вернее, очерки) Толстого и его же хроника «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Очерки из крестьянского быта» Писемского, «Губернские очерки» Щедрина, «Семейная хроника» Сергея Аксакова, «Очерки народного быта» Николая Успенского и т. п. Это были, конечно, замечательные книги, но все же в литературе недоставало творений, основу которых составил бы целостный и монументальный поэтический образ мира, как это было в «Евгении Онегине» или «Мертвых душах».

Такие творения начинают создавать с конца 1850-х, а особенно — в 1860—1870-х годах Толстой, Достоевский, Тургенев, Гончаров, Лесков и др. И нет сомнения, что неоценимую роль в рождении их подлинно поэтического эпоса сыграла поэзия 1850-х годов, прежде всего творчество Тютчева, а также испытавшее его глубокое воздействие творчество Некрасова, Фета, Полонского. Если высказаться наиболее кратко и просто, величайшая эпоха русского и одновременно мирового романа как бы слила воедино открытия «очерковой» литературы 1840—1850-х годов и высокий творческий пафос новой поэтической эпохи, вдохновленной книгой Тютчева.

Толстой и Достоевский не раз говорили о том громадном значении, которое имела для них поэзия Тютчева и его младших сподвижников. Можно с полным основанием утверждать, что никого из своих литературных современников Толстой и Достоевский не ценили столь высоко, как Тютчева, отдавая также должное Некрасову, Фету, Полонскому.

Словом, появление книги Тютчева было поистине великим событием в отечественной литературе. Толстой вспоминал о своей, прошедшей под знаком острого, отчасти даже нарочитого скептицизма, молодости: «Когда-то Тургенев, Некрасов и К° едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато, когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта». Позднее Толстой скажет даже, что «Тютчев, как лирик, несравненно глубже Пушкина».

Между прочим, Достоевский, находившийся во время появления тютчевской книги в ссылке в Семипалатинске, встретил ее поначалу с еще большим сопротивлением, чем Толстой (которого «едва могли уговорить»). Книга дошла до него с запозданием, и 18 января 1856 года он написал Майкову: «Скажу Вам по секрету, по большому секрету: Тютчев очень замечателен; но... и т. д. Впрочем, многие из его стихов превосходны». По-видимому, Достоевскому издали, как и Писемскому в Чухломе, казалось, что о Тютчеве слишком «кричат», и это, в частности, рождало сопротивление. Но впоследствии Достоевский увидит в Тютчеве «первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушкина».

Сложными, глубинными путями книга Тютчева, как и наиболее значительные его стихотворения, появившиеся в последующие годы, вошла в плоть и кровь русской литературы, устремляя ее ввысь, побуждая ее к проникновенному и целостному ви́дению и воплощению человека и природы, России и мира.

Среди всех, кто был так или иначе причастен к тютчевской книге, едва ли не спокойнее и даже равнодушнее всех отнесся к ее выходу в свет... сам Тютчев. Нам неизвестно ни единое слово, сказанное им о своей книге...

Впрочем, 24 октября 1854 года, как раз в тот момент, когда в Крыму шел тяжелейший бой под Инкерманом, Тютчев написал строки, в которых, наверно, имел в виду и свою вышедшую за несколько месяцев до того книгу:

Теперь тебе не до стихов,
О слово, русское, родное!

Да, не будем забывать, что утверждение Тютчева в литературе совершалось накануне и во время Крымской войны, которой он, как мы видели, был весь поглощен. Нет сомнения, что в свете надвигающейся катастрофы интерес к своей книге представлялся Тютчеву чем-то «ребяческим»...

В 1847 году, в возрасте сорока четырех лет, поэт так выразил свое глубокое убеждение: «Я отжил свой век и... у меня ничего нет в настоящем». Но затем совершилось подлинное возрождение — жизнь словно начиналась заново: в 1849 году, после почти полного десятилетнего молчания, поэт вступает в новую и, пожалуй, наивысшую свою творческую пору; в 1850-м его захватывает едва ли не самая властная и глубокая в его жизни любовь.

И нет сомнения, что между тем и другим была органическая внутренняя связь, или, вернее, то и другое было выражением одного единого обновления души. Нельзя не заметить, что сами многочисленные стихи о последней любви всецело принадлежат (об этом уже шла речь) к новому периоду тютчевского творчества: они и не могли бы родиться без того духовного переворота, который со всей очевидностью выразился еще в стихах 1849 года.

По-видимому, далеко не случайно любовь поэта к Елене Денисьевой началась лишь на пятый год их знакомства, между тем как предшествующие его избранницы покоряли Тютчева чуть ли не при первой встрече. Он должен был увидеть, открыть в этой девушке нечто не доступное его взгляду ранее, должен был почувствовать то упоение «одной улыбкой умиленья», которое оказывается «сильней», чем весь упоенный «избытком жизни» «цветущий мир природы».

Если высказаться несколько прямолинейно, любовь к Елене Денисьевой была неразрывно связана с тем подлинным открытием родины, которое совершилось накануне начала этой любви в душе и поэзии Тютчева. Трижды поэт отдал свою любовь женщинам Германии — Амалии Лерхенфельд-Керферинг, Элеоноре Ботмер, Эрнестине Пфеффель (названы их девичьи фамилии).

Третья любовь была полной и проникновенной. И Тютчев в ней, если не бояться торжественных выражений, как бы всецело обручился с Европой. Но не менее существенно другое. Эрнестина Пфеффель, став Эрнестиной Федоровной Тютчевой и поселившись в России, не сделалась русской, даже не переменила своего — католического — вероисповедания, но она всей душой, всем существом поняла и приняла Россию, притом, в известной мере, еще и до своего приезда на родину мужа. Сумев оценить самобытность его гения, Эрнестина Федоровна смогла воспринять духовные ценности породившей Тютчева страны. Это может показаться странным, но именно Эрнестина Федоровна горячо настаивала на отъезде в Россию в 1844 году. Тютчев даже напоминал ей через десять лет: «Ты привела меня в эту страну» (то есть в Россию).

Строго говоря, это было преувеличением. Ведь еще за пять лет до возвращения на родину поэт сообщил отцу и матери, что «твердо решился... окончательно обосноваться в России. Нести* желает этого не менее, чем я. Мне надоело существование человека без родины». Ясно, что речь идет об

---

* Уменьшительное от Эрнестины.

обоюдном решении. Однако в тот момент, когда уже нужно было собираться в дорогу, Тютчев проявил нерешительность. Это вообще неотъемлемая черта его характера. Только едва ли верно истолковывать эту черту однозначно — как слабость духа. Да, Тютчеву всегда нелегко было сделать выбор, но, по всей вероятности, потому, что он с предельной остротой и полнотой понимал и чувствовал его ответственность. Ведь заведомо «нерешителен» и шекспировский Гамлет, но едва ли уместно говорить о слабости его духа...

Так или иначе, Эрнестина Федоровна сообщала брату 21 мая 1844 года, за три с половиной месяца до отъезда из Германии: «Путешествие в Россию продолжает оставаться темой наших интимных обсуждений и даже супружеских ссор. Тютчеву этого совсем не хочется, я же чувствую настоятельную необходимость этого и намерена путешествие это осуществить».

Правда, Эрнестина Федоровна не ведала еще, что переселяется в Россию навсегда. Через шесть лет она напишет брату: «Один Бог знает, решилась ли бы я предпринять это путешествие в Россию... если бы мне было дано предчувствовать, что оно приведет нас к месту окончательного нашего пребывания». Но теперь уже все для нее было давно решено, и она делает только одну оговорку: «Я собираюсь завоевать себе достаточную свободу, чтобы уезжать на несколько месяцев за границу... втроем: маленькая Мария, мой муж и я...»

Эрнестина Федоровна уезжала за границу, то есть на свою родину, не столь уж часто и, за редкими исключениями, ненадолго. Очень значительную часть своей жизни она провела в Овстуге, который глубоко полюбила.

К сожалению, ее многочисленные письма Тютчеву были сожжены ею самой после его смерти. Но и из почти пятисот сохранившихся тютчевских писем к ней (она сожгла около двухсот, написанных до их свадьбы) ясно, что Эрнестина Федоровна в полной мере разделяла представления поэта о России и Западе. Это вовсе не означало, кстати сказать, что она хоть в какой-либо мере «отреклась» от Европы, ибо отнюдь не отрекался от всех подлинных европейских ценностей и сам Тютчев.

В биографии поэта, написанной славянофилом Иваном Аксаковым, есть немало суждений, которые внушают мысль о том, что в поздние свои годы Тютчев так или иначе «отвернулся» от Европы ради России. Своеобразным доказательством обратного, пусть и не очень «научным», но достаточно весомым, является тот факт, что поэт до самого

своего конца всеми силами души любил и беспредельно ценил ту, которая, конечно, никогда не переставала быть — при всем своем принятии России — истинно европейской женщиной.

Через год с лишним после того, как началась его любовь к Елене Денисьевой, 21 августа 1851 года Тютчев писал Эрнестине Федоровне — и писал, как подтверждают все обстоятельства, с полнейшей искренностью: «Ах, насколько ты лучше меня, насколько выше! Сколько выдержанности, сколько серьезности в твоей любви — и каким мелким, каким жалким я чувствую себя сравнительно с тобою...»

...Но пора уже обратиться к этой труднейшей, даже мучительной для всякого, кто думает о ней серьезно, теме — теме двойной любви Тютчева. Всё обстояло именно так: поэт в самом деле в продолжение долгих лет испытывал подлинную любовь одновременно к двум женщинам.

При этом он постоянно страдал от острого чувства вины перед обеими. И не столько даже из-за своей «измены» и той и другой, сколько от сознания, что — в отличие от них обеих — не отдает себя каждой из них всецело, до конца. Это сознание запечатлено со всей силой и в целом ряде стихотворений, и в письмах поэта.

Но, пожалуй, самообвинение было не вполне справедливо. Многое говорит о том, что Тютчев любил обеих женщин поистине на пределе души. Возможность такой, конечно, очень редко встречающейся, ситуации объясняется отчасти тем, что Эрнестина Пфеффель и Елена Денисьева отличались друг от друга не меньше, чем Европа и Россия... И самое чувство любви поэта к каждой из них было глубоко различным.

В Эрнестине Федоровне поэта восхищали «выдержанность» и «серьезность»; между тем, говоря о Елене Денисьевой, как вспоминал муж ее сестры Георгиевский, Тютчев «рассказывал об ее страстном и увлекающемся характере и нередко ужасных его проявлениях, которые однако же не приводили его в ужас, а напротив, ему очень нравились как доказательство ее безграничной, хотя и безумной, к нему любви...».

Это заключение, по всей вероятности, справедливо. В минуту полной откровенности Тютчев говорил, что он несет в себе, как бы в самой крови, «это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви...».

Поэту ни в коей мере не была присуща жажда славы, почестей, власти, тем более богатства и т. п. Но то, что он на-

звал «жаждой любви», переполняло его душу, пронизывая ее и восторгом, и ужасом.

Через два года после женитьбы на Эрнестине Федоровне он должен был на несколько недель с ней расстаться; вскоре он написал ей (1 сентября 1841 года): «Мне решительно необходимо твое присутствие для того, чтобы я мог переносить самого себя. Когда я перестаю быть существом столь любимым, я превращаюсь в существо весьма жалкое».

А гораздо позднее, в сентябре 1874 года, Иван Аксаков рассказал в письме дочери поэта Екатерине, что ее отец не раз покаянно говорил о присущем ему «злоупотреблении человеческими привязанностями...».

Вся жизнь поэта ясно свидетельствует, что слово «злоупотребление» — это безжалостное самоосуждение. Можно сказать, что он испытывал беспредельное упоение той любовью, которую он вызывал, что он утопал в этой любви, словно теряя в ней самого себя и свою любовь. Ему казалось, что вызванная им любовь — ничем не заслуженный, поистине чудесный дар. Вот убеждение, которое Тютчев не раз высказывал в различной форме: «Я не знаю никого, кто был бы менее, чем я, достоин любви. Поэтому, когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня изумляло...»

Именно таковым, очевидно, было и начало его отношений с Еленой Денисьевой. Как свидетельствовал Георгиевский, поэт вызвал в ней «такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную любовь, что она охватила и все его существо, и он остался навсегда ее пленником».

Любовь Елены Денисьевой в самом деле являла собой нечто исключительное; Георгиевский буквально не мог подобрать слов для определения ее силы и глубины. Он писал, что Елена Александровна смогла «приковать к себе» поэта «своею вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною и готовою на все любовью... — таковою любовью, которая готова была и на всякого рода порывы и безумные крайности с совершенным попранием всякого рода светских приличий и общепринятых условий».

Стоит добавить, что и сам характер этой женщины был соединением «крайностей»; Георгиевский подчеркивает, в частности, что Елена Александровна, готовая на «попрание» всех «условий», в то же время была женщина «глубоко религиозная, вполне преданная и покорная дочь православной Церкви», — не забывая при этом отметить, что «глубокая религиозность Лели не оказала никакого влияния на Федора Ивановича».

О безмерной любви своей Лели поэт не раз говорил в стихах, сокрушаясь, что он, породивший такую любовь, не способен подняться до ее высоты и силы; вот его поразительные строки об этом:

Ты любишь искренно и пламенно, а я —
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.
И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою —
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.

Он вновь и вновь повторяет, что «не стоит» ее любви:

Пускай мое она созданье —
Но как я беден перед ней...
Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе...

Эти самообвинения справедливы в одном отношении: поэт не мог расстаться с Эрнестиной Федоровной и целиком отдать себя новой любви. Но едва ли можно усомниться в том, что он любил Елену Александровну по-своему так же безгранично, беспредельно, как и она его.

...Еще в первые годы своей любви поэт создал символический образ возлюбленной, образ «своенравной волны», которая полна «чудной жизни»:

Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод, —
Сладок мне твой тихий шепот,
Полный ласки и любви;
Внятен мне и буйный ропот,
Стоны вещие твои.
Будь же ты в стихии бурной
То угрюма, то светла,
Но в ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла...

Сбереги, ибо

...в минуту роковую,
Тайной прелестью влеком,
Душу, душу я живую
Схоронил на дне твоем.

Сколько бы ни обвинял себя поэт в недостаточной любви к Елене Александровне, он в самом деле отдал ей свою душу.

Но каким образом это утверждение согласить с тем, что Тютчев говорил — уже после начала своей последней любви — Эрнестине Федоровне: «Ты — самое лучшее из всего, что известно мне в мире»? Можно бы показать постоянство такого его отношения к ней — как к своего рода идеальному существу, в котором воплощено все «лучшее» и «высшее». Это выражается чуть ли не в каждом стихотворении, обращенном к Эрнестине Федоровне:

...Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!

Все, что сберечь мне удалось,
Надежды, веры и любви...

Совсем иной человеческий облик в стихотворениях, посвященных Елене Денисьевой, — хотя бы в только что цитированном — о своенравной волне. Здесь жизнь являет себя во всей своей противоречивой цельности, с ее светящимися взлетами и темными глубинами. И сами взаимоотношения любящих не имеют в себе ничего идиллического.

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
И съединенье, сочетанье,

(но так гласит предание, а реальность не сводится к этому)

И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...

Конечно, все тяжкое, мучительное, роковое в последней любви поэта связано с той раздвоенностью, которую он не в силах был преодолеть. И все же нельзя свести к этому смысл, вложенный поэтом в слово «поединок». Речь идет о любви, захватившей души двух людей до самого дна и как бы размывшей все границы между ними; «роковое слиянье» с неизбежностью ведет к «роковому поединку».

В 1858 году исполнилось двадцать лет со дня смерти первой жены Тютчева Элеоноры, и он написал стихи (о них уже шла речь), посвященные ее памяти. Они кончались строками о том, как

...Мило-благодатна,
Воздушна и светла
Душе моей стократно
Любовь твоя была.

Это стихотворение — может быть, без всякого намерения со стороны поэта — содержало своего рода противопоставле-

ние последней любви, которая никак не умещалась в рамках благодатности, воздушности и света. Но тем непобедимее была для Тютчева эта любовь, которая, как сказал он сам, была «всею моею жизнью». При этом необходимо только помнить, что жизнь поэта ни в коей мере не представляла собой замкнутое в себе частное существование. Все, что мы знаем о нем, ясно свидетельствует: он жил как бы перед целым миром во всей беспредельности его пространства и времени.

И жизнь, и смерть Елены Денисьевой были для поэта, если не бояться высоких слов, явлением мирового порядка. Это явствует уже хотя бы из того, что едва ли не самое всеобщее по смыслу стихотворение позднего Тютчева — «Два голоса» — имеет отчетливый отзвук в одном из стихотворений памяти Елены Денисьевой, написанном в марте 1865 года, стихотворении, молящем о том, чтобы не исчезла «мука вспоминанья», живая мука

По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца, в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе, —
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить...

Тот же вселенский размах в другом стихотворении:

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!

Ритмико-интонационное напряжение этих строк столь мощно, что оно, по-видимому, непосредственно отозвалось через полвека в строках преклонявшегося перед Тютчевым Александра Блока, строках, говорящих о русской стихии в целом (поэма «Скифы»):

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!

Именно такими масштабами уместно мерить ту любовь, которой посвящены тютчевские стихи о Елене Денисьевой.

Слова «свой подвиг совершившей» прозвучат еще раз в стихах поэта, созданных уже в самом конце жизни, в августе 1871 года. Здесь сказано о том, что природа «своей всепоглощающей и миротворной бездной» приветствует

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный...

Смысл тут уже иной; и в стихотворении «Два голоса», и в стихах о последней любви нет и намека на «бесполез-

ность» человеческого «подвига». Стихи Тютчева были звеньями его бытия, и вполне понятна, вполне естественна эта расслабленность, эта, если угодно, сдача, капитуляция в стихотворении, созданном всего за год с небольшим до начала предсмертной болезни, последнего упадка сил.

Сейчас важно обратить внимание на другое — на то, что «подвиг» на языке поэта всегда означал всечеловеческий подвиг перед лицом Космоса. И образ его возлюбленной потому, в частности, и принадлежит к величайшим образам мировой поэзии, что он предстает как явление целой Вселенной.

В ранних тютчевских стихах о любви это не выступает столь мощно и рельефно. Любовь там раскрывается, так сказать, *на фоне* мира; между тем в поздних стихах сама любовь являет собой *мировое* действо, вселенскую трагедию, нисколько не утрачивая в то же время неповторимые черты живой жизни:

...Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

В стихотворении 1839 года «Весна» поэт провозглашал как необходимость: «хотя на миг» быть причастным «жизни божеско-всемирной», жизни, образы которой переполняли тогда его стихи. В позднем творчестве поэта почти нет образов открыто космического плана; но, если внимательно вглядеться в их смысл, станет ясно, что их героиня (а вместе с ней, конечно, и сам лирический герой) не «на миг», а на всю жизнь причастна всеобщему бытию мира.

Это глубокое преобразование в поэтическом содержании даже не так легко понять. В ранней поэзии Тютчева человек может предстать «как бог», «как небожитель», хотя бы и «на миг». В поздней же тютчевской поэзии люди, способные на истинный «подвиг», оказываются глубоко причастными всемирному бытию именно как люди, в своей собственной сущности.

И нет сомнения, что «подвиг» своей возлюбленной поэт пережил именно как мировое событие. Этому не помешали ни многообразная житейская проза, терзавшая его любовь, ни охлаждающая сила времени; через четырнадцать лет всё было так же накалено, как и вначале.

Пятнадцатого июля 1865 года Тютчев написал:

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

Этот «блаженно-роковой день» был жив всегда — все долгие годы, хотя целая цепь трудных и даже тягостных обстоятельств омрачала и коверкала жизнь и души любящих, особенно Елены Александровны.

Как уже говорилось, в 1850 году она жила у своей тетки Анны Дмитриевны, инспектрисы Смольного института благородных девиц, который тщательно оберегал свою репутацию. Тайные свидания Елены Денисьевой с поэтом обнаружились уже в марте 1851 года, и Анна Дмитриевна была тут же удалена из института. Отец Елены, служивший исправником в Пензенской губернии, как раз в марте приехал в Петербург. В гневе он отрекся от дочери и запретил родственникам встречаться с нею.

Но тетка, воспитывавшая Елену еще с детских лет, когда она осталась без матери, любила ее как собственную дочь (Елена до конца своих дней звала тетку мамой). Получив «отставку» в Смольном, Анна Дмитриевна поселилась с племянницей на частной квартире.

Нам известны адреса Денисьевых, например, дом на тихой Кирочной улице (ныне ул. Салтыкова-Щедрина, 14), между Летним и Таврическим садами. Квартира располагалась, по-видимому, на втором этаже пристройки, находящейся во дворе. Прихожая разделяла ее на «половины» Елены Александровны и ее тетки. Перед смертью Елена Александровна с теткой жила в доме на углу Ивановской и Кабинетской улиц*.

Анна Дмитриевна Денисьева — женщина насквозь «светская» — с большим почтением относилась к Тютчеву, который все-таки был камергер, имевший определенный вес при дворе; позднее, когда поэт обрел дружбу с новым министром иностранных дел А. М. Горчаковым, Анна Дмитриевна питала к нему даже своего рода подобострастие. Поэтому, в частности, она ничем не препятствовала любви своей племянницы.

Достаточно шумный скандал нанес Елене Денисьевой, несмотря на всю ее безоглядность в любви, страшный удар. Очевидно, тогда же, в марте 1851 года, Тютчев написал:

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно устыдилась
И тайн и жертв, доступных ей...

---

* Ныне Социалистическая улица и улица Правды.

С еще большим драматизмом говорится об этом в стихотворении того же времени «О, как убийственно мы любим...», где, в сущности, предстает образ убитой, погубленной любви:

И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

Конечно, эта боль уже не могла исцелиться, но постепенно Елена Денисьева, с ее по-своему очень сильной натурой, сумела овладеть собою. В первом из цитированных только что стихотворений поэт взывал:

Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Безмерной пошлости людской!

И в какой-то мере она поднялась над этой «пошлостью».

Двадцатого мая 1851 года Елена Александровна родила дочь, названную Еленой. Это окончательно соединило возлюбленных нерасторжимой связью. Тютчев писал, по-видимому, еще до крещения дочери (поэтому она названа *безымянной,* что на языке поэта имело особенный смысл):

Когда, порой, так умиленно,
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,
Где спит она — твое рожденье —
Твой безымянный херувим, —
Пойми ж и ты мое смиренье
Пред сердцем любящим твоим.

Рождение ребенка вызвало новую коллизию: хотя Елена Александровна окрестила девочку как Тютчеву, это не имело ровно никакой законной силы. Дочь была обречена на печальную в те времена судьбу «незаконнорожденной». Но Елена Александровна, которая и себя называла Тютчевой, постоянно была обращена к истинному смыслу ее отношений с возлюбленным, видя в формальных преградах только роковое стечение обстоятельств. По воспоминаниям А. И. Георгиевского, она даже и через много лет, в 1862 году, говорила: «Мне нечего скрываться и нет необходимости ни от кого прятаться: я более всего ему жена, чем бывшие его жены, и никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я

его люблю и ценю, никогда никто его так не понимал, как я его понимаю, — всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякую его мину и складку на его лице, всякий его взгляд и усмешку; я вся живу его жизнью, я вся его, а он мой: “и будут два в плоть едину”, а я с ним и дух един... Ведь в этом и состоит брак, благословенный самим Богом, чтобы так любить друг друга, как я его люблю, и он меня, и быть одним существом... Разве не в этом полном единении между мужем и женою заключается вся сущность брака... и неужели Церковь могла бы отказать нашему браку в своем благословении? Прежний его брак уже расторгнут тем, что он вступил в новый брак со мной...»

Как свидетельствовал тот же Георгиевский, Елена Александровна была убеждена, что Тютчев не может вступить с ней в брак потому-де, что «он уже три раза женат, а четвертого брака Церковь почему-то не венчает, на основании какого-то канонического правила... Я обречена всю жизнь оставаться в этом жалком и фальшивом положении, от которого и самая смерть Эрнестины Федоровны не могла бы меня избавить, ибо четвертый брак Церковью не благословляется. Но так Богу угодно, и я смиряюсь перед Его святою волею, не без того, чтобы по временам горько оплакивать свою судьбу».

Трудно сказать, каким образом в сознании Елены Александровны сложилось это убеждение, не соответствовавшее действительности (включая и то, что Тютчев будто бы был женат не два, а три раза), но, по-видимому, оно хоть как-то примиряло ее с «жалким и фальшивым положением».

Насколько мы можем судить, Тютчев всегда стремился к тому, чтобы как можно больше времени не разлучаться с Еленой Александровной. Этому способствовало и то обстоятельство, что Эрнестина Федоровна с младшими детьми обычно большую часть года жила в Овстуге, куда Тютчев приезжал нередко, но ненадолго, зимние же месяцы жена иногда проводила за границей.

Известно даже, что Тютчев, когда он на более или менее длительный срок уезжал в Москву, брал с собой Елену Александровну. Наконец, уже в последние годы ее жизни они не раз вместе путешествовали по Европе, этими поездками она особенно дорожила, говоря, что во время них Тютчев был «в полном и нераздельном ее обладании». Возможно, именно этим объясняется, что поэт, явно не стремившийся за границу (после окончательного возвращения на родину в 1844 году он за первые полтора десятилетия собрался в Европу только два раза — в 1847 и 1853 годах, и то на очень короткое время), в 1859—1862 годах трижды отправлялся на

Запад и сравнительно надолго. Словом, жизнь поэта в 1850—1864 годах (особенно в первую и последнюю трети этого времени) была отдана прежде всего Елене Александровне.

Взаимоотношения Тютчева с Эрнестиной Федоровной в течение долгих периодов, по сути дела, целиком сводились к переписке. Так было, например, с весны 1851-го до осени 1854 года. Первые два года жена с детьми почти безвыездно жила в Овстуге, а в июне 1853 года уехала в Германию (Тютчев сопровождал ее, но уже в августе отправился обратно в Петербург); после возвращения в Россию в мае 1854 года она пробыла в Петербурге только три недели и снова до поздней осени поселилась в Овстуге.

Кстати сказать, вплоть до 1854 года у Тютчевых не было сколько-нибудь постоянного пристанища в Петербурге. Среди известных нам петербургских адресов семьи поэта в сороковых — начале пятидесятых годов гостиница «Кулон» (ныне, в сильно перестроенном виде, «Европейская», на углу площади Искусств), пансион на Английской набережной (ныне набережная Красного флота), дом дальнего родственника Тютчевых, полковника Сафонова, на Марсовом поле (дом 3), ненадолго приютившая семью осенью 1850 года квартира на Невском проспекте у Аничкова моста и т. д.

Стоит привести характерные строки из писем поэта Эрнестине Федоровне 22 марта 1853 года, накануне приезда семьи из Овстуга в Петербург, откуда вскоре жена на год уедет за границу. Тютчев пишет: «Ваша квартира готова. Она, к сожалению, не будет ни великолепна, ни элегантна, ни даже удобна. Это — квартира в нижнем этаже дома Сафонова, но она все-таки лучше той, которая находится в бельэтаже (как здесь говорят) и превращена в совершенную конюшню последними жильцами. Я сам, однако, поселюсь там, за положительной невозможностью найти угол внизу, с Вами. Но как бы то ни было, приезжайте».

По-видимому, дело не только в недостатке подходящих квартир; поэт стремился тогда жить отдельно от семьи, хотя и рядом.

После возвращения из-за границы, куда Тютчев, получивший в то время служебную командировку (о которой мы уже говорили), проводил Эрнестину Федоровну, он пишет (14 октября): «Приехав сюда, я пытался временно найти пристанище в нашем весеннем помещении в доме Сафонова. Но было уже поздно. Оба этажа были уже заняты, и наша мебель куда-то сложена. Пришлось мне опять искать приюта в гостинице Клее, и я поселился снова в тех двух комнатах 4-го этажа, которые занимал раньше за 12 рублей

в неделю» (за полгода до того, 18 февраля, Тютчев писал жене об этой гостинице: «Я сижу в комнате на 4-м этаже, перед широким и низким окном, выходящим во двор»).

Такое почти полное отсутствие налаженного быта продолжалось в течение первых десяти лет петербургской жизни поэта, что, конечно, многое говорит и о нем самом, и об атмосфере его тогдашнего существования. Не забудем, что в 1853 году Тютчеву исполнилось уже пятьдесят лет, и все же он живет в условиях этой — понятной и уместной разве лишь для поры юных скитаний — безбытности, неукорененности, даже бездомности.

Естественно предположить, что этот образ жизни был внутренне связан и с длившейся уже четвертый год любовью к Елене Денисьевой. Поэт как бы не стремился устраивать прочное семейное гнездо, которое противоречило бы этой любви. Правда, для Тютчева и вообще не характерна склонность к прочному бытовому устройству. Но именно в те годы, о которых идет речь, его безбытность дошла до предела. В январе 1853 года, когда поэт на три недели приехал в Овстуг, Эрнестина Федоровна написала оттуда своей падчерице Анне: «Не забудь... отложить достаточно денег для того, чтобы бедный папа мог немного приодеться по возвращении, он ужасно оборвался».

Тютчев прямо-таки пренебрегал тогда элементарными требованиями «приличий». Через год, в апреле 1854 года, его дочь Дарья сообщала сестре, что отец не заботится ни о чем, «даже о своей шевелюре, которая своим обилием и беспорядком до такой степени шокировала великую княгиню Елену, что она по этой причине воздержалась от приглашения его на свои праздничные приемы, о чем и объявила недавно на обеде, куда он был приглашен ею для того, чтобы она выразила ему свое восхищение его стихами». (Речь идет о супруге брата Николая I Михаила, Елене Павловне — высокообразованной и «либеральной» женщине, которая стремилась поддерживать отношения с крупнейшими деятелями культуры, начиная с Пушкина; стихи, которыми восхищается Елена Павловна, — это стихи, опубликованные в некрасовском «Современнике».)

...Но, естественно, встает вопрос о том, как воспринимала жена любовь мужа к другой. Существует мнение, что такого рода ситуации вообще не следует обсуждать публично, и в этом мнении, конечно, есть своя правда. Однако о последней любви поэта написано за последние семь десятилетий очень много, и умолчание обо всем с ней связанном уже никак не спасает положения. Лучше уж объективно разо-

браться в ситуации, чем попросту не обращать внимания на произвольные домыслы*.

Девятнадцатого августа 1855 года старшая дочь поэта Анна, которая тогда достаточно ясно представляла себе положение вещей, писала о своей мачехе: «Мама как раз та женщина, которая нужна папе, — любящая непоследовательно, слепо и долготерпеливо. Чтобы любить папу, зная его и понимая, нужно... быть святой, совершенно отрешенной от всего земного...»

Эрнестина Федоровна явила — в очень мучительных для нее жизненных условиях — редчайшее самообладание. Она, в частности, ни разу за все четырнадцать лет ничем не обнаружила, что знает о любви мужа к другой. Единственное, о чем она говорила в письмах Тютчеву, — что он разлюбил ее, и давала понять, что поэтому им следует расстаться.

Второго июня 1851 года он писал в ответ на письмо жены, отправленное из Овстуга: «Итак, любовь моя к тебе — лишь вопрос нервов, и ты говоришь мне этот вздор с выражением покорной убежденности...» Через четыре дня он продолжает: «Ты воображаешь, что привязанность моя к тебе не что иное, как недуг... *что если бы я утратил тебя, то едва улеглось бы первое горе, как борозда, оставленная памятью о тебе, спокойно затянулась бы*» (выделенные Тютчевым слова излагают суждения жены).

Выше говорилось, что в течение 1851—1854 годов отношения поэта с женой почти целиком сводились к переписке. Но это была поистине жизнь в письмах — жизнь, проникнутая высоким напряжением души, жизнь, полная мысли и чувства. За эти три с небольшим года поэт отправил жене более сотни писем, притом чаще всего пространных и насыщенных глубоким смыслом, хотя бы в их подтексте, в намеках и подразумеваниях. Эти письма — целая история жизненных отношений, то обостряющихся до крайности, то находящих пути к примирению.

Уже было сказано, что Эрнестина Федоровна не решалась или же не унижалась до разговоров о той, которая встала между ней и мужем. И здесь, по-видимому, проявлялись не только свойства ее духа, но и беспредельность ее любви.

В 1850 году ей исполнилось сорок лет, ею уже не владела та молодая сила страсти, которая запечатлена в обращен-

* Один из таких домыслов — безосновательная версия о существовании еще одной любовной связи поэта: речь идет о Гортензии Лапп, которая гораздо позднее, в 1900 году, будучи клинической сумасшедшей, написала Льву Толстому о своих будто бы близких отношениях с Тютчевым в 1847—1873 годах.

ных к ней тютчевских стихотворениях тридцатых годов. Но любовь ее все же была безгранична. Ее падчерица Дарья писала сестре Анне о том, как Эрнестина Федоровна встречала мужа на дороге из Рославля в Овстуг в августе 1855 года: «Дважды в день напрасно ходили на большую дорогу, такую безрадостную под серым небом... По какой-то интуиции она (Эрнестина Федоровна. — *В. К.*) велела запрячь маленькую коляску, погода прояснилась... и мы покатили по большой дороге... Каждое облако пыли казалось нам содержащим папу, но каждый раз было разочарование; то это было воловье стадо, то телега... Наконец, доехав до горы, которая в 7 верстах от нас... мама прыгает прямо в пыль... У нее было что-то вроде истерики... Если бы папа не приехал в Овстуг, мама была бы совсем несчастна».

К этому времени, по-видимому, сложилось примирение с невыносимой, казалось бы, ситуацией. Ведь за два года до того, когда Эрнестина Федоровна уехала в Германию и провела там целый год, она, вероятнее всего, склонялась к мысли о том, чтобы вообще не возвращаться. 29 сентября 1853 года Тютчев так отвечал на письмо жены: «Ты перестала, как ты утверждаешь, чему-либо верить и написала мне такие страшные слова, что ты для меня всего лишь старый гнилой зуб; когда его вырывают, больно, но через мгновение боль сменяется приятным ощущением пустоты...»

Тютчев, как и всегда в таких случаях, решительно возражал жене, отрицавшей его любовь к ней. И в этом выражалось трудно понимаемое, даже, пожалуй, пугающее раздвоение его души. Можно доказывать, что субъективно, внутри мятущегося сознания, он был по-своему честен и прав. Но едва ли уместно оправдать его с объективной точки зрения.

Он вопрошал Эрнестину Федоровну в письме из Москвы, где он проводил свой месячный отпуск, в Овстуг (от 2 июля 1851 года): «Что же произошло в глубине твоего сердца, что ты стала сомневаться во мне, что перестала понимать, перестала чувствовать, что ты для меня — всё и что сравнительно с тобою все остальное — ничто? — Я завтра же, если это будет возможно, выеду к тебе. Не только в Овстуг, я поеду, если это потребуется, хоть в Китай, чтобы узнать у тебя, в самом ли деле ты сомневаешься и не воображаешь ли ты случайно, что я могу жить при наличии такого сомнения...»

Строго говоря, это «всё» и это «ничто», написанные Тютчевым, были неправдой. Он, кстати сказать, так и не собрался тогда в Овстуг. По всей вероятности, он в то время приехал в Москву вместе с Еленой Александровной и их новорожденной дочерью (возможно, для того, чтобы окрестить

ребенка, ради сохранения тайны, в московской, а не петербургской церкви). А. И. Георгиевский свидетельствовал, что Елена Александровна «привыкла проводить лето и осень вместе (с Тютчевым. — *В. К.*) или в Москве, или за границей».

Любовь к Елене Денисьевой была для поэта, по его словам, «всею... жизнью». До нас не дошло его писем к ней, но, вероятно, в них тоже содержались это «всё» и это «ничто», которые мы читаем в письме Эрнестине Федоровне.

По отдельным мелким подробностям нетрудно убедиться, что Тютчев постоянно стремился как бы отвоевать для Елены Александровны возможно более прочное место в своей жизни. Так, в январе 1853 года он просит своих дочерей от первого брака Екатерину и Дарью послать приветственное письмо тетке Елены Александровны (вспомним, что последняя была наставницей этих дочерей поэта в Смольном). Смущенная Екатерина обращается по этому поводу к старшей своей сестре Анне, которая дает ей (в письме от 25 января 1853 года) весьма дипломатичную рекомендацию: «Скажи просто маме (то есть мачехе. — *В. К.*): папа советует написать старушке Денисьевой, нам очень этого не хочется. Думаешь ли ты, что это необходимо? — Таким образом, вы сразу узнаете, считает ли она это желательным».

Неизвестно, было ли отправлено такое письмо, но стоит упомянуть, что через год с лишним, весной 1854 года, Дарья сообщила Екатерине: «Я увидела (на раздаче шифров* в Смольном) мадемуазель Денисьеву, но очаровательно то, что мы обе сделали вид, будто мы лучшие в мире подруги, и на самом деле я чувствовала себя с ней совершенно свободно, особенно когда заметила ее стесненный и смиренный вид, который тронул меня».

Широко распространено мнение, что Елена Александровна из-за своей незаконной любви превратилась в своего рода парию. Но если это и было так, то лишь в самом начале ее отношений с поэтом. С годами она так или иначе вошла в круг людей, близких Тютчеву. Так, в 1863 году, рассказывая в письме своей сестре Марии, что приезд ее к Тютчевым в Москву откладывается, она сетует: «Я не застану в Москве Сушкова, зятя Федора Ивановича, и это большая и серьезная неприятность для меня». Еще через год поэт писал той же Марии: «Великая княгиня Елена было одною из тех, кто недавно говорил мне о ней (Денисьевой. — *В. К.*) с наибольшей симпатией». Из этого ясно, что «отверженность» Елены Александровны (хотя бы в поздние годы) сильно преувеличена.

---

* Вид награды.

Дочь поэта от первого брака Екатерина так сообщала своей тетке Дарье Ивановне о болезни Елены Александровны: «Он (Тютчев. — *В. К.*) опасается, что она не выживет, и осыпает себя упреками; о том, чтобы нам с ней повидаться*, он даже не подумал; печаль его удручающа, и у меня сердце разрывалось».

Известно также, что Елена Александровна участвовала во встречах Тютчева с рядом государственных и политических деятелей — например Деляновым и Катковым.

Вообще, несмотря на горестные и тяжкие стороны своего положения, Елена Александровна со временем смирилась с ним. По словам Георгиевского, «ей нужен был только сам Тютчев и решительно ничего, кроме него самого». Но есть немало свидетельств, что и сам поэт всегда стремился не разлучаться с Еленой Александровной, насколько это было возможно. Он писал о ней впоследствии: «Она — жизнь моя, с кем так хорошо было жить, так легко и так отрадно...» Он говорил в стихах, написанных 10 июля 1855 года на даче, которую Денисьевы снимали возле Черной речки, где

...в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.
Я, дыханьем их овеян,
Страстный говор твой ловлю...
Слава Богу, я с тобою,
А с тобой мне — как в раю.

В этом же стихотворении — проникновенные строки:

Лишь одно я живо чую:
Ты со мной и вся во мне.

А. И. Георгиевский писал о Елене Александровне: «Это была натура в высшей степени страстная, требовавшая себе всего человека, а как мог Федор Иванович стать вполне ее, “настоящим ее человеком”, когда у него была своя законная жена, три взрослые дочери и подраставшие два сына и четвертая дочь».

Такого рода соображениями воспоминания мужа сестры Елены Александровны вообще изобилуют. Но нельзя не видеть, что он был человеком совсем иного, далекого и от Тютчева, и от Елены Денисьевой, склада и характера; в нем чувствуется нечто «каренинское». И едва ли будет преувеличением сказать, что Елена Александровна воспринимала поэта именно как «вполне ее» человека, несмотря на все внеш-

* В Петербурге тогда жили две дочери поэта от первого брака.

ние преграды между ними. Это, разумеется, отнюдь не значит, что отношения — даже и в поздние годы их любви, когда Елена Александровна со многим примирилась, — были безоблачными или хотя бы спокойными. Сам поэт рассказал позднее, 13 декабря 1864 года, об одном из мучительных столкновений между ними: «Я помню, раз как-то в Бадене*, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такой любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но *она*). И что же... вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование *не совсем великодушно,* что, зная, до какой степени я весь ее („ты мой собственный“, как она говорила), ей нечего, незачем было желать и еще других, печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности... О, как она была права в своих самых крайних требованиях...»

Но жизненная коллизия была в точном смысле слова неразрешимой; поэт безусловно не мог разорвать отношения с Эрнестиной Федоровной. Об этом ясно говорят те около трехсот писем, которые он послал ей за четырнадцать лет своей любви к Елене Денисьевой. В его письмах подчас почти прорывается признание, хотя вообще-то он как раз старается погасить, заглушить его. Еще 2 июля 1851 года, через год после начала своей любви, он пишет из Москвы в Овстуг, куда несколько недель назад уехала Эрнестина Федоровна, пишет в ответ на ее письмо, полное сомнений: «Известно ли тебе, что со времени твоего отъезда я, несмотря ни на что, и двух часов сряду не мог считать твое отсутствие приемлемым... Это сильнее меня. Я с горьким удовлетворением почувствовал в себе что-то, что незыблемо пребывает, несмотря на все немощи и колебания моей глупой природы. А знаешь, что еще больше разбередило этот цепкий инстинкт — столь же сильный, столь же себялюбивый, как инстинкт жизни?.. Скажу тебе напрямик. Это предположение, простое предположение, что речь шла о необходимости сделать выбор, — одной лишь тени подобной мысли было достаточно, чтобы я почувствовал бездну, лежащую между тобою и всем тем, что не ты...

Во многом я бывал неправ... Я вел себя глупо, недостойно... По отношению к одной тебе я никогда не был неправ,

---

* Тютчев был там вместе с Еленой Александровной летом 1860 и 1862 годов.

и это по той простой причине, что мне совершенно невозможно быть неправым по отношению к тебе...

Итак, я отправляюсь в дорогу и выберу кратчайший путь... Мне не терпится позавтракать с тобою у тебя на балконе...» (речь идет о балконе овстугского дома).

Нельзя закрыть глаза на то, что с объективной точки зрения здесь нет правды, хотя Тютчев и уверяет, что не может быть «неправым». И он так и не отправился тогда в дорогу и приехал в Овстуг лишь на следующее лето.

Но правда все же сказывается — в словах о том, что ему невозможно «сделать выбор»...

По прошествии полутора лет, 17 декабря 1852 года, поэт снова повторяет в письме жене: «Пусть я делал глупости, поступки мои были противоречивы, непоследовательны. Истинным во мне является только мое чувство к тебе».

Но на следующий год отношения вновь обостряются, оказываясь на грани разрыва, и 29 сентября 1853 года Тютчев пишет Эрнестине Федоровне в Мюнхен, куда она уехала, быть может, навсегда: «Что означает письмо, которое ты написала мне в ответ на мое первое письмо из Петербурга? Неужели мы дошли до того, что стали так плохо понимать друг друга? Но не сон ли все это? Разве ты не чувствуешь, что все, все сейчас под угрозой? Ах, Нестерле, это так грустно, так мучительно, так страшно, что невозможно высказать... Недоразумение — страшная вещь, и страшно ощущать, как оно все углубляется, все расширяется между нами, страшно ощущать всем своим существом, как ощущаю я, что оно вот-вот поглотит последние остатки нашего семейного счастья, все, что нам еще осталось на наши последние годы и счастья, и любви, и чувства собственного достоинства, наконец... не говоря уж обо всем другом...»

Через полтора месяца Тютчев в письме жене (от 16 ноября) высказывает почти явное признание во всем, что происходит с ним: «...Я ощущаю глубокое отвращение к себе самому, и в то же время ощущаю, насколько бесплодно это чувство отвращения, так как эта беспристрастная оценка самого себя исходит исключительно от ума; сердце тут ни при чем, ибо тут не примешивается ничего, что походило бы на порыв христианского раскаяния...»

По возвращении Эрнестины Федоровны из Германии в мае 1854 года наступило перемирие, хотя, конечно, и неполное. Осенью Тютчевы наконец обрели постоянное пристанище — квартиру на Невском проспекте около Армянской церкви в доме Х. А. Лазарева, старинного друга семьи. Здесь, на третьем этаже, Тютчев жил почти до самой своей

кончины, в постоянном общении с армянскими семьями Лазаревых, Абамелеков, Деляновых.

Итак, с 1854 года устанавливается некое условное равновесие между теми двумя разными жизнями, которыми, в сущности, живет Тютчев. Впрочем, большую часть времени его отношения с женой, как уже говорилось, сводились к переписке. В октябре 1854 года она приехала в Петербург, но уже в ноябре Тютчев отправляется на несколько недель в Москву, по-видимому, вместе с Еленой Александровной.

Ранней весной следующего года Эрнестина Федоровна до поздней осени уезжает в Овстуг, куда Тютчев прибудет лишь на две недели в августе. Лето 1856 года она проводит в Прибалтике, а конец августа и сентябрь поэт живет в Москве. С начала мая до октября 1857 года жена его в Овстуге; поэт был там только часть августа. То же повторяется и в последующие годы, но Тютчев, занявший в 1858 году пост председателя Комитета цензуры иностранной, по причине или, может быть, под предлогом занятости, не приезжает в Овстуг вплоть до 1865 года (то есть до кончины своей возлюбленной), хотя каждый год, за исключением 1860-го, когда он на полгода уехал с Еленой Александровной за границу, бывает в Москве.

Одиннадцатого октября 1860 года в Женеве Елена Александровна родила второго ребенка — сына Федора; дочери Елене в это время уже исполнилось девять лет. Последние четыре года жизни Елены Александровны поэт почти не расстается с ней надолго. С июня по ноябрь 1860 года и с мая по август 1862 года они находились вместе за границей. Он постоянно ездит в эти годы в Москву (иногда даже дважды в год) и обычно вместе с Еленой Александровной.

А. И. Георгиевский писал в своих воспоминаниях о том, что в поэте выражалось «блаженство чувствовать себя так любимым такою умною, прелестною и обаятельною женщиною». Но тот же Георгиевский свидетельствует, что Елена Александровна была вовлечена в сферу главных тогда интересов Тютчева — интересов политических. Есть все основания полагать, что так было и ранее, особенно в период Крымской войны. Поэт просто не мог не говорить со своей возлюбленной о том, что так всезахватывающе и мучительно волновало его. И хотя до нас не дошло сведений о ее причастности к политическим страстям поэта до 1862 года, трудно сомневаться, что причастность эта возникла уже в первые годы их любви. Что же касается последних лет, вовлеченность Елены Александровны в политические интересы поэта ясна и несомненна.

Мы уже видели, что в первой половине пятидесятых годов Тютчев в прямом смысле слова жил политическими интересами. Его дочь Дарья писала сестре в апреле 1854 года — писала шутливо, но по существу верно: «Что до папы, он раздирается между вопросом Востока и вопросом Эрнестины, которые порой наступают друг на друга...» Следует только добавить, что «вопрос Эрнестины» был одновременно «вопросом Елены»... Тогда же Анна сообщает Дарье о разговоре с отцом, находящемся «в отчаянии от того, что делается в политическом мире и предающем анафеме все мироздание».

Десятого января 1856 года Эрнестина Федоровна пишет брату по поводу унизительных для России переговоров в конце Крымской войны: «Муж мой впал в ярость, близкую к безумию...»

Но именно тогда Нессельроде был наконец смещен с должности министра иностранных дел, которую он занимал с 1822 года, и на его место был назначен столь много претерпевший от него А. М. Горчаков. Внешняя политика России существенно изменилась, а Тютчев обрел возможность реально воздействовать на нее.

Пятнадцатого апреля 1856 года Горчаков приступил к своим обязанностям, а уже 18 апреля Эрнестина Федоровна писала брату: «Кн. Горчаков всегда был расположен к моему мужу... В данный момент муж мой у своего нового начальника, кн. Горчакова».

Через год, 7 апреля 1857 года, Тютчев производится в действительные статские советники — то есть в генеральское звание; этот чин присваивался не на основе выслуги лет, подобно предшествующим, но только «по высочайшему соизволению». 25 мая поэт пишет жене: «Я только что от Горчакова, которого часто видал последнее время... Мы стали большими друзьями и совершенно искренне. Он — положительно незаурядная натура и с большими достоинствами, чем можно предположить по наружности. У него — сливки на дне, а молоко на поверхности». Следует сразу же оговорить, что впоследствии поэт во многом разочаровался в Горчакове; но поначалу ему казалось, что тот способен неукоснительно идти по истинному пути.

Осенью того же года отношения с Горчаковым привели к очень весомому результату: Тютчев получил предложение стать основателем и редактором политического издания — «нового журнала или чего-то в этом роде», — которое призвано было непосредственно воздействовать на внешнеполитический курс страны. Перед поэтом как будто бы открывался путь осуществления его заветных идей. Но Тютчев в

конечном счете не занял этот, казалось бы, столь желанный ему пост. Кстати сказать, еще летом Горчаков предлагает поэту писать статьи для субсидируемой русским правительством бельгийской газеты «Ле Норд», но Тютчев, по свидетельству жены, сказал, что он «может писать только вещи, которые говорить нельзя, и, следовательно, воздерживается».

А в ответ на предложение Горчакова стать полновластным редактором нового журнала поэт написал в ноябре 1857 года в высшей степени замечательную записку «О цензуре в России», которая была опубликована лишь через полтора десятилетия, за два с половиной месяца до кончины автора. В этой записке он объяснял, на каких основаниях может согласиться издавать журнал или газету. Тютчев говорил здесь прежде всего об одном из очевидных уроков крымской катастрофы: «Нам было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет, без существенного вреда для общественного организма. Видно, всякое ослабление и заметное умаление умственной жизни в обществе неизбежно влечет за собою усиление материальных наклонностей и гнусно-эгоистических инстинктов.

Даже сама власть с течением времени не может уклониться от неудобств подобной системы. Вокруг той сферы, где она присутствует, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встречая извне ни контроля, ни указания, ни малейшей точки опоры, кончает тем, что приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще прежде, чем бы ей суждено пасть под ударами злополучных событий».

Далее Тютчев констатировал, что новая власть, пришедшая после смерти Николая I и крымской трагедии, «уразумела, что наступила пора ослабить чрезвычайную суровость предшествующей системы». Но, спрашивал поэт, в «вопросе о печати достаточно ли того, что сделано...? ... Направление мощное, разумное, в себе уверенное направление — вот чего требует страна, вот в чем заключается лозунг всего настоящего положения нашего...».

Но такое направление подразумевает глубокую связь с интересами и духовной жизнью народа. «Без этой искренней связи, — писал Тютчев, — с действительною душою страны, без полного и совершенного пробуждения ее нравственных и умственных сил, без их добровольного и единодушного содействия при разрешении общей задачи, — правительство, предоставленное собственным силам, не может совершить ничего столько же извне, как и внутри... Судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, который

никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, и лишь только одна приливающая волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход».

Вот какую «программу» считал необходимым осуществлять Тютчев в том журнале или газете, которыми он согласился бы руководить.

Но для того, чтобы это стало возможным, было, в свою очередь, необходимо решительное изменение взаимоотношений правительства и печати. Цензура, продолжал Тютчев, «в эти последние годы тяготела над Россией, как истинное общественное бедствие... Позвольте мне сказать Вам со всею откровенностью, — обращался поэт к Горчакову, — что до тех пор, покуда правительство не изменит совершенно, во всем складе своих мыслей, своего взгляда на отношения к нему печати, покуда оно, так сказать, не отрешится от этого окончательно, до тех пор ничто поистине действительное не может быть предпринято с некоторыми основаниями успеха; и надежда приобрести влияние на умы с помощью печати... оставалась бы постоянным заблуждением».

Иначе говоря, Тютчев полагал, что при существующих отношениях правительства и печати бессмысленно браться за издание журнала или газеты. Его записку завершает поистине неожиданное и, по всей вероятности, поразившее ее адресата рассуждение. Указывая на то, что заграничные издания Александра Герцена широко распространяются и имеют громадное влияние в России, Тютчев открыто говорит, что газета, поставившая, например, задачу полемики с Герценом, «могла бы рассчитывать на известную долю успеха лишь при условиях своего существования, несколько подходящих к условиям своего противника. Вашему доброжелательному благоразумию предстоит решить, возможны ли подобные условия в данном положении, Вам лучше меня известном, и в какой именно мере они осуществимы». Если они в самом деле осуществимы, заключал поэт, «приведение в действие того проекта, который Вам угодно было сообщить мне, казалось бы хотя и нелегким, но возможным».

Важно пояснить, что Тютчев, хотя его никак нельзя считать близким Герцену мыслителем, все же разделял многие и критические, и позитивные идеи последнего. Известно, что даже в 1865 году, когда налицо было резкое размежевание всех общественных сил России, Тютчев, находясь в Париже, дважды встретился с Герценом (8 марта они обедали вместе, а на следующий день продолжили беседу).

Но сейчас речь идет об условии, которое поэт в ноябре 1857 года объявил министру иностранных дел, члену Госу-

дарственного совета Горчакову — предоставить ему как редактору новой газеты или журнала возможность говорить свободно, подобно тому, как говорит за границей Герцен, с 1 июля 1857 года издававший свой «Колокол».

Этот своего рода ультиматум, выдвинутый Тютчевым, не был всецело беспочвенным. Ведь именно в ноябре 1857 года, когда поэт работал над своей запиской, появился первый официальный рескрипт об отмене крепостного права. Тютчев имел достаточные основания полагать, что его условие может быть принято.

Но все же этого не произошло. И поэт, как мы еще увидим, избрал для себя путь «неофициального» деятеля на ниве внешней политики России. Горчаков предоставил ему не очень обременительный, но достаточно высокий пост при Министерстве иностранных дел: 17 апреля 1858 года действительный статский советник Тютчев был назначен председателем Комитета цензуры иностранной. На этом посту, несмотря на многочисленные неприятности и столкновения с правительством (в 1866 году ему даже угрожала отставка), Тютчев пробыл пятнадцать лет, до самой своей кончины. Благодаря своей должности он являлся одновременно членом Совета Главного управления по делам печати.

Комитет цензуры иностранной был по тем временам довольно крупным учреждением, насчитывавшим несколько десятков сотрудников; среди них находились, между прочим, поэты Аполлон Майков и Яков Полонский. Комитет просматривал все иностранные книги, ввозимые в Россию. В то время, когда Тютчев приступил к своим обязанностям, поток этих книг как раз резко увеличился и возрастал с каждым годом. Так, в 1858 году было ввезено миллион шестьсот с лишним тысяч томов, в 1860-м — два миллиона двести пятьдесят тысяч томов, в 1862-м — два миллиона семьсот двадцать с лишним тысяч томов и т. д.

Если соотнести эти цифры с количеством людей, читавших на иностранных языках, обнаружится вся их громадность.

В 1870 году Тютчев записал в альбом одного из своих сотрудников, П. А. Вакарова, следующий экспромт:

Веленью высшему покорны,
У мысли стоя на часах,
Не очень были мы задорны,
Хотя и с штуцером в руках.

Мы им владели неохотно,
Грозили редко и скорей
Не арестантский, а почетный
Держали караул при ней.

Достаточно сопоставить количество разрешенной литературы с запрещенной, чтобы убедиться в правоте тютчевских строк. Так, в 1862 году комитетом было запрещено всего 285 книг, в 1863-м — 142 книги. При этом Тютчев более всего обращал внимание на книги «безнравственного» характера. Так, в одном из отчетов комитета сказано: «В особенности с большею строгостию старался я действовать относительно так называемых легких произведений литературы, поэтому запрещению... подверглись более романы, повести и детские книги».

Но вообще Тютчев не придавал большого значения своим делам в цензуре. Гораздо важнее были для него прямая связь с Горчаковым, возможность влияния на русскую печать (уже хотя бы в качестве члена Совета Главного управления по делам печати) и близость к правительству, двору, наконец, к самому императору. Можно без всякого преувеличения утверждать, что поэт буквально не упускал малейшей возможности воздействовать на внешнюю политику России.

На протяжении пятнадцати с лишним лет он стремился, если угодно, «воспитывать» и направлять Горчакова, подчас сознательно преувеличивая как его понимание мировых задач России, так и реальные его успехи в дипломатии.

Двадцать первого апреля 1859 года Тютчев писал Горчакову: «...Позвольте мне еще раз сказать Вам, и из самой глубины моего сердца: да поможет Вам Бог, ибо более чем когда-либо, Вы — человек необходимый, человек незаменимый для страны... Я, кажется, достаточно Вас знаю, князь, чтобы быть уверенным в том, что Вы вполне разделяете горечь, которую испытываю я, утверждая это перед лицом настоящего положения».

Речь идет о назревшей войне между Францией и Австрией, войне, в которой Россия должна была сделать нелегкий для нее выбор. Как мы помним, Нессельроде всегда выступал на стороне Австрии; в 1859 году при дворе и в правительстве было еще очень много прямых наследников этой линии. Тютчев даже и позднее, как свидетельствовала его жена в 1861 году, с негодованием видя «этих старых болванов на своих прежних местах, говорил... что они напоминают ему волосы и ногти покойников, продолжающие некоторое время расти и после погребения».

В том самом 1861 году министр внутренних дел Валуев записал в своем дневнике (16 апреля), что сын Нессельроде рассказал ему, как, выходя в отставку, отец его на пост министра иностранных дел рекомендовал Будберга, а о Горчакове сказал государю: «Он был у меня в Министерстве в те-

чение тридцати лет, и я всегда считал, что не пригоден ни к чему серьезному». Ранее, 9 апреля, Валуев записал: «Был у меня Нессельроде filius* и сказывал, что увольнение Тимашева** дело завершенное, как сам он от него слышал. Нессельроде горою стоит за Тимашева и Герштейнцвейга***. Он говорил: я тесно связан как с одним, так и с другим».

И это была, конечно, только одна из политических группировок, непримиримо враждебных Тютчеву. Тимашев был тогда действительно уволен, но позднее он сумел при поддержке своих единомышленников занять еще более высокое положение и пользовался громадной властью.

В своем только что цитированном письме Горчакову поэт говорил далее: «Не опасности создавшегося положения сами по себе пугают меня за Вас и за нас. Вы обретете в самом себе достаточно находчивости и энергии, чтобы противустать надвигающемуся кризису. Но что действительно тревожно, что плачевно выше всякого выражения, это — глубокое нравственное растление среды, которая окружает у нас правительство и которая неизбежно тяготеет также над Вами, над Вашими лучшими побуждениями».

И поэт взывал к мужеству и бдительности Горчакова: «...В настоящее время союз с Австрией или какой бы то ни было постыдный полувозврат к этому союзу не имеет более определенного и особенного смысла и значения, но, — подчеркивал поэт, — сделался как бы кредо всех этих подлостей и посредственностей, как бы лозунгом и условным знаком всего антинационального по эгоизму или происхождению...

И вот эти-то люди являются Вашими естественными врагами... — предупреждал Горчакова Тютчев. — Они не простят Вам разрушения системы, которая представляла как бы родственные узы для всех этих умов, как бы политическое обиталище всех этих убеждений. Это — эмигранты, которые хотели бы вернуться к себе на родину, а Вы им препятствуете...»

Далее Тютчев указывал, что «перед лицом создавшегося положения» Горчаков «нуждается в более твердой точке опоры, в национальном сознании, в достаточно просвещенном национальном мнении, а тут, как нарочно, неумелость или взаимные предубеждения позволили накопиться недоразумениям между печатью и правительством...

---

* Сын (*лат.*).

** В 1856—1861 годах — управляющий Третьим отделением, впоследствии, с 1868 года, — министр внутренних дел.

*** В то время варшавский военный губернатор.

Одним словом, князь... нет против среды, осаждающей и более или менее угнетающей Вас... нет, говорю я, другой точки опоры, другого средства противодействия, как во мнении извне, в великом мнении — в выражении общественного сознания... Но для этого нужно разрешить ему высказаться и даже вызывать его на это...».

И Тютчев заключал письмо вполне конкретным предложением: «Я еду, князь, на три или на четыре дня в Москву. Я увижу кое-кого из этих господ... Что хотите, чтобы я им передал?» (поэт имел в виду знакомых ему московских редакторов журналов и литераторов).

И позднее Тютчев сумел в полной мере осуществить поставленную им перед собой задачу. В 1863 году он с обычной для него при разговоре о самом себе иронией, но не без известной гордости, сообщал жене из Москвы, где он провел полтора месяца (письмо от 1 августа): «Здесь я жил в самом центре московской прессы между Катковым и Аксаковым, служа чем-то вроде официозного посредника между прессой и Министерством иностранных дел. Я могу, в сущности, смотреть на свое пребывание в Москве, как на миссию, — не более бесполезную, чем многие другие...»

Взаимоотношения Тютчева с М. Н. Катковым (1818—1887), редактором газеты «Московские ведомости» и журнала «Русский вестник», — сложный и острый вопрос уже хотя бы потому, что Катков известен как крайний «реакционер» в политике и идеологии. Правда, эта репутация окончательно сложилась не тогда, когда Тютчев имел с ним более или менее тесные отношения, но позднее, в конце 1860-х и особенно в 1870-х годах.

Катков прошел долгий и сложный путь. В сороковые годы он был учеником и соратником Белинского, а в пятидесятых выступал как заведомый «либерал». В 1855 году не кто иной, как Чернышевский, назвал его «очень замечательным мыслителем». В 1859 году Катков дружелюбно встречался в Лондоне с Герценом (хотя вскоре они резко разойдутся). Нельзя не сказать о том, что в журнале Каткова «Русский вестник» были опубликованы такие основные художественные произведения эпохи, как «Губернские очерки» Щедрина, «Накануне» и «Отцы и дети» Тургенева.

С годами Катков все более «правеет», но до конца 1870-х годов он постоянно печатает лучшие произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Гончарова, Лескова и других крупнейших писателей и поддерживает с ними тесные связи, хотя и не без конфликтов.

Тютчев, несмотря на некоторые точки соприкосновения

с Катковым, никогда не был его единомышленником, а в целом ряде важнейших моментов самым решительным образом расходился с ним.

Так, одной из основ катковской идеологической программы было установление господства «классического образования», которое долженствовало сковать с самого начала свободу и широту мысли, ввести духовную жизнь молодежи в узкие и канонические рамки. Между тем Тютчев в письме дочери Анне безоговорочно утверждал, имея в виду Каткова и его единомышленников: «...Их так называемое классическое образование — это всего-навсего система всеобщего отупления. Благодаря дуракам Россия оказалась в руках педантов».

При этом данная программа была в глазах поэта прямым и последовательным воплощением всей сути Каткова как идеолога. Так, он писал Анне же о Каткове и его ближайшем сподвижнике П. М. Леонтьеве: «Зная обоих лиц... можно было a priori ожидать всяческих чрезмерностей, в особенности же в так называемой классической системе, которая всегда представлялась мне самым жалким из недоразумений, одним из тех устаревших предрассудков, которые обличают в тех, кто еще его принимает, лишь расположение к мономании. А это-то расположение достаточно уже высказало себя в лицах, о которых идет речь, даже в сфере их публицистической деятельности... Они вносят в это дело (образования. — *В. К.*) тот же дух исключительности... и те же чрезмерности, как и во все, что от них исходит». В письме жене от 9 июля 1866 года Тютчев с предельной резкостью сказал о Каткове, что «для журналиста... очень неудобно позволить себе страдать галлюцинациями больного воображения».

Наконец, 12 ноября 1870 года он продиктовал дочери Марии письмо Ивану Аксакову, в котором со всей резкостью утверждалось: «Что это за патриотизм, что это за преданность русскому делу, которые, как в последних статьях “Московских ведомостей”, всегда готовы жертвовать им своему личному мнимо-обиженному самолюбию? Или как же объяснить себе хоть последнюю выходку Каткова в передовой статье 11-го ноября?.. Что могла бы высказать более враждебного, более ядовитого для России в данную минуту самая неприязненная России... газета?»

На следующий день Тютчев писал влиятельной дочери председателя Совета министров Блудова, что одну из статей «Московских ведомостей» «поистине нельзя не рассматривать как подлость, принимая в расчет тот авторитет, коим

пользуется газета Каткова... Нет другого слова, чтобы определить такой поступок».

Резкое неприятие многих — притом основных — качеств Каткова очевидно. Почему же все-таки Тютчев в шестидесятые годы стремился завязать с ним прочные отношения? Это объясняется прежде всего тем, что Катков сумел *завоевать себе право* говорить в своей газете такие вещи, которые были безусловно невозможны в каких-либо других русских изданиях. Поэт не без определенного восхищения писал Каткову: «...Благодаря Вам, наконец, и у нас — и в нашей правительственной среде — сила печатного слова признана не как факт только, но и как право».

Иначе говоря, в катковской газете были в той или иной мере осуществлены именно те условия, которые Тютчев выдвигал как необходимые в своей записке 1857 года о цензуре, переданной Горчакову. Поэт не смог бы их добиться и именно потому не взялся за издание своей собственной газеты или журнала. Катков же в силу своих личных качеств и внешних обстоятельств сумел отвоевать определенную «свободу» печатного слова.

Историк Ю. Б. Соловьев в своем трактате «Самодержавие и дворянство в конце XIX века» (Л., 1973) писал, что катковская газета означала появление «рядом с правительством и отдельно от него довольно значительной политической силы... В самодержавной системе появился со стороны самозваный судья правительства. Принимая Каткова во всей его неистовости, допуская его постоянные нападки на уполномоченных представителей власти самого высокого ранга, власть как бы признавала... что есть такая сила, как общественное мнение, и что ей подсудны государственные дела... Общество в лице Каткова оказывалось в своем понимании выше самой власти, все время сбивавшейся с истинного пути».

Именно это ценил Тютчев в катковской газете и очень энергично стремился к тому, чтобы на страницах «Московских ведомостей» открыто и решительно выражались его внешнеполитические идеи. Случилось так, что он обрел прямого исполнителя этого замысла в лице А. И. Георгиевского — мужа сестры Елены Денисьевой.

Александр Иванович Георгиевский (1830—1911) — историк, преподававший в одесском Ришельевском лицее (одном из наиболее культурных тогда учебных заведений) и редактировавший некоторое время газету «Одесский вестник». Летом 1862 года он навестил сводную сестру своей жены, Елену Александровну, и познакомился у нее с Тютчевым.

Выяснилось, что Георгиевский знает и исключительно высоко ценит не только стихи, но и политические идеи поэта.

Это весьма удивило Тютчева: «Вот чего уж я никак не мог предполагать, чтобы эти взгляды нашли у нас себе отголосок не в Москве, не в Петербурге, а в отдаленной Одессе, на берегу Черного моря». К этому следует добавить, что поэт видел в Черноморье один из узловых центров русского исторического развития, и распространение его идей на этой окраине России — а Георгиевский излагал их в своих лицейских лекциях по всеобщей истории — должно было особенно заинтересовать его.

За время пребывания Георгиевского в Петербурге, как он вспоминал впоследствии, «раз или два раза в неделю мы непременно сходились у Лели с Тютчевым за обеденным ее столом. Многие часы проходили в самой оживленной и разнообразной беседе... Тютчев хорошо знал все, что делалось и что предполагалось делаться в наших высших правительственных сферах, все, что творилось повсеместно в России...».

Как раз в это время Георгиевский получает предложение от знакомого ему соредактора Каткова, П. М. Леонтьева, стать одним из ведущих сотрудников «Московских ведомостей». Тютчев горячо советовал принять это предложение, и в ноябре 1862 года Георгиевский поселился в Москве, в доме Каткова.

Он быстро стал деятельнейшим участником газеты, руководясь при этом стремлением, по его собственным словам, «создать из нее великую и благотворную силу, так, чтобы мало-помалу обсуждению ее стали доступны все дела внешней и внутренней политики России и чтобы к голосу ее прислушивались все общественные и государственные деятели...».

Георгиевский три или даже четыре раза в неделю писал передовые статьи «Московских ведомостей», которые были наиболее весомой частью газеты. «Хвала за них, — вспоминал он, — воздавалась только одному Каткову. Это очень сердило и возмущало Ф. И. Тютчева».

Но гораздо более важно, что, как достаточно хорошо нам известно, многие статьи Георгиевского в значительной мере были... тютчевскими. В своих воспоминаниях Георгиевский открыто признал: «Насколько мог, я пользовался в моих статьях его сообщениями и даже особенно удачными его высказываниями», то есть воздействие поэта сказывалось даже в стиле внешнеполитических передовиц «Московских ведомостей».

Второго января 1865 года Тютчев писал Георгиевскому: «Совершившаяся уже коалиция всех антирусских в России

направлений есть факт очевидный, осязательный... Высказана, как принцип, *безнародность* верховной русской власти, то есть медиатизация русской народности» и т. д.

И в передовой статье «Московских ведомостей» от 10 января, написанной Георгиевским, не только воспроизведены эти мысли Тютчева, но и повторены его особенные формулы — «безнародность верховной русской власти» и «медиатизация русской народности» (то есть лишение ее независимости).

В отношениях Тютчева с Георгиевским и, далее, самой газетой так или иначе участвовала и Елена Денисьева. Так, летом 1863 года, вспоминал Георгиевский, вслед за Тютчевым «приехала в Москву и наша дорогая Леля и поселилась в нашей городской квартире в доме университетской типографии» (здесь и печатались «Московские ведомости» и «Русский вестник»; ныне дом 28 по Пушкинской улице; именно здесь, кстати сказать, в 1860—1870-х годах были впервые напечатаны почти все основные произведения Толстого, Достоевского, Лескова, Гончарова, Тургенева и многие стихи Тютчева и Фета). Хотя Тютчев, конечно, не раз встречался с Катковым и Леонтьевым, между ними не сложились сколько-нибудь доверительные отношения. Георгиевский недвусмысленно писал, что «Тютчев не питал к ним (Каткову и Леонтьеву. — *В. К.*) особенного личного сочувствия, так же, как и они к нему». В то же время «Московские ведомости» были очень важны для Тютчева как влиятельнейшая политическая трибуна. И Георгиевский, а также сама Елена Александровна явились здесь посредниками.

Елена Александровна по-своему даже подружилась с Катковым. Они стали впоследствии крестными отцом и матерью сына Георгиевского, и она писала по этому поводу: «Мой дружеский привет Михаилу Никифоровичу, — скажите ему, что я очень счастлива быть связанной с ним духовным родством». Елена Александровна интересовалась отношениями Тютчева с газетой. «С того времени, как я стал работать в редакции “Московских ведомостей”, — вспоминал Георгиевский, — я высылал их Леле, и она ежедневно читала их передовые статьи Федору Ивановичу, и чтение это... давало повод к бесконечным беседам между ними, а в этом и заключалось истинное блаженство для Лели».

Сама Елена Александровна в письме от 3 марта 1863 года своей сестре просит передать ее слова Георгиевскому: «Скажи ему, что я с большим интересом читаю его газету, которую он мне посылает, и что Тютчев в восторге от некоторых статей». И повторяет в письме от 8 мая: «Скажи Алек-

сандру, что я каждый день читаю Тютчеву "Московские ведомости" и что чтение это живо нас интересует...»

Все это нисколько не удивительно, если помнить, что в статьях Георгиевского выражались тютчевские политические идеи. Весьма многозначителен следующий рассказ Георгиевского о Тютчеве: «Бывая во всех высших светских кругах, встречаясь со всеми министрами и высшими сановниками Империи... он при всяком подходящем случае прославлял мою деятельность в "Московских ведомостях" и мои в них передовые статьи».

Особенно замечательно, что поэт «прославлял» подчас даже те статьи, которые и сам Катков не смог отстоять в цензуре; Георгиевский присылал эти запрещенные статьи Леле в виде гранок. 3 марта 1863 года Елена Александровна сообщила сестре о Тютчеве: «Он метал гром и молнии по поводу одной запрещенной статьи. Император и Императрица имели случай ее прочесть лично...» («Случай» этот, без сомнения, устроил Тютчев.)

Естественно встает вопрос о том, как относился предельно властный и самолюбивый Катков к тютчевскому «использованию» его газеты. Ведь — о чем уже шла речь — редактор «Московских ведомостей» был далеко не единомышленником Тютчева и отнюдь не питал к нему личной симпатии. Притом еще поэт нередко не мог удержаться от самых резких суждений по адресу Каткова, что становилось известным последнему. В конце концов Катков через одного из общих знакомых передал Тютчеву свое возмущение.

Поэт, явно не желая разорвать отношения с превратившимся в мощную политическую силу редактором, писал ему — явно без особой искренности: «Не знаю, в результате каких сплетней — вольных или невольных... Вы могли, почтеннейший М. Н., заподозрить меня в таком фантастическом извращении всех моих понятий и убеждений касательно Вас...»

Истина же была в том, что Тютчев, весьма и весьма критически относясь к Каткову, стремился вовлечь его газету в сложную политическую игру — игру, другим основным объектом которой был Горчаков.

Существует мнение, что главную роль в установлении связи между Горчаковым и Катковым в 1863 году сыграл тогдашний министр внутренних дел П. А. Валуев. Однако факты свидетельствуют об ином развитии событий. Еще 24 февраля 1863 года, после запрещения цензурой одной из внешнеполитических статей А. И. Георгиевского в катковской газете, Тютчев написал возмущенное письмо Валуеву и, очевидно,

затем беседовал с ним по этому поводу. 29 марта Валуев обратился с письмом к Каткову, предлагая заключить с ним своего рода договор о взаимной поддержке. И Тютчев, устанавливая прочный контакт между Катковым и Горчаковым, опирался и на мнение Валуева. 19 сентября 1863 года последний пишет Каткову, что ему необходимо приехать в Петербург и встретиться с Горчаковым (встреча состоялась в конце октября 1863 года). Но известно, что Тютчев стремился устроить эту встречу давно и за письмом Валуева чувствуется его «рука».

В конечном счете именно Тютчев свел Горчакова и Каткова, двух влиятельнейших (с точки зрения внешней политики) людей страны, и прилагал все усилия к тому, чтобы оба они внушали друг другу не что иное, как тютчевские идеи. Являясь чуть ли не единственным прямым посредником между ними, Тютчев преподносил Каткову свои идеи как горчаковские, а Горчакову — в качестве катковских.

Выше цитировалось тютчевское письмо Горчакову, в котором он призывал его найти необходимую точку опоры в печати. Каткову же он, в свою очередь, писал, например, 6 ноября 1863 года: «Благодарим усердно за Вашу статью, в которой Вы так верно и удачно определили наше настоящее положение и намекнули, какой программы мы должны следовать. Князь Г. был очень доволен статьей». То есть Каткову предлагалась опора на правительство в лице министра иностранных дел. Как говорил поэт в другом письме Каткову, Горчаков, «может быть, единственный человек между нами, который и по своему влиятельному положению, и по своему усердию к общему делу имеет и силу и волю...».

Кстати сказать, статья, за которую Тютчев в цитированном письме «восхвалял» Каткова, была, по сути дела, *внушена им самим*. Конечно, поэт излагал свои идеи так, как будто они всецело исходят от Горчакова. Характерно, что всего через несколько дней после устроенной Тютчевым в конце октября 1863 года беседы Горчакова и Каткова (в которой он и сам участвовал) он пишет последнему (1 ноября): «Князь просил меня еще раз заявить Вам, какое приятное впечатление он вынес из личного с Вами знакомства и как, более нежели когда-либо, он дорожит дружным Вашим содействием для общей пользы. Он изложил перед Вами, со всеми их оттенками, наши политические отношения с первостепенными державами.

Теперь... князь желал бы еще отчетливее, еще убедительнее пояснить Вам, как он разумеет наши отношения к Франции».

И далее Тютчев дает, в сущности, прямые «инструкции» Каткову, причем трудно сомневаться, что это были его личные, а не горчаковские инструкции (ведь Горчаков всего несколько дней назад подробно говорил с Катковым). Так, в частности, отнюдь не горчаковская, но истинно тютчевская мысль видна в характеристике, которая дается в этом письме французскому императору Наполеону III: «В нем привыкли видеть осуществление какого-то чистейшего, безусловного мошенничества. Он, конечно, мошенник, но подбитый утопистом, как и следует представителю революционного начала. И эта-то примесь дает ему такую огромную силу над современностью».

Итак, Тютчев к середине шестидесятых годов во многом осуществил то, к чему стремился начиная с 1857 года. С одной стороны, он сумел создать «твердую точку опоры» для Горчакова в лице «Московских ведомостей». Известный государственный деятель того времени Е. М. Феоктистов вспоминал впоследствии, что в 1860-х годах сложилась «огромная популярность» Горчакова и «самым главным ее виновником был Катков»; он «создал репутацию князя Горчакова». Однако Феоктистов явно ошибался: «главным виновником» был конечно же Тютчев, который, так сказать, на высшем уровне дипломатического искусства заставил Каткова и его газету «работать» на Горчакова.

С другой же стороны, Тютчев сумел столь же искусно внушать и Каткову, и Горчакову свою внешнеполитическую программу, которая в конечном счете привела к замечательной победе. Уже в 1870 году Россия, в сущности, чисто дипломатическим путем ликвидировала наиболее тяжкие последствия своего жестокого поражения в Крымской войне.

Но об этом речь пойдет ниже. Сейчас нужно обратить внимание на то, сколь широкой и напряженной была политическая деятельность Тютчева в конце 1850-х — первой половине 1860-х годов. Для того чтобы показать ее во всем объеме, потребовался бы обширный трактат историко-дипломатического характера. Исходя из обрисованных выше фактов, есть все основания утверждать, что подлинным идейным и волевым истоком многих внешнеполитических акций России с начала шестидесятых и до начала семидесятых годов был не кто иной, как Тютчев. При этом он не только не стремился к тому, чтобы обрести признание и славу, но, напротив, предпринимал все усилия для того, чтобы скрыть свою основополагающую роль, думая только лишь об успехе дела.

Тютчев вовлек так или иначе в свою деятельность многие десятки самых разных людей — от сотрудников газет и историков до министра иностранных дел и самого царя. При этом Тютчев никогда не упускал случая опереться на свои личные и родственные связи с людьми, способными оказать ту или иную помощь и поддержку. С современной точки зрения это даже может показаться чем-то не вполне этическим. Но в начале этой книги уже шла речь о том, что родственные отношения играли в прошлом веке существенно иную роль, нежели в наше время.

И не следует удивляться тому, что Тютчев постоянно «использует» для «политических» целей, скажем, своих дочерей Анну и Дарью, которые были фрейлинами императрицы. Позволительно даже высказать предположение, что, добиваясь этого положения для дочерей (ради чего пришлось употребить немало весьма неприятных ему усилий), Тютчев думал не только о их личных судьбах, но и о возможностях воздействия через их посредство на царя. Нам известно множество случаев, когда поэт обращался за помощью в своих политических предприятиях к дочерям, особенно к очень серьезно мыслящей и энергичной Анне. Не приходится уже говорить о том, что дочери давали Тютчеву самые точные сведения о настроениях при дворе.

В том самом 1863 году Франция, Англия и Австрия решили воспользоваться Польским восстанием для самого жесткого нажима на Россию — вплоть до угрозы войны, подобной начавшейся за десять лет до того Крымской. Они направили России прямо-таки оскорбительные дипломатические ноты, к которым присоединились под давлением этих наиболее крупных держав почти все страны Запада — Италия, Швеция, Испания, Дания, Голландия, Португалия, Турция и римский папа. Россия, казалось, опять была теперь, пользуясь тютчевским выражением 1854 года, «одна против всей враждебной Европы».

Тютчев испытывал глубочайшую тревогу, вполне основательно опасаясь, что правительство проявит «слабость», «непоследовательность», наконец, попросту, как он писал жене 8 июля, «бессилие ума, которое во всем проявляется в наших правительственных кругах». Поэт стремится всемерно воздействовать как на Горчакова, так и на Каткова, для чего, после целого ряда бесед с Горчаковым, едет в середине июня в Москву.

Хорошо осведомленный князь В. П. Мещерский вспоминал позднее: «Когда наступила пора отвечать на дерзкие ноты европейских держав... вопрос: как ответить? — далеко не

был предрешенным... Во многих гостиных тогда... говорилось о том, что необходимо отвечать чуть ли не покорно и почтительно... Мало того, в Министерстве иностранных дел никто не имел уверенности, что князь Горчаков ответит Европе с подобающим России достоинством».

Сестра Тютчева Дарья писала в то время его дочери Екатерине: «Отец твой в отчаянии от антипатриотического настроения Петербурга». Об этом рассказывает и Мещерский: «...Достаточно было в то время видеть измученного страданиями и тоскою поэта и приятеля канцлера (то есть Горчакова, который, впрочем, еще не имел тогда этого звания. — *В. К.*) Ф. И. Тютчева, чтобы догадываться, как нехорошо шли тогда дела в смысле русских интересов... Накануне дня, когда огласилась прекрасная ответная нота петербургского кабинета, Тютчев вечером заходил к Блудовым и там, сказавши, что мы уступаем Европе, разрыдался. Легко понять, как он обрадовался на другой день, прочитав... полный достоинства и гордой твердости ответ русского Государя на дерзкое вмешательство Европы в дела России».

Мещерский, который писал свои воспоминания через тридцать с лишним лет после этих событий, неточно воспроизвел факты. Получается, что Тютчев, так сказать, пассивно ждал появления ответа на западные ноты и еще за день до того не знал о его содержании. На самом же деле поэт в течение июня — июля 1863 года самым активным образом участвовал во всей этой истории с враждебными нотами, несмотря даже на то, что был тогда болен. В первой половине июня он не раз встречался с Горчаковым и другими государственными и общественными деятелями в Петербурге, а в середине месяца выехал в Москву, где, как он рассказал в письме жене от 1 августа, служил «чем-то вроде официозного посредника между прессой и Министерством иностранных дел».

Перед выездом в Москву поэт заручился твердым обещанием Горчакова проявить силу и волю. 25 июня он писал из Москвы дочери Анне: «Здесь ждут ответов Горчакова на иностранные ноты с некоторым опасением, несмотря на все уверения, которые милейший князь уполномочил меня давать всем и каждому в его непоколебимой решимости не делать ни малейшей уступки... К несчастью, может случиться на сем свете — и уже не впервые, — что, благодаря простому превосходству грубой силы, нелепость восторжествует над разумом и правом».

Тютчев, конечно, сделал все для того, чтобы влиятельная московская пресса поддерживала «решимость» Горчакова в

течение тех нескольких недель, пока «на верхах» решался вопрос об ответе на ноты. 20 июня он сообщает из Москвы жене в Овстуг: «Ноты получены 11-го сего месяца (то есть когда Тютчев был еще в Петербурге. — *В. К.*). В настоящую минуту ответ уже должен быть составлен или почти. Он будет отрицательным...» Однако 27 июня он пишет жене: «Вчера, 26-го... должен был собраться Совет министров, чтобы ознакомиться с ответами на ноты держав... Слабость и непоследовательность правительства вызывают недоверие. Нельзя не отдавать себе отчета в том, что дело идет о самом существовании России. Я ожидаю худшего...»

«Здесь все еще находятся в той же тревоге, — сообщает он жене из Москвы 7 июля. — Ожидают, что завтра можно будет прочесть ответы князя Горчакова в “Журналь де Санкт-Петербург“ (официальная правительственная газета на французском языке. — *В. К.*). Тем временем я получил письмо от Анны, все проникнутое негодованием и предсказывающее трусость и слабость с нашей стороны».

Наконец, 11 июля, Тютчев пишет жене: «...Вчера здесь прочли ответы Горчакова, принятые с всеобщим одобрением. Они написаны с достоинством и твердостью».

Месяц, протекший с момента получения западных нот до появления русского ответа на них, поэт провел в напряженной деятельности. И, между прочим, как бы противореча своему собственному рассказу о том, что Тютчев чуть ли не пассивно ждал этого ответа, Мещерский затем приоткрывает в своих воспоминаниях покров над «тайной дипломатией» Тютчева в это тревожное время. Он рассказывает, что в течение какого-то периода «ничего не было решено, и Государь находился между нерешительностью Горчакова и своим собственным чутьем... На помощь второму доблестная дочь его, Анна Федоровна, умоляла Императрицу взять на себя инициативу и поддержать государя в его решимости ответить Европе достойно России и... голос Императрицы решил победу русской чести. Из двух представленных Горчаковым государю проектов ответа, слабого и сильного, Государь выбрал второй... главные мысли этой ноты принадлежали перу Тютчева».

Фанатичный монархист Мещерский явно сместил роли: едва ли можно сомневаться в том, что не царь, а именно Горчаков — не без самого энергичного воздействия Тютчева — проявил в этом деле решимость. Но есть все основания считать, что Мещерский нисколько не преувеличил роль Тютчева во всей этой истории, роль, о которой сам поэт не хотел, конечно, ничего говорить, ибо это могло испортить

дело. Он, напротив, стремился представить весь ход событий достижением Горчакова.

Он писал ему из Москвы 11 июля: «Ваши депеши пришли сюда вчера. И я почитаю себя счастливым, что находился в Москве в такой момент... Это был, помимо всяких фраз, момент исторический... После всех этих оскорблений, всех этих официальных дерзостей заграницы, после всех этих сомнений и тревог... вдруг ощутилось как бы чувство облегчения. Вздохнулось свободно. Ничто не прошло здесь незамеченным в этих удачливых депешах. Ни один оттенок, ни одно намерение, ни одно изменение голоса не ускользнуло от оценки публики или, вернее, страны. Всякий чувствовал себя счастливым и гордым, услышав себя говорящим так, ибо каждый находил присущий ему оттенок в том голосе, который говорил за всех.

Вы знаете, князь, — продолжал Тютчев, — что газета Каткова первая обнародовала Ваши депеши в подлиннике и в переводе... На Тверском бульваре, где я обитаю, виднелись группы, с оживлением обсуждавшие Ваши депеши. Ко мне лично подошел незнакомец, спросивший меня, читал ли я их, и на мой утвердительный ответ этот человек сказал: дай Бог здоровья князю Горчакову — не выдал...

Одним словом, князь, впечатление, произведенное на моих глазах здесь, в Москве, Вашими словами, тем полным достоинства и твердости тоном, которым по Вашему благородному почину заговорила Россия, впечатление это есть достояние истории».

Естественно, что Горчаков был необычайно доволен этим тютчевским письмом. На следующий же день после своего возвращения в Петербург, 11 августа, поэт едет в Царское Село, где жил тогда министр. «Я отправился... — писал он Эрнестине Федоровне, — обедать к Горчакову, который меня встретил еще радушнее, чем обыкновенно... Он с большим увлечением рассказал мне, какое удовольствие доставило ему мое... письмо из Москвы».

Вполне понятно, что Тютчев обрел возможности еще более значительно воздействовать на внешнюю политику России. В то же время он отнюдь не идеализировал положение. Даже в только что цитированном письме жене, говоря о послании, которое пришло от Горчакова в Москву в ответ на восхищенный рассказ Тютчева об успехе депеш министра, поэт сообщает, что это послание к нему «теперь ходит по городу. Оно... как исповедание веры не оставляло бы желать ничего лучшего, если бы была уверенность в том, что ему не изменят. Но, к сожалению, на это можно менее всего рассчитывать...».

В самом деле: в дальнейшем Тютчеву приходилось многократно и столь же напряженно бороться за осуществление своих внешнеполитических идей, вплоть до самой кончины. И он не раз терпел мучительные для него поражения.

По прошествии трех лет после описанных событий, 23 июня 1866 года, он напишет жене: «Я был сегодня утром у Горчакова, который опять удивил меня своей невероятной пустотой... И все остальные приблизительно такие же. Бедная наша страна!»

Нельзя не сказать, что Тютчев в этом своем приговоре был все-таки чрезмерно резок и несправедлив. Конечно, Горчаков не всегда мог проникнуться теми глубокими и масштабными политическими идеями, которыми стремился «заполнить» его сознание и направить его дипломатическую волю Тютчев. Но Горчаков далеко превосходил Тютчева как практический политик, как политик-реалист, хотя, без сомнения, тютчевские идеи и даже, если угодно, его политический идеализм играли свою немаловажную и, как представляется, необходимую роль для деятельности Горчакова. Об этом ясно свидетельствует постоянное стремление министра к тесному общению с Тютчевым, стремление, не только не ослабевавшее, но и возраставшее на протяжении семнадцати лет — с 1856 года (когда Горчаков стал министром) и до последних месяцев жизни Тютчева.

Но вернемся к лету 1863 года. Все, что делал тогда Тютчев, живо интересовало Елену Денисьеву. В мае — первой половине июня, когда поэт в Петербурге, тяжело больной, продолжал заниматься политическими делами, она почти неотлучно находилась рядом с ним. Георгиевский вспоминал, что «ей приходилось делить все свое свободное время между заболевшими ее детьми, которые жили на даче вместе с ее тетушкой на Черной речке... и домом Армянской церкви на Невском проспекте, где жил Федор Иванович... Ухаживая за Федором Ивановичем, она продолжала ему читать передовые статьи "Московских ведомостей" по установившемуся у них обычаю».

Впрочем, до нас дошли и самые прямые и точные свидетельства — несколько писем Елены Александровны сестре. 8 мая она писала о Тютчеве: «Вот уже неделю я ухаживаю за ним. Он был очень серьезно болен. Я сильно встревожилась и проводила дни и ночи около него (потому что семья его отсутствует) и уходила навестить моих детей лишь часа на два в день. Теперь, слава Богу, и он, и они поправляются и, если все будет продолжать идти хорошо, мы поедем все вместе в Москву, то есть он, Леля и я... Скажи Александру, что

я каждый день читаю Тютчеву “Московские ведомости”... и что мы ему очень признательны...» (речь идет о передовицах Александра Георгиевского, «внушаемых», как мы видели, поэтом).

«Федор Иванович опять заболел, и сильно, — пишет Елена Александровна 29 мая, — он в постели и не менее как на неделю... Я принуждена отправить детей на дачу с мамой... Если будешь писать мне, адресуй твои письма Федору Ивановичу, с передачею, — на Невском проспекте, против Гостиного двора, в доме Армянской церкви».

Около 20 июня Тютчев уехал в Москву, а за ним вскоре отправилась туда Елена Александровна, поселившаяся в квартире Георгиевских. Едва ли можно усомниться в том, что поэт тогда и, конечно, не только тогда постоянно говорил со своей возлюбленной о политических делах, переполнявших его душу. И это многим может показаться чем-то неестественным. Но не надо забывать, что для Тютчева самые злободневные политические события были необходимыми звеньями мировой истории, осязаемыми явлениями всемирно-исторического рока, образ которого постоянно присутствует в тютчевской поэзии.

Образ рока воплощен и в его творениях, посвященных последней его любви, и не будет натяжкой утверждение, что обе роковые стихии так или иначе соприкасались в мироощущении поэта. Вот почему нет ничего противоестественного в том, что для Тютчева не было отчуждающей грани между политическими и любовными переживаниями; они поистине переплетались в его душе, что вполне очевидно выступает в его письмах, говорящих о смерти Елены Денисьевой (о них еще пойдет речь). И летом 1863 года в Москве политика волновала Тютчева и Елену Александровну в равной мере.

Они вернулись в Петербург в августе. В самом конце 1863 года Эрнестина Федоровна возвратилась из Овстуга, и встречи Елены Александровны с Тютчевым стали более редкими. Но 10 мая 1864 года Эрнестина Федоровна с дочерью Марией уехала в Германию.

Тютчев все свободное время отдает Елене Александровне и их детям. Так, 5 июня она сообщила своей сестре: «Моя дочь и отец ее... каждый вечер едут вдвоем на Острова то в коляске... то на пароходике... и не возвращаются никогда раньше полуночи».

Двадцать второго мая Елена Александровна родила сына Николая. Сразу после родов у нее началось быстрое развитие туберкулеза. Она уже не могла путешествовать с Тютчевым и дочерью на Острова.

В июне Тютчев вынужден был на три недели уехать в Москву. А 10 июля его дочь Екатерина писала своей тетке Дарье, что он «печален и подавлен, так как Д. тяжело больна, о чем он сообщил мне полунамеками; он опасается, что она не выживет, и осыпает себя упреками... Со времени его возвращения из Москвы он никого не видел и все свое время посвящает уходу за ней. Бедный отец!».

Но и в эти мучительные недели Тютчев не мог отойти от политических дел. Как раз в июне — начале июля 1864 года Александр II вместе с Горчаковым находился в Германии, где вел переговоры с австрийским императором и прусским королем. Тютчев с большим волнением ожидал результатов этого события. Возвратившийся в Петербург Горчаков рассказывает поэту об удачном ходе переговоров. И в конце июля Тютчев пишет характерное для него «инструктивное» письмо Каткову, который должен поддержать верную внешнеполитическую линию в своей газете.

С глубоким удовлетворением Тютчев говорит в этом письме, что «при всех совещаниях с иностранными министрами и государями не было ни предложено, ни принято нами никаких обязательств, ни изустных, ни письменных, по какому бы то вопросу ни было, так что князь возвратился из-за границы, удержав за собою те самые условия полнейшей самостоятельности и неограниченной свободы действия, с какими он туда отправился...

Князь остается верен своему взгляду, а именно, что настоящая политика России — не за границею, а внутри ее самой: т. е. в ее последовательном, безостановочном развитии».

В заключение Тютчев писал: «Вот что поручено мне было Вам передать уже несколько дней тому назад, но я все это время жил и живу в такой мучительной, невыносимой душевной тревоге, что Вы, конечно, простите мне это невольное промедление».

В это время — что было хорошо известно и Каткову — поэт не отходил от тяжелобольной Елены Александровны. И все же он нашел в себе силы для этого четкого политического послания...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
1864—1873

Глава десятая
ОТЧАЯНИЕ И ВЕРА

В Россию можно только ***верить.***
Петербург, 1866

Четвертого августа 1864 года Елена Александровна скончалась на руках Тютчева. 7 августа он хоронил ее на Волковом кладбище в Петербурге.

На другой день после похорон он пишет в Москву Георгиевскому: «Пустота, страшная пустота... Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо...»

Через несколько дней, 13 августа, он умоляет Георгиевского: «О, приезжайте, приезжайте, ради Бога, и чем скорее, тем лучше!.. Авось либо удастся Вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя... Самое невыносимое в моем теперешнем положении есть то, что я с всевозможным напряжением мысли, неотступно, неослабно, все думаю и думаю о ней и все-таки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее...»

Шестнадцатого августа Георгиевский приехал и поселился в квартире Тютчева. «Для Федора Ивановича, — вспоминал он впоследствии, — было драгоценной находкой иметь такого собеседника, который так любил и так ценил его Лелю... так дорожил всеми подробностями ее характера, ее воззрений и всей богатой ее натуры».

Тютчев на протяжении долгого времени жадно стремился встречаться и с другими людьми, знавшими Елену Александровну; в разговорах с ними она, хоть в воображении, оживала для поэта. Он даже писал тогда: «Право, для меня существуют только те, кто ее знал и любил...»

Георгиевский рассказывает, как они три дня напролет говорили об усопшей Леле, как объездили все места в Петербурге, с ней связанные: «В этих беседах Федор Иванович по временам так увлекался, что как бы забывал, что ее уже нет в живых...» И все же это не могло облегчить его душу. Он собирался еще поехать в Москву, к сестре Елены Александровны Марии, но понял, очевидно, что и она не спасет его от отчаяния.

Еще до того как поэт обратился к Георгиевскому с просьбой приехать в Петербург, он отправил письмо Эрнестине Федоровне, находившейся с мая в Германии. Письмо это не сохранилось; в нем, надо думать, намеками было сказано о совершившемся. В ответных письмах жена звала мужа к себе. Они договорились встретиться в Женеве.

Накануне отъезда за границу Тютчев, узнав поздно вечером о том, что неподалеку в петербургской гостинице Кроассана находится Афанасий Фет, пожелал проститься с ним. Впоследствии Фет проникновенно воссоздал это ночное свидание в своих «Воспоминаниях»: «Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом с диваном, на котором он полулежал. Должно быть, его лихорадило и знобило в теплой комнате от рыданий, так как он весь покрыт был с головою темно-серым пледом, из-под которого виднелось только одно изнемогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел».

Уже после отъезда Тютчева за границу, 31 августа, его дочь Екатерина писала своей тетке Дарье: «Бедный папа! Он должен чувствовать себя таким одиноким теперь, и было бы счастьем, если мама смогла бы скрасить его жизнь своей привязанностью». В следующем письме она говорит, что отец «опасается при этом свидании некоторых царапин... Я надеюсь и даже уверена, что мама будет чудесной с ним в этот тяжелый момент, прежде всего по доброте сердечной, а затем потому, что это как раз повод привязать его к себе сильнее и серьезнее, чем когда бы то ни было».

Через три недели после смерти Елены Александровны Тютчев приехал к своей старшей дочери Анне, находившейся в Германии, в Дармштадте. Она была потрясена его состоянием, несмотря на то, что едва ли не более всех осуждала его любовь. «Папа только что провел у меня три дня — и в каком состоянии — сердце растапливается от жалости... — писала она сестре Екатерине. — Он постарел лет на пятнадцать, его бедное тело превратилось в скелет». В следующем письме Анна говорит, что отец «в состоянии, близком к по-

мешательству...». В это время в Дармштадте пребывал царский двор, с которым и приехала Анна, и ей было «очень тяжело видеть, как папа проливает слезы и рыдает на глазах у всех».

Прошло еще три с половиной месяца, и 20 января 1865 года Анна сообщает, что отец «безудержно... предается своему горю, даже не пытаясь преодолеть его или скрыть, хотя бы перед посторонними». В марте — то есть через семь месяцев после своей потери — он встретится с Тургеневым, который вспоминал потом, как Тютчев «болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшею от падавших на нее слез».

Все это подтверждает, что в письмах и стихотворениях поэта, говорящих о бездонности его горя, нет ни малейшего преувеличения. Он писал 8 декабря 1864 года поэту Полонскому — писал, не имея даже сил правильно выстроить фразу, — «что за этот бы день, прожитый с нею тогдашнею моею жизнью, я охотно бы купил, но ценою — ценою чего?.. Этой пытки, ежеминутно пытки — этого удела — чем стала теперь для меня жизнь... О, друг мой Яков Петрович, тяжело, страшно тяжело».

Да, все, что мы знаем о жизни Тютчева в течение многих месяцев после смерти его возлюбленной, свидетельствует о безусловной жизненной (а не только художественной) правде его созданных тогда трагедийных стихотворений, вошедших в сокровищницу мировой лирики. Необходимо только сказать об одном мотиве, являющемся в этих стихотворениях.

Поэт и в стихах, и в письмах, и в разговорах беспощадно винил самого себя в гибели возлюбленной. Уже приводился рассказ Тютчева в письме Георгиевскому (от 13 декабря 1864 года) о том, как он в свое время отказался исполнить просьбу Елены Александровны об издании книги его стихотворений с посвящением «Ей». Далее Тютчев писал: «За этим последовала одна из тех сцен, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке... О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие. Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так

и жизненные силы ее неистощимы, — и так пошло, так подло на все ее вопли и стоны отвечал ей этою глупою фразой: “Ты хочешь невозможного...”»

Георгиевский вспоминал, как поэт «жестоко укорял себя в том, что, в сущности, он все-таки сгубил ее и никак не мог сделать счастливой в том фальшивом положении, в какое он ее поставил. Сознание своей вины несомненно удесятеряло его горе и нередко выражалось в таких резких и преувеличенных себе укорах, что я чувствовал долг и потребность принимать на себя его защиту против него самого...».

Но необходимо осознать, что это беспощадное, «неумолимо-отчаянное» самообвинение — высокая правда души поэта, трагическая правда, которая принадлежит только ему одному.

...Еще не прошло и года с начала его любви, впереди было тринадцать с лишним лет счастья и муки, а он уже написал:

> О, как убийственно мы любим...

Тогда же, в 1851 году, он создает стихотворение, воплощающее ее голос:

> ...Он жизнь мою бесчеловечно губит,
> Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.
> . . . .
> Ох, я дышу еще, болезненно и трудно.
> Могу дышать, но жить уж не могу.

Так поэт видел тот «поединок роковой», который был для него явлением всеобщей трагедийности мира — мира, в котором его возлюбленная совершила свой подвиг

> Весь до конца в отчаянной борьбе, —

борьбе и с ним самим, ее возлюбленным.

Но не могут вызвать сочувствия те рассуждения о последней любви поэта, в которых ему более или менее ясно бросается обвинение в том, что он четырнадцать лет «убивал» свою Елену Александровну, ибо не женился на ней. Это перенесение трагедийной темы в чисто «бытовой» план закрывает от нас ее глубокую суть.

Тютчев прямо говорил, что он сгубил свою Лелю, что это «должно было неизбежно случиться». Но в мире, где это совершилось для него, его вина была подлинно трагической виной, которая реальна не в рамках бытовой мелодрамы (а к ней нередко и сводят любовь поэта), но в русле бытийственной трагедии. Именно в такой трагедии он был участником и виновником, и ее дух сквозил для него в самых частных и самых прозаических подробностях быта.

Из тютчевских писем и стихотворений достаточно ясно вырисовывается, что трагедия — даже и не в смерти как таковой. Трагедия была с самого начала, ибо

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!

И в другом стихотворении — о ее подвиге, совершенном «до конца в отчаянной борьбе», о ней

Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе...

Трагедийна сама эта любовь в своей беспредельности, в своей беззаветности, неизбежно ведущей к гибели. Но в человеке нет ничего выше этого подвига «смертных сердец»; ведь даже

...олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.

И смерть в тютчевском мире предстает, в сущности, как окончание, как вытеснение трагедии; остается только «страшная пустота»:

...мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней.

И поэт молит о том, чтобы трагедия — осталась:

О, Господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял ее, но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней, —
. . . .
По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.

Не только стихи, но и многие тогдашние письма поэта, обращенные к целому ряду людей, исполнены такой предельной откровенности, такой обнаженности души, которая вообще-то не была ему свойственна. В свое время дочь Анна записала о нем в дневнике: «...Будучи натурой скрытной и ненавидящей все, что носит малейший оттенок сентиментальности, он очень редко говорит о том, что испытывает». Теперь же поэт готов, кажется, до конца излить душу перед многими людьми.

Более того, впервые за четверть века с лишним (со времени кончины первой его жены) в нем пробуждается жела-

ние обратиться к церкви. Как уже говорилось, отношение Тютчева к религии и церкви было чрезвычайно сложным и противоречивым. Видя в христианстве почти двухтысячелетнюю духовно-историческую силу, сыгравшую громадную роль в судьбах России и мира, поэт в то же время пребывал на самой грани веры и безверия, что решительно отличало его от Гоголя, Достоевского и даже Толстого, который, при всем своем бунте против церкви, все же был безусловно верующим человеком.

Еще в 1830-х годах Тютчев написал стихотворение (опубликованное лишь после его смерти), в котором сказано:

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе!

В 1851 году, в одном из значительнейших своих стихотворений «Наш век», он говорил, что современный человек (то есть, конечно, и он сам, Тютчев) даже и

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

В своей биографии поэта Иван Аксаков, последовательно религиозный и церковный человек, очень стремившийся, кстати, так или иначе связать, сблизить Тютчева со славянофилами, — все же не мог, в силу своей честности, не сказать, что в отношении к религии Тютчев был очень далек от него самого и его единомышленников.

Даже о присущем поэту духовном смирении Аксаков писал, что оно представало «не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти *народное* свойство... с другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и постоянное же сознание своей личной нравственной немощи... Он возводил *смирение* на ступень философско-нравственного исторического принципа. Поклонение человеческому я было вообще, по его мнению, тем лживым началом, которое легло в основание исторического развития современных народных обществ на Западе». (Ярчайшее выражение этого Тютчев, как уже говорилось, видел в явлении бонапартизма.)

К этому следует добавить, что и в истории христианства поэт ценил прежде всего ту нравственно-историческую стихию, которая всецело противостояла «обожествлению чело-

веческого я»; потому он и отвергал католический «папизм» (но не — как мы еще увидим — католицизм вообще) и протестантство.

Аксаков недвусмысленно писал о поэте, что «его “пламень” не был в нем тем светлым “горением духа”, к которому призывают людей учителя христианства». Что же касается тютчевского восприятия церкви в собственном смысле слова, Иван Аксаков сказал об этом с полной определенностью: поэт «был совершенно чужд в своем домашнем быту не только православно-церковных обычаев и привычек, но даже и прямых отношений к церковно-русской стихии».

Речь идет — это надо подчеркнуть — именно о *личном,* коренящемся в самых глубинах духовного бытия, отношении Тютчева к церкви. Поэт достаточно часто присутствовал на церковных службах и церемониях, но не в качестве их прямого участника, а как созерцатель воплощающейся в них духовно-исторической силы. Выше приводился тютчевский рассказ о том, как в 1843 году он по просьбе матери стоял с ней перед знаменитой иконой Иверской Божьей Матери (в часовне у Красной площади).

Очень характерен и его рассказ в письме жене от 7 августа 1867 года: «Я в виде развлечения ездил к Троице присутствовать на юбилее митрополита Филарета Московского. Это действительно был прекрасный праздник, совсем особенного характера — очень торжественный и без всякой театральности... Маленький, хрупкий, изможденный до последней степени*, однако со взором, полным жизни и ума, он господствовал над всем происходившим вокруг него, благодаря бесспорной нравственной силе... Ввиду всего этого прославления он был совершенно прост и естествен и, казалось, принимал все эти почести только для того, чтобы передать кому-то другому — кому-то, чей он был только случайный уполномоченный. Это было очень хорошо. Это действительно было торжество духа... Во всех... подробностях чувствовался отпечаток Восточной Церкви. Это было величественно — и вполне серьезно».

Совершенно ясно, что Тютчев говорит здесь прежде всего о тысячелетней нравственно-исторической силе. Между тем Аксаков, зная, конечно, о таком тютчевском восприятии церкви, толковал его едва ли правильно. Тот факт, что Тютчев не «жил» в церкви, а только созерцал ее, Аксаков весьма неубедительно выводил попросту из его «заграничной

---

* Митрополиту было тогда восемьдесят пять лет.

долгой жизни в местах, где не было ни одного русского храма».

Что же касается «недостатка веры» в Тютчеве, Иван Аксаков попытался объяснить этот недостаток некой безнадежной слабостью его духа... Он заявил, что поэт мучился «сознанием недосягаемой высоты христианского идеала и своей неспособности к напряжению и усилию». Тютчеву, не без жесткого критического пафоса писал Аксаков, «не суждено было... обрести и того мира, который... дается лишь действием веры... равномерным, соответственным развитием и деятельностью в человеке всех его нравственных сил... Пустота в человеке, если не христианских верований, то христианских убеждений, каким был несомненно Тютчев, могла быть наполнена лишь одним высшим содержанием — деятельностью, — деятельностью не одной мысли, но и других нравственных сторон духа. Ум Тютчева парил в даль и в высь, в самых отвлеченных областях мышления, — а сам он, будто свинцовыми гирями, прикован был, как любят выражаться поэты, долу: немощью воли, страстями, избалованностью — ненавистницей работы и усилия».

Здесь, собственно, сразу два в общем-то различных по своей сути обвинения: Аксаков усматривает в жизненном пути Тютчева и недостаток действия всей цельности нравственных сил, которое одно могло бы привести поэта к истинной вере, и с другой — недостаток деятельности вообще.

Что касается первого обвинения, Иван Аксаков, как ни странно, сам себе исчерпывающе ответил в следующей меткой характеристике жизни тютчевского духа: «Как обозначить край познаванию истины? Как удержать пытливость бдящего духа?.. Он не мог ни загасить, ни ослабить сжигавшего его пламени, ни смирить тревожных запросов мысли, — он не мог удовлетвориться дешевою сделкою между постигаемым и непостижимым...» Про таких людей, каким был сам Аксаков, можно бы сказать, что они обретали это «удовлетворение», но Тютчев действительно не мог его обрести...

Второе обвинение — в «недостатке деятельности вообще» — обусловлено тем, что Аксаков и Тютчев совершенно различно относились к самому понятию «деятельность», о чем еще будет речь.

Беззаветной и поистине сжигающей была вера Тютчева в Россию, так мощно и проникновенно воплотившаяся в его поэзии. Эта вера, вспыхнувшая еще в отроческой душе в 1812 году, расширялась и углублялась на протяжении всей жизни поэта. Ни в коей мере не закрывая глаз на темные и больные стороны современной ему действительности, он все

более уверенно прозревал неиссякаемые нравственные первоосновы русского народного бытия и сознания.

Тютчев вовсе не склонен был идеализировать «темную толпу непробужденного народа», о которой он писал в 1857 году в Овстуге:

...Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,
Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет...

И тем не менее именно в толще народа он чуял свет непобедимого стремления к высшему нравственному идеалу. В том же 1857 году он говорил (в письме жене от 13 мая) про народные толпы перед Троице-Сергиевой лаврой, «стекающиеся туда пешком изо всех углов и со всех пределов этой необъятной страны. Да, если существует еще Россия, то она там и только там».

В тютчевской несокрушимой вере в Россию — народную Россию — ни в коей мере не было националистического возвеличивания своей страны, ибо поэт искал в русском народе те нравственные ценности, которые имеют заведомо всечеловеческое, всемирное значение.

Еще в своей статье 1844 года «Россия и Германия» поэт усматривал истинное и высшее проявление русской народной воли в том, что победа 1812 года принесла национальное освобождение не только русскому, но и германскому народу. Тютчев писал: «Только одно слепое невежество, умышленно отводящее свои взоры от света, может ныне отвергать эту великую истину», — ибо разве не Россия «восстановила целую народность, целый мир, готовый пасть? Не она ли призвала его к жизни самобытной, не она ли вернула ему его самостоятельность и организовала его?.. Она всегда сумеет воспрепятствовать тому, чтобы виновники политических опытов успевали отторгнуть или совратить целые народности от центра их установившегося единства и затем перекроить их по воле своих бесчисленных фантазий как предметы неодушевленные.

Позволительно утверждать с историей в руках, — продолжал Тютчев, — что в политических летописях вселенной трудно было бы указать на другой пример союза столь глубоко нравственного, как тот, который связует в продолжение тридцати лет Германию с Россией, и, благодаря именно этому великому началу нравственности, он был в силах продолжаться, разрешил многие затруднения, преодолел немало препятствий».

В этом размышлении поэта с полной ясностью обнаруживается его понимание русского нравственного идеала. «Великое начало нравственности» Тютчев видит не в том, чтобы хоть в каком-либо отношении возвышаться над другими народами и тем более пытаться «перекраивать» их судьбы, но в том, чтобы воспринимать их как существа «одушевленные» и способствовать расцвету их «самобытной жизни».

Именно в такое нравственное величие русского народа и верил поэт. Он говорил, что «нигде, кроме России, не встретишь такого непосредственного христианства, такого самородного христианства, таких индивидуальностей, которые не становятся христианскими, а рождаются ими. Это подобно прекрасным голосам в Италии».

Вполне естественно, что поэту было чуждо и враждебно то «неверие» в Россию, та «нелюбовь» к ней, которые достаточно характерны для ряда его современников. 26 сентября 1867 года Тютчев писал дочери Анне: «Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей... Раньше (имеется в виду время Николая I. — *В. К.*) они говорили нам, и они действительно так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т. д. и т. п., что именно бесспорным наличием в ней всего этого им и нравится Европа... А теперь что мы видим? По мере того как Россия, добиваясь большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. Они никогда так сильно не ненавидели прежние установления, как ненавидят современные направления общественной мысли в России (имеются в виду направления мысли патриотического характера. — *В. К.*). Что же касается Европы, то, как мы видим, никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации нисколько не уменьшили их расположения к ней... Словом, в явлении, о котором я говорю, о принципах как таковых не может быть и речи, действуют только инстинкты...»

Тютчевские вера и любовь к России с годами все возрастали. Он постоянно — особенно в последние годы жизни — вглядывался в лик родной земли во всем объеме этого понятия. В июне 1868 года он совершает плавание на пароходе по Волхову через Новгород и пишет дочери Анне (27 июня; отрывок из этого письма уже приводился): «Весь этот край, омываемый Волховом, — это начало России... Среди этих беспредельных, бескрайних просторов... ощущаешь, что именно здесь — колыбель Исполина».

На следующий год шестидесятишестилетний поэт едет в

древний Курск, откуда пишет жене (26 июля): «Ты, конечно, не ожидала получить от меня письмо, помеченное Курском?.. Я ничуть не сожалею о своей долгой остановке в Курске... Вот еще одно из тех мест, которое — не будь оно в России — давно бы уже служило предметом паломничества... Расположение его великолепно и смутно напоминает окрестности Флоренции...»

Из Курска Тютчев отправился в Киев, а затем — в свой Овстуг; 12 августа 1869 года он писал отсюда Майкову, что Киев «оказался принадлежащим к той редкой категории впечатлений, которые оправдывают чаемое. Да, замечательная местность, закрепленная великим прошедшим и, очевидно, предназначенная для еще более великого будущего. — Тут бьет ключом один из самых богатых родников истории».

Но возвратимся к немыслимо мучительной для поэта поре. А. И. Георгиевский вспоминал, как 16 августа 1864 года, через неделю после похорон Е. А. Денисьевой, он приехал к Тютчеву: «Я много думал о том, как бы мне размыкать его горе; дело это было очень нелегкое, тем более что Федор Иванович, глубоко понимая все значение религии в жизни отдельных людей и целых народов и всего человечества и высоко ценя и превознося нашу Православную Церковь, сам был человек далеко не религиозный и еще менее церковный: никакие изречения из Священного Писания или из писаний Отцов Церкви, столь отрадные для верующего человека и столь способные поддержать и возвысить его дух, в данном случае не оказались бы действенными».

Покинув в двадцатых числах августа Петербург, Тютчев приехал, как мы помним, в Дармштадт, к Анне. Здесь он — очевидно, не без энергичного воздействия дочери, — все же решился обратиться за утешением к церкви — исповедаться и причаститься. «Господь даровал мне великую милость, — писала Анна сестре Екатерине. — Он (отец. — *В. К.*) решился поехать в Висбаден* говеть, чего не делал вот уже 26 лет...** Ах, помолитесь хорошенько за папу, чтобы Господь вырвал эту душу из мрака отчаяния. Он так нежен, так кроток, так разбит, что Господь Бог должен послать ему эту милость, эту Веру, которая поднимает и утешает. Молитесь, молитесь за него». Однако на следующий же день Анна была вынуждена

---

* В это время в Висбадене, где была православная церковь, находился хорошо знакомый поэту священник Янышев.

** Двадцать шесть лет назад умерла первая жена поэта, Элеонора.

сообщить, что «папа не решился говеть, что он в состоянии, близком к помешательству, что он не знает, что делать».

Пятого сентября Тютчев приехал в Женеву, где его ждала Эрнестина Федоровна. По словам очевидицы, «они встретились с пылкой нежностью». Под воздействием этой встречи Тютчев на какое-то время не то чтобы успокоился, но словно бы примирился со своей страшной потерей. 15 сентября он в непривычном для него тоне пишет дочери Дарье, к которой он был наиболее близок душевно (о чем не раз говорил сам): «Моя милая дочка, через несколько часов иду на исповедь, а затем буду причащаться. Помолись за меня! Попроси Бога ниспослать мне помилование, помилование, помилование. Освободить мою душу от этой страшной тоски, спасти меня от отчаяния, но иначе, чем забвением, — нет, не забвением... Или чтобы в Своем милосердии Он сократил испытание, превышающее мои силы... О, да вступится она сама за меня, она, которая должна чувствовать смятение моего духа, мое томление, мое отчаяние, — она, которая должна от этого страдать, она, так много молившаяся в своей бедной земной жизни, которую я переполнил горестями и скорбями и которая никогда, однако, не переставала быть молитвой, слезной молитвой перед Богом.

О, да дарует мне Господь милость, дозволив сказать через несколько часов с тем же чувством, с каким — я слышал, — она ясно произнесла эти слова накануне своей смерти: "Верую, Господи, и исповедую..."

Сегодня шесть недель, что ее нет...»

Дарья вместе с Екатериной приехала 28 сентября в Женеву, чтобы поддержать отца своим участием. На следующий день Екатерина писала тетке: «Он говел, чувствует всю привязанность мамы к нему, глубоко заранее благодарен, но порой его душит невозможность делиться с ней воспоминаниями о столь недавнем прошлом...»

Однако это примирение с трагедией было недолгим. Тютчев даже не смог сохранить его видимость перед Эрнестиной Федоровной. Она рассказывала много позднее, что видела тогда мужа плачущим так, как ей никого и никогда не доводилось видеть плачущим. Но высота ее души была поразительной. «Его скорбь, — говорила она, — для меня священна, какова бы ни была ее причина».

Шестого октября поэт пишет Георгиевскому: «Не живется, мой друг, не живется... Гноится рана, не заживает. Будь то малодушие, будь то бессилие, мне все равно... Только и было мне несколько отраднее, когда, как, например, здесь с Петровыми, которые так любили ее, я мог вдоволь об ней наговориться».

Речь идет о семье тогдашнего русского священника в Женеве, которому Тютчев как раз и исповедовался; может быть, поэт только потому и сумел это совершить, что имел дело с человеком, хорошо знавшим и ценившим Елену Александровну.

Проходит еще два месяца с лишним, и поэт 8 декабря пишет Полонскому: «Друг мой, теперь все испробовано — ничто не помогло, ничто не утешило, — не живется — не живется — не живется... Одна только потребность еще чувствуется. Поскорее торопиться к вам, туда, где что-нибудь от нее осталось... меня тянет в Петербург, хотя и знаю и предчувствую, что и там... но не будет по крайней мере того страшного раздвоения в душе, какое здесь... Здесь даже некуда и приютить своего горя. Мне бы почти хотелось, чтобы меня вытребовали в Петербург именем нашего комитета» (Комитета цензуры иностранной. — *В. К.*).

Миновало уже около полугода со дня смерти Елены Александровны, а дочь поэта Анна сообщает сестре Екатерине (20 января 1865 года), что он «безудержно... предается своему горю, даже не пытаясь преодолеть его или скрыть... обижен на всех нас, и на меня особенно, за отсутствие сочувствия... Но встать на его точку зрения я не могу».

Несколько позднее Анна писала об отце, что «его горе, все увеличиваясь, переходило в отчаянье, которое было недоступно утешениям религией... Я не могла больше верить, что Бог придет на помощь его душе, жизнь которой была растрачена в земной и незаконной страсти». И Анна пришла к выводу, что теперь, после смерти Елены Александровны, поэту «самому недолго осталось жить».

Это было не только ее мнение. И во многих позднейших сочинениях о поэте годы, последовавшие за его страшной потерей, рассматриваются как неотвратимое умирание, чуть ли не как затянувшаяся агония, хотя дело идет ни много ни мало о девяти годах. Внимательное и объективное изучение жизни Тютчева в последнюю пору убеждает, что такое представление ложно. Конечно, это был эпилог его жизненной драмы, но эпилог по-своему не менее содержательный, не менее значительный, чем предшествующая судьба поэта.

Как это ни удивительно, даже в первый год после кончины Елены Александровны Тютчев, при всем своем безграничном отчаянии, продолжал мыслить, творить, действовать.

И можно утверждать, что Тютчева спасла от отчаяния его вера в Россию, вера, побуждавшая его к деятельности.

В конце ноября — начале декабря 1864 года Тютчев написал в Ницце полные безнадежного отчаяния стихи:

...Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

Поэт посылает эти стихи Георгиевскому для опубликования в журнале «Русский вестник». А двумя днями ранее он пишет ему же: «Одно только присуще и неотступно, это чувство беспредельной, бесконечной, удушающей пустоты». Однако в том же самом письме, продолженном Тютчевым на следующий день, 12 декабря, он утверждает, что «одна только деятельность могла бы спасти меня — деятельность живая, серьезная, не произвольная...». И тут же со всей ясностью говорит, какую деятельность он имеет в виду. Тютчев пишет, что можно действовать лишь при условии, если слышишь, как «осязательно бьется пульс исторической жизни России».

Он утверждает — быть может, отчасти перенося на других людей то, что со всей остротой испытывает сам: «Странное явление встречается теперь между русскими за границею, как бы в смысле реакции противу общего стремления, — это сильнейшая, в небывалых размерах развивающаяся тоска по России при первом столкновении с нерусским миром». И далее говорится о сегодняшней России, — как она воспринимается издали: «То, чему доселе приписывали одну материальную Силу, оказывается чем-то живым, органическим, мыслящею, нравственною Силою. Гора не только тронулась с места, но и пошла, и идет, как человек».

Тютчев дает здесь чрезвычайно верную оценку тогдашнего духовного движения в России; достаточно напомнить, что именно в тот момент, в середине 1860-х годов, начался высший расцвет творчества Толстого (в 1863-м он приступил к созданию «Войны и мира») и Достоевского (в 1865-м начато «Преступление и наказание»). Разумеется, Тютчев не имел в виду эти творения как таковые, он писал о состоянии русской духовной культуры в целом; но явление «Войны и мира» и «Преступления и наказания» осязаемо подтвердило верность его ви́дения современной России.

Через два года с небольшим, 16 февраля 1867 года, Эрнестина Федоровна напишет своему брату Карлу, который советовал ей уговорить Тютчева получить назначение на дипломатический пост за границей: «Мой муж не может больше жить вне России, величайший интерес его ума и величайшая страсть его души — это следить день за днем, как разверты-

вается духовная работа на его родине, и эта работа действительно такова, что может поглотить всецело...»

Лишь сознавая все это, мы сможем верно понять Тютчева, который в своих исполненных предельного отчаяния письмах конца 1864-го — начала 1865 года не перестает горячо обсуждать политическое положение России. Так, в письме Георгиевскому от 6 октября, утверждая, что «страшной пустоты... ничего не наполнит», что его «жизнь утрачивает способность возродиться, возобновиться», Тютчев тут же с обычной страстностью говорит о внешнеполитических статьях Георгиевского, о близящейся встрече Александра II с Наполеоном III, результаты которой чрезвычайно его заботят, и он, как обычно, стремится воздействовать на находившегося тогда поблизости, в Швейцарии, Горчакова и т. д. и т. п.

Он пишет о своих надеждах на то, что в предстоящих переговорах «мы удержим за собою... всю нашу политическую самостоятельность». И уже написав это, Тютчев как бы спохватывается: «Но довольно. Мочи нет притворяться, скрепя сердце, говоря с участием о том, что утратило для меня всякое значение. Боже мой, Боже мой, все это было хорошо при ней...» — так заключает Тютчев, лишний раз свидетельствуя о причастности Елены Денисьевой к его политическим страстям.

В одном из следующих писем Георгиевскому (от 11—12 декабря) поэт, высказав свое восхищение Россией, которая предстает «чем-то живым, органическим, мыслящею, нравственною Силою», опять-таки перебивает самого себя: «...Довольно, довольно гальванизировать мою мертвую душу. Воскресить ее невозможно».

Но душа поэта постоянно вбирала в себя эту живую и мыслящую, нравственную силу родины. И уже 21 декабря Тютчев создает стихотворение о появившейся тогда энциклике (послании) римского папы Пия IX, осудившей как «заблуждение» свободу совести. В глазах поэта это было вопиющим антинравственным актом, и он сравнивал папу (его называли, по ветхозаветной традиции, первосвященником) с иерусалимским первосвященником, который обрек на позорную казнь взывавшего к свободе совести Христа:

Был день, когда Господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм,
И собственным мечом своим заколот
В нем издыхал первосвященник сам.
Еще страшней, еще неумолимей
И в наши дни — дни Божьего суда —
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа...

Через много лет Георгиевский, говоря о созданных поэтом в 1864 году стихах памяти Елены Денисьевой, не без глубокого удивления вспоминал тютчевские «быстрые переходы от личных чувств скорби и даже отчаяния к общим интересам политическим и литературным, и наоборот, и в поэтическом его творчестве почти одновременно с теми скорбными стихотворениями появлялись другие, проникнутые совсем иными настроениями... — стихи о папской энциклике».

Уехав, как мы помним, в конце августа 1864 года за границу, где он надеялся найти успокоение, Тютчев уже к началу декабря со всей остротой чувствует тоску по родине. Но в январе он тяжело заболел воспалением легких и только 26 марта 1865 года смог вернуться в Россию.

В Петербурге — что было естественно — его с новой силой пронзает память об ушедшей возлюбленной, и сразу же после приезда он создает одно из самых своих трагедийных стихотворений — «Есть и в моем страдальческом застое...».

Еще в декабре 1864 года Тютчев писал о владеющей им потребности «торопиться... туда, где еще что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но все это так живо, так полно ею».

Дочь Тютчева и Елены Александровны, Елена, которой было уже около четырнадцати лет, находилась в частном пансионе; четырехлетний Федя и десятимесячный Коля жили у своей двоюродной бабки, А. Д. Денисьевой. Народное поверье, согласно которому беда не приходит одна, сбылось, и вскоре после возвращения Тютчева у Елены открылась скоротечная чахотка. 2 мая 1865 года она скончалась. На следующий день от той же болезни умер Коля. Всего год назад Тютчев каждый вечер ездил гулять на острова между Большой и Малой Невками с Еленой, которую, по словам Георгиевского, он «особенно любил и даже баловал вопреки иногда требованиям педагогики...».

Похоронив детей рядом с Еленой Александровной, Тютчев выражает свое душевное состояние в стихах, внешне сдержанных, но в которых он, пожалуй, единственный раз как бы отрицает весь мировой строй, вопрошая о том, отчего

...от земли до крайних звезд
Все безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянной протест?

Семнадцатого мая он пишет Георгиевскому, словно не имея сил прямо сказать о смерти детей: «Последние события

переполнили меру и довели меня до совершенной бесчувственности. Я сам себя не сознаю, не понимаю...»

Тютчев упросил дочь Анну взять к себе единственного оставшегося ребенка, Федю. Позднее он писал Анне (13 октября 1870 года), что передает ей «15 200 рублей из капитала, который... предназначаю для Феди... доход с него (капитала. — *В. К.*), 51/2 процента, будет идти на содержание Феди в учебном заведении». Через неделю Тютчев пишет ей же об устройстве судьбы Феди*: «Я, покидая этот мир, буду ощущать одним уколом совести меньше».

В течение нескольких месяцев после смерти детей Тютчев был снова погружен на самое дно отчаяния. 29 июня 1865 года он писал сестре Елены Александровны: «...Не было ни одного дня, который я не начинал без некоторого изумления, как человек продолжает еще жить, хотя ему отрубили голову и вырвали сердце».

Ранее, 30 мая, он написал ответ на посвященное ему стихотворение Полонского, опубликованное в некрасовском «Современнике»:

Нет боле искр живых на голос твой приветный —
Во мне глухая ночь, и нет для ней утра...
И скоро улетит — во мраке незаметный —
Последний, скудный дым с потухшего костра...

Вероятно, что возвращение Тютчева к жизни совершилось во время поездки в родной Овстуг, куда он отправился 24 июля. Во всяком случае, возвратившись в сентябре в Петербург, он с присущей ему беспощадностью к себе пишет сестре Елены Александровны о своем посещении тетки покойной, Анны Дмитриевны: «...Я пил у нее чай... как во время оно. Жалкое и подлое творенье человек с его способностью все пережить».

Поездка в Овстуг в 1865 году не могла не быть впечатляющим событием для поэта. Будучи погружен в захватывающую его политическую деятельность и, кроме того, не желая расставаться с Еленой Александровной, Тютчев не был на родине восемь лет, с 1857 года (как раз в этом году он стал ближайшим сподвижником Горчакова). И месяц в Овстуге, по-видимому, сыграл целительную роль.

---

* Федор Федорович Тютчев стал офицером и военным писателем, участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, за храбрость был награжден многими боевыми орденами и именным георгиевским оружием. Умер полковник Тютчев после тяжелых ранений в 1916 году в прифронтовом госпитале.

Дорогой 3 августа Тютчев создает одно из высших своих творений, названное им очень просто: «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»*. Утром он выехал из Москвы в Овстуг по Калужской дороге. По всей вероятности, вечером, пока на одной из станций перепрягали лошадей, он пошел вперед по дороге. Это было привычно для тогдашних путешественников (так часто поступал и Пушкин) — отправиться пешком после утомительных часов в коляске, которая потом догоняла путника.

Скорее всего так и было: Тютчев шел по дороге, и в такт шагам — что ясно чувствуется в ритмике стихотворения — сами собой слагались строки:

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?
Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?
Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Подобно многим другим высшим созданиям поэта, перед нами не столько стихотворение о скорбном событии в жизни Тютчева — годовщине смерти Елены Денисьевой, — сколько само это событие. Стихи не рассказывают о том, что пережил Тютчев 3 августа в дороге между Москвой и Овстугом, но являют собой *само* это переживание как таковое. Они предстают в качестве естественной формы, органического воплощения этого переживания, а не как вторичное «отражение» чего-то, совершившегося в иной форме. И в этом тайна гениального обаяния и силы внешне «бесхитростного» стихотворения. Шаги поэта затерялись на дороге где-то между Москвой и Калугой, но событие, свершившееся там, нетленно.

В сравнении со стихами о смерти возлюбленной, созданными поэтом ранее, в ноябре 1864-го — июле 1865 года, — «О этот Юг, о, эта Ницца...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Есть и в моем страдальческом застое...», «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...» и других, — в стихотворении «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» звучит мелодия скорбного примирения.

---

* См. подробный разбор этого стихотворения в кн.: *Кожинов В.* Стихи и поэзия. М., 1980.

После месяца в Овстуге Тютчев вновь весь отдается тому, что он сам определил как служение России. Откликаясь стихами в следующем, 1866 году на столетие со дня рождения Карамзина, поэт сказал, что тот умел до конца быть «верноподданным России». Когда цензура запретила это выражение (оно имело, в сущности, вызывающий смысл, так как полагалось быть верноподданным царя, а не России), Тютчев заменил его словами о том, что Карамзин умел «до конца служить России». Эта строка не понравилась Аполлону Майкову, и он предложил вариант «сыном искренним России».

Тютчев решительно не согласился с этим. «Что такое искренний сын России? Все это не по-русски. Главное тут в слове служить, этом, по преимуществу, русском понятии — только кому служить?» — писал поэт, видя высшее назначение именно в том, чтобы служить России.

С осени 1865 года Тютчев снова всецело посвятил себя многообразной деятельности в сфере русской и мировой внешней политики. Он вновь постоянно стремится воздействовать на Горчакова и других государственных деятелей, не исключая самого царя, внушать свою позицию влиятельным органам печати, формировать общественное мнение по внешнеполитическим вопросам и т. п.

Но мы еще будем подробно говорить о внешнеполитической деятельности поэта в 1866—1873 годах. Теперь же следует коснуться той стороны тютчевского бытия последних лет, которая неразрывно связана с памятью о Елене Денисьевой. Уже шла речь о том, что через год после ее гибели поэт в какой-то мере преодолел свое отчаяние. Но все же чувство мучительной пустоты мира продолжало томить его. 23 ноября 1865 года Тютчев записывает стихи:

Нет дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала б о былом,
Искала слов, не находила,
И сохла, сохла с каждым днем...

Эту томящую пустоту так или иначе заполнила своего рода иллюзия любви к женщине, которая была близкой подругой Елены Денисьевой. Она носила то же имя, и ее судьба во многих отношениях совпадала с судьбой Елены Александровны.

Елена Богданова, урожденная баронесса Услар (1822—1900), училась вместе с Еленой Денисьевой в Смольном институте. При этом ее тетка, как и тетка Денисьевой, была

инспектрисой института. Тютчев познакомился с Еленой Богдановой, по всей вероятности, тогда же, когда он узнал Елену Денисьеву. И после смерти возлюбленной Тютчев, конечно, ценил возможность говорить о ней со столь давно и хорошо знавшей ее женщиной. И в конце 1865-го или начале 1866 года Тютчев стал постоянно встречаться с Еленой Богдановой.

Судьба ее была весьма драматичной. В 1847 году она вышла замуж за немолодого (ровно на двадцать три года старше ее — как и Тютчев своей Елены) инженера, генерал-майора Фролова. Но через шесть лет он умер от холеры, оставив ей сына и дочь. Спустя несколько лет она вышла замуж снова, однако брак завершился совсем уж печально — запутавшись в коммерческих предприятиях, второй ее муж, Богданов, в 1863 году покончил жизнь самоубийством.

Елена Богданова была высокообразованной и даровитой женщиной. Среди ее друзей — Гончаров, Апухтин, видный литератор Никитенко и др. Ее родной брат Петр Услар, офицер Генерального штаба, сыграл большую просветительскую роль на Кавказе; в Абхазии, например, его и сегодня высоко чтут как основоположника абхазской письменности. Тютчев не раз встречался с Усларом в доме его сестры.

Отношения Тютчева к Елене Богдановой выражались в своего рода поклонении, которое продолжалось до самого конца его жизни. Но в этом «культе» явно было нечто искусственное: привязанность поэта к этой уже далеко не молодой женщине воспринимается только как средство заполнить «пустоту». В сохранившихся письмах поэта к Елене Богдановой даже есть привкус пародийности, заставляющий прийти к выводу, что серьезного, сильного чувства здесь не было и все сводилось к стремлению создать видимость такого чувства.

Сокровенная жизнь души поэта по-прежнему принадлежала Елене Денисьевой. Через четыре года после ее смерти, когда душа Тютчева, казалось бы, была занята Богдановой, он написал:

Опять стою я над Невой,
И снова, как в былые годы,
Смотрю и я, как бы живой,
На эти дремлющие воды.
. . . .
Во сне ль все это снится мне
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели?

Глава одиннадцатая

СЛУЖЕНИЕ РОССИИ

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда...

Петербург, 1866

К середине 1860-х годов Тютчев занял очень весомое место во внешнеполитической жизни России; его роль на этой арене трудно переоценить. И дело было, конечно, не в том факте, что 30 августа 1865 года он был произведен в тайные советники, то есть достиг третьей, а фактически даже второй ступени в государственной иерархии (к первому чиновному классу принадлежал — да и то только с 1867 года — всего лишь один человек — канцлер Горчаков); главная деятельность поэта развертывалась, так сказать, на неофициальных путях. Он сумел стать ближайшим и незаменимым личным (а не просто служебным) сподвижником Горчакова.

Еще 29 мая 1861 года дочь поэта Дарья писала Эрнестине Федоровне: «Мы каждый день ждем папу. Все спрашивают у меня, когда он приедет, особенно князь Горчаков, который поручил мне передать ему, чтобы папа к нему зашел тотчас по приезде». Позднейшие взаимоотношения поэта и министра ясно раскрываются в тютчевском письме Эрнестине Федоровне от 14 июня 1867 года, рассказывающем о торжестве по случаю пятидесятилетней годовщины дипломатической службы Горчакова. На церемонии была прочитана, сообщал поэт, «телеграмма Государя, объявляющая юбиляру о даровании ему звания государственного канцлера... Я смотрел на доброе лицо этого бедного милого старика, достигшего вершины почестей и не могущего ожидать ничего более в этом роде, кроме великолепных похорон, подобающих канцлеру. Он с трудом удерживал слезы... Когда я подошел к нему с поздравлением, мы обнялись как два бедняка».

Как уже говорилось, политическая деятельность Горчакова не раз вызывала раздражение и даже возмущение поэта. 29 сентября 1868 года в письме Ивану Аксакову Тютчев дал поистине замечательную характеристику слабостей Горчакова. Речь шла об отношениях с римским папством, которое было, по убеждению поэта, непримиримым тысячелетним врагом России*.

---

* Правота этого убеждения доказана в ряде исследований (см., например, фундаментальную книгу: *Рамм Б. Я.* Папство и Русь в X—XV веках. М.; Л., 1959).

Нужно знать, что еще 10 января 1867 года Горчаков опубликовал дипломатический циркуляр, в котором решительно осуждалась антирусская деятельность Рима. Тютчев в тот же день отправил Горчакову письмо, приветствующее появление этого документа. «При чтении его, — писал поэт, — передо мной как бы более ясно предстало все значение Вашей действительной исторической миссии. Вы, очевидно, были призваны внести новое начало в дело мира, новую и весьма значительную силу, духовную силу России. Вам будет принадлежать честь ее образования и обращения в политическую силу, а это — огромное событие».

Однако не прошло и двух лет, как Тютчев в разговоре с Горчаковым понял, что в канцлере возникает «поползновение к сближению с Римским двором». Поэт пишет Аксакову 29 сентября 1868 года: «Странно, невероятно, немыслимо, но оно так!» Он ставит следующий вопрос: «Отчего в наших правительственных людях, даже лучших из них, такая шаткость, такая податливость, такая неимоверная, страшная несостоятельность?» И дает предельно четкий ответ, утверждая, что все они «очень плохо учили историю, и потому нет ни одного вопроса, который бы они постигали в его историческом значении, с его исторически-непреложным характером».

Сам Тютчев, о чем уже не раз говорилось, был весь проникнут Историей. Он прекрасно знал, в частности, весь тысячелетний опыт отношений России и Рима, и современные события были для него звеньями десятивековой цепи. Он понимал, что «мир» с папским Римом невозможен.

Поэт нередко приходил в отчаяние от того отсутствия национально-исторического сознания, с которым ему приходилось постоянно сталкиваться в правительственных кругах. Но он непрерывно и неустанно стремился заполнить эту пустоту, внушить Горчакову и другим свое понимание задач и места России в мире. И это ему, как можно судить по результатам, нередко удавалось (в частности, Горчаков прекратил свои попытки вступить в сомнительный союз с папством).

Для осуществления своих целей Тютчев прибегал к самым разнообразным, подчас способным даже удивить путям и средствам. Он стремился использовать всё — и деловые совещания, и салонное остроумие, и задушевные беседы. Он писал десятки писем, обращенных и к государственным деятелям, и к влиятельным придворным дамам, и к своим родственникам и друзьям, которые имели возможность воздействовать на печать или непосредственно на власть.

В этих своих усилиях Тютчев поистине ничем не пренебрегал. Выше шла речь о его крайне отрицательном отношении к министру внутренних дел Тимашеву. Рассказывая в письме дочери Анне (4 сентября 1869 года) о встрече с этим министром, он заметил: «Мы старательно избегали говорить о делах, что является единственным, по-моему, для нас способом ладить друг с другом и т. д. и т. п.». Между тем другая, младшая дочь поэта, Мария, записала в дневнике 22 апреля 1868 года: «Сегодня папа продиктовал мне анонимное письмо Тимашеву, объясняющее, что вопрос свободы совести — один из важнейших вопросов будущего». По-видимому, эта, мягко говоря, необычная акция тайного советника Тютчева была бесполезной, и едва ли он сам не сознавал это. Тем не менее он не мог не совершить этой попытки воздействия на того, кого считал законченным «негодяем».

Мы уже видели, что даже в тяжелейшие месяцы после кончины Елены Денисьевой поэт продолжал свою политическую деятельность. Он не прекратил ее и на самом пороге собственной смерти...

Поскольку почти вся эта деятельность имела «неофициальный» характер, чрезвычайно трудно выявить ее реальные плоды. В работах, касающихся политической деятельности Тютчева, не раз высказывалось мнение, что плоды эти были не очень уж значительными. Однако показателен уже тот факт, что в большинстве новейших советских исследований, посвященных внешнеполитическим проблемам 1850—1870-х годов, так или иначе упоминается имя Тютчева. При этом, правда, почти ничего не говорится о значительности его роли в событиях. Но, как уже отмечалось, Тютчев и не мог и не хотел хоть как-либо обнаруживать свою роль. Эрнестина Федоровна писала о муже еще в 1850 году (1 января): «...Честолюбие отнюдь ему не свойственно. Можно сказать даже, что он слишком мало присущ ему — этот недостаток, столь распространенный среди людей».

Чтобы раскрыть реальную роль Тютчева, необходимо всесторонне и тщательно изучить едва ли не все внешнеполитические перипетии 1850-х — начала 1870-х годов, для чего, естественно, понадобилась бы особая очень обширная книга. Здесь нам придется ограничиться лишь отдельными соображениями.

В обобщающей работе, написанной одним из ведущих современных специалистов в этой области — Н. С. Киняпиной, — «Внешняя политика России второй половины XIX века» (М., 1974), — показано, что в результате Крым-

ской войны Россия «утратила руководящую роль в международных делах... Верховенство в Европе перешло из Петербурга в Париж»*, — писал об этом времени К. Маркс.

Далее Киняпина констатирует, что «основным направлением внешней политики русского правительства во второй половине XIX века оставался восточный вопрос, содержание которого сводилось к борьбе за отмену ограничительных условий Парижского мира 1856 г.» (то есть за ликвидацию тяжких последствий поражения России в Крымской войне). Чтобы достичь этой цели (а она действительно была достигнута в 1870 году), пишет исследовательница, «Горчаков предлагал обратить внимание на внутренние дела и отказаться от активных действий вовне... Через десять лет после окончания Крымской войны (то есть в 1865 году. — *В. К.*) в докладе Александру II Горчаков заявил: “При современном положении нашего государства и Европы вообще главное внимание России должно быть упорно направлено на осуществление дела нашего внутреннего развития и вся внешняя политика должна быть подчинена этой основной задаче”».

Вместе с тем на собственно международной арене, пишет Н. С. Киняпина, «главной задачей внешней политики России 1856—1871 гг. была борьба за отмену ограничительных статей Парижского мира. Россия не могла мириться с положением, при котором ее черноморская граница оставалась незащищенной... Экономические и политические интересы страны... требовали отмены нейтрализации Черного моря... решить эту задачу... следовало не военным, а дипломатическим путем, используя противоречия европейских держав».

Так через столетие историк обрисовывает важнейшие задачи русской внешней политики конца 1850-х — начала 1870-х годов. Но многочисленные документы (часть их цитировалась выше) ясно свидетельствуют, что на протяжении этого времени Тютчев снова и снова настойчиво, подчас даже с крайней заостренностью выдвигает перед Горчаковым и другими именно эти задачи, то есть решение «восточного вопроса», сосредоточение сил на внутреннем развитии страны, использование противоречий европейских держав. Конечно, их достаточно четко формулировал и сам Горчаков. Но в силу присущей ему «шаткости», о которой не раз говорил поэт, министр то и дело сдавал позиции. И Тютчев опять и опять стремится возвратить его на истинный путь, обращаясь при этом нередко не лично к министру (постоян-

* *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения. Т. X. С. 599.

ные тютчевские «поучения» могли бы в конце концов вызвать у него нежелательное раздражение), но к самым разным людям, способным так или иначе повлиять на Горчакова, других правительственных деятелей и, наконец, самого царя. Особенно характерно, что Тютчеву приходилось вновь и вновь формулировать те же самые основные внешнеполитические принципы.

В письме жене от 18 августа 1866 года поэт отнес Горчакова к тем людям, которым «не только недостает энергии желать, но они даже не знают, чего они бы должны были желать». И Тютчев постоянно стремится как бы вложить, вдохнуть в Горчакова и других руководителей страны конкретные политические «желания»...

Мы знаем, что с самого момента назначения Горчакова на пост министра иностранных дел — то есть с 15 апреля 1856 года — Тютчев стал его ближайшим сподвижником; уже 18 апреля поэт имел беседу с новым министром. В продолжение последующих семнадцати лет он постоянно, чуть ли не каждую неделю (за исключением времени отпусков), встречается с Горчаковым — и чаще всего в неофициальной обстановке. Само по себе это свидетельствует, что поэт так или иначе участвовал в выработке направления внешней политики. И на многих этапах исторического развития конца 1850-х — начала 1870-х годов Тютчев с глубоким удовлетворением, подчас даже восхищением оценивал дипломатические акции Горчакова, видя в них осуществление своей собственной политической программы. Об этом ясно говорят, в частности, пять стихотворений поэта, обращенных к Горчакову в 1865—1871 годах.

Но, как уже говорилось, министр нередко сдавал свои позиции, что вызывало в Тютчеве чувство горечи или даже прямого негодования. Так, 8 февраля 1867 года поэт в письме Анне характеризует «положение бедного князя Горчакова. Вопреки его добрым побуждениям, антирусские силы... постоянно подталкивают его действовать в обратном направлении. А нейтрализуют действие этих сил только я да Катакази». (Речь идет об обрусевшем греке, видном дипломате; этот единомышленник Тютчева в 1869 году стал русским послом в США.)

Утверждая, что «только я да Катакази» нейтрализуют действие антирусских сил, Тютчев имел в виду, несомненно, обстановку внутри Министерства иностранных дел. Если же говорить о русском обществе в целом, поэт сумел так или иначе сплотить вокруг себя немало сподвижников. Одним из наиболее деятельных был Иван Аксаков, издававший га-

зеты «День», «Москва», «Москвич». Тютчев постоянно побуждал его к воздействию на Горчакова.

Так, в письме от 23 сентября 1867 года, сообщая Ивану Аксакову неофициальные сведения о новом дипломатическом шаге Горчакова, Тютчев как бы дает прямое «указание»: «Я сообщаю Вам эти подробности отнюдь не для того, чтобы они были переданы потомству... Вот что, я думаю, было бы возможно и даже полезно: в исчерпывающей статье о положении данного момента указать на шаг, подобный только что предпринятому, как на desideratum*, подсказываемое достоинством и интересами России, и по этому поводу было бы только справедливо высказать сочувствие обычно национальным побуждениям политики Горчакова, стараясь при этом не слишком выдвигать его вперед в ущерб Императору и т. д. и т. д. и т. д.».

Иван Аксаков тут же изложил все это в виде передовой статьи своей газеты «Москва». 2 октября Тютчев писал ему: «Ваша (по основному смыслу тютчевская!** — *В. К.*) превосходная передовая статья от 30 сентября № 141 принята была здесь с большим сочувствием и признательностью... Еще раз я имел случай убедиться, какое значение приобрело у нас слово печати...»

Тютчев постоянно дает такого рода «инструкции» Ивану Аксакову, не забывая при этом и о своего рода дипломатии по отношению к нему самому. Дабы Аксаков не мог испытать уколов самолюбия в связи с тем, что он попросту пересказывает в своих внешнеполитических статьях мысли и даже стилистические обороты Тютчева, поэт не раз в письмах супруге Аксакова, то есть своей дочери Анне, как бы обосновывает свое право давать «указания»: «Я нахожусь в центре событий и вижу их с близкого расстояния» (17 марта 1867 года), или позднее: «Скажи своему мужу, что я прошу его серьезно отнестись к некоему соображению, которое я недавно ему сообщил. Он может поверить мне на слово, мне, находящемуся в крепости (имеется в виду Министерство иностранных дел. — *В. К.*), когда я обращаю его внимание на слабое место обороны» (2 февраля 1868 года).

Выше шла речь об основных направлениях русской внешней политики в конце 1850-х — начале 1870-х годов. Нет сомнения, что Тютчев принял самое весомое участие в

---

* Желательное (*лат.*).

** К. В. Пигарев доказывал, что эта статья «написана Аксаковым под непосредственным впечатлением от предыдущего письма к нему Тютчева и пересказывает основные мысли этого письма».

разработке этих направлений. Но не менее важны были его непрерывные и упорные усилия, призванные удержать внешнеполитический штурвал на том единственно верном курсе, от которого постоянно стремились отклонить русскую дипломатию враждебные или же неразумные силы.

Так, с конца 1850-х годов в русской внешней политике была достаточно четко поставлена задача активно использовать противоречия западных держав (именно на этом пути и были в конце концов ликвидированы тяжкие последствия крымской катастрофы). Но под давлением различных сил Горчаков подчас сходил с этого пути. И Тютчев стремился выправить положение. Помимо прямого воздействия на Горчакова, поэт обращается и к целому ряду людей, способных лично повлиять на министра, и к тем своим сподвижникам, которые могут выступить в печати или же настроить соответствующим образом общественное мнение.

Сам тот факт, что Горчаков не раз и, как говорится, без особых угрызений совести изменял единственно верной линии, дает все основания видеть в Тютчеве истинного творца главных внешнеполитических принципов, которые он на протяжении полутора десятилетий страстно отстаивает и все более решительно формулирует заново.

Так, 26 июня 1864 года Тютчев пишет: «Единственная естественная политика России по отношению к западным державам — это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными — по бессилию... Эта суровая истина, быть может, покоробит чувствительные души, но в конце концов ведь это закон нашего бытия...»

Горчаков, как это явствует из конечных результатов его политической деятельности, так или иначе был согласен с Тютчевым. Но все же поэту приходилось прибегать к многообразным акциям, чтобы удерживать Горчакова на верном пути или, точнее, снова и снова возвращать его на этот путь.

В середине 1866 года в придворных сферах возникла идея общеевропейского конгресса, который призван был примирить все державы — и прежде всего Пруссию и Австрию. Тютчев предпринимает напряженнейшие усилия, дабы предотвратить это чрезвычайно опасное в тот момент для России событие. 21 июля он пишет Эрнестине Федоровне: «Я только что провел три дня между Ораниенбаумом и Петергофом*, ведя политические прения со всеми членами августейшей

* То есть летними резиденциями царского двора.

семьи, которые все разделены своими немецкими симпатиями и антипатиями... Единственное, что совершенно отсутствует, — это русская точка зрения на вопрос... Что же касается до моего милейшего приятеля князя, он положительно запутался, — и то же самое можно сказать, увы, о всех этих людях, в которых не находишь ни малейшего понимания... русской действительности, представителями коей они должны бы быть».

Двадцать восьмого июля он пишет жене о задуманном конгрессе: «Милейший князь, столь кичащийся своей независимостью, не посмел бороться против этой выдумки, которая, в сущности, вызвана только нежной привязанностью к бедным немецким родственникам» (то есть родственникам царской семьи).

Отчаявшись вдохнуть смелость в Горчакова, поэт, нарушая всякую субординацию, пишет самому Александру II: «Воспрепятствуйте конгрессу, умоляю Вас, если еще не поздно. Совершенно очевидно, что в настоящих условиях конгресс не может привести к иным результатам, как разве к тому, чтобы превратить Россию в козла отпущения всех европейских осложнений... Такой исход был бы еще большим несчастьем, чем последствия Крымской кампании, так как он привел бы к тому, чтобы увековечить их. Словом, это было бы отречением от всего нашего прошлого, от всего нашего будущего».

Очень трудно или даже невозможно решить, так сказать, с математической точностью вопрос о том, сколь велика была личная заслуга Тютчева в этой ситуации, но так или иначе конгресс не состоялся...

Противодействие Тютчева вредному в тот момент «миротворчеству» выразилось в целом ряде его акций. Так, еще 26 июня 1866 года поэт пишет Георгиевскому, обращаясь, по существу, к Каткову. Говоря о предельной остроте внешнеполитической ситуации, Тютчев истинно дипломатически «льстит» Каткову: «Пора, очень пора великому сыну Пелея* выйти из своего стана и явиться на сцене. Трояне, т. е. события, сильно напирают». Далее поэт пишет о правящих кругах: «Здесь не ищите ни определенного направления, ни руководства. Здесь не имеется ни одной идеи в запасе. Мы здесь до сих пор с какою-то благодушною глупостью все хлопотали и продолжаем хлопотать о мире, но чем для нас будет этот мир, того мы понять не в состоянии... Наполеонова диктатура... необходимо должна разразиться коалицией

* То есть Ахиллу.

против России. Кто этого не понимает, тот уже ничего не понимает... Итак, вместо того, чтобы так глупо напирать на Пруссию, чтобы она пошла на мировую, мы должны от души желать, чтобы у Бисмарка стало довольно духу и решимости не подчиниться Наполеону... Это для нас гораздо менее опасно, чем сделка Бисмарка с Наполеоном, которая непременно обратится против нас...»

И поэт призывает «Московские ведомости» настойчиво выдвигать этот «взгляд», дабы «в настоящую минуту оказать самому правительству огромную услугу. Здесь... все шатко и неопределенно, хотя преобладающее чувство в главном деятеле (то есть Горчакове. — *В. К.*)... — враждебность к Наполеону, но при всем этом малодушие и неясность соображений. Выше (то есть в царе. — *В. К.*) гораздо больше решимости, и сюда-то, к этой-то высшей среде, должны быть преимущественно устремлены наши усилия.

Прочтите это письмо Михаилу Никифоровичу (Каткову. — *В. К.*). Он более, нежели когда-либо, сила, и сила признанная. От него многое зависит».

Усилия Тютчева дали свои плоды. Сообщая 2 июля 1866 года Эрнестине Федоровне о встрече царя с Катковым, он не без удовлетворения замечает: «По поводу Каткова: если ты желаешь знать мои воззрения на то, что теперь происходит, тебе стоит только прочесть в его газете статьи, относящиеся к внешним событиям и *внушенные мною*» (курсив мой. — *В. К.*).

Зная скромность Тютчева, можно не сомневаться в том, что он нисколько не преувеличивал свою роль.

Однако опасность ложных внешнеполитических шагов не миновала и после статей, «внушенных» Тютчевым. В мае 1867 года Александр II принял приглашение Наполеона III посетить Парижскую всемирную выставку, что могло привести к крайне нежелательным в то время «миротворческим» переговорам.

Сообщая 18 апреля Ивану Аксакову, что «поездка Государя в Париж пока дело решенное», Тютчев с гневом писал о «защитниках» этого решения: «Они говорят, что... можно надеяться при данных обстоятельствах настолько ослабить давление в смысле воинственного исхода, чтобы упрочить мир... Все это... есть не что иное, как мудрость юродствующих и прозорливость слепотствующих. Все это сверх того обличает, не говорю — непонимание, а совершенно превратное понимание судеб России и исторических законов ее развития. Грубейшее, например, непонимание этой простой фактической истины — то, что если бы нам и удалось в самом деле умиротворить Запад, то этот умиротворенный За-

пад, неминуемо и совершенно логично, опрокинется на нас же всем грузом европейской коалиции. Эта-то полнейшая бессознательность своих жизненных условий, это-то совершенное извращение прирожденных инстинктов в нашей правительственной сфере, вот в чем если не гибель наша, то наш страшный камень преткновения.

Но история все-таки возьмет свое, — заключает поэт, — устранит и этот камень. Война состоится, она неизбежна, она вызывается всею предыдущей историей западного развития. Франция не уступит без бою своего политического преобладания на Западе, а признание ею объединенной Германии законно и невозвратно совершившимся фактом было бы с ее стороны равносильно отречению ее от всего своего европейского положения. Борьба следственно неизбежна».

Нельзя не обратить восхищенного внимания на то, что Тютчев за три с лишним года до начала жестокой Франко-прусской войны предсказывает ее с глубочайшей убежденностью. Один из биографов Горчакова писал: «Когда летом 1870 г. разыгралась прелюдия к кровавой борьбе, князь Горчаков... был не менее других поражен неожиданностью разрыва между Францией и Пруссией». Для Тютчева же здесь не было никакой неожиданности. Он умел, по его собственному приведенному выше точному определению, постигнуть каждый политический вопрос «в его историческом значении, с его исторически-непреложным характером».

Еще в 1855 году поэт сказал в письме Эрнестине Федоровне (от 21 мая) о правителях России: «Если бы я мог одолжить им немного ума...» Как явствует из множества фактов, Тютчев действовал в соответствии с латинским выражением, восходящим к Овидию: капля камень точит — тот «страшный камень преткновения», о котором он говорит в только что цитированном письме Аксакову. В 1867 году, когда Александр II все же отправляется в Париж, поэт так или иначе сумел внушить Горчакову верное понимание ситуации. Министр сопровождал царя в Париж, чтобы не допустить опасных переговоров с Наполеоном III.

Двадцать первого апреля Тютчев писал Горчакову: «С величайшим удовольствием, князь, узнал я вчера, что мы счастливо избегли одного из исходов дилеммы, которую я выдвигал намедни, и что поездка в Париж может быть отнесена к разряду случайностей. Теперь есть даже основания рассчитывать на то, что благодаря Вашему присутствию это сможет превратиться в счастливую случайность». И добавлял, раскрывая свое личное переживание ситуации: «Не могу выра-

зить Вам, князь, как болезненно занимала меня эта неизвестность при плачевном состоянии моих нервов...»

Замечательно, что уже и после того, как Горчаков занял верную позицию, поэт продолжает «точить камень». Через две недели после цитированного письма, 3 мая, он обращается к очень влиятельной при дворе княгине Трубецкой (в частности, близкой Горчакову), внушая ей представление о тщетности и вредности современного «миротворчества», к которому так склонны царь и его приближенные. «Наша мирная агитация, — пишет поэт, — заслужит нам в конце концов только свистки и шиканье. Высмеют — и вполне справедливо — труд, который мы на себя берем, отправляясь водворять согласие в державах, слишком естественно расположенных быть в согласии каждый раз, когда дело идет об опротестовании и отвоевании у России ее исторического права. Вот заслуженное проклятие, тяготеющее над страной, где высшие классы, та среда, в которой живет и питается правительство, давно уже перестали принадлежать ей...»

Вскоре, 15 мая, поэт пишет Юрию Самарину, призывая обратить проповедь «к тем, кто нами правят и являются официальными представителями России. Это их бы надо... научить, каковы истинные их отношения к ней, — смотрите, мол, что происходит. Смотрите, с какой безрассудной поспешностью мы хлопочем о примирении держав, которые могут прийти к соглашению лишь для того, чтобы обратиться против нас... Как же называют человека, который потерял сознание своей личности? Его называют кретином. Так вот сей кретин — это наша политика».

К радости Тютчева, Горчаков в Париже удержал царя от неверных шагов. После разговоров с вернувшимся в Петербург министром поэт удовлетворенно сообщал Анне 21 июня 1867 года: «Парижский визит, со всеми сопровождавшими его празднествами и происшествиями, остался, в конце концов, лишь исторической фантасмагорией, не имевшей решительно никакого влияния на современные события...»

А еще через несколько месяцев, 2 октября, Тютчев в письме Ивану Аксакову дает четкую формулу: «Усобица на Западе — вот наш лучший политический союз». Тютчев оказался глубоко прав. Именно тогда, когда разразилась война между Францией и Германией, Россия смогла сбросить с себя вредоносные и унизительные путы, навязанные ей после поражения в Крымской войне. В марте 1871 года поэт, так естественно поминая Пушкина, писал в своем «политическом» стихотворении «Черное море»:

...И вот: *свободная стихия, —*
Сказал бы наш поэт родной, —
Шумишь ты, как во дни былые,
И катишь волны голубые,
И блещешь гордою красой!..
Пятнадцать лет тебя держало
Насилье в западном плену;
Ты не сдавалась и роптала,
Но час пробил — насилье пало:
Оно пошло как ключ ко дну...

Тютчев поздравлял и чествовал по случаю этой дипломатической победы князя Горчакова; но едва ли будет ошибкой сказать, что роль самого поэта была в этом смысле не менее, а возможно, и более значительной, чем роль министра...

Во всяком случае, не подлежит никакому сомнению, что наиболее верные и четкие внешнеполитические решения, обеспечившие эту победу, принадлежали именно Тютчеву. Когда в конце 1866 года министр иностранных дел Австрии Бейст внес предложение о пересмотре Парижского трактата (то есть результатов Крымской войны), Тютчев решительно говорил в письме Ивану Аксакову от 5 января 1867 года об этой, по его слову, «выходке»: «Желательно очень, чтобы нашего достоинства ради, мы не придавали ей особенного значения. Мы не можем и не должны признавать за Европою нрава определять для России, какое место ей принадлежит на Востоке. По несчастию мы этого сами, в собственном нашем сознании, определить не умеем не только в правительственной среде, но даже и в печати».

Совершенно ясно, что поэт не раз внушал эту позицию Горчакову и что именно она явилась залогом той выдающейся дипломатической победы, которая была одержана в 1870—1871 годах.

Кстати сказать, Тютчев считал ошибочными даже те неопределенные и не имевшие серьезных последствий «миротворческие» жесты, которые царь допустил во время своей поездки в Париж в мае 1867 года. Так, он писал Аксакову 4 января следующего года: «Нам предстоят большие тревоги и опасности по Восточному вопросу. Мы навязали их себе нашим глупейшим бестолковым миротворничаньем прошлою весною, как я тогда еще предсказывал князю Горчакову. Слишком, слишком поздно начинает приходить к самосознательности наша политика...»

Тютчевское воздействие на внешнюю политику России почти не находило, как уже говорилось, «официального» выражения. Тем более примечательно, что весомая политическая роль Тютчева не смогла остаться тайной для запад-

ноевропейской печати и самих правительств. Так, 31 августа 1867 года поэт сообщал Эрнестине Федоровне, что во французском политическом журнале «Ревю де Дё Монд» появилась статья, в которой «часто упоминается обо мне... В ней говорится о моих отношениях к князю Горчакову».

Позднее, летом 1870 года, поэт после долгого перерыва выехал за границу, в Австрию, — собственно, только по требованию врачей, прописавших ему карлсбадские (карловарские) лечебные ванны. Тем не менее австрийские полицейские власти тут же завели «дело», сохранившееся до наших дней. Директор полиции в Праге доносил министру внутренних дел Австрии о прибытии Тютчева. В «деле» отражены все встречи поэта и даже посещения театра, общественных учреждений и т. п.

Но еще более примечательно то обстоятельство, что тайный советник Тютчев состоял под определенным «надзором» в самой России. Как хорошо известно, Тютчев стремился отправлять свои письма политического характера (например, к Ивану Аксакову и даже его жене — то есть своей дочери) с оказией, поскольку знал о их полицейской перлюстрации. Если же письма шли по почте, Тютчев в тех или иных случаях прибегал к разного рода намекам. Так, 2 февраля 1868 года он пишет Анне: «Скажи своему мужу, что я прошу его серьезно отнестись к некоему соображению, которое я недавно ему сообщил». Говоря о враждебных ему силах в правительстве, поэт часто не дает сколько-нибудь точных адресов, а пользуется выражениями «известная среда», «известные круги», — выражениями, которые были заранее выяснены в личных беседах с Аксаковым и другими сподвижниками.

Итак, в последние годы жизни Тютчев отдавал все свои силы многообразной деятельности, преследующей цель утвердить верное направление внешней политики России. Вполне понятно, что единственным возможным способом осуществления этой задачи было воздействие на правительство и в конечном счете на самого царя.

Да, необходимо ясно представить себе, что в отличие от тех или иных акций в сфере внутренней политики, которые возможно осуществить помимо правительства и подчас даже вопреки ему (так и поступали, скажем, многие общественные деятели в период реформ 1860-х годов), — в области внешней политики, на международной, всемирной арене нельзя действовать иначе чем «от имени» правительства страны. И у Тютчева не было иного пути, кроме «давления» на правительство.

Потому совершенно бессмысленно было бы «упрекать» поэта за то, что он стремился поддерживать «добрые» отношения со способными прислушиваться к его рекомендациям правительственными деятелями и с самим царем. Тютчев сумел обрести такие отношения. В письме Эрнестине Федоровне от 29 июня 1867 года он рассказывает об одной из встреч с Александром II: «Я провел два дня в Царском... Я там встретил множество народа, но вот какой у меня был случай с Государем. Я встретил его между 8 и 9 часами утра в парке, совершающего свою обычную прогулку вокруг озера. По мере того, как он приближался, меня охватывало волнение, и когда он остановился и заговорил со мной, то волнение передалось и ему также, и мы расцеловались».

Тютчев, без сомнения, дорожил столь близкими отношениями с царем, которые открывали перед ним определенные политические возможности. Но в то же время было бы совершенно ошибочным полагать, что он идеализировал Александра II (о крайне резкой тютчевской оценке Николая I уже говорилось подробно выше) и возлагал на него большие надежды. Другое дело, что поэт стремился всеми доступными ему способами побудить Александра II следовать истинному внешнеполитическому курсу. При этом он прекрасно сознавал, насколько трудной, а подчас и безнадежной была эта задача.

В том самом письме, где рассказано о столь «задушевной» встрече с царем, поэт с глубокой горечью говорит: «...Трагична участь бедных кандиотов, которые будут раздавлены. Наше поведение (то есть в конечном счете внешнеполитическое поведение самого царя. — *В. К.*) в этом деле самое жалкое. Иногда преступно и всегда бесчестно быть настолько ниже своей задачи».

Речь шла о начавшемся еще весной 1866 года восстании греческого населения острова Крит (по-гречески — кандиотов) против турецкого владычества; Тютчев, кстати сказать, предрекает неизбежное подавление восстания почти за два года до того, как это действительно произошло. Победа этого восстания имела бы громадное значение не только для греков, но и для положения России на Востоке.

Западные державы всячески поддерживали Турцию, и русское правительство проявило, пользуясь тютчевскими определениями, бесчестную и даже преступную нерешительность и трусость. Тютчев еще в декабре 1866 года посвятил критскому восстанию одно из сильнейших своих политических стихотворений, опубликованное в 1868 году:

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?
Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?
Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда —
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись — теперь иль никогда...

Важно обратить внимание на то, что поэт со столь родственным чувством и столь трагически говорит о судьбе не славян, а греков; это лишнее свидетельство его непричастности к племенному, «панславистскому» мировоззрению. По-видимому, тогда же Тютчев пишет резкие стихи, обличающие политику западных держав, которые «щитом своим прикрывают» Турцию, отдавая на заклание греков:

Несется клич: «Распни, распни его!
Предай опять на рабство и на муки!»
О Русь, ужель не слышишь эти звуки
И, как Пилат, свои умоешь руки?
Ведь это кровь из сердца твоего!

Позднее, в 1897 году, стихи эти были включены в изданный в Москве сборник «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам», составленный выдающимся армянским и одновременно русским общественным деятелем и историком Григорием Аветовичем Джаншиевым (1851—1900).

Тот факт, что тютчевские стихи, посвященные грекам, были как бы переадресованы армянам, вполне естествен. Как уже не раз говорилось выше, поэт с юных лет был тесно связан с целым рядом представителей армянской общественности и культуры в Москве и Петербурге. И именно в 1867 году, во время восстания на Крите, Тютчев сообщал жене (8 октября): «Вчера я навестил армянского патриарха-католикоса, который... выразил желание со мной познакомиться... Патриарх занимает квартиру Лазаревых» (близких друзей Тютчева). По-видимому, тогда же поэт передал кому-либо из армянских деятелей процитированные стихи, как бы подтверждая, что, создавая их, он думал о судьбе не только греков, но и армян. В пользу этого предположения говорит и тот факт, что текст стихов дошел до нас лишь в публикации Г. А. Джаншиева в упомянутом сборнике «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам» (то есть стихи сохранились только в армянских кругах).

Но вернемся к вопросу об отношениях Тютчева с властью. 21 мая 1855 года, через три с лишним месяца после вступления Александра II на престол, поэт писал Эрнестине Федоровне: «Меня потребовали завтра в час дня для принесения пресловутой присяги, которую я все откладывал до сих пор под разными предлогами. Ах, я готов приносить им всевозможные присяги, но если бы я мог одолжить им немного ума, это было бы гораздо для них полезнее...» В сентябре того же года поэт сказал в письме Погодину, что «правительственная Россия» — «уже не орган, а просто нарост...».

Поэт, конечно, не мог не одобрять осуществленную при Александре II отмену крепостного права, но он ни в коей мере не идеализировал новое положение вещей. 28 сентября 1857 года, сразу же после принятия решения о предстоящей реформе, он писал о русском самодержавии, что «эта власть не признает и не допускает иного права, кроме своего, что это право... исходит... от материальной силы самой власти и что эта сила узаконена в ее глазах уверенностью в превосходстве своей весьма спорной просвещенности».

Власть, продолжал Тютчев, действует на основе «мнимого права, которое по большей части есть не что иное, как скрытый произвол». Поэтому, заключал поэт, «истинное значение задуманной реформы сведется к тому, что произвол, в действительности более деспотический, ибо он будет облечен во внешние формы законности, заменит собою произвол отвратительный, конечно, но гораздо более простодушный и, в конце концов, быть может, менее растлевающий...».

Убеждение, что русское самодержавие исходит из одной голой «материальной силы», Тютчев сохранит до конца жизни. 20 октября 1871 года он писал Ивану Аксакову: «Поверьте мне, самое даже благоприятное движение... в пользу России, но вытекающее из духовных начал, им крайне ненавистно. Дух какой бы то ни было, злой или добрый, но дух, вот их действительный противник». В том же письме он говорит о «политическом, народном, общечеловеческом» абсурде «этой полнейшей, глупейшей бессознательности, этого совершенного непонимания собственного, да и всякого принципа».

Вместе с тем Тютчев был предельно близок к этой «бездуховной» власти. В связи с этим следует повторить то, о чем уже говорилось. Будучи весь захвачен внешнеполитическими проблемами, поэт не мог не основываться на наличной форме власти, на том, что есть в данный момент в России, ибо внешняя политика немыслима вне официального

бытия государства. В его время эта власть держалась достаточно прочно. Однако еще в 1858 году, вскоре после того, как Некрасов опубликовал свою известную поэму «Тишина», Тютчев писал Эрнестине Федоровне (5 июня):

«Тишина, господствующая в стране, ничуть меня не успокаивает... она основана на очевидном недоразумении, на безграничном доверии народа к власти, на его вере в ее к нему доброжелательность и благонамеренность. Когда же приходится видеть то, что делается или, вернее, не делается здесь, — всю эту слабость и непоследовательность, эту вопиющую недостаточность мер ввиду абсолютно реальных затруднений, — невозможно... не поддаться самым серьезным опасениям».

Тем более сильно и остро тревожила Тютчева несостоятельность власти в сфере внешней политики. Еще 21 апреля 1859 года он писал Горчакову, — писал, по сути дела, с неслыханной дерзостью: «Сам Государь по вопросам политики не менее Вас нуждается в более твердой точке опоры, в национальном сознании, в достаточно просвещенном национальном мнении...»

В то же время Тютчев ясно понимал — соответствующие его слова приводились, — что всякое подлинно духовное движение «крайне ненавистно» власти, ибо сама она лишена собственно духовного содержания, опирается на одну «материальную» силу.

Поэт совершенно недвусмысленно сказал (в письме Аксакову от 15 июля 1872 года), что существующая в России власть может удержаться лишь при условии, если она «все более и более проникнется национальным духом», а «вне энергического и сознательного национального духа русское самодержавие — бессмыслица».

Он, в частности, был вполне убежден, что эта «бездуховная» власть беспомощна в борьбе против революционного духа. В 1871 году Тютчев, всегда стремившийся понять любое значительное явление политической жизни родины, присутствовал на всех заседаниях суда над группой заговорщика Нечаева. 17 июля он писал Анне: «Что может противопоставить этим заблуждающимся, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения?» — и вспоминал в этой связи гамлетовское: «Вот в чем вопрос»...

Поэт — этого нельзя отрицать — подчас отдавался иллюзорной надежде, полагая, что в самодержавную власть в самом деле можно вдохнуть подлинный народно-национальный дух. Он стремился отыскать в русской истории те черты и явления, которые подтверждали бы его чаяния.

Очень характерно в этом смысле его рассуждение в письме Анне от 2 сентября 1871 года о непомерно высоких петербургских ценах на дрова: «...Для многих это стало жизненно-важным вопросом. В особенности для бедного люда, который будет очень страдать зимой, особенно, если она будет суровой... Продажа дров здесь стала настоящей монополией трех-четырех богатых купцов, они известны поименно; по заслуживающим доверие подсчетам они получают прибыль 21/2 рубля за сажень. Вот уж когда властям надо бы принять меры и вспомнить о традициях правительственного социализма, составляющих великую славу и основную силу власти в России. Я полагаю, до власти дойдет, в конце концов, эта историческая истина».

Конечно, можно оспаривать тютчевское понимание «великой славы и основной силы власти в России», — не говоря уже о его предположении, что эта «истина» дойдет в конце концов до властителей. Но нельзя не задуматься над вопросом, какой именно «дух» хотел бы вдохнуть поэт в государственную власть... При этом необходимо видеть и то, что Тютчев не раз выражал убеждение в тщетности надежд на внутреннее преобразование власти.

Еще во время Крымской войны он писал Эрнестине Федоровне о людях, которые «управляют судьбами России» (письмо от 20 июня 1855 года): «...Нельзя не предощутить близкого и неминуемого конца этой ужасной бессмыслицы... невозможно не предощутить переворота, который, как метлой, сметет всю эту ветошь и все это бесчестие... Конечно, для этого потребуется не менее чем дыхание Бога, — дыхание бури».

Прошло двенадцать лет, и поэт пишет дочери Марии (в августе 1867 года — то есть за полвека до победы революции): «*Разложение* повсюду. Мы двигаемся к пропасти... В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что этого нельзя постичь, не убедившись воочию... Вчера я узнал... подробность поистине ошеломляющую. Во время последнего путешествия Императрицы ей предстояло проехать на лошадях триста пятьдесят верст... Ну так вот, знаешь ли, во что обошлось государству это расстояние?.. В сущую безделицу: *полмиллиона* рублей!..

Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом: *что-то прогнило в королевстве датском*».

Наконец, еще через три года поэт пишет чрезвычайно резкое по смыслу послание Анне, которое начинается следующим разъяснением: «Я до сих пор откладывал ответ на

твое письмо... за отсутствием оказии. По отношению к переписке мы находимся в положении, подобном положению парижан: добрый Батюшков, вот мой аэростат». Дело здесь в том, что Париж был тогда блокирован прусской армией, и почта могла доставляться только аэростатами. Помпей Николаевич Батюшков — это приятель Тютчева, видный археолог и этнограф, младший брат поэта Константина Батюшкова; он не раз доставлял в Москву содержащие острые политические суждения тютчевские письма.

В этом, так сказать, нелегальном письме (от 1 декабря 1870 года) поэт говорит, что в России господствует «абсолютизм», который включает в себя «черту, самую отличительную из всех — презрительную и тупую ненависть ко всему русскому, инстинктивное, так сказать, непонимание всего национального».

Тютчев открыто говорит дочери, что он и его единомышленники находятся «в непримиримом антагонизме... в непрестанной борьбе» с этим абсолютизмом и что «борьба, о которой идет речь, могла бы прекратиться лишь в результате чуда, то есть нравственного переворота в сознании членов самой династии. Возможно ли такое чудо, есть ли на него надежда? Существуют ли в истории примеры того, чтобы власть, утратившая сама всякую веру в правоту своей цели, когда-либо сумела вновь обрести это сознание? А без этой веры как будут они существовать?..». Далее поэт дает заведомо пессимистический прогноз. Он утверждает, что большинство людей, причастных к власти, никогда не допустят такого «чуда».

Важно иметь в виду, что письмо это написано вскоре после того, как был опубликован — 19 октября 1870 года — циркуляр о расторжении Парижского трактата, устранявший последствия Крымской войны. Поэта прямо-таки поразила реакция петербургской знати на это событие. 22 ноября он сообщал той же Анне, как возмутило его «жалкое и даже омерзительное поведение петербургских салонов. Они превзошли мои ожидания, а это много значит. Я встречал бывших министров и теперешних государственных деятелей, которые на основании разглагольствований иностранной прессы краснели самым искренним образом за ужасный скандал, в коем мы провинились, одной своей собственной волей отбросив статью трактата, и они же заявляли, что впредь не решатся смотреть иностранцам в лицо... Буквально так...».

В письме же от 1 декабря Тютчев говорит о людях, окружающих трон: «Если случается, что по какому-либо вопро-

су в сознании самого монарха проявляются какие-то проблески национального чувства, эти люди совершенно теряются... Это-то и произошло с ними недавно по поводу знаменитого циркуляра, который именно благодаря известному вдохновляющему его национальному чувству раздражил их...»

Тютчев находил у монарха именно и только «проблески». И он все более прочно убеждался в том, что существующая государственность неотвратимо идет к гибели, что «дух», который давал ей жизнь, скажем, во времена Петра Великого, бесповоротно отлетел от нее. 27 марта 1871 года поэт написал дочери Екатерине о своем восприятии церемоний в Зимнем дворце:

«Человек, старея, делается своей собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми; когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но, — заключал Тютчев, — современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь в конце концов восторжествует над омертвевшими формами».

В целом ряде поздних высказываний поэт недвусмысленно предрекал победу революции в России. Так, в том же 1871 году (письмо Ивану Аксакову от 7 мая) он говорит, прибегая к привычной тогда фразеологии: «Блаженны нигилисты, тии бо наследят землю до поры, до времени».

В революции поэт видит своего рода высший суд над всем тем, что совершается в его время. «Любопытно было бы посмотреть, — пишет он дочери Екатерине 7 сентября 1871 года, — в каком мы окажемся положении, когда от нас в будущем, быть может, не таком уж далеком, потребуют отчет за все срывы и неудачи, в которых мы повинны».

Не занимая сколько-нибудь ответственных политических должностей, Тютчев все же никак не снимал с себя полноты ответственности за судьбу России. В 1867 году он писал, что «в наше время главная ответственность лежит на обществе, а не на правительстве». Поэт отнюдь не склонен был преувеличивать значение и роль своей политической деятельности. Он сказал (в письме Анне от 3 апреля 1870 года): «Если то, что мы делаем, ненароком окажется историей, то уж, конечно, помимо нашей воли». Впрочем, он тут же глубоко осмыслил историческое творчество личности: «И, однако, это — история, только делается она тем же способом, каким на фабрике ткутся гобелены, и рабочий видит лишь изнанку ткани, над которой он трудится».

Нет сомнения, что Тютчев обладал способностью видеть подчас не только «изнанку», но и подлинные черты сего-

дняшнего исторического движения, хотя сам он заметил в том же письме, что иногда «это движение ощутимо не более, чем движение Земли».

Может показаться неожиданным, даже в каком-то смысле противоестественным, что гениальный поэт чуть ли не целиком отдает свои последние годы политической деятельности. Но дело все-таки обстояло именно так. Обретя к середине 1860-х годов немалые возможности для действия на этом поприще, Тютчев все глубже и полнее уходит в политику. Еще в 1862 году (15 ноября) его дочь Мария писала: «Мы бываем перенасыщены политическими новостями за те часы, что папа проводит дома». Правда, через месяц, 15 декабря, Мария запишет: «Папа вернулся домой рано, и остальная часть вечера до часу пополуночи прошла в чтении стихов». Таким образом, Тютчев тогда еще делил себя между политикой и поэзией. Но позднее поэзия явно отходит на второй план.

Конечно, и в последние годы Тютчев создал десяток с лишним стихотворений, принадлежащих к вершинам его лирики, но характерно уже то, что все они, кроме двух («Умом Россию не понять...» и «Я встретил вас — и все былое...»), были опубликованы лишь после его кончины. Не менее характерно, что Тютчев в эти годы постоянно писал и тут же публиковал чисто «политические» стихи: в 1865—1873 годах появилось — главным образом в газетах — около сорока таких стихотворений.

Нельзя не сказать в связи с этим, что в последние годы жизни Тютчева поэзия, вызывавшая достаточно широкое внимание в конце 1850-х — начале 1860-х годов (когда русская литература переживала своего рода поэтическую эпоху), была оттеснена с литературной авансцены. Начинается долгое полное господство прозы и публицистики. Тютчев это видел со всей ясностью. Он писал в 1868 году:

В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут...

В этом самом году Иван Аксаков предпринял новое издание книги стихотворений Тютчева (всего лишь второй при его жизни!). Поэт, как он сам признал, «дал свое согласие из чувства лени и безразличия». Но он целиком и полностью устранился от подготовки издания. Иван Аксаков сетовал впоследствии: «Не было никакой возможности достать подлинников руки поэта для стихотворений еще не напечатанных, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех копиях, которые удалось добыть частью от разных членов его семейства, частью от посторонних».

После выхода книги в свет Тютчев отозвался о ней как о «весьма ненужном и весьма бесполезном издании». И в определенном смысле он был прав. Если первая книга поэта вызвала, как мы знаем, более двадцати печатных откликов (в том числе пространные статьи) и весьма широкий читательский резонанс, вторая удостоилась всего двух кратких рецензий и много лет оставалась нераспроданной.

Но Тютчева это нисколько не волновало. После выхода книги он так характеризовал заботы Аксакова о ее издании: «Столько возни по поводу такого совершенно ненужного пустяка, от которого так легко было воздержаться! Бедный, милый Аксаков! Вот вся благодарность, которую он получил от меня за все свои старания...»

Но в то же самое время Тютчев с небывалой интенсивностью пишет и тут же печатает стихи чисто политического характера, прямо и непосредственно сливающиеся с его тогдашней деятельностью. Эта «измена» поэзии ради политики может предстать в глазах многих как странное и даже негативное явление. Но не следует забывать о том, что и другие величайшие русские художники слова — Гоголь, Достоевский, Толстой — также не смогли удержать свою человеческую и творческую энергию в границах искусства. Даже и сам Пушкин в последние годы жизни если и создает собственно поэтические творения, то скорее для самого себя (ибо почти не печатает их), а основные свои силы отдает публицистике, о чем подробно говорилось выше.

Вполне допустимо спорить о правоте или неправоте этого переступания грани искусства, но при всем том перед нами неопровержимая реальность исторических и биографических фактов, свидетельствующая, что Тютчев на своем пути служения России так или иначе был заодно с другими гениальными творцами отечественной литературы.

Поглощенность внешнеполитической деятельностью в 1865—1873 годах наглядно запечатлелась в тогдашнем стихотворчестве Тютчева. Большинство его стихотворений этих лет имеет, в сущности, «прикладной» характер. Он сам сказал об этом в письме дочери Анне от 6 октября 1871 года. В современной политической ситуации, писал Тютчев, «лучше всего было бы пустить по рукам нечто вроде лозунга, и для этого очень может пригодиться рифма... Есть еще много простодушных людей, которые суеверно относятся к рифме, для кого рифма звучит особенно поучительно и убедительно. Вот почему было бы уместно опубликовать в какой-нибудь газете, например, в “Беседе”, стихи, которые я

вам недавно послал. Есть ли у тебя связи с "Беседой"?». (Речь шла о стихах «Ватиканская годовщина».)

Такие стихи «вроде лозунгов» Тютчев сочинял иногда и ранее, но в 1820-х — первой половине 1860-х годов (то есть за сорок пять лет) их было написано полтора десятка, к тому же они, за двумя-тремя исключениями, не доходили до печати. Между тем в 1865—1873 годах, то есть всего за восемь с лишним лет, поэт написал около пяти десятков таких стихов, и — что не менее важно — почти все они тут же были обнародованы в газетах либо журналах. Среди этих стихотворений — «Хотя б она сошла с лица земного...», «Славянам» (два стихотворения с одинаковым заглавием), «Свершается заслуженная кара...», «Великий день Кирилловой кончины...», «Чехам от московских славян...», «Современное», «А. Ф. Гильфердингу», «Гус на костре», «Да, вы сдержали ваше слово...», «Ватиканская годовщина», «Наполеон III» и т. д.

Все это именно зарифмованные «лозунги» или краткие публицистические статьи в стихах, и их собственно художественная ценность в сравнении с основными творениями поэта, прямо скажем, весьма невелика. Вместе с тем в отдельных стихах этого типа Тютчев — быть может, даже невольно — поднимался над «прикладной» целью и создавал по-своему очень сильные стихотворения: «Ты долго ль будешь за туманом...» (1866), «Напрасный труд — нет, их не вразумишь...» (1867), «Два единства» (1870) и др.

В большинстве же своем политические стихи Тютчева, по сути дела, и не претендовали на «художественность». Посылая одно из них Горчакову, поэт недвусмысленно писал: «Это приблизительно рифмованная аналогия большой намеднишней статьи в "Журналь де Петербург"».

К. В. Пигарев, цитируя тютчевские стихи «Когда свершится искупленье...» (написаны 5 декабря 1867 года), сделал весьма существенное дополнение к данному признанию поэта: «Бывало и обратное — передовую статью... той же газеты от 15 декабря 1867 г. можно было бы назвать "прозаической аналогией" только что приведенного стихотворения». То есть политические стихи Тютчева могли быть и пересказом важной газетной публикации, и, напротив, первоисточником чьей-либо будущей статьи.

Уже сами по себе стихи, о которых идет речь, ясно свидетельствуют о постоянном и активном участии Тютчева в политической жизни второй половины 1860-х — начала 1870-х годов. В частности, поэт был тесно связан с деятельностью так называемых Славянских комитетов, особенно широко развернувшейся именно во второй половине 1860-х го-

дов (эта связь, между прочим, очевидна уже из заглавий многих политических стихотворений поэта). Выше не раз говорилось, что Тютчев не был славянофилом в прямом, конкретном значении этого термина, чему вовсе не противоречит и факт его участия в деятельности Славянских комитетов. Дело в том, что эти комитеты, основанные славянофилами в конце 1850-х годов, позднее, в особенности с 1867 года, когда в России состоялся Славянский съезд, приобрели гораздо более широкий и многосторонний характер*.

Со второй половины 1860-х годов, когда борьба славянских народов за освобождение от турецкого и германского господства стала интенсивно нарастать, вопрос о славянах глубоко затронул самые разные круги русского общества. Непосредственное участие в деятельности Славянских комитетов принимают теперь многие выдающиеся люди, подчас очень далекие от славянофилов, — такие как мыслитель и писатель В. Ф. Одоевский, историк С. М. Соловьев, филолог Ф. И. Буслаев, востоковед В. В. Григорьев, византолог Ф. И. Успенский, музыкант Н. Г. Рубинштейн, адвокат Ф. Н. Плевако, математик Н. Б. Бугаев (отец поэта Андрея Белого) и др.

Вместе с тем большую роль в этой деятельности (в частности, и в смысле ее финансирования) играют просвещенные промышленники и купцы — знаменитые братья Третьяковы и Морозовы, Кокорев, Вишняков, Солдатенков, Найденов и др.

Тютчев, как и многие другие, вошел в круг деятельности Славянских комитетов именно тогда, когда они превратились в широкое общественное движение. Многие его высказывания свидетельствуют, что в этом движении его увлекали не собственно славянофильские идеалы и интересы, но гораздо более масштабные цели. Он полагал, что «славянский вопрос» может послужить своего рода исходным пунктом для истинного решения важнейших проблем русской и мировой политики.

Так, в письме дочери Анне от 21 июня 1867 года, вскоре после первого Славянского съезда в Москве, Тютчев, отмечая, что «более, чем когда-либо, злобой дня является славянский вопрос», утверждал: «Он, в своем бесконечном развитии, охватывает все другие, и на этой почве можно, не опасаясь наказания**, свободно развернуться... Присутствие среди нас славян выявило многое».

---

* Это убедительно показано в исследовании историка С. А. Никитина «Славянские комитеты в России в 1858—1876 годах» (М., 1960).

** Имеются в виду цензурные репрессии против печати.

Это откровенное заявление о вспомогательной, стимулирующей роли «славянского вопроса» особенно выразительно потому, что поэт обращает его к Анне, которая в то время уже была супругой тогдашнего вождя славянофилов Ивана Аксакова, склонного видеть в решении этого вопроса едва ли не конечную, высшую цель своей деятельности.

Разумеется, Тютчев, усматривая в «славянском вопросе» главным образом удобную «почву» для развертывания «всех других» вопросов, не мог не принимать активного участия и в, так сказать, чисто славянских делах, о чем свидетельствуют уже хотя бы многие его политические стихи. Он сумел вовлечь в эти дела Горчакова и ряд других влиятельнейших государственных и общественных деятелей России. Так, когда в 1868 году близ Белграда сторонниками Турции и Австрии был убит дружественный России князь Сербии Михаил, Тютчев сообщал жене (письмо от 5 июня) о панихиде по убитому: «Я приложил много стараний, чтобы убедить князя Горчакова также на ней присутствовать и даже прибег к посредничеству госпожи Акинфиевой» (речь идет о молодой красавице, в которую был влюблен семидесятилетний министр).

Это, конечно, всего лишь один мелкий эпизод из истории долгих и многообразных усилий поэта, преследовавших цель изменить, преобразовать само направление внешней политики России. «Славянский вопрос» был в его глазах своего рода рычагом, взявшись за который можно было решительно повернуть внешнеполитический руль.

Но, отдавая немало сил славянским делам, Тютчев оценивал их значение вполне трезво. Очень характерно в этом отношении письмо Эрнестине Федоровне от 9 октября 1870 года, где Тютчев опровергает газетное сообщение, согласно которому он будто бы не присутствовал на славянском обеде из-за болезни: «Это было просто потому, что я в этот день обедал у знакомых, чтоб не подвергаться скуке слышать бесполезное и смешное пережевывание тех общих мест, которые тем более мне опротивели, что я сам этому содействовал».

Как ни жестока эта характеристика славянофильских речей, она выражает истинную позицию Тютчева. И вполне понятно, что настоящий славянофил никак не мог бы говорить и поступать подобным образом.

Как уже не раз отмечалось, Тютчев видел в славянах естественных союзников России в ее противостоянии враждебным ей силам на Западе. Но он отнюдь не считал, что Россия должна, так сказать, замкнуться в славянском мире.

Те или иные тютчевские высказывания, могущие быть истолкованными в каноническом славянофильском духе, не выражают его подлинных убеждений. Они, эти высказывания, были порождены участием поэта в деятельности Славянских комитетов.

Чтобы со всей ясностью показать это, достаточно обратиться к одному эпизоду политических усилий Тютчева — его отношениям с так называемым старокатолицизмом, возникшим в Германии в 1871 году, а затем распространившимся по всей Западной Европе. Во главе старокатоликов стоял давний мюнхенский знакомый Тютчева Иоганн Дёллингер, который (об этом шла речь) в 1828 году публиковал критические статьи о Гейне. Теперь Дёллингер выступил против римского папства, в котором Тютчев видел многовекового врага России. И поэт отнесся к старокатоликам с величайшим энтузиазмом. 2 октября 1871 года он писал Ивану Аксакову: «Теперь самым непредвиденным образом и при самых благоприятных обстоятельствах представляется для русской мысли, то есть для настоящего русского дела, возможность — и не по одному, а по всем вопросам — войти в мирное духовное общение с Германией. Тут зарождается такое поистине примирительное начало, до того преобладающее над всею племенною рознью и политическими соображениями, что оно одно вполне определяет настоящее призвание России».

Многие суждения Тютчева ясно свидетельствуют, что он отнюдь не преувеличивал значение старокатолицизма как такового. Еще 7 сентября 1871 года он писал дочери Екатерине, что движение старокатоликов само по себе «ни к чему не приведет». Но, по его мнению, на основе этого движения возникает «возможность... войти в мирное духовное общение» с Западом. А такую возможность он ценит исключительно, предельно высоко, видя в ней «настоящее призвание России». Уже хотя бы одна эта устремленность Тютчева раскрывает всю необоснованность представлений о нем как о «панслависте», стоящем на «племенных» позициях.

Нельзя не сказать о том, что Тютчев, приветствуя движение старокатоликов, вежливо, но достаточно твердо выступил против того отрицания католицизма вообще, которое было присуще Ивану Аксакову и его учителю Хомякову. Так, в письме Анне от 22 октября 1871 года, обращаясь, конечно, и к ее супругу, Аксакову, он говорил о необходимости «различать католицизм и папизм».

Об этом важно сказать потому, что Тютчева нередко пытаются представить в роли чуть ли не фанатичного «антиза-

падника». Поэт ни в коей мере не разделял мнения, что Россия и Запад враждебны в своих основных устоях и принципах. Он относился непримиримо лишь ко вполне определенным силам и тенденциям Запада, воплощавшимся и в том же римском папстве, и в прусском милитаризме, и в английских буржуазных политиках, и, разумеется, в фигуре Наполеона III. В своей политически-историософской концепции Тютчев определяет эти силы как многоликие выражения воинствующего индивидуализма, который являл в его глазах источник всяческого зла вообще.

Девятнадцатого июля 1870 года поэт писал Анне об «истинной сущности бонапартизма, этой силы неограниченного зла — насилия и лжи, влияющей таким страшным образом не только на Францию, но на всю Европу, лишь потому, что она является наиболее совершенным выражением худших инстинктов современной эпохи. В этой силе положительно не без Антихриста...».

Поэт испытывал чувство глубокой и острой враждебности вовсе не к Западу во всем объеме этого понятия, но именно к таким его силам, которые, правда, в значительной степени определяли тогдашнюю общеполитическую ситуацию.

Но Тютчев ясно видел — и это возбуждало в нем особенно тяжкую тревогу и жгучую ненависть, — что те же самые силы и тенденции все более нарастали и в самой пореформенной России. В 1840—1850-х годах поэту представлялось — и для этого были основания, — что русское бытие не очень уж подвластно зловещему господству индивидуализма. Однако в 1860-х годах положение поистине стремительно изменяется.

Девятнадцатого октября 1870 года Тютчев пишет дочери Анне, что за последнее время в русских правящих сферах «главным предметом подражания был наполеоновский режим — идеал наших государственных людей». Зная, как поэт оценивал режим Наполеона III, нетрудно понять, сколь глубокое негодование вызывало в нем это «подражание». Еще в 1866 году он с горечью сообщал в письме Эрнестине Федоровне (21 июля) о своем «длинном разговоре» с сестрой царя, великой княгиней Марией Николаевной: «Она совершенно на стороне Наполеона и не постигает, каким образом человек, столь ей нравящийся, может не быть лучшим союзником России...»

Позже, 20 апреля 1868 года, он писал в пространном письме Анне о таких правителях страны, как только что занявший пост министр внутренних дел Тимашев и шеф жандармов, начальник Третьего отделения Шувалов, что в их

глазах «так называемая русская народность есть не что иное, как вранье журналистов», и что Россия, по их мнению, может держаться как целое «только грубой силой, физическим подавлением... И подобные негодяи, — заключает Тютчев, — управляют Россией».

Далее он писал: «Сталкиваясь с подобным положением вещей, буквально чувствуешь, что не хватает дыхания, что разум угасает. Почему имеет место такая нелепость? Почему эти жалкие посредственности, самые худшие, самые отсталые из всего класса ученики... эти выродки находятся и удерживаются во главе страны, и обстоятельства таковы, что нет у нас достаточно сил, чтобы их прогнать?»

Тютчев не раз ставил этот вопрос о корнях зла, особенно в письмах Анне, которые предназначались, разумеется, и для ее мужа Ивана Аксакова. Так, 21 ноября 1866 года он писал ей: «В России зло очень редко творится умышленно, гораздо чаще — по недоразумению и недомыслию». Он повторяет то же самое в письме самому Аксакову от 5 января 1867 года: «У нас... все, еще идущее наперекор национальному стремлению, есть не что иное, как недоразумение, несознательность, просто отсталость...»

Однако всего лишь через год с небольшим — в уже цитированном письме от 20 апреля 1868 года — Тютчев поправляет сам себя. Он говорит здесь о людях типа Тимашева и Шувалова: «До сих пор это явление не было еще достаточно подробно исследовано. Это то, что паразитическое начало органически присуще Святой Руси... Это нечто в организме, живущее за его счет, но своей собственной жизнью, жизнью логической, последовательной и, так сказать, нормальной в своем пагубном разрушительном действии. И это происходит не только вследствие недоразумения, невежества, глупости, неправильного понимания или суждения. Корень этого явления глубже, и еще неизвестно, докуда он доходит».

Эта беспощадная характеристика лишний раз свидетельствует о резких расхождениях Тютчева со славянофилами, которые — при всех возможных оговорках — идеализировали «собственно русские» начала, полагая, что все заведомо, безусловно отрицательное в России так или иначе «заимствовано» с Запада либо, в более ранний исторический период, от татаро-монголов...

Для Тютчева борьба между добром и злом означала не борьбу между Россией и Западом, но единую всемирную борьбу. И высочайшей целью для него было, как мы видели, ради победы в этой борьбе «войти в мирное духовное общение» с Западом.

Многое из известного нам о Тютчеве волей-неволей ведет к представлению о том, что в зрелые годы он был лишен по-настоящему и всецело близких сподвижников. Деятели на арене внешней политики не понимали глубину и размах мысли и самой политической воли Тютчева. А те, кто вполне сознавал его духовную и творческую гениальность — Достоевский, Толстой, Фет и другие, — были слишком далеки от внешнеполитической сферы в ее конкретном, практическом воплощении.

Тютчев и в поздние свои годы (не говоря уже о поре молодости, когда человек более склонен к чувству восхищения) высоко ценил многих встреченных им людей, среди которых были и писатели, и мыслители, и ученые, и общественные деятели. Здесь необходимо прежде всего назвать Толстого и Достоевского.

Тютчев был одним из очень немногих людей, которые сразу же после выхода в свет «Войны и мира» и «Преступления и наказания» осознали всемирное величие этих творений. Замечателен эпизод, который неоднократно вспоминал уже после смерти Тютчева Достоевский: «Ф. Тютчев, наш великий поэт, находил, что "Преступление и наказание" несравненно выше "Отверженных". Но я спорил... и доказывал всем, что "Отверженные" выше моей поэмы, и спорил искренне, от всего сердца».

Тютчев, конечно, был совершенно прав в этом «споре» между автором и читателем, и его роль высшего судьи была всецело закономерной.

Не менее знаменательно тютчевское восприятие «Войны и мира». Чуть ли не все представители старшего поколения, так или иначе бывшие очевидцами эпопеи 1812 года, не смогли принять ее толстовское воссоздание. Среди них оказались и близкие Тютчеву Вяземский, Погодин, Авраам Норов, выступившие в печати с достаточно резкой критикой «Войны и мира».

У поэта были свои несогласия с Толстым, но они, по всей вероятности, относились только к чисто «философским» главам «Войны и мира». Известно, что Тютчев принимал участие в обсуждении романа в доме известного критика Василия Боткина и, надо думать, разделял точку зрения, которая изложена Боткиным в письме Фету от 26 марта 1868 года так: «Отрицание преобладающего влияния личности в событиях есть не более как мистическое хитроумие» (речь идет, без сомнения, об историософских отступлениях в «Войне и мире»).

Однако о критическом выступлении своего друга Вяземского против толстовской эпопеи Тютчев написал своей

дочери Екатерине следующее (3 января 1869 года): «Это довольно любопытно с точки зрения воспоминаний и личных впечатлений и весьма неудовлетворительно со стороны литературной и философской оценки. Но натуры столь колючие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем для малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посетитель-иностранец». Впоследствии Екатерина писала Ивану Аксакову: «По вечерам мы с тетушкой* перечитываем “Войну и мир”, и я любуюсь Толстым и наслаждаюсь его гениальным романом... Ни на каком языке я не читала ничего подобного в этом роде, — да только русским могло оно быть написано...»

До нас не дошло прямых суждений Тютчева о «Войне и мире», но едва ли мы ошибемся, если скажем, что мнение его дочери не противоречило отцовскому. 22 августа 1871 года поэт, случайно встретив Толстого в поезде (на станции Чернь, по дороге из Овстуга) и проговорив с ним «четыре станции», по приезде в Москву тут же телеграфировал Эрнестине Федоровне: «Приятная встреча с автором “Войны и мира”».

Толстой же через день писал Фету: «...Что ни час, вспоминаю этого величественного и простого и такого глубокого, настояще умного старика». А 13 сентября, рассказывая об этой встрече в письме своему самому близкому и задушевному тогда собеседнику, Н. Н. Страхову, Толстой писал: «Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил».

Это звучит даже не вполне достоверно, ибо Толстой общался с Тютчевым не столь часто, да и встречи их были краткими. Но была между ними — величайшими творцами русского слова — та глубинная, корневая связь, которая значила гораздо больше, чем связи со многими постоянными их собеседниками.

Целиком относится это и к внутренней связи Тютчева с Достоевским, для которого одно уже стихотворение «Эти бедные селенья...» являло собой ни с чем не сравнимую духовную реальность, своего рода зерно всего мироощущения. Строки из этого стихотворения десятки раз вспыхивают в сочинениях и письмах Достоевского...

Тютчев и Достоевский вышли из совершенно различных общественных слоев и принадлежали к совсем разным поколениям. Но многие воззрения и даже, если угодно, чувст-

* Сестрой поэта Дарьей.

вования Достоевского удивительно близки тютчевским, о чем не раз говорилось в литературоведческих исследованиях. Это может даже показаться странным, ибо нам известны лишь немногие встречи Тютчева с Достоевским. Но, как заметил впервые молодой исследователь Григорий Кремнев, их тесно связал один замечательный посредник — поэт Аполлон Майков.

Он писал: «...Знакомство с Ф. И. Тютчевым и его расположение ко мне, все скрепленное пятнадцатилетнею службою вместе (Майков служил под начальством Тютчева в Комитете цензуры иностранной. — *В. К.*) и частными беседами и свиданиями, окончательно поставило меня на ноги, дало высокие точки зрения на жизнь и мир, Россию и ее судьбы в прошлом, настоящем и будущем».

С Достоевским же Майков был знаком еще с 1846 года и впоследствии едва ли не первым решился восстановить дружбу с сибирским изгнанником. В 1855 году он отправил ему письмо, в котором сразу же заговорил о незадолго до того вышедшей книге стихотворений Тютчева.

После возвращения Достоевского в Петербург Майков стал его ближайшим другом и постоянным собеседником. Их теснейшая связь ослабла лишь в 1870-х годах, когда Достоевский, надо думать, слишком уж «перерос» своего сотоварища. Но в течение более чем десяти лет Майков, без сомнения, пересказывал Достоевскому речи Тютчева, с которым он постоянно общался с 1858 года (когда Тютчев начал службу в Комитете цензуры иностранной).

Позднее Майков стал знакомить и Тютчева с мыслями и даже письмами Достоевского. 20 сентября 1867 года Тютчев писал дочери Анне: «Прилагаемый здесь отрывок из письма Достоевского Майкову... посылаю твоему мужу... Этот отрывок мог бы вдохновить Аксакова на статью, которая была бы сейчас очень кстати».

Незадолго до смерти поэта Майков написал стихотворение «Ф. И. Тютчеву»:

Народы, племена, их гений, их судьбы
Стоят перед тобой, своей идеи полны,
Как вдруг застывшие в разбеге бурном волны...
Ты видишь их насквозь, их тайну ты постиг,
И ясен для тебя и настоящий миг,
И тайные грядущего обеты...
Но грустно зрячему бродить между слепых.
«Поймите лишь, — твердит, — и будет вам прозренье!
Поймите лишь, каких носители вы сил, —
И путь осветится, и все падут сомненья,
И дастся вам само, что жребий вам судил!..»

Услышав эти стихи, Достоевский, вспоминал Майков, воскликнул: «Да, да, поймите лишь! именно, именно, только бы поняли! Да нет, не поймут...»

...И все же Тютчев явно не искал встреч ни с Достоевским, ни с Толстым. Он был весь погружен во внешнеполитическую жизнь России и мира, стремился реально воздействовать на нее и более всего общался с людьми, которые, как ему представлялось, способны помочь ему в этом воздействии.

Кстати сказать, Тютчев в старости оставался в высшей степени общительным человеком. Иван Аксаков, постоянно наблюдавший жизнь поэта в последние годы, свидетельствовал, что он «не пренебрегал... ничьей беседой, в каких бы общественных слоях она ни происходила», и ничто не могло «помешать ему явиться там, где представлялся ему какой-либо живой интерес для его мысли или для его души. Круг его знакомых не суживался с летами, а постоянно расширялся... С каждым годом Тютчев становился популярнее в Петербурге...».

При этом Аксаков особо подчеркивал, что «в отношениях Тютчева к молодым людям вовсе не было того умного и великодушного расчета, каким любят иногда щеголять “старцы”... это были отношения, самые свободные и простые... того полноправного умственного общения, при котором ни старший годами не отрицал своего опыта, а лишь поверял его на новых явлениях жизни, — ни младшему не вспадало на мысль чваниться молодостью и потому воображать себя более передовым, чем его немолодой собеседник. Никому нельзя было смотреть на Тютчева не только как на отсталого, но даже как на усиливающегося не отстать; напротив, он был постоянно и естественно современен, и даже упреждал мыслью время, отводя всем явлениям текущей действительности законное место в общем историческом строе, находя им всем историческое объяснение и оправдание».

Именно потому, между прочим, Тютчев в отличие от множества своих сверстников смог вполне оценить «Войну и мир», созданную человеком, который — не будем этого забывать — был на двадцать пять лет (и каких лет в истории России!) моложе его.

Аксаков говорит, что поэту ничто не могло помешать явиться туда, где «представлялся ему какой-либо живой интерес», а в последние годы чуть ли не единственным «живым интересом» для поэта была современная политика и, с другой стороны, откристаллизовавшаяся в памяти человечества политическая жизнь прошедших времен — история.

Можно с полным правом сказать, что историки, особен-

но те из них, которые проявляли живое внимание к современной политике, интересовали Тютчева больше, нежели писатели. Поэт постоянно и увлеченно общался с такими видными историками разных поколений, как И. М. Снегирев (1793—1868), М. Ф. Юзефович (1802—1889), О. М. Бодянский (1808—1877), П. К. Щебальский (1810—1886), Е. П. Ковалевский (1811—1868), В. В. Григорьев (1816—1881), А. Н. Попов (1820—1877), М. О. Коялович (1828—1891), П. И. Бартенев (1829—1912), К. Н. Бестужев-Рюмин (1829—1897), В. И. Ламанский (1833—1914), Н. П. Барсуков (1838—1906) и др.

Существует множество свидетельств о тесных взаимоотношениях поэта с этими людьми. 6 июня 1860 года его сестра Дарья сообщала своей племяннице Екатерине: «Сейчас 10 часов утра — еду с твоим отцом и Снегиревым смотреть дом Романовых и Оружейную палату». Мария Тютчева записывает 7 марта 1862 года в дневнике: «Поехала с папой на лекцию Кояловича — очень интересно». Сам Тютчев пишет 24 июля 1867 года жене, что собирается ехать в Троице-Сергиеву лавру вместе «с моим старинным приятелем Бодянским». 3 декабря 1868 года поэт говорит в письме Бартеневу о его журнале «Русский архив»: «По-моему, ни одна из наших современных газет не способствует столько уразумению и правильной оценке настоящего, сколько ваше издание, по преимуществу посвященное прошлому». Из этих слов особенно очевидно, что «настоящее» всегда раскрывалось для Тютчева как новое звено истории. В свете всего сказанного становится понятным тютчевское замечание в письме жене от 5 сентября 1868 года о том, что он часто обедает «с профессорами и тому подобными людьми, общество которых, конечно, стоит всякого другого».

В своих беседах с историками поэт не только расширял и углублял представления о прошлом; есть все основания полагать, что его идеи оказывали свое воздействие на развитие исторической науки. Впрочем, это воздействие было еще менее явным и «официально» подтвержденным, чем участие поэта во внешнеполитической жизни России...

Многие факты свидетельствуют, что Тютчев жадно искал людей, которые могли бы действовать с ним заодно в области внешней политики. Какое-то время ему представлялось, что он нашел таких людей в лице Ивана Аксакова и Юрия Самарина. Но расхождения с ними были слишком велики, притом не только в понимании тех или иных проблем русской и мировой политики, но и в самом подходе к делу, в самом отношении к политической деятельности.

За четыре года до кончины Тютчеву показалось, что он впервые обрел человека, которого ему недоставало. В 1869 году начали публиковаться главы из трактата «почвенника» Николая Данилевского (1822—1885) «Россия и Европа». Поэт писал историку и общественному деятелю В. И. Ламанскому, что в этом человеке, «наконец, удалось мне встретить и приветствовать ревнителя в уровень с моими чаяниями и притязаниями».

Однако о последующих связях Тютчева с Данилевским ничего не известно. И есть основания полагать, что после первого, чрезмерно восхищенного приятия (которое объяснялось долгим и жадным ожиданием «ревнителя» в сфере мировой политики) Тютчев, так сказать, разочаровался. Вполне возможно, что это было обусловлено чисто «племенной» концепцией Данилевского, противопоставлявшей славян остальным народам Европы. Это еще не было до конца ясно из первых глав «России и Европы», но не могло не обнаружиться в целом трактате.

Стоит обратить внимание на тот факт, что поэт, обращаясь к достаточно близкому ему человеку, В. И. Ламанскому, в сущности, говорит и о его собственном несоответствии «уровню», который отвечал бы тютчевским «чаяниям». При всей свойственной ему деликатности Тютчев в этом вопросе был нелицеприятен...

Наиболее драматически рассеивались «чаяния» Тютчева в его отношениях с Иваном Аксаковым. Это может показаться странным, ибо в последние годы жизни поэта это был один из самых, если не самый близкий ему общественный деятель. Довольно тесные отношения между ними установились в начале 1860-х годов, а 12 января 1866 года состоялась свадьба Ивана Аксакова с Анной Тютчевой.

Поэт всегда очень высоко ценил Ивана Сергеевича, притом особенно восхищался теми его качествами, которыми сам не обладал, — несокрушимой душевной цельностью и безупречной нравственной твердостью. 25 февраля 1866 года он писал Анне — и писал, как явствует из многих фактов, с полной искренностью: «Твой муж всегда принадлежал к числу моих лучших убеждений. Я так ему признателен за то, что он есть, а главное — за то, что он обладает характером, столь отличным, со всех точек зрения, от моего...» Рассказывая Эрнестине Федоровне (письмо от 2 июля 1867 года) о борьбе Аксакова за свои убеждения, Тютчев заметил: «Этот человек в самом деле настоящий атлет».

Даже тогда, когда Тютчев выражал прямое несогласие с Аксаковым, он не стремился навязать ему свою собствен-

ную линию поведения, признавая его право на совершенно самостоятельный путь. 20 апреля 1868 года он писал Анне, что к ее мужу «применяется известный стих:

Ты б лучше быть могла,
Но лучше так, как есть»*.

Восьмого ноября 1868 года поэт писал об Иване Аксакове своей дочери Екатерине: «Это натура до такой степени здоровая и цельная, что кажется в наше время отклонением от нормы. Древние, говоря о таких... натурах, придумали очень меткий образ, они сравнивали такого человека с дубом, в дупле которого улей с медом». Наконец, всего за три месяца до смерти Тютчев продиктовал письмо Анне, в котором говорится об Аксакове: «...Природа, подобная его природе, способна заставить усомниться в первородном грехе...»

Да, Тютчев ценил в Аксакове прежде всего то, чем не обладал в полной мере сам. Между тем Аксаков, напротив, не принимал в Тютчеве многие черты и качества, несвойственные ему самому. Это со всей остротой выразилось и в аксаковских письмах, и в принадлежащей ему биографии поэта.

Биография, написанная сразу же после смерти Тютчева (Аксаков закончил ее раньше, чем исполнилась годовщина этой смерти), в целом ряде отношений предстает не как объективное воссоздание образа поэта, но как продолжающийся диалог и даже спор с Тютчевым. Те или иные суждения Аксакова являются перед нами, по сути дела, в качестве подробностей самой жизни Тютчева последних лет, ибо Аксаков находился тогда в тесных взаимоотношениях с поэтом, и его общение с Тютчевым словно длится в биографии, создаваемой, как говорится, по горячим следам.

Аксаков решительно оспаривает самый характер деятельности Тютчева. Хотя он не раз оговаривает, что поэт не был по своей глубокой внутренней природе «светским человеком», он все же вполне определенно утверждает, что Тютчев «любил свет... любил его блеск и красивость; ему нравилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на общественных высотах, где... во имя единства цивилизации, условных форм и приличий, сходятся граждане всего образованного мира, как равноправная группа актеров».

До нас дошло между тем множество высказываний поэта, неопровержимо доказывающих, что в зрелые свои годы он с негодующим презрением относился именно к тем чертам «света», восхищение которыми усматривает в его поведении

* Из стихотворения И. И. Дмитриева.

Аксаков («международная арена», «единство цивилизации», «условные формы», «группа актеров» и т. п.).

Так, столкнувшись на той самой «международной арене», о которой говорит Аксаков, с характерной ситуацией, когда иностранные дипломаты принимали взгляды аристократических салонов за выражение общественного мнения страны, Тютчев рассказывал (письмо Анне от 22 ноября 1870 года): «Я в конце концов заявил некоторым господам из дипломатического корпуса, что они с таким же успехом могли бы справиться о настроениях народа у французской труппы Михайловского театра, как и в любом салоне или кружке изысканного петербургского общества, ибо и те и другие имеют одинаково мало общего с Россией». Одной этой фразы, пожалуй, достаточно, чтобы опровергнуть представление, согласно которому Тютчеву «нравилась эта театральная, почти международная арена» петербургского света.

Аксаков как бы не хотел понять, зачем Тютчев тратит столько времени на «светскую жизнь». Правда, он отметил в своей биографии, что «частые беседы Тютчева с главнейшими деятелями той эпохи, с которыми он был близок... были также, без сомнения, своего рода делом». Но из самой этой фразы очевидно, что Аксаков считал, скажем, издание славянофильских газет и журналов неизмеримо более важным делом, чем эти тютчевские «беседы». Он, как это ни странно, не заметил, что если не все, то главные внешнеполитические статьи, которые в 1860-х годах появлялись в его, аксаковских, изданиях, были так или иначе внушены Тютчевым и включены им в единую систему с этими самыми «беседами» с «главнейшими деятелями», благодаря чему статьи эти только и обретали определенную действенность.

К тому же, оговорив, что светские «беседы» поэта были «своего рода делом», Аксаков в целом все-таки «осудил» его светскую жизнь. Он писал о Тютчеве: «Жить всею полнотой внешней* общественной жизни... было для него насущной потребностью... Только бы не было скучно, — только бы зрелище или беседа, чем бы они обставлены ни были, давали пищу его уму, возбуждали в нем участие, представляли сами по себе живой завлекающий интерес».

Голос Аксакова звучит, пожалуй, особенно осуждающе там, где он размышляет об отношении Тютчева к Овстугу: «Он даже в течение двух недель не в состоянии был переносить пребывание в русской деревенской глуши, например, в своем родовом поместье Брянского уезда, куда почти каждое

---

* Это, без сомнения, снижающее определение.

лето переезжала на житье его супруга с детьми. Не получать каждое утро новых газет и новых книг, не иметь ежедневного общения с образованным кругом людей, не слышать около себя шумной общественной жизни — было для него невыносимо».

Как представляется, было бы уместно удивиться скорее тому, что Тютчев в эти годы все же каждое лето — до начала своей предсмертной болезни — приезжал хоть на несколько дней в Овстуг, хотя дорога в оба конца отнимала много времени и сил. Значит, что-то неотвратимо влекло его в родные места.

Аксаков, конечно, прав, утверждая, что поэт не мог сколько-нибудь продолжительное время находиться «в глуши», — там, где не был слышен пульс мировой политической жизни. Только едва ли уместно объяснять это давлением «скуки». Поэта неудержимо влекло в центры политической жизни глубокое и острое чувство тревоги — личной тревоги о состоянии мира в его целом. Уже незадолго до смерти он писал жене (14 сентября 1871 года): «Мне кажется, что я уже на три четверти ушел в небытие, и единственное, что еще от меня остается, — это чувство тревоги».

Притом в душе поэта так или иначе жило ощущение, что его собственная политическая воля реально участвует в делании истории, в той всемирной борьбе добра и зла, о которой он не раз говорил. И он не хотел даже на короткий срок выпустить из рук те нити политической жизни, которые в той или иной мере были ему подвластны.

Правда, книга Аксакова противоречива. В какой-то степени он сознавал историческую роль поэта. Так, он совершенно верно отметил, что Тютчев — «не деятель в общепринятом смысле этого слова... Его деятельность, почти непосредственная, сливается с самим его бытием». И в другом месте: «Он ни на минуту не переставал быть участником и общником текущего исторического дня».

Но в то же время Аксаков заведомо недооценил реальные плоды этой деятельности. Уже сказав о ее своеобразии, он все же стал мерить Тютчева привычной, в конечном счете шаблонной меркой: «При его необыкновенных талантах, он дал неисчислимо менее, чем, казалось, способен был произвести... ему недоставало труда, постоянного занятия». В Тютчеве-де жизнь не выработала «способности к настойчивому, последовательному труду, к строгому и самостоятельному мышлению, к духовной инициативе».

И это сказано о человеке, который как раз нес в себе ни с чем не сравнимую по глубине и мощи духовную инициа-

тиву, оказавшую не могущее быть переоцененным воздействие и на литературу, и на общественную мысль, и в конце концов на саму историю России!

Да, поэт не оставил двенадцати объемистых томов сочинений, какие оставил сам Иван Аксаков. Однако нельзя не заметить, что сам Аксаков из своих работ наиболее высоко ценил биографию Тютчева: «Из всех моих писаний биография есть самый серьезный, строгий труд». И действительно: «предмет» этого сочинения был настолько значителен, что автор, осваивая его, высоко поднялся над своими обычными возможностями...

Аксаков очень точно сказал о поэтическом творчестве Тютчева, что «оно... не могло быть в нем продолжительно, и вслед за мгновением творческого наслаждения он уже стоял выше своих произведений, он уже не мог довольствоваться этими неполными и потому не совсем верными, по его сознанию, отголосками его дум и ощущений; не мог признавать их за делание достаточно важное и ценное...».

Но ведь это целиком следует отнести и к тютчевскому творчеству в области мысли, и к его историческому творчеству. Кстати сказать, это вроде бы сознавал Аксаков, заметивший, что «как в устном слове, точно так и в поэзии, его творчество только в самую минуту творения, не долее, доставляло ему авторскую отраду».

Но все же, явно противореча себе, Аксаков упрекает Тютчева за недостаток «последовательного труда». Он сочувственно цитирует слова Карла Пфеффеля, который писал о поэте: «Этот человек, рожденный для размышления, для кабинетного труда... рассеял на ветер, в разговорах, сокровища своего ума и мудрости».

Однако Тютчев действительно сразу же оказывался «выше» любой своей мысли и вовсе не стремился основательно изложить ее в обширном трактате; точно так же он не имел горячего желания да и, следует добавить, особых возможностей добиться, чтобы его имя было запечатлено на том или ином политическом акте, в осуществлении которого он сыграл важную либо даже решающую роль.

Как неоднократно говорит в своей книге Аксаков, Тютчев был настолько чужд стремлению к известности, широкому признанию, славе, что это прямо-таки поражало в нем: «Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был органический недостаток... Всякое самодовольство было ненавистно его существу... Этот человек... обладал умом необычайно строгим, прозорливым, не допускавшим никакого самообольщения... При этом его уму была в сильной степени

присуща ирония, но не едкая ирония скептицизма и не злая насмешка отрицания, а как свойство, нередко встречаемое в умах особенно крепких, всесторонних и зорких, от которых не ускользают, рядом с важными и несомненными, комические и двусмысленные черты явлений. При таком свойстве ума не могли же иначе, как в ироническом свете, представляться ему и самолюбивые поползновения его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали».

Но в наше время уже можно увидеть в этом как бы ни на что не претендовавшем человеке одну из главных духовно-исторических сил России... Это вполне отчетливо видно нам в его поэзии, но нет сомнения, что поэзия — только одно из выражений его личности. Аксаков свидетельствует, что ум поэта не допускал «никакого самообольщения». И если Тютчев целиком отдал свои последние годы политической деятельности, он наверняка чувствовал — и не без оснований, — что эта деятельность не бесплодна, что она имеет реальный исторический смысл и значение.

Аксаковское непонимание Тютчева очень ясно раскрывает то, что можно назвать драмой поэта. Ведь Аксаков был чрезвычайно близок к Тютчеву — и все же по существу отрицал его политическую деятельность. Он сумел предельно высоко и верно оценить политическую мысль поэта, утверждая, что до последних дней «его ум бодрствовал и светил неослабно; его суждения озаряли темную глубину современных мировых вопросов; на каждое важное явление истории, как за пределами, так и внутри России, отзывался он...». Далее раскрывается «замечательная способность Тютчева: усматривать в отдельном явлении, в данном внешнем событии его внутренний, сокровенный мировой смысл. Откидывая внешние частности, он в каждой заботе текущего дня обращается мыслью назад, к ее историческим основам, ищет и отыскивает в случайном и временном вопрос пребывающий — роковой, как он выражается».

Казалось бы, Аксаков должен был сделать вывод о том, что и действенное, практическое вмешательство Тютчева «в каждую заботу текущего дня» имеет свой глубокий смысл. Но он скорее склонен был видеть в тютчевских усилиях способ избавиться от «скуки»...

Не приходится уже говорить о многих других людях, которые были дальше от Тютчева, чем Аксаков, и уже никак не могли понять его деятельность. Что же касается тогдашних государственных деятелей, они, напротив, были неспособны понять мысль Тютчева во всем ее объеме и исторической глубине...

Глава двенадцатая

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ

Природа...
приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Овстуг, 1871

Уже шла речь о том, что Тютчев, как он сам не раз повторял, постоянно боролся с тиранией времени. Эта борьба была поистине победной. Всех, кто близко знал поэта в его последние годы, поражала его свобода от груза лет. Иван Аксаков писал об этом: «Кроме... внешних примет, Тютчев казался как бы непричастным условиям и действиям возраста: до такой степени не было ничего старческого ни в его уме, ни в духе... В разговорах с этим седовласым или почти безвласым, нередко хворым, чуть ли не семидесятилетним стариком, почти всегда зябнувшим и согревавшим спину пледом, не помнилось об его летах, и никто никогда не относился к нему как к старику... Возраст не оказывал на его мысль и на его душу ни малейшего действия, — в этом отношении вполне справедливо то выражение о нем, которое нам удалось слышать еще при его жизни: cet homme n'a pas d'age (у этого человека нет возраста. — *фр.*)».

Эта свобода от возраста предстает с особенно высокой значительностью, если помнить, что Тютчев рано начал открытыми глазами смотреть в лицо смерти. Ему было тридцать пять лет, когда на его руках скончалась его первая жена Элеонора. Он писал тогда Жуковскому (6 октября 1838 года): «Все пережить и все-таки жить... Есть слова, которые мы всю нашу жизнь употребляем, не понимая... и вдруг поймем... и в одном слове, как в провале, как в пропасти, все обрушится».

С тех пор поэт глубоко и драматически переживал едва ли не каждую смерть, постигавшую близкого либо просто знакомого ему человека. Кончина родственника всегда побуждала Тютчева прямо сопоставить ее с собственной жизнью. Когда в 1846 году умер его отец, он написал своей двоюродной сестре Пелагее Муравьевой: «Ощущаешь себя постаревшим на двадцать лет, ибо сознаешь, что на целое поколение приблизился к роковому пределу».

Девятнадцатого июля 1852 года он пишет Эрнестине Федоровне о том, что он — «человек, постоянно преследуемый мыслью о смерти», что он испытывает «ежеминутно с такою

болезненной живостью и настойчивостью сознание хрупкости и непрочности всего в жизни...».

Событие смерти всякий раз потрясало поэта. В 1866 году умерла дочь Карамзина Софья, с которой он был дружен. «Я так помню ее на похоронах госпожи Карамзиной*, — писал Тютчев Эрнестине Федоровне 10 июля, — низко склонившейся над зияющей могилой. И вот теперь ее черед! Можно сказать, что смерть — это единственное общее место, которое никогда не устареет. Первый, кто сообщил мне эту новость, был Вяземский, на которого она произвела гораздо меньшее впечатление, чем я ожидал... Впрочем, надо сказать, что немногие сохраняют до конца способность сильно чувствовать подобные события».

У Тютчева эта способность была исключительно развита. Притом он поистине смотрел прямо в лицо смерти; во многих письмах он говорит о ней с предельной обнаженностью. 22 октября 1852 года он писал Эрнестине Федоровне о смерти одного из своих знакомых: «Открылось кровотечение и... он не мог откашлять большого сгустка крови, остановившегося в горле и задушившего его...» А уже незадолго до собственной кончины, 14 сентября 1871 года, он рассказывал жене о смерти их общей приятельницы: «Последние двадцать четыре часа... были ужасны: она кричала, не переставая. Вскрытие тела показало, что все мускулы были поражены раком, так что одна рука держалась на ниточке... И вот, перед лицом подобного зрелища, спрашиваешь себя: что все это значит и каков смысл этой ужасающей загадки, — если, впрочем, есть какой-либо смысл?»

Об этом тютчевском восприятии смерти необходимо сказать потому, что иначе не будет понятно все его мужество и сила духа в тот момент, когда он сам оказался во власти смерти. Еще в 1856 году он сказал (в письме Эрнестине Федоровне от 23 июля): «Я по крайней мере могу отдать себе печальную и горькую справедливость... несчастье не застигнет меня врасплох». А уже после постигшего его удара он писал Анне: «У меня нет ни малейшей веры в мое возрождение... Теперь главное в том, чтобы уметь мужественно этому покориться». И он сумел это сделать.

В последние годы жизнь Тютчева нераздельна с жизнью его семьи. Выше шла речь о его «одиночестве» в сфере политической деятельности. Но в Эрнестине Федоровне и наиболее близких ему детях поэт нередко находил глубокое понимание. Его письма к ним свидетельствуют об этом достаточно очевидно.

---

* Жены историка, скончавшейся в 1851 году.

Однако смерть вторгается и в семью поэта. В 1870 году скончался его сын от второго брака Дмитрий, в 1872 году — дочь Мария. Вслед за сыном, в 1870-м, умер брат поэта Николай, бывший двумя годами старше его. Возвращаясь 11 декабря с похорон в поезде Москва — Петербург, Тютчев, по его слову, «в состоянии полусна» создал проникновенное стихотворение «Брат, столько лет сопутствовавший мне...», которое заканчивается строками, воспринимающимися как прощание с жизнью:

...Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я как есть
На роковой стою очереди.

Здесь и прямое предсказание:

...год-другой — и пусто будет там,
Где я теперь...

Следующим актом прощания явилась последняя поездка в Овстуг в августе 1871 года. Как мы помним, отношение поэта к родному гнезду было непростым и нелегким. Но в последние годы он будто снова целиком обрел тот мир, где «мыслил и чувствовал впервые».

Восьмого октября 1867 года он пишет жене о том, что воображает, как осенний свет «заливает в настоящую минуту Овстуг, золотя увядшие листья на деревьях и блестящую грязь тропинок». В письме ей же от 19 июля 1868 года он с горькой нежностью вспоминает «впечатление полной заброшенности и одиночества, которое неизменно вызывают эти серые избы и тропинки, теряющиеся в полях». Вскоре, в начале августа, он побывал в Овстуге и 30 августа писал туда из Москвы, где «третьего дня еще был совершенно летний день или, скорее, осенний, но ясный, великолепный, теплый и облитый каким-то прощальным сиянием... Я с грустью подумал о саде в Овстуге, который, конечно, золотили те же солнечные лучи и оттенки которого несколько изменились со времени моего отъезда».

В последний же свой приезд в Овстуг поэт создает стихотворение, навеянное поездкой к холмам древнего Вщижа. Словно завершая, замыкая круг своей жизни, начавшейся здесь, около этих холмов, Тютчев говорит о природе:

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

Здесь поэт возвратился к тому поэтическому космизму, который присущ его стихотворениям 1820—1830-х годов (с конца 1840-х — о чем подробно говорилось в своем месте — поэзия Тютчева обращена главным образом к собственно человеческому миру). Это возвращение намечается уже в стихотворениях «В небе тают облака...» (1868) и «Природа — сфинкс. И тем она верней...» (1869), созданных также в Овстуге. Но в стихах 1871 года поэт как бы всецело углубляется сквозь человеческую действительность к вечному бытию:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы...

Через много лет, в 1935 году, П. А. Флоренский писал о космическом мироощущении Тютчева, о созданном им образе безначального «хаоса»: «Хаос Тютчева залегает глубже человеческого — и вообще, и индивидуального — различения добра и зла. Но именно поэтому его нельзя понимать как зло. Он порождает индивидуальное бытие, и он же его уничтожает. Для индивидуума уничтожение есть страдание и зло. В общем же строе мира, то есть вне человеческой жизни, это ни добро, ни зло... Без уничтожения жизни не было бы, как не было бы ее и без рождения... И когда хаос не считается с понятиями человеческими, то это не потому, что он нарушает их "назло", что он борется с ними и противопоставляет им их отрицание, а потому, что он их, так сказать, не замечает. Тютчев не говорит и не думает, что хаос стремится поставить вместо человеческих норм и понятий о добре им обратные; он просто попирает их, подчиняя человека другому, высшему, хотя часто и болезненному для нас закону. Этот высший закон мы способны воспринимать как красоту мира, как "златотканый покров", и радость жизни, полнота жизни, оправдание жизни — в приобщении к этой красоте, постоянном восприятии и сознании ее... Достоевский, хотя не везде и не всегда, видит в хаосе не корень жизни, а извращение жизни, перестановку добра и зла, то есть человеческую же направленность... Сейчас неважно, прав Достоевский или нет. Важно лишь то, что он и Тютчев говорят о разном: в то время как Тютчев выходит за пределы человечности, в природу, Достоевский остается в пределах первой и говорит не об основе природы, а об основе человека. Когда же он возвышается до тютчевского мироощущения, основу природы называет Землею; "жизнь полюбить прежде ее смысла" — это уже довольно близко к Тютчеву».

В этой характеристике выразилось, строго говоря, одностороннее представление о тютчевском творчестве, ибо поэт в течение долгого времени пребывал «в пределах» человеческой деятельности; надо думать, для полноты творческого свершения и Тютчеву, и Достоевскому были необходимы, так сказать, обе системы отсчета — и человеческое, и «внечеловеческое». Но в высшей степени естественно, что поэтическое прощание Тютчева с Овстугом было вместе с тем и возвратом к космическому мировосприятию: круг его творческого и человеческого бытия завершался здесь с глубокой истинностью.

Тютчев всецело смыкает индивидуальное и вселенское, космическое; ведь во «всепоглощающей и миротворной бездне» должно раствориться его личное бытие, он сам как есть. Это созданное на пороге смерти стихотворение убеждает, что космизм в поэзии Тютчева не являл собой «образно-стилистический прием», как это свойственно подавляющему большинству претендующих на космический размах стихов. Тот же П. А. Флоренский выразительно сказал о величии тютчевского космизма: «Пусты обычные в подобных случаях интеллигентские разговоры об одушевлении природы как об “олицетворениях”, как о поэтических персонификациях... Народная поэзия, поэзия древности пользовалась такими олицетворениями вовсе не как прикрасами или приправами стиля, но вполне просто и деловито говорила то самое, что хотела сказать... В поэзии новой эти олицетворения опираются на рудиментарные чувствования, живущие в полусознательной глубине духа, еще не растленной отвлеченным миропониманием; в минуты вдохновения поэта эти глубинные слои духовной жизни прорываются... и внятным языком поэт говорит нам о невнятной для нас жизни... Так у подлинного поэта. Конечно, наряду с этим возможна и риторика как механическое заимствование оборотов чужой речи, заслуживших себе признание. Но ведь такая риторика и расценивается нами как бездушная фальшивость: воровство возможно только потому, что есть собственность, подделка — под подлинник, компиляция — из оригинала. И мы различаем и то, и другое. Самая способность этого различения является реактивом на все еще живущую в каждом из нас, из читателей, жизнь со всей природой... Пора, наконец, понять, — заключает П. А. Флоренский, — что похвала Тютчеву не есть слово, ни к чему не обязывающее, а, будучи сказано искренне, оно подразумевает неисчислимые, мирового порядка, последствия».

И в самом деле: искреннее восхищение поэзией Тютчева

должно пробудить в каждом из нас убежденность в том, что мое личное бытие имеет самое прямое, непосредственное отношение к вселенскому, космическому бытию, что я не имею права забывать об этом и призван мерить мою жизнь именно такой мерой...

Когда-то юный Тютчев именно в Овстуге впервые — и потому с недостижимой уже позднее силой и потрясенностью — увидел «небесный свод, горящий славой звездной», — как он сказал в пору первой своей творческой зрелости, около 1830 года. Тогда, в начале поэтической жизни, он представляет себе долгий путь, на котором

...мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

В конце же пути, через сорок с лишним лет, он скажет в Овстуге о «всепоглощающей и миротворной бездне» Вселенной.

Стихотворение это начинается воспоминанием о боевых схватках на крепостных стенах древнего Вщижа, бушевавших шесть и более веков назад:

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Казалось бы, Тютчев перед ликом вселенской «бездны» видит тщету человеческой истории. Но проблема сложна и противоречива. Те почти два года, которые осталось жить поэту после создания стихотворения о Вщиже, он по-прежнему был весь погружен в историю своего времени, хотя жизненные силы с каждым месяцем покидали его.

Возвратившись в конце августа 1871 года из Овстуга — по дороге, как мы помним, он в последний раз виделся с Толстым — Тютчев уже более не выезжал из Петербурга далее Царского Села. Ему стало трудно передвигаться, и это было для него очень тягостно, ибо Тютчев прямо-таки не представлял себе жизнь без долгих путешествий. В 1865 году Иван Аксаков не без изумления рассказывал в письме Анне Тютчевой (тогда его невесте), как он на московской улице встретил поэта, который «взял меня под руку, и мы с ним проходили с лишком полтора часа, разговаривая. Думаю, что сделали верст десять» (стоит напомнить, что поэту было уже шестьдесят два года). Ранее, в 1846 году, Тютчев рассказывал в письме жене (14 августа), как он в взволнованном состоянии «бросился, чтобы не задохнуться, на Тверской

бульвар, который пробежал несколько раз*, прежде чем немного успокоился».

Для самых же последних лет жизни поэта характерна другая картина, воссозданная в воспоминаниях В. П. Мещерского: «Помню... его живописную позу на Невском проспекте; летом, в сильнейший зной, он сидит, развалившись на скамейке дворника у дома Армянской церкви, где он жил, на панели, и читает газеты».

Только поверхностному взгляду этот «портрет» поэта может показаться не очень уж содержательным. Между тем по-настоящему крупная и высокоразвитая личность ярко воплощается почти в каждом своем проявлении. И в этой незатейливой «зарисовке» — как бы весь Тютчев. Здесь и постоянно выражавшаяся в его стихах неодолимая тяга к теплу, солнцу, «Югу», и его органический «демократизм» (тайный советник сидит, развалившись, на дворницкой скамейке, как старик-крестьянин на завалинке), и неизбежные газеты в руках — хотя дело идет, казалось бы, о полудремотном отдыхе в летний зной.

Четвертого января 1872 года он пишет Анне: «...По своему неисправимому легкомыслию я по-прежнему не могу не интересоваться всем, что происходит в мире, словно мне не предстоит вскоре его покинуть...» И он вовсе не только интересуется, он и в этот предпоследний год жизни так или иначе стремится воздействовать на ход политических дел. Он не отказывается от этого даже и тогда, когда его постиг удар (по-нынешнему — инсульт), парализовавший левую половину тела.

Первые признаки надвигающегося удара появились еще 4 декабря 1872 года. 11 декабря Эрнестина Федоровна писала брату: «Несколько дней назад его левая рука... перестала ему повиноваться настолько, что он, сам того не чувствуя, роняет взятые ею предметы. Затем ему вдруг стало трудно читать, так как буквы сливались в его глазах».

Как рассказывает Аксаков, доктора «советовали ему тишину, спокойствие, рекомендовали поменьше читать и думать... Но Тютчев не уступал, упорно пытался жить, как жилось ему прежде и как не мог он иначе жить... Несмотря на несколько случаев подозрительной дурноты, испытанной им в гостях, у знакомых, несмотря на мучительные боли в голове, он не хотел признавать власти недуга над своим умом и дарованиями».

И все окружающие не сомневались, писал Аксаков, что «главной причиной удара были стихи по случаю кончины Наполеона, сочиненные им».

---

* Длина Тверского бульвара 800 метров.

Французский диктатор умер в изгнании 28 декабря 1872 года. Получив известие об этой смерти, Тютчев тут же захотел выразить свои мысли в стихах. «Но, — свидетельствует Аксаков, — к его смущению и ужасу — стихи не выходили, не повиновались ни звуки, ни рифмы. Страшно напряглись его силы; он одолел-таки добровольно заданную им себе работу...» Рука уже совсем плохо подчинялась поэту, и он 30 декабря продиктовал стихи жене, а на следующий день сам отнес их в редакцию еженедельного журнала «Гражданин»* (где, кстати сказать, как раз с декабря 1872 года сотрудничал Достоевский).

Первого января 1873 года поэт, рассказывает Аксаков, «несмотря ни на какие предостережения, вышел из дому для обычной прогулки, для посещения приятелей и знакомых... Его вскоре привезли назад разбитого параличом. Вся левая часть тела была поражена, и поражена безвозвратно».

Однако, когда всего через день, утром 3 января Аксаков приехал к Тютчеву, тот, «бегло сказав о себе: "Это начало конца...", сейчас же пустился говорить о политике, о Хиве, о Наполеоне... например, о Наполеоне III: "Какой огромный круг деятельности исторической и созидания понапрасну, по-пустому", старался припомнить свои стихи об нем, но не мог, среди усилий задремывал, потом опять силился сказать что-нибудь об общих вопросах».

Аксаков пробыл тогда рядом с Тютчевым около двух недель, а позднее, в июне, приехал к нему еще на две недели. И в подробных письмах того времени Иван Сергеевич, поражаясь мыслительной энергии поэта, вместе с тем как бы ведет постоянный спор с ним, не принимая его отношение к миру на пороге смерти.

Этот спор — своего рода часть жизни самого Тютчева, существенное «обстоятельство» его жизни. Поэтому важно вглядеться в характер этого спора.

Аксаков полагает, что думать и говорить о Наполеоне III в том состоянии, в каком находится поэт, — занятие неуместное и, так сказать, суетное. В ночь с 3 на 4 января он пишет о тютчевских речах, касающихся Наполеона, и попытках вспомнить стихи, трудная работа над которыми явилась непосредственной причиной удара: «Это происходит просто по привычке всего умственного аппарата. Зубцы, колеса, пружины — весь механизм по-прежнему в движении... Трудно совладать с собственным мыслительным механизмом, который между тем без умолку стучал и работал в его голове».

---

* В номере от 8 января 1873 года стихи были опубликованы.

Через несколько дней, 8 января, Аксаков пишет о Тютчеве его дочери Екатерине: «...Ему положительно лучше, он даже весел, жаждет говорить о политике и общих вопросах... Человеку дано грозное предостережение... тень смерти прошла над ним, — и вместе с тем дана отсрочка... Дается время подготовиться, покаяться, освятиться. Молите Бога, чтобы он воспользовался этой отсрочкой. Мне кажется, впрочем, что Ф. И. ... не ощутил и близости смерти, ее таинственного веяния около себя... Самое приобщение Святых Тайн не сопровождалось тихою торжественностью, которою осеняется почти всегда при одре умирающего. Конечно, правда души человеческой — известна вполне только одному Богу, а для нас остается тайной. Но поскольку можно судить по непосредственным впечатлениям, — едва ли ваш отец познал “день посещения своего”...»

Об этом свойственном Аксакову восприятии (и оценке) предсмертного «поведения» Тютчева, без сомнения, знал его ближайший друг Юрий Самарин. И в своем письме Аксакову от 22 июля 1873 года он вольно или невольно оспорил друга. Он писал о Тютчеве: «...был в нем неисчерпаемый источник того чисто русского благодушия, которое так однородно с христианской любовью и в то же время так близко граничит с дохристианским безразличием к добру и злу (вспомним приведенные выше слова Павла Флоренского. — *В. К.*). Впрочем, в каждой душе есть глубины, недоступные человеческому суждению, и о его младенчески-свежей душе можно сказать то же, что говорится в Писании о суровой душе первого между людьми завоевателя (основателя Вавилонского царства Нимврода. — *В. К.*): он был поэт перед Господом, как тот был исполином перед Господом. Господь и судит его — не мы».

Иван Аксаков же рисковал «судить» Тютчева — в частности, за то, что поэт на грани смерти мыслил о Наполеоне III...

Между тем фигура Наполеона III* была для Тютчева как бы нагляднейшим воплощением мирового зла, и в постоянном размышлении об этом состоял не только интерес его ума, но и глубокая тревога его души.

Не следует забывать, что Наполеон III был одним из главных организаторов Крымской войны. С момента его прихода к диктаторской власти в 1852 году Тютчев не мог не обращать внимания на каждый его шаг. В 1859 году поэт впервые лично видел в Париже Наполеона III и воспринял

---

* Стоит напомнить, что он был единственным политическим деятелем, о котором Карл Маркс счел нужным написать специальную книгу («Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»).

его именно как наиболее мощное и победное выражение мирового зла; 5 августа он писал об этом Эрнестине Федоровне: «Нельзя не испытывать некоторого волнения в присутствии особы, олицетворяющей собой, как он в данную минуту, наибольшую силу и энергию в нашем мире... Конечно, это заставляет предвидеть довольно печальное будущее как для Франции, так и вообще для Европы... Я вынес убеждение, что какая будущность ни предстоит настоящему строю, он в теперешний момент положительно популярен и пользуется гораздо большими симпатиями, чем всякий другой... Это власть, нравящаяся толпе».

И тем не менее Тютчев очень рано прозрел катастрофическую «будущность» Наполеона, его неизбежный и более или менее быстрый крах. Так, в 1863 году он пишет Эрнестине Федоровне (22 июля), что «этот жалкий авантюрист кончит так же, как он начал — самым смешным фиаско, которое он вряд ли переживет на этот раз. Но увы, кому известно будущее...» — добавляет поэт, хотя оно в самом деле оказалось известным ему.

Двадцать первого июля 1866 года Тютчев все в той же переписке с полной уверенностью говорит (за четыре года, когда никто и не думал об этом), что современная ситуация «предшествует великому побоищу, великой борьбе между наполеоновской Францией и немцами», борьбе, которой Франция «обязана политике Наполеона, столь прославленной за ее ловкость и целесообразность глупцами всего мира. Никогда еще не было видано подобной мистификации». Кстати сказать, в предыдущем письме (от 9 июля) поэт выражает уверенное предположение, что все совершающееся «приведет к революции во Франции» — то есть за пять лет до ее начала предсказывает Парижскую коммуну!

Двадцать второго октября 1867 года Тютчев пишет: «Наполеон ставит последнее на карту, и я думаю, что он проиграет». Менее чем через три года это предсказание сбылось. 31 июля (по новому стилю — 12 августа) 1870 года Тютчев писал Анне Аксаковой о только что начавшейся войне Франции и Пруссии: «Война началась ровно восемь дней назад, и вот уже судьба Франции поставлена в зависимость от случайности одного сражения... В результате он (Наполеон III. — *В. К.*) явится восстановителем империи, но только не своей, а империи вражеской. Не пройдет и месяца, как все эти вопросы будут решены».

И в самом деле: уже 20 августа (2 сентября) французская армия потерпела сокрушительное поражение под Седаном и капитулировала, и на основе этой победы Пруссии была

восстановлена единая Германская империя. Наполеон III оказался в плену, а затем поселился в Англии, где через два года его постигла бесславная смерть.

В глазах Тютчева крах Наполеона III был своего рода бесспорным доказательством неотвратимости краха зла, невзирая на всё его долговременное могущество. Об этом и говорится в его стихотворении, с таким трудом написанном накануне удара:

Знай, торжествующий, кто б ныне ни был он,
Во всеоружии насилья и обмана,
Придет и твой черед, и поздно или рано
Ты ими ж будешь побежден!

Тютчев поистине не мог не написать этого стихотворения, ибо его политическая и историософская мысль в течение двадцати с лишним лет не упускала из виду фигуру французского диктатора. Поэтому едва ли был прав Иван Аксаков, который полагал, что при веянии смерти Тютчеву надлежало забыть о Наполеоне III — и о политических делах вообще.

Вспоминая позднее о январе 1873 года, Аксаков в уже более объективном тоне писал о Тютчеве: «Он требовал, чтобы ему сообщались все политические и литературные новости, — он по каждому поводу готов был пуститься в серьезные рассуждения, и напрасно усиливались врачи отстранить от него эту “вредную при его состоянии деятельность”... Доктора были правы в определении болезни... но они обманулись в своих научных расчетах относительно упругости мыслительных сил своего пациента».

Аксаков особо еще выделяет чисто тютчевскую черту: «Прикованный к постели, с ноющею и сверлящею болью в мозгу, не имея возможности ни приподняться, ни перевернуться без чужой помощи, голосом, едва внятным, он истинно дивил и врачей, и посетителей блеском своего остроумия».

Пятого января в доме Тютчевых стало известно, что царь, как бы доказывая тем самым, сколь значительную роль играл поэт в государственных делах, изъявил намерение навестить его. Но Тютчев заметил с сокрушительным юмором, что «это приводит его в большое смущение, так как будет крайне неделикатным, если он не умрет на другой же день после царского посещения». Вполне вероятно, что эта острота дошла до царя, так как уже объявленный визит не состоялся...

«По прошествии месяца... — вспоминал Аксаков, — мысль его и слово окрепли, он диктовал пространные письма самого серьезного содержания, был в состоянии иногда и сам начертать несколько строк».

В то же время телесные его силы были безнадежно подорваны. «Не раз... порывался он напрячь все свои силы и, стряхнув недуг, встать на ноги, вернуть себе свободу, выйти на вольный воздух, но, изнеможенный от напрасных усилий, падал в обмороке на постель...» — свидетельствует Аксаков.

И все же поэт стремился продолжать свою обычную деятельность. В конце января он диктует письмо Горчакову: «Дорогой князь, болезнь не только зло сама по себе, она и потому еще зло, что уничтожает все средства, способные ей противодействовать. Так, например, я отлично сознаю, что ничто не могло бы более оживить меня, чем пять минут, проведенные в Вашем обществе, в чем я зачастую убеждался, приходя к Вам по утрам. Буду терпеливо ждать той минуты, когда мне позволено будет совершить это паломничество». Далее Тютчев, как всегда, говорит о современных внешнеполитических задачах. До нас дошли и другие достаточно содержательные тогдашние письма поэта Горчакову (от 9 февраля и 21 февраля); известно также, что канцлер посещал прикованного к постели Тютчева.

Почти не имея возможности действовать, Тютчев начинает чрезвычайно интенсивно писать стихи. «Папа беспрестанно занят стихотворчеством», — сообщает Эрнестина Федоровна Анне в письме от 30 января. За четыре с небольшим месяца Тютчев написал четырнадцать стихотворений (в основном политического характера) — столько же, сколько за предшествующие три года!

Ясно, что стихи представлялись ему единственной вполне доступной тогда формой деятельности. Однако это была иллюзия. Стихи не получались, хотя в это же самое время Тютчев диктовал удивительные письма, ничуть не уступающие по своей глубине и масштабности тем, которые были им написаны в пору жизненного расцвета.

Здесь перед нами ясное доказательство того, что поэтическое творчество (как и всякое искусство) с необходимостью требует предельного напряжения всех без исключения человеческих сил в их единстве, в том числе и собственно телесных сил. Один из наиболее выдающихся продолжателей тютчевской традиции, Николай Заболоцкий, впоследствии скажет: «Поэт работает всем своим существом одновременно: разумом, сердцем, душою, мускулами. Он работает всем организмом...»

Отсутствие телесных сил почти лишало поэта возможности творить; из четырнадцати предсмертных стихотворений только два — «Бессонница» («Ночной порой в пустыне городской...») и «Все отнял у меня казнящий Бог...» — сопоставимы с прежней поэзией Тютчева.

Но жизнь тютчевского духа словно не замечала тяжелейшей болезни тела. Еще за двадцать с лишним лет до этих последних своих месяцев поэт писал (19 июля 1852 года), что при постоянной мысли о смерти «существование, помимо цели духовного роста, является лишь бессмысленным кошмаром». Но, как это ни невероятно, мощный «духовный рост» продолжался в нем и на самой грани жизни и смерти. В феврале и марте 1873 года он продиктовал письма, которые предстают ныне как поражающие своей истинностью предвидения.

Поводом для одного из этих писем явилась вышедшая в 1869 году книга немецкого философа Эдуарда Гартмана (1842—1906) «Философия бессознательного». Книга была одним из ранних манифестов того умонастроения, которое со всей ясностью и силой выявилось в конце XIX — начале XX века в разнообразных течениях декадентской и авангардистской философии и эстетики. В 1870-х годах все это только зарождалось и почти никто еще не предвидел грядущего размаха новых веяний.

Между тем Тютчев с глубокой убежденностью писал Анне: «Меня удивляет одно в людях мыслящих: то, что они не довольно вообще поражены апокалиптическими признаками приближающихся времен... В Германии теперь в большом ходу книга, которой заглавие — “Философия непознаваемого”. Это... квинтэссенция нигилизма... Это доктрина разрушения — чистого и голого, разрушения всеобщего, для всего, для всякого бытия как недостойного быть... Да уж и нашло зато себе это сочинение огромнейший отголосок по всей Германии, — и я не сомневаюсь, что такой же найдет оно себе и у нас». Поэт предвидит широкое и — на время — победоносное наступление тенденций, названных им «судорогою бешенства, которой роковой исход — только разрушение. Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, очень основательно рассудил, что ему остается лишь одно: удавиться».

Предвидение поэта было абсолютно верным: в начале XX века в России нашлось немало идеологов и писателей, которые превозносили фигуру Иуды (ему даже собирались поставить памятник как величайшему «бунтарю»). Но Тютчев не остановился на сказанном; он заключает так: «Вот кризис, через который общество должно пройти, прежде чем доберется до кризиса возрождения».

Другое тютчевское письмо, продиктованное тогда (к Карлу Пфеффелю), заглядывало еще дальше в будущее. Об этом письме уже говорилось выше; исходя из того «варварства, ко-

торым запечатлены приемы последней войны» — Франко-прусской войны 1870—1871 годов, — поэт предрекал, что эти пока не нашедшие «разумной оценки» явления способны «повести Европу к состоянию варварства, не имеющему ничего себе подобного в истории мира и в котором найдут себе оправдание всяческие иные угнетения». Это было сказано как раз тогда, когда европейские идеологи видели впереди лишь все большее торжество гуманности и цивилизованности...

В апреле Тютчев говорил в одном из писем Анне: «С моей стороны очень глупо интересоваться тем, что больше не имеет со мной никакой живой связи. Мне надлежало бы смотреть на себя, как на зрителя, которому, после того, как занавес опущен, остается лишь собрать свои пожитки и двигаться к выходу». Однако поэт до самого конца сохранил самую живую связь со всем тем, что с молодых лет глубоко захватывало его в мире.

Чтобы по достоинству оценить все это, надо знать, насколько тяжким было его состояние. Эрнестина Федоровна писала 23 января: «Зрение если не совсем потухшее, то настолько смутное, что ни о чтении, ни о том, чтобы что-либо различать, и речи нет... Нет слов, чтобы выразить ужас положения»; 15 марта: «Его мученическое состояние на пределе... Это несчастное существо, которое уже месяца два даже одеть невозможно».

Эрнестина Федоровна почти не отходила от мужа все 195 дней, которые он прожил после 1 января. Тютчева, несомненно, мучило сознание неизгладимой вины перед ней. Аксаков писал 6 января: «Вчера он приобщился... Не знали, как приступить, но... дело обошлось гораздо проще. При первом намеке, брошенном Эрнестиной Федоровной вчера утром, он охотно согласился; послали за Янышевым*». Затем он, «позвав жену, при всех сказал: вот у кого я должен просить прощения, — и нежно ее обнял несколько раз». В феврале — по-видимому, в день сорокалетней годовщины их первой встречи (состоявшейся в феврале 1833 года) — поэт написал:

Все отнял у меня казнящий Бог:
Здоровье, силу, волю, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил Он,
Чтоб я Ему еще молиться мог**.

---

* Священник, давний знакомый поэта.

** Стихи были записаны дочерью поэта Дарьей. Голос его, как мы знаем, был тогда недостаточно внятен. И, по мнению поэта Василия Казанцева, вторая строка была записана неточно: «Здоровье, силу воли, воздух, сон». Выражение «силу воли» явно выбивается из стихотворного строя.

Шестнадцатого февраля Эрнестина Федоровна, сообщая Анне, что ежедневно читает мужу газеты, вместе с тем выражала свою заветную надежду: «Болезнь будет иметь ту положительную сторону, что вернула его на религиозную стезю, оставленную им со времен молодости... Он с жадностью слушает те несколько евангельских глав, которые я ему ежедневно прочитываю, а сиделка... говорит, что у них по ночам бывают очень серьезные религиозные разговоры».

Первого апреля в Москве родился первый внук поэта, названный в честь деда Федором (в семье сына Тютчева и Эрнестины Федоровны — Ивана). 2 апреля Тютчев продиктовал телеграмму: «Спасибо... за внука... Я уже более не *предпоследний,* от всей души принимаю на себя восприемство новорожденного». К середине апреля Тютчеву стало несколько лучше. 21 апреля его впервые после удара вывозят на прогулку. Аксаков сообщает об этом времени, что Тютчев «не хотел отказываться и не отказывался ни от какого живого человеческого интереса... Его участие к делам мира сего, к политике и литературе, усиливалось с каждым днем».

Девятнадцатого мая Тютчевы переехали в Царское Село, которое поэт так любил. Его возят здесь в кресле по дорогим ему местам. Но 13 июня Тютчева постиг новый удар. Аксаков, который с 9 июня находился в Царском Селе, писал: «Все полагали, что он умер или умирает; но недвижимый, почти бездыханный, он сохранял сознание. И когда чрез несколько часов оцепенение миновало — первый вопрос его, произнесенный чуть слышным голосом, был: “Какие последние политические новости?” Тем не менее с этого дня положение Тютчева резко изменилось... большую часть времени лежал он как бы в забытьи или полусне: но то был не сон и не забытье. “Er horcht, er denkt”*, — замечал, к изумлению своему, доктор-немец, уловив его взгляд или всмотревшись в черты его лица».

Через неделю последовал еще один, третий удар, после которого, рассказывал Аксаков, «нем и недвижим лежал он как мертвец... Священник прочел ему отходную и напутствовал к смерти. Кругом стояли домашние — плакали, прощались. Так продолжалось часа четыре; наконец... он ожил. В эту минуту приехал из Петербурга вызванный по телеграфу его духовник... и когда он подошел к Тютчеву, чтобы со своей стороны напутствовать его к смерти, то Тютчев предварил его вопросом: какие подробности о взятии Хивы? Потом сказал ему: меня сегодня уже похоронили».

---

* Он слушает, он думает (*нем.*).

Эрнестина Федоровна писала тогда же: «У него по-прежнему страшные головные боли... пытка тем ужаснее, что голова его ясна... Это сам Бог в милосердии Своем посылает ему все эти страдания, чтобы очистить его душу от нечистот жизни, но мне кажется, что, если бы даже он совершил страшнейшие злодеяния, они уже были искуплены переживаемыми муками...»

После третьего удара, вспоминал Аксаков, «несмотря на все уверения докторов, что Тютчеву остается жить день-два, он прожил еще недели три...* Всё постепенно изнемогало в нем, никло и умирало — не омрачилось только сознание и не умирала мысль...

Дней за шесть до смерти он хотел передать какое-то соображение, пробовал его высказать и, видя неудачу, промолвил с тоской: "Ах, какая мука, когда не можешь найти слова, чтобы передать мысль". Тогда же Тютчев воскликнул: "Я исчезаю, исчезаю!"».

В ночь с 12 на 13 июля, рассказывал Аксаков в письме Юрию Самарину от 18 июля, «лицо его... видимо, озарилось приближением смертного часа... Он лежал безмолвен, недвижим, с глазами, открыто глядевшими, вперенными напряженно куда-то, за края всего окружающего с выражением ужаса и в то же время необычайной торжественности на челе. "Никогда чело его не было прекраснее, озареннее и торжественнее..." — говорит его жена... Священник также свидетельствовал мне, что Тютчев хранил полное сознание до смерти, хотя уже не делился этим сознанием с живыми. Вся деятельность этого сознания, вся жизнь мысли в эти два дня выражалась и светилась на этом, тебе знакомом, высоком челе...».

Ранним утром в воскресенье, 15 июля 1873 года Федор Иванович Тютчев скончался в Царском Селе. 18 июля его похоронили на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

Широко известны слова Тургенева, написанные еще в 1854 году, почти за двадцать лет до смерти поэта: «...Тютчев может сказать себе, что он... создал речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше подобного сознания награды нет». Конечно, тютчевская поэзия — наиболее очевидное и неоспоримое воплощение его гения. И все же ныне едва ли возможно ограничиться этим признанием. Тютчев во всей своей цельности есть духовно-истори-

* На самом деле — двадцать пять дней.

ческое явление такой глубины и размаха, что его живое значение будет только возрастать с течением времени.

Да, личность Тютчева и ныне, и в грядущие времена (может быть, особенно в грядущие) способна не менее сильно воздействовать на становление людей. Во вступлении к этой книге говорилось, что и сам Тютчев, и окружавшие его современники оставили слишком мало свидетельств — мало, если сравнивать с другими творцами русской литературы. И все же дошедшие до нас проявления личности Тютчева достаточно весомы, чтобы мы могли сделать эту личность достоянием нашего духовного мира.

Те или иные характернейшие черты Тютчева предстают с первого взгляда как резко противоречащие друг другу, несовместимые, взаимоисключающие. Он обладал исключительно, уникально развитой индивидуальностью душевного строя — и вместе с тем был непримиримым противником индивидуализма, в котором видел пустую и бесплодную претензию — «О, нашей мысли обольщенье, ты, человеческое Я», — и опаснейший, губительный для мира «принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства». Он обращался к вселенскому бытию во всей безграничности пространства и времени — и не мог и дня прожить без газет. Он постоянно испытывал чувство трагедийного одиночества — и в то же время непрерывно общался с сотнями людей. («Мне не с кем поговорить... — писал Тютчев, — мне, говорящему со всеми...») Он мог долго пребывать в полном бездействии, не имея воли даже для того, чтобы набросать короткое письмо, — и он же мог, будучи уже далеко не молодым и невзирая на болезнь и личное горе, целиком отдаться энергичной и целенаправленной деятельности.

Можно бы продолжать и продолжать ряд подобных противоречий, которые подчас выступали совершенно очевидно в самом облике и поведении поэта. Так, Аксаков писал: «...Не было, по-видимому, человека приятнее и любезнее. Его присутствием оживлялась всякая беседа... Он пленял и утешал все внемлющее ему общество. Но вот внезапно, неожиданно скрывшись, он — на обратном пути домой; или вот он, с накинутым на спину пледом, бродит долгие часы по улицам Петербурга, не замечая и удивляя прохожих... Тот ли он самый?»

Но то, что при поверхностном восприятии может показаться в Тютчеве двойственным, излишне противоречивым или даже странным — так сказать, отходящим от нормы, — на самом деле было выражением высшего развития личности. Его, казалось бы, сугубо индивидуальные переживания — во

всем их неповторимом богатстве, сложности, утонченности — были всегда соотнесены с всеобщим состоянием современного мира, с человеческой Историей в целом (как прошедшей, так и грядущей) и, наконец, с Вселенским бытием.

Вот он в письме Эрнестине Федоровне от 9 сентября 1855 года рассказывает о своем, в сущности, глубоко сокровенном переживании, похожем на сон: «Вчера, 8-го, в то время, когда во всех соборах совершалась обедня, я поднялся на первую площадку Ивана Великого, покрытую народом... И тут меня вдруг... охватило чувство сна. Мне пригрезилось, что настоящая минута давно миновала, что протекло полвека и более... И тогда вся эта сцена в Кремле... показалась мне видением прошлого и весьма далекого прошлого, а люди, двигавшиеся вокруг меня, давно исчезнувшими из этого мира... Я вдруг почувствовал себя современником их правнуков».

Это было характернейшим для поэта состоянием духа. Двенадцатью годами ранее, 26 августа 1843 года, Тютчев писал той же Эрнестине Федоровне о своем восприятии древнего церковного обряда: «Есть во всем этом для человека, снабженного чутьем для подобных явлений, величие поэзии необычайное... Ибо к ощущению прошлого — и такого уж старого прошлого, — присоединяется невольно, как бы предопределением судьбы, предчувствие неизмеримого будущего...»

Такого рода переживания постоянно овладевают душой поэта, особенно в зрелые годы. Они воплотились во множестве его стихотворений, начиная с юношеских («А. Н. Муравьеву», «Олегов щит»), и тем более в стихотворениях конца 1840—1860-х годов («Русская география», «Наполеон», «Венеция», «Пророчество», «Неман», «Encyclica», «Славянам», «Над русской Вильной стародавной...» и многих других), а также в письмах, статьях, устных суждениях, записанных мемуаристами, и т. п.

Эта способность «охватывать борьбу во всем ее исполинском объеме и развитии», присущая Тютчеву, может быть понята как основа, как коренное свойство его личности, которое связывало воедино все ее стороны и проявления. Как ясно уже из приведенных только что высказываний поэта, это была вовсе не чисто «умственная» способность; в ней органически сливались мысль и чувство, ум и сердце, устремленность к истине и нравственный пафос.

Незадолго до смерти, в апреле 1873 года, Тютчев писал: «Никогда еще борьба между добром и злом, составляющая основу жизни мира, не была ни более острой, ни более драматичной». Зрелище движущейся Истории поэт всегда вос-

принимал не столько как объект беспристрастного познания, сколько именно как острую и драматичную борьбу добра и зла — борьбу, которая составляла и подлинную основу его собственной жизни. Ибо, как мы знаем, он отнюдь не ограничивался созерцанием этой борьбы, он стремился — особенно в последние годы — принимать деятельное участие в ней.

Из его уже приводившегося высказывания о том, что историю делают так, как ткутся гобелены, — ткач «видит лишь изнанку ткани», — ясна скромная оценка своего собственного вклада в историческое творчество. Но едва ли что-либо может сравниться с самим чувством личной причастности этому творчеству!

И нет ничего удивительного в том, что в свои последние годы, когда он обрел возможности для воздействия на внешнюю политику России, Тютчев забывал о поэзии ради причастности этому творчеству, которое для него само было исполнено истинно поэтическим величием...

В этой сердцевине тютчевского духа и души естественно и нераздельно сопрягались многообразные и даже вроде бы несовместимые стороны и черты. Предельно развитая жизнь его индивидуальности вливалась в громаду общенародного и всечеловеческого исторического творчества и никак не могла обратиться в индивидуализм. Собственно говоря, личность Тютчева, органически связав себя с движением русской и всемирной истории, тем самым переросла индивидуализм; она была несравненно богаче и мощнее какого бы то ни было индивидуалистического духа.

Поскольку каждое, даже само по себе частное событие его времени являлось перед Тютчевым как определенное звено во всемирной истории, нет ничего парадоксального в том, что потрясенное видение Космоса сочеталось в его душе со страстным интересом к сегодняшней газете.

Столь же понятны в этом свете и переходы Тютчева от почти «обломовского» бездействия к напряженной деятельности, захватывающей его тогда, когда он верил, что его усилия так или иначе вливаются в русское и всемирно-историческое творчество, в мировую борьбу добра и зла.

Тютчева часто представляют себе только в двух ипостасях — сугубо личной и «космической». Но прямое, непосредственное соотнесение своей личности в ее самодовлеющем значении и Космоса в его внечеловеческой всеобщности неизбежно устремляется либо *к безличности* либо *к индивидуализму,* — между тем как и то и другое было совершенно чуждо Тютчеву.

Конечно, в тютчевской поэзии 1820—1830-х годов немало стихотворений, которые выступают как всецело «космические»; несколько таких стихотворений он создал и в самые последние годы. При этом в ранних стихах господствует мотив упоенного приобщения Космосу и даже растворения в нем:

Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!

Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай, —

а в самых поздних — ясное сознание смерти.

Но своего рода пик, апогей творческого пути Тютчева — это рассмотренные в своем месте «Два голоса» (1850)*, где личное и космическое опосредованы подвигом во всечеловеческой борьбе, вырывающей из рук богов победный венец.

Словом, тютчевское ви́дение Истории и само его участие в ней предстает именно как сердцевина его личности, соединяющая индивидуальное и всеобщее богатой и плодотворной связью.

Эта книга — книга о жизни, а не о поэзии Тютчева. Разумеется, речь заходила и о поэзии, но главным образом в прямой связи с бытием поэта, да и предметом внимания чаще всего являлись отдельные произведения, а не тютчевское творчество вообще. И в конце книги будет естественным сказать хотя бы кратко о поэтическом мире Тютчева как о целостности.

Уже говорилось, что поэтический мир — это не те или иные «мысли» и «чувства», но художественное инобытие реального, объективного мира, каким он явился, раскрылся перед создателем стихотворений. И далее, поэтический мир существует не где-то «под» словом и ритмом стихотворений, но прямо и непосредственно в слове и ритме.

Это не так легко увидеть и понять, ибо мы привыкли рационалистически разделять «содержание» и «форму» (такой принцип понимания стал складываться и внедряться в сознание людей еще в XVII—XVIII веках, и его очень трудно преодолеть). Но все же попытаемся разглядеть суть тютчевского поэтического мира в самой «форме» его стихотворений, а не «под» или «за» ней.

---

* Даже и чисто хронологически это почти середина, ибо первые собственно «тютчевские» стихи созданы в 1825 году, а последние — в 1873-м.

Своего рода основа тютчевского сознания — о чем только что было сказано — способность при самой полной развитости глубоко личного духа ни в коей мере не впадать в индивидуализм, который (хотя это может показаться странным противоречием) резко обедняет и мельчит личность, ибо так или иначе отрывает ее от других людей, от того, что в старину звали «соборностью».

В поэзии Тютчева внятно, как бы даже осязаемо воплощена воля к соединению, слиянию с душами других людей — что в той или иной мере воспринимает, нередко вовсе не сознавая (что, впрочем, действует даже сильнее!), любой внимательный читатель его стихотворений. И свойство это присуще даже тем стихотворениям (прежде всего ранним), где запечатлена особенная высота духовного порыва, нередко определяемая как *олимпийство* Тютчева, который дерзал сказать про себя:

По высям творенья, как бог, я шагал...

Ведь в тютчевском творчестве в то же время отсутствует мотив «исключительности», «избранности» поэта (столь характерный для поэзии Запада). Некоторые из его стихотворений, в коих мы иногда склонны обнаружить этот мотив («Не верь, не верь поэту, дева...», «Ты зрел его в кругу большого света...», «Живым сочувствием привета...»), на самом деле несут в себе прежде всего мотив «защиты» вольного, освобожденного от строго установленных рамок образа жизни и поведения поэта, а вовсе не утверждение некоего его «превосходства» над другими людьми. Более того, в этих стихах есть даже момент искренней «самокритики»: Тютчев не «оправдывает» поэта, а лишь как бы предлагает «простить» ему своеобразие его пути...

Но наиболее важно другое. В своем поэтическом движении «по высям творенья» Тютчев никак не отделяет себя от других людей; напротив, он постоянно утверждает эту способность как всецело доступную — хотя бы потенциально, в возможности — любому, каждому человеку. И это предстает в его поэзии вовсе не как «специально», в конечном счете нарочито введенная в нее «идея», но как естественная и глубочайшая основа творческого сознания.

Внимательно вглядываясь в самую «внешнюю» форму стихотворной речи Тютчева, в ее грамматико-синтаксическое построение, можно увидеть, что в наиболее возвышенных, «олимпийских» произведениях поэт выступает словно не от единственного лица, не от «я»; для этих стихотворений, напротив, типична форма множественного числа —

«мы» (может показаться, что количество следующих далее примеров чрезмерно, но необходимо показать: это не какие-либо отдельные, исключительные явления; кроме того, уместно в конце книги о поэте дать просиять этим фрагментам его шедевров*):

Кто без тоски внимал из *нас,*
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья...
(«Бессонница»)

И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
(«Как океан объемлет шар земной...»)

Уж звезды светлые взошли
И тяготеющий над *нами*
Небесный свод приподняли...
(«Летний вечер»)

И бездна *нам* обнажена...
(«День и ночь»)

Но, ах, не *нам* его судили;
Мы в небе скоро устаем...
(«Проблеск»)

Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.
(«Осенний вечер»)

Она с небес слетает к *нам* —
Небесная к земным сынам...
(«Поэзия»)

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для *нас*...
(«Обвеян внешнею дремотой...»)

Когда, что звали *мы* своим,
Навек от нас ушло...
(«Когда, что звали мы своим...»)

Но силу *мы* их чуем...
(«В часы, когда бывает...»)

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...
(«Нам не дано предугадать...»)

---

* Далее процитировано ни много ни мало каждое седьмое из стихотворений, составляющих основной фонд тютчевской лирики.

Та непонятная для *нас*
Истома смертного страданья...
(«Как ни тяжел последний час...»)

Стоим *мы* слепо пред Судьбою.
Не *нам* сорвать с нее покров...
(«1856»)

Своей неразрешимой тайной
Обворожают *нас* они.
(«Близнецы»)

Созвучье полное в природе, —
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад *мы* с нею сознаем.
(«Певучесть есть в морских волнах...»)

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять..
(«Когда дряхлеющие силы...»)

Как *нас* ни угнетай разлука,
Не покоряемся *мы* ей...
(«Как нас ни угнетай разлука...»)

Чему бы жизнь *нас* ни учила,
Но сердце верит в чудеса...
(«А. В. Пл-вой»)

Две силы есть — две роковые силы,
Всю жизнь свою у них *мы* под рукой...
(«Две силы есть — две роковые силы...»)

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды *наши* призрачные годы...
(«От жизни той, что бушевала здесь...»)

И т. п.

Другая, но, в сущности, однотипная с этой форма — обращение к «ты» (или «вы»), которое вместе с подразумеваемым либо даже прямо выступающим «я» образует то же самое «мы»:

Ушло, как то уйдет всецело,
Чем *ты* и дышишь и живешь.
(«Как неожиданно и ярко...»)

Молчи, скрывайся и *таи*
И чувства и мечты свои...
(«Silentium!»)

Над *вами* светила молчат в вышине...
(«Два голоса»)

Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены...
(«Весна»)

Смотри, как облаком живым...
(«Фонтан»)

Подчас «ты» даже открыто переходит в «мы» — скажем, в стихотворении «Из края в край, из града в град...»:

И рад ли *ты* или не рад,
Что нужды ей? Вперед, вперед!
Знакомый звук *нам* ветр принес:
Любви последнее прости...

Или:

И *ты* ушел, куда *мы* все идем.
(«Брат, столько лет сопутствовавший мне...»)

Это настойчивое «уклонение» от формы «я» выступает иногда даже (что уже вообще удивительно!) и в любовной лирике Тютчева:

О, как убийственно *мы* любим...

О, как на склоне *наших* лет
Нежней *мы* любим и суеверней...

Но едва ли было бы основательным понять этот отказ от формы «я» как некий специально продуманный, осознанный «прием» поэта. Это, так сказать, обнаженное проявление единой творческой воли, воплощенной так или иначе во всем, что создал поэт. Ведь многие его стихотворения написаны все же от лица «я». Но та же самая воля воплощена в них менее очевидными и прямыми «средствами». Так, например, в знаменитом «Silentium!» повелительная глагольная форма исходит как будто бы от первого лица:

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

Но в контексте тютчевской поэзии в целом стихотворение воспринимается прежде всего как обращение к самому себе любого и каждого человека. И та сокровенность «таинственно-волшебных дум», о которой поведано в стихотворении, предстает в целостности тютчевской поэзии как нечто, объединяющее людей, а вовсе не разъединяющее их. У каждого, у любого есть такая «душевная глубина», какую вообще нельзя понять «другому», но каждый из нас должен знать о мол-

чащей глубине «другого» — вот в чем истинный смысл стихотворения, которое нередко толкуется ложно — как некий апофеоз личностной замкнутости... Ведь поэт и в этом стихотворении (самой его грамматико-синтаксической формой) обращен не к самому себе или, допустим, к надземным, надчеловеческим силам (что присуще действительно индивидуалистической поэзии), но к каждому, любому человеку.

И стоит повторить еще раз: прямое вхождение «я» в «мы», которое присуще целому ряду цитированных выше стихотворений, — это только открытое, обнаженное выражение внутренней устремленности тютчевской поэзии в целом.

Один из наиболее глубоких исследователей русского искусства Сергей Николаевич Дурылин (1877—1954) записал в 1926 году: «Я купил автограф Тютчева — “Святая ночь на небосклон взошла...” и “Поэзия”. Смотрю на пожелтелые листки, исписанные “трудным” почерком, каким-то гиератическим... (священным, жреческим. — *В. К.*), вещим почерком, — думаю с волнением, что эти трудно разбираемые буквы нанесла на бумагу властная рука, чертившая заклинания, а не стихи, водимая высшим принужденьем страстной мысли, глубоким давлением Вечного, несказуемого, рокового.

...И как слаба была та же рука в жизни — такая “человеческая... слишком человеческая”...»

Сказано замечательно, но все же не вполне точно. Вероятно, должно было пройти еще несколько десятилетий, чтобы стало гораздо яснее видно: между поэзией и жизнью Тютчева нет такого «разрыва», такой несовместимости. Рука его бывала достаточно «властной» и в его политических делах, да и в личных отношениях с людьми (например, с Иваном Гагариным и Генрихом Гейне). А вместе с тем странно было бы, если бы присущее Тютчеву в жизни «человеческое... слишком человеческое» не воплотилось бы и в его поэзии.

Да, его рука, пожалуй, сильнее, чем чья-либо, чувствовала «давление Вечного, несказуемого, рокового», но своей поэзией он стремился пробудить в каждом, любом человеке способность почувствовать, почуять это «давление». И те, кто открыл свой разум и душу голосу поэта, чуют его.

Тютчев «выше», чем кто-либо, поднимается в своем творческом взлете, но в то же время он в определенном смысле как никто стремится обратиться к душе любого из нас...

Рассказ о жизни Тютчева с необходимостью вынужден был обращаться к разным ее сторонам в отдельности. Но, разумеется, в реальной жизни поэта все было нераздельно и едино. В это единство естественно и органически вливалась и его политическая деятельность как таковая, которая может

казаться сама по себе недостаточно возвышенной, чересчур привязанной к сегодняшней ситуации, слишком «практицистской». При таком представлении возникает стремление искусственно отделить и отстранить политическое в Тютчеве от его поэзии и даже самой его личности.

Между тем крупнейший поэт следующей эпохи Александр Блок, не раз, кстати сказать, говоривший о верховной роли Тютчева в русской культуре, дал мощный отпор этого рода попыткам.

Двадцать восьмого марта 1919 года он записал в дневнике: «Быть вне политики (Левинсон*)? — С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм... Будем носить шоры и стараться не смотреть в эту сторону. Вряд ли при таких условиях мы окажемся способными оценить кого бы то ни было из великих писателей XIX века... Нет, мы не можем быть "вне политики", потому что мы предадим этим музыку, которую можно услышать только тогда, когда мы перестанем прятаться от чего бы то ни было. В частности, секрет некоторой антимузыкальности, неполнозвучности Тургенева, например, лежит в его политической вялости».

Отстранение от политики ведет к «антимузыкальности» — таково убеждение Блока, и оно совершенно неоспоримо подтверждается тезисом о «неполнозвучности». Тютчев в высшей мере полнозвучен, ибо в его человеческую и творческую личность (как и в личности Пушкина и Достоевского) естественно вошло и политическое содержание.

Собственно говоря, Тютчев и не мог не быть политиком, ибо без этого он не сумел бы осуществить смысл и цель самой своей жизни. Брат его второй жены, знавший Тютчева сорок лет, с 1830 года, в 1870 году писал о нем: «...он и Россия — одно целое, и он не помышляет ни о чем другом, кроме как о величии, процветании и совершенствовании, нравственном и материальном, своей страны».

Что же касается «достижений» Тютчева на своем поприще, о них вполне точно сказал в 1868 году подружившийся с ним еще в 1820-м Михаил Погодин: «...он является в наше время решительно первым представителем народного сознания о Русской миссии в Европе, в Истории: никто в России не понимает так ясно, не убежден так твердо, не верит так искренно в ее призвание, как он».

Нам не дано предугадать...

---

* Влиятельный в то время литератор, резкий оппонент Блока; с 1920 года — эмигрант.

Не только сам Тютчев, но и никто из его современников не мог предугадать, что через столетие после кончины поэта его наследие найдет широчайшее, поистине народное признание. Даже Достоевский, знавший истинную цену Тютчеву, писал в 1878 году в некрологе о Некрасове: «Был, например, в свое время поэт Тютчев, поэт обширнее его и художественнее, и, однако, Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое, бесспорно, останется за Некрасовым».

Да, никто, скажем, не мог предугадать, что в 1980 году тютчевские сочинения в двух томах выйдут в свет тиражом в 600 тысяч экземпляров, но это как бы даже нисколько не удовлетворит потребности ценителей поэта. Могут возразить, что далеко не все люди, стремящиеся приобрести сочинения Тютчева, способны действительно освоить их. Но нельзя недооценивать очевидного факта: эти люди сознают, кто есть Тютчев.

Столь же выразительна судьба родного гнезда поэта — Овстуга. По инициативе учителя Владимира Даниловича Гамолина здесь был создан в 1957 году музей Тютчева, а впоследствии восстановлен его дом, от которого уцелела только подземная часть фундамента... И этот исчезнувший с лица земли (он был снесен, кстати сказать, еще до 1917 года) и все же воскресший Дом — наглядный, осязаемый символ сегодняшнего бытия Тютчева.

1978—1983, 1991

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ф. И. ТЮТЧЕВА

1803, 23 ноября (5 декабря нового стиля) — в селе Овстуг Орловской губернии (ныне Брянской области) родился Федор Иванович Тютчев.

1810, конец года — Тютчевы поселились в своем московском доме в Армянском переулке.

1812, август — семья Тютчевых уезжает в Ярославль накануне захвата Москвы наполеоновской армией.

Конец года — возвращение в Москву.

1813, 12 ноября — наиболее раннее из дошедших до нас стихотворений Тютчева — «Любезному папеньке».

1815, конец года — стихотворение «На новый 1816 год», ясно свидетельствующее о поэтическом даре Тютчева.

1816, конец года — 1817, начало года — Тютчев начинает посещать лекции в Московском университете.

1817, 28 октября — В. А. Жуковский посещает дом Тютчевых.

1817—1820 — Тютчев знакомится с будущими любомудрами (Погодин, В. Одоевский, Веневитинов, Хомяков, Максимович, Шевырев, братья Киреевские, А. Муравьев, Рожалин, Кошелев и др.).

1818, 22 февраля — А. Ф. Мерзляков читает стихотворение Тютчева на заседании Общества любителей российской словесности.

30 марта — избрание сотрудником Общества любителей российской словесности.

17 апреля — встреча с В. А. Жуковским в Кремле.

1819, август — вольный перевод «Послания Горация к Меценату» опубликован в «Трудах Общества любителей российской словесности».

6 ноября — Тютчев стал студентом словесного отделения Московского университета.

1821, 30 апреля — в Обществе любителей российской словесности драматург Федор Кокошкин прочитал тютчевское стихотворение «Весна (Посвящается друзьям)» — один из наиболее ранних поэтических манифестов любомудров.

23 ноября — Тютчев окончил университет со степенью кандидата словесных наук.

1822, 5 февраля — приезд в Петербург.

21 февраля — поступление на службу в Государственную коллегию иностранных дел.

11 июня — отъезд в Мюнхен в качестве сверхштатного сотрудника русской миссии.

1825, 11 июня — приезд на время отпуска в Россию.

Ноябрь — в погодинском альманахе «Урания» опубликовано первое зрелое творение Тютчева — «Проблеск».

Конец года — 1826, начало года — Тютчев из Петербурга выезжает в Мюнхен.

1826, 5 марта — женитьба на Элеоноре Петерсон (Ботмер).

1827, конец года — 1828, начало года — знакомство с Шеллингом.

1828, февраль — знакомство с Гейне.

1830, 6 апреля — приезд Ивана Киреевского и Рожалина в Мюнхен.

16 мая —13 октября — Тютчев на время отпуска уезжает в Россию.

1833, февраль — знакомство с Эрнестиной Дёрнберг (Пфеффель).

1836, 28 июня — 22 августа — во время отсутствия посланника Тютчев исполняет обязанности поверенного в делах в Мюнхене.

Октябрь — шестнадцать стихотворений поэта опубликованы в пушкинском «Современнике».

1837, май — начало августа — отпуск, проведенный в Петербурге.

7 августа — отъезд в Турин в качестве первого секретаря русской миссии.

1838, 22 июля — 1839, 25 июня — исполняет обязанности поверенного в делах в Турине.

28 августа — кончина Элеоноры Тютчевой.

23 ноября — записка Тютчева о проникновении флота США в Средиземное море.

1839, 7 июля — венчание с Эрнестиной Дёрнберг в Берне.

1 октября — освобождается по собственному желанию от должности первого секретаря в Турине с оставлением в ведомстве Министерства иностранных дел.

1841, 30 июня — Тютчев уволен из Министерства иностранных дел и лишен звания камергера.

1843, 8 июля —19 сентября — Тютчев в России.

25 июля — посещение дома Елагиных-Киреевских; знакомство с Чаадаевым, Герценом и др.

7 сентября — представление Николаю I через Бенкендорфа политической записки Тютчева.

1844, 21 марта — появление письма Тютчева об отношениях России и Германии в аугсбургской газете «Альгемайне цайтунг».

Июнь — издание в Мюнхене брошюры Тютчева «Письмо к доктору Густаву Кольбу» («Россия и Германия»).

20 сентября — возвращение Тютчева в Россию.

1845, 16 марта — восстановление на службе в Министерстве иностранных дел.

14 апреля — возвращение звания камергера.

1846, 15 февраля — назначение чиновником особых поручений при государственном канцлере.

28 августа —12 сентября — поездка в Овстуг.

1847, конец июня — сентябрь — поездка за границу (Германия, Швейцария).

1848, 1 февраля — назначение старшим цензором при Министерстве иностранных дел.

12 апреля — написана статья «Россия и революция» (опубликована в мае 1849-го в Париже в виде брошюры).

1849, 7 июня — приезд в Овстуг. Начало нового периода творчества поэта.

Осень — работа над трактатом «Россия и Запад» (не завершен).

1850, январь — статья Некрасова о Тютчеве в журнале «Современник».

Во французском журнале «Ревю де Дё Монд» опубликована глава из тютчевского трактата — «Папство и римский вопрос».

15 июля — объяснение Тютчева и Е. А. Денисьевой.

1852, конец июня — поездка в Орел (через Овстуг).

31 декабря — 1853, 22 января — пребывание в Овстуге.

1853, 13 июня — отъезд из Петербурга в Германию и Францию (вернулся 9 сентября).

19 октября — царский манифест о войне с Турцией, переросшей в Крымскую войну (1854—1856).

1854, март — сборник стихотворений поэта издан как приложение к журналу «Современник».

Июнь — выход в свет книги «Стихотворения Ф. Тютчева».

1855 — поездка в Овстуг; стихотворение «Эти бедные селенья...».

1856, начало года — знакомство с Л. Н. Толстым.

18 апреля — Тютчев приглашен к только что назначенному министром иностранных дел А. М. Горчакову.

1857, 7 апреля — производство в действительные статские советники.

Август — пребывание в Овстуге.

Октябрь—ноябрь — Тютчеву предложено стать редактором внешнеполитического журнала; в ответ он составляет «Письмо о цензуре в России».

1858, 17 апреля — назначение председателем Комитета цензуры иностранной.

1859, 9 мая — 2 ноября — поездка за границу.

1860, 20 июня — конец ноября — поездка за границу.

1861, 6—7 марта — опубликован переведенный Тютчевым на французский язык манифест об освобождении крестьян.

1862, 25 мая —15 августа — поездка за границу.

1864, 4 августа — кончина Е. А. Денисьевой.

Около 20 августа — 1865, 25 марта — пребывание за границей.

1865, 6—28 августа — Тютчев в Овстуге.

30 августа — производство в тайные советники.

1868, март — выход в свет второй книги поэта.

Август — поездка в Овстуг.

1869, август — поездка в Овстуг, а оттуда в Киев.

1870, июль—август — последняя поездка за границу; в сентябре Тютчев приехал в Овстуг.

1871, 14—20 августа — последнее свидание с Овстугом.

1873, 1 января — начало предсмертной болезни.

15 июля — кончина Федора Ивановича Тютчева в Царском Селе.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Тютчев Ф. Стихотворения. СПб., 1854.
Тютчев Ф. Стихотворения. М., 1868.
Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений. 8-е изд. СПб., 1913.
Тютчев Ф. И. Лирика. Т. I—II. М., 1965.
Тютчев Ф. И. Стихотворения. М., 1976.
Тютчев Ф. И. Сочинения. В 2 т. М., 1984.
Тютчев Ф. И. Стихотворения. М., 1986.
Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. М., 1987.
Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1988.

ЛИТЕРАТУРА

Берковский Н. Я. Ф. И. Тютчев // *Тютчев Ф. И.* Стихотворения. М.; Л., 1962.
Биография Федора Ивановича Тютчева. Сочинение И. С. Аксакова. М., 1886 (фрагменты см. в кн.: *Аксаков К. С., Аксаков И. С.* Литературная критика. М., 1981).
Благой Д. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев). — В его кн.: Литература и действительность. М., 1959.
Георгий Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.; Л., 1933.
Л. Н. Толстой об искусстве и литературе. Т. 1—2. М., 1958.
Некрасов Н. А. Русские второстепенные поэты. 1. — См.: *Некрасов Н. А.* Полное собрание сочинений и писем. Т. 9. 1950.
Пигарев К. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1978.
Скатов Н. Н. Еще раз о «двух тайнах русской поэзии» (Некрасов и Тютчев) // *Скатов Н. Н.* Некрасов. Современники и продолжатели. Л., 1973.
Тютчев Ф. И. Библиографический указатель произведений и литературы о жизни и деятельности. 1818—1873. М., 1978.
Ф. М. Достоевский об искусстве. М., 1973.
Федор Иванович Тютчев. Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. М., 1988; Кн. 2. М., 1989.
Фет А. А. О стихотворениях Ф. Тютчева. — См.: *Фет А. А.* Сочинения. В 2 т.: Т. 2. М., 1982.
Чагин Г. Тютчев в Москве. М., 1984.

СОДЕРЖАНИЕ

Кожинов В. В.
К 58 Тютчев / Вадим Кожинов. — М.: Молодая гвардия, 2009. — 471[9] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1193).

ISBN 978-5-235-03208-8

Выдающийся русский просветитель конца XX столетия, писатель, историк и исследователь Вадим Валерианович Кожинов (1930—2001) оставил нам в наследство немало трудов, посвященных истории России и судьбам наиболее ярких ее представителей. Одним из самых фундаментальных его трудов является жизнеописание замечательного русского поэта и мыслителя XIX века Федора Ивановича Тютчева (1803—1873). У автора и героя этой книги много общего — оба истинные подвижники духа и труженики, горячо любившие свою родину, составившие гордость и славу ее культуры.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

Кожинов Вадим Валерианович
ТЮТЧЕВ

Главный редактор **А. В. Петров**
Редактор **И. И. Никифорова**
Художественный редактор **А. В. Никитин**
Технический редактор **В. В. Пилкова**
Корректоры **Т. В. Беляева, Т. И. Маляренко, Г. В. Платова**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 31.10.2008. Подписано в печать 13.07.2009. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 25,2+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 84571

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://mg.gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская ул., 21

ISBN 978-5-235-03208-8

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Д. Володихин
«МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП»

Н. Синицына
«МАКСИМ ГРЕК»

А. Карпов
«КНЯГИНЯ ОЛЬГА»

Е. Анисимов
«БАГРАТИОН»

В. Козляков
«ЛЖЕДМИТРИЙ I»

Д. Арно
«НАВУХОДОНОСОР II»

В. Эрлихман
«КОРОЛЬ АРТУР»

Т. Бобровникова
«СЦИПИОН АФРИКАНСКИЙ»

С. Рыбас
«СТАЛИН»



СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
При издательстве работает
книжный магазин:
8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

Д. И. Олейников
БЕНКЕНДОРФ

Александр Христофорович Бенкендорф слишком долго играл роль антигероя отечественной истории. Историки и литературоведы, писатели и сценаристы наделяли его всевозможными отрицательными чертами. Это неудивительно — за полтора века не было написано ни одной заслуживающей внимания биографии Бенкендорфа, а значительная часть его мемуаров заросла архивной пылью. Георгиевский кавалер, разведчик и партизан, боевой генерал, герой войны 1812 года, освободитель Голландии от наполеоновского господства, член Государственного совета и Комитета министров, Бенкендорф попытался создать государственный механизм борьбы с коррупцией и казнокрадством. Он был личным другом таких несхожих деятелей, как император Николай I и декабрист Сергей Волконский; ходатайствовал за Пушкина, Лермонтова и Гоголя; увёл любовницу у Наполеона и пережил трагический роман с той, которой посвящено тютчевское «Я встретил вас».

Книга историка Дмитрия Олейникова рассказывает о том, как жил, воевал, путешествовал, любил граф Бенкендорф.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:
127994, Москва, Сущевская ул., 21
Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86
Телефоны для оптовых покупателей:
8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59
При издательстве работает
книжный магазин:
8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77
Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:
http://mg.gvardiya.ru dsel@gvardiya.ru


ISBN 978-5-235-03208-8
9 785235 032088 >

М О Л О Д А Я   Г В А Р Д И Я